

Ж О В Ы И
М И Р

Ж О В Ы И
М И Р

1961

1

1961

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVII

№ 1

Январь, 1961 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
НОВЫЙ ТРИУМФ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА. Академик П. Ф. Юдин. Документы всемирно-исторического значения.— С. Голубов. Душа мира.— С. Залыгин. Общая цель.— А. Крон. Маяк человечества	3
ИЗ СТИХОВ ПОЭТОВ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ. Николас Гильен. Песня двух солдат.— Армандо Техада Гомес. Девушка.— Америко Абад. Мой квартал.— Педро Лайа. Иносказание о спящих детях.— Луис Палес Матос. Увеселения. Перевел с испанского М. Самаев	15
ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ — Мы здесь живем, повесть	21
МАРГАРИТА АЛИГЕР — Из лирики	72
Н. МЕЛЬНИКОВ — Штаб ударной комсомольской, очерк	77
АЛИМ КЕШОКОВ — Ради жизни. Настоящий мужчина, стихи	89
И. ЭРЕНБУРГ — Люди, годы, жизнь. Книга вторая.	91
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — Утро в Донбассе, стихи	153
Ф. ИСКАНДЕР — Два стихотворения	155
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
И. ЗАБЕЛИН — О культуре мышления	158
ПУБЛИЦИСТИКА	
Д. ДАНИН — Материал и стиль	166
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
С. УТЧЕНКО — Рим — Лондон — Париж (Заметки и размышления исто- рика)	186
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
Академик И. М. МАЙСКИЙ — Бернард Шоу (Встречи и разговоры)	208
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
А. МЕНЬШУТИН, А. СИНЯВСКИЙ — За поэтическую активность (За- метки о поэзии молодых)	224

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ С С С Р»
М о с к в а

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Г. Бялый. Чеховский том.— Юлия Канэ. Новая книга Янки Брыля.— Е. Старикова. В пятнадцать лет.— А. Богуславский. «Немой свидетель».— Татьяна Бачелис. Париж плачет, Париж смеется...— В. Аксенов. Разговоры в сочельник.	242
<i>Политика и наука</i>	
А. Бельская. Восток, разбуженный к новой жизни.— М. Ильин. Рожденные Великим Октябрем.— Б. Яковлев. Летопись революции.— Л. Сухаребский, доктор медицинских наук. Наш современник в науке.— В. Владимиров. Бонн — угроза миру.— И. Халифман. Первоучитель русских пчеловодов.	262
Трибуна Читателя	
«Пау Ти-Сан и его товарищи»	277
Коротко о книгах	283
Книжные новинки	287

НОВЫЙ ТРИУМФ МАРКСИЗМА - ЛЕНИНИЗМА

Документы всемирно-исторического значения

В современную эпоху — эпоху перехода от капитализма к социализму во всемирном масштабе — основное содержание мировой истории составляет борьба двух мировых систем: социалистической и капиталистической.

Изменения в соотношении сил двух мировых систем, определяющем ход исторического развития, обуславливаются борьбой двух мировых систем — лагеря социализма и лагеря капитализма. В этой борьбе происходит постоянное возрастание сил и могущества социалистического лагеря, превращение его в решающий фактор развития человеческого общества и ослабление капиталистического лагеря, дальнейшее углубление и обострение всех его противоречий, дальнейшее загнивание и разложение империализма.

Среди идеологов буржуазии до сих пор встречаются люди, которые умудряются «не замечать» существования мировой социалистической системы.

Вопреки воле господ империалистов социалистический лагерь существует, растет, развивается и крепнет. Он занимает уже тридцать пять миллионов квадратных километров, производит более трети мировой промышленной продукции, дает почти половину мирового производства зерна, свыше сорока процентов хлопка и так далее. Хотят того или нет господ империалисты, а под знаменем социализма живет и трудится свыше трети всего человечества.

Промышленность стран социалистического лагеря уже теперь достигла того уровня производства продукции на душу населения, который существует в капиталистическом мире в целом. Передовое капиталистическое государство, США, еще обладает относительными экономическими преимуществами перед ведущей социалистической державой — СССР, однако жизнеспособность и сила всякого общественного строя, как учит марксизм и подтверждает сама история, определяются не столько достигнутым уровнем производства, сколько темпами его развития. А в этом отношении неоспоримые преимущества — на стороне социалистической системы.

Достаточно сказать, что в текущее семилетие СССР пройдет примерно две трети того пути, для которого США потребовалось почти полвека. Экономика СССР развивается в четыре-пять раз быстрее экономики любой капиталистической державы. И если темпы экономического развития социалистического лагеря неуклонно растут, то темпы развития капиталистических стран неудержимо падают.

И уже не когда-нибудь, а в самом ближайшем будущем, в реально ощутимые сроки мировая социалистическая система одержит оконча-

тельную победу в экономическом соревновании с капитализмом. Уже к концу семилетки страны социалистического лагеря превзойдут капиталистическую экономику по общему объему промышленной продукции, а по производству продукции на душу населения превысят показатели капиталистического мира в целом в два раза.

Эта победа мировой социалистической системы в решающей сфере человеческой деятельности — производстве материальных благ — окончательно подорвет социальную базу современного капитализма, неизмеримо умножит силу воздействия идей социализма на все человечество, революционизирует трудящихся капиталистических стран и создаст все условия для победы социализма в мировом масштабе.

Исход борьбы между социализмом и капитализмом, с точки зрения марксизма, может и должен быть решен не путем новой мировой войны, а путем мирного соревнования обеих общественных систем.

Однако, в то время как лагерь социализма ведет непрестанную борьбу за сохранение и упрочение мира во всем мире, страны империализма, особенно США, продолжают политику «холодной войны», увеличивают гонку вооружений, готовятся ввергнуть человечество в пучину третьей мировой войны.

Империализм толкает человечество на грань истребительной термоядерной войны.

Спасение человечества от этой катастрофы, обеспечение прочного мира между народами — самая важная, самая неотложная задача нашей эпохи.

Историческую миссию спасения человечества от чудовищной военной катастрофы взяли на себя социалистический лагерь и международное рабочее движение.

Этой актуальнейшей проблеме современной международной жизни, перспективам развития человеческой истории было посвящено новое Московское Совещание представителей коммунистических и рабочих партий.

Лучшие представители рабочего класса всех стран, виднейшие теоретики марксизма, подлинно народные вожди собрались на международный коммунистический форум, чтобы обсудить важнейшие проблемы современности, ознакомиться со взглядами и позициями друг друга, выработать единую точку зрения путем консультаций и согласования совместных действий в борьбе за великое общее дело.

В Заявлении Совещания — этом выдающемся марксистско-ленинском документе, являющем собой коллективную мудрость международного коммунистического движения, — дан глубокий научный анализ важнейших вопросов современности, всесторонне обобщен опыт международного коммунистического и рабочего движения, национально-освободительной борьбы народов колониальных и зависимых стран, дана оценка положения в капиталистическом мире и подведены итоги величайших достижений мировой социалистической системы. В этом программном документе определены дальнейшие пути и методы, указаны новые возможности и задачи борьбы против империализма и колониализма, за мир, демократию, национальную независимость, за полную победу марксизма-ленинизма.

Совещание подчеркнуло значение идеологических вопросов, идеологической чистоты рядов коммунистов, ибо хорошо известно, что старый мир стремится удержать массы в плену своей идеологии, что пережитки этой идеологии держатся в сознании людей еще длительное время и после победы социалистического строя.

Обращение Совещания к народам мира — это могучий зов, мобилизующий прогрессивные силы всего человечества на самоотверженную борьбу против истребительной термоядерной войны, за спасение жизни на Земле.

Документы, принятые Совещанием, являются глубоко научным, марксистско-ленинским анализом современной мировой обстановки. Эти документы являются также боевой программой огромного международного значения, ясной ориентацией и общей директивой для деятельности всех коммунистических и рабочих партий. Эти документы являются коллективным трудом коммунистического движения как целого, результатом коллективных усилий коммунистических и рабочих партий всего мира, эти документы являются примером творческого подхода к действительности в духе живого марксизма-ленинизма. Коммунистическое движение выковало новое мощное оружие, которое будет умножать его силы.

В научной характеристике современной эпохи выделяется главная отличительная черта нашего времени, заключающаяся в том, что мировая социалистическая система превращается в решающий фактор развития человеческого общества. Именно она, социалистическая система, как подчеркивается в Заявлении, определяет главное содержание, главное направление и главные особенности исторического развития человеческого общества в современную эпоху.

Но если мировая социалистическая система вступила в новый этап своего развития, в ходе которого СССР успешно осуществляет развернутое строительство коммунистического общества, а другие страны социалистического лагеря успешно закладывают основы социализма или уже вступают в период завершения строительства социалистического общества, то и капиталистическая система вступила в новый период своего развития, а именно: наступил новый этап в развитии общего кризиса капитализма. Своеобразие этого этапа, как отмечается в Заявлении, состоит в том, что он возник не в связи с мировой войной, а в обстановке соревнования и борьбы двух систем.

Анализируя послевоенный период развития человечества, Совещание выделяет два важнейших исторических события: 1) образование и упрощение мировой социалистической системы, 2) крушение системы колониального рабства под натиском национально-освободительного движения, подрывающего последние устои империализма.

Документы Совещания ясно и точно отражают позицию коммунистических и рабочих партий по вопросу о возможности предотвращения новой мировой войны, указывая, что в современную эпоху имеются силы, которые в состоянии пресечь попытки агрессивных империалистических кругов, и в первую очередь США, развязать новую мировую войну. В основе принятых Совещанием решений по этой проблеме лежит ленинская идея мирного сосуществования государств с различным социальным строем.

Хотя агрессивная природа империализма не изменилась и, следовательно, почва для возникновения агрессивных войн сохраняется, пока существует империализм, однако время, когда империалисты могли по собственному произволу решать, быть или не быть войне, миновало. В нашу эпоху имеется возможность предотвратить новую мировую войну и обеспечить прочный мир.

Впервые в истории борьбу против войны ведут великие организованные силы: могущественный Советский Союз, весь социалистический лагерь, поставивший на службу делу мира свою огромную экономическую и политическую мощь; миролюбивые государства Азии, Африки, Латин-

ской Америки; международный рабочий класс и его организации, в первую очередь коммунистические партии; национально-освободительное движение народов колониальных и зависимых стран; всемирное движение борцов за мир; нейтральные страны, выступающие за мирное сосуществование. Политика мирного сосуществования встречает поддержку и у той части буржуазии развитых капиталистических стран, которая трезво оценивает соотношение международных сил и роковые последствия современной войны для судеб мирового капитализма.

Совещание не просто констатировало отсутствие фатальной неизбежности войн, но и указало на возможность и условия их предотвращения.

Могущество социалистического содружества народов — это главный оплот мира, главная сила, преграждающая дорогу агрессивным войнам. Поэтому трудящиеся стран социалистического лагеря могут наиболее эффективно служить делу мира, умножая успехи социалистического и коммунистического строительства.

Коммунистические и рабочие партии высокоразвитых капиталистических стран должны мобилизовать трудящихся и все прогрессивные силы этих стран на борьбу против гонки ядерных вооружений, для нанесения главного удара против господства монополистического капитала. Наконец, важнейшей задачей трудящихся слаборазвитых стран является борьба за полную национальную независимость, за полный экономический и политический суверенитет, за ликвидацию иностранных военных баз на территории этих государств, за выход слаборазвитых стран из военных империалистических пактов.

«Коммунисты видят свою историческую миссию, — говорится в Заявлении, — не только в том, чтобы упразднить эксплуатацию и нищету в мировом масштабе и навсегда исключить возможность любой войны из жизни человеческого общества, но уже в современную эпоху избавить человечество от кошмара новой мировой войны». И Совещание совершенно точно определило условия, при которых уже в ближайшем будущем, «еще до полной победы социализма на земле, при сохранении капитализма в части мира, возникнет реальная возможность исключить мировую войну из жизни общества». Эта программа вдохновляет все прогрессивные силы человечества, сливает их в единый антиимпериалистический поток, мобилизует на активную борьбу за мир во всем мире.

Политические и теоретические оценки и выводы Совещания имеют огромное международное значение, являются программой действия для коммунистических и рабочих партий всех стран, для прогрессивных сил всего человечества.

Совещание дало оценку выдающимся достижениям мировой социалистической системы, определило пути дальнейшего сплочения сил социалистического лагеря, указало на авангардную роль Советского Союза в деле коммунистического и социалистического строительства, в борьбе за всеобщее разоружение и упрочение мира.

Анализируя эволюцию современного капитализма, Совещание подчеркнуло особо реакционную роль главной опоры современного империализма — США, ставших международным жандармом в борьбе с силами прогресса во всем мире. Совещание вскрыло глубочайшие противоречия капиталистической системы и указало на неизбежность ее дальнейшего ослабления, определило задачи коммунистических и рабочих партий капиталистических стран, пути и средства осуществления этих задач.

Совещание разработало новые марксистско-ленинские положения о перспективах развития стран, встающих на путь национальной незави-

симости, выдвинуло исключительной важности тезис о возможности создания стран национальной демократии. В документах Совещания сформулированы важнейшие задачи коммунистических и рабочих партий этих стран и указаны новые возможности их решения: доведение до конца революционной борьбы против империализма и феодализма, полное осуществление боевой программы национально-демократической революции, создание государств национальной демократии, борьба за перспективы некапиталистического развития, создание широкого народно-демократического фронта и так далее.

Одним из важнейших теоретических вопросов, рассмотренных на Совещании, является вопрос о формах перехода различных стран к социализму.

Вопрос о формах перехода к социализму ставился в свое время Марксом и Энгельсом, ставился и решался в новых исторических условиях В. И. Лениным, рассматривался на XX и XXI съездах КПСС, в Московской Декларации 1957 года. Совещание 1960 года дало новую проверку и подтверждение марксистского решения этого важнейшего вопроса современности. В Заявлении отмечена реальная возможность мирного перехода к социализму отдельных стран современного капиталистического мира. Подчеркнув, что коммунисты всегда были против экспорта революции, Совещание в то же время отметило необходимость решительной борьбы против империалистического экспорта контрреволюции.

Указав, что весь ход общественного развития дал новое блестящее подтверждение всепобеждающей силы марксизма-ленинизма, Совещание подчеркнуло, что ревизионизм остается главной опасностью, а борьба с ревизионизмом — важнейшей задачей марксистско-ленинских партий. Совещание отметило необходимость борьбы и против догматизма и сектанства, которые при известных условиях также могут превращаться в главную опасность на определенных этапах развития отдельных партий.

Совещание дало характеристику взаимоотношений всех коммунистических и рабочих партий, строящихся на основах независимости и равноправия, и определило отношение коммунистов к другим партиям.

Великое учение марксизма-ленинизма, совместная борьба за претворение его в жизнь объединяют коммунистов всего мира. Высоко нести знамя творческого марксизма-ленинизма как решающего условия победы — это интернациональный долг всех коммунистических и рабочих партий.

Главной предпосылкой и важнейшим условием объединения всех сил рабочего класса, сил демократии и прогресса в борьбе против империализма, в частности американского, является единство коммунистических партий. Забота об укреплении единства нашего движения — высший интернациональный долг каждой партии.

Нельзя допускать никаких действий, которые могли бы подорвать это единство.

Московское Совещание представителей коммунистических и рабочих партий, на котором обсуждение всех вопросов происходило в атмосфере братской дружбы на основе незыблемых принципов марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализма, явилось яркой демонстрацией сплоченности рядов международного коммунистического движения, беззаветной верности марксистско-ленинскому учению коммунистов всех стран, их твердой решимости хранить и впредь единство своих рядов, неутомимо бороться за чистоту великого учения Маркса — Энгельса — Ленина.

Надежды империалистов на раскол международного коммунистического движения потерпели полный крах. В результате Совещания достигнуто новое, небывалое сплочение международных коммунистических рядов и намечены пути дальнейшего укрепления этого единства.

В эти дни все человечество живет под впечатлением документов Совещания представителей коммунистических и рабочих партий. Ни один ученый, ни один общественный или политический деятель не может сегодня дать научный анализ или оценку любой международной проблемы, не основываясь на выводах и решениях Совещания.

Академик П. Ф. ЮДИН.

Душа мира

Осенней ночью 1921 года ехали мы верхом на кабардинских конях по дну глубокой мокрой балки — комиссар и я. Было это на Кавказе, обок с ущельем нижнего Баксана. Ехали на огонь — туда, где бойцы спали у пылавших сквозь дым костров. Ночь — чернее смолы. Комиссар был худенький человек, чуть заика, с виду пронзительно злой, а на деле сердечнейший парень, из бывших рабочих чичкинской колбасной фабрики в Москве. Вдруг он придержал за повод свою мохнатую Маруську.

— Слышь, командир!

— Ну?

— Вот ты ученый, кончал там чего-то. Скажи мне по правде: душа есть?

Я вздохнул с тоской: уж очень донимал меня этот комиссар своим любопытством.

— Скажем, есть.

— Где? Во мне нет. А в тебе?

— И во мне нет.

— Так где же?

— Ни в тебе, ни во мне — в нас...

Только что я начал распространяться насчет народной, коллективной, классовой души, как конек круто рванулся и вмиг вынес комиссара к огням.

За горой погромыхивал, спотыкаясь о камни, ледяной Баксан.

Потолковать бы мне теперь с комиссаром о всесветной человеческой душе. Развернули бы мы газеты последних дней, почитали бы их и подумали: «Вот — душа! Необъятная... Мировая!»

Небывало новый свет озаряет землю. Там, куда падают его лучи, люди уверены в настоящем, бесстрашны перед лицом будущего. Из какой бы страны ни обратил к этим лучам человек свой удрученный взгляд, уверенность вселяется в его сердце, бесстрашие — в мысль. Кто же зажег этот свет и в чем тайна его ослепительной яркости?

Обещая совершить изумительные дела, Архимед зывал когда-то: «Дайте мне лишь точку опоры!» Такую точку опоры нашло человечество в борьбе за мир, за демократию, за социализм.

Два программных документа мирового коммунизма... Недавно все мы с потрясающим увлечением, с радостной гордостью их прочитали. Да,

никогда еще не открывалось более широких дорог для приложения освободительной энергии народных масс!

Сила, обновляющая мир, растет, по мере того как мир обновляется. Тесная дружба народов, заново строящих свою жизнь, бескорыстное сотрудничество подлинно демократических стран; нации, вчера еще барахтавшиеся в колониальной грязи, а ныне — сильные, смелые и молодые, начисто освободившие свое самосознание от постыдных вериг приниженности и несправедливости, — здесь куется будущее. Отсюда оно бурно вторгается в сегодняшнюю жизнь. И это — душа мира!

Внутренний мир передовых людей нашего времени включает в себя такую силу духовного прогресса, что десяток последних лет поражает емкостью целого века. Оттого-то, вероятно, и понятна нам, как никогда раньше, органическая взаимосвязанность прошлого и настоящего при подъеме на высоту будущего. Великий прожектор истории посылает свой взгляд в будущее и выхватывает то одну, то другую часть целого: мир, довольство, свободный труд... Но все это неразделимо, ибо едина цель — счастье человечества.

Творец истории — народ. Он создает новые формы жизни. Он сочетает их с новым ее содержанием. Он автор эпохи и великий выразитель ее исторического смысла. Его творческое сознание строится на коммунистическом отношении к миру. Это то, без чего не живет в наши дни передовой человек.

Социализм как творческое начало жизни есть создание народное. Миллиард людей строит социализм, служа великому делу нового гуманизма. Лучшие люди социалистического мира — люди глубоко осознанного действия. Из привычки осмысливать свой труд в его общественном значении возникает ненасытная жажда деятельности на благо человечества. И в этом тоже заключена душа нашего современного мира!

С тех пор как возникло рабочее движение на Земле, не было еще такого всесветно-широкого слета могучих голосов, как тот, что навеки войдет в историю под именем Московского Совещания представителей коммунистических и рабочих партий восьмидесяти одной страны. Совещание обсудило все главнейшие вопросы, волнующие в наши дни человечество. Возникли два документа.

Призывы к борьбе за мир между народами, за равенство их и свободу, за окончательную гибель всех систем социального господства и способов экономического подчинения — эти светлые призывы слышны всей земле и отзываются делами прямого сочувствия во всех ее концах. Китайские металлурги из далекого Сианя уже заявляют о своем желании поддержать Заявление Московского Совещания высоким подвигом труда.

Душа мира!

С небывалой яркостью видим мы, как едино коммунистическое движение на земле, как монолитен лагерь народов социалистических стран. В иллюзиях нуждаются те, чей дух слаб. А сильные духом — иллюзий не ищут. Наши глаза открыты и видят то, что есть, — политические условия, быт, нравы, характеры, культуру, экономику, технику — все, что коренным образом перерабатывается в творческом опыте эпохи. Судьба нашей Родины все ближе роднится с судьбами народов социалистического лагеря, с судьбами всего мира. Чтобы ясно представить себе величие совершающегося, надо знать, что должно возникнуть из него в будущем для человечества. Мир и социализм — верные това-

риши, спутники и друзья. Их солидарность несокрушима. Социализм и борьба с колониальным рабством идут рука об руку по пути к свету и правде. Так мировая система социализма становится ведущей силой человеческого прогресса, его настоящей душой...

Капитализм гнивает с корней. Буржуазия смертельно боится народа и злобно ненавидит его. А народам империалистических стран глубоко антипатичны классово-эгоистические цели их правителей. Из этой противоестественной комбинации условий рождаются тайные замыслы новых Фуллеров, бредовые планы массовых атомных убийств. И пусть холодна, пусть беспощадна ярость убийц, для которых атомная чума — всего лишь запись в балансовой книге их каторжного концерна! Читая документы Московского Совещания, мы думаем: сила коммунизма растет! Тепло и радостно сознавать, что у этой очевидности есть еще и другой аспект: мир побеждает войну! Война уже не рок, не фатум. Ее непредотвратимость — ложь. Великая программа мира без войн, творчески обоснованная Н. С. Хрущевым на XV Генеральной Ассамблее ООН, воспринята лучшей стороной всечеловеческой души.

В борьбе за совершенствование мира нет агитации лучше правды. Именно она — правда — способна свести на нет силу любой, самой жестокой, самой ядовитой лжи. В одном из дневников своей молодости Л. Н. Толстой записал удивительно верную мысль: история есть лучшее выражение философии. В чем же подлинная философия нашей эпохи? В том, что человечество, творя историю, создает мир высокой общественной правды, и в первой колонне похода за общее счастье шагают народы, строящие социализм.

Задача глубокого и разностороннего художественно-философского осмысливания великих событий настоящего и неоглядных перспектив ближайшего будущего литературой нашей все еще не решена. Уж очень грандиозен масштаб соотношений, существующих между тем, что совершается на свете, и тем, что делаем мы, советские писатели, создавая свои книги. Конечно, правильно понять и оценить делаемое нами невозможно вне связи с общеполитическим смыслом нашей эпохи. Никогда еще не раскрывался с такой полнотой этот смысл, как теперь — в документах исторического Московского Совещания 1960 года. Сколь же неоценима их важность для нас, художников! Не забудем: слово наше — для всего человечества, трибуна наша — всесветна, и огромная ответственность, лежащая сегодня на всех нас вместе и на каждом в отдельности, предстала нам совестью нового мира, его душой.

С. ГОЛУБОВ.

Общая цель

Совсем недавно, на нашей памяти, едва ли не самым значительным средством общения народов были войны.

Кто из нас не помнит, что в деревне старый солдат — то ли израненный победитель с деревянной ногой, то ли бывший пленный — был единственным «международником», что только он был там живым свидетелем существования какого-то иного мира, мира с иным языком, с иными понятиями и обычаями, с иными людьми.

В поисках земли и хлеба покидали родину странники. Была политическая эмиграция. Были знатные путешественники. Одних гнала в дорогу «мировая скорбь», других — погоня за «золотым тельцом». Но это не было общением народов. Люди труда веками оставались изолированными друг от друга государственными границами, а главное, еще более незыблемые границы веками существовали в их сознании.

Так было.

И вот наше поколение осенила догадка о том, как богата Земля самыми разными людьми и как это необходимо, будучи гражданином и патриотом своей страны, узнавать весь мир.

Можно подумать — техника привела людей к этому выводу: ведь это она позволила людям видеть и слышать друг друга через огромные расстояния, она способствует их непосредственным встречам и общению.

Да, техника позволила запросто общаться людям разных стран и континентов. А что их заставило это сделать? Что возбудило в них эту потребность? Что заставило даже самого заядлого туриста, составителя фотоальбомов греческих, римских, египетских, индийских и перуанских древностей, вдруг обратить внимательный, подчас полный недоумения взгляд на своего современника, на своего тезку-человека, своего спутника, с которым он, не обмолвившись ни словом, ни приветом, достиг-таки верстового столба с надписью «Вторая половина XX века» и с которым вместе предстоит ему постигать самого себя — что же он и куда он идет?

И когда человек вглядывается в свою современность, он обязательно увидит в ней самое яркое, самое примечательное, не свойственное больше никакому другому времени явление — социализм.

Вот социализм и есть тому причина, это он вызвал живую потребность узнавания людьми друг друга — узнавания разных культур, разных искусств, разных технических и социальных идей, желание каждого обладать всем, что человечество создало лучшего за время своего существования.

Эта мысль совершенно ясно выражена в словах Заявления Совещания представителей коммунистических и рабочих партий: «Одно из величайших достижений мировой социалистической системы состоит в подтверждении на практике марксистско-ленинского положения о том, что вместе с падением антагонизма классов падает антагонизм наций» и что «на смену политической изолированности и национальному эгоизму, свойственным капитализму, пришли братская дружба и взаимная помощь народов, порожденная социалистическим строем».

Прочитав эти строки Заявления, я невольно вспомнил свое путешествие по Китаю, вспомнил ощущение того творческого содружества, которое не покидает вас в этой великой стране ни на шаг, и еще я вспомнил слова старого и мудрого профессора из Гуанчжоу товарища Ду Го-сэна: «Наша древняя культура и ваша, молодая, общением не создадут какую-то третью культуру, но каждая из них многое поймет и многое получит от такого общения. Потому что обе культуры ныне служат социализму!»

И в самом деле, что могло объединить людей, вызвать неисчерпаемый интерес друг к другу, понимание друг друга?

Общая цель — социализм.

И вот уже даже самый безразличный к современности фотограф древностей, даже самый яростный противник социализма не может пройти мимо него, чтобы не сказать себе: «Он существует. А что же дальше?»

Если социализм существует, если люди на огромной территории построили свое общество по своему собственному замыслу, впервые

преодолев стихийность своего развития, впервые нашли общую цель — значит, и дальше им идти по этому пути, к той же и еще более высокой цели: к коммунизму. Идти по пути, на котором люди понимают друг друга, понимают, как они богаты, и, значит, понимают, как нужно оберегать это свое богатство от гибели и уничтожения, идти по пути того движения, которое «превратилось в самую влиятельную политическую силу нашего времени, стало важнейшим фактором общественного прогресса».

С. ЗАЛЫГИН.

Маяк человечества

Передо мной на столе две газеты. Одна — с текстом Заявления Совещания представителей коммунистических и рабочих партий, другая — с Обращением к народам всего мира. Эти документы будут читать и изучать во всем мире. Не только коммунисты. Каждая строчка этих хартий касается жизни и будущности всех людей на Земле. Враги человечества будут искать между строк следы мирового коммунистического заговора — и не найдут. Будут искать противоречий с ранее принятыми документами, с основополагающими произведениями классиков марксизма — и не найдут. И прочитают свой приговор, ибо невозможно не видеть серьезнейших потрясений в лагере монополистического капитала, распада мировой колониальной системы и решающих успехов мирового социализма.

Концентрированная мысль, обобщенный опыт марксистских партий пяти континентов, вооруженных передовой теорией и тесно связанных с народными массами, — это яркий маяк. Одному человеку не охватить глазом всего многообразия фактов и явлений, легших в основу выработанных Совещанием документов, которые послужат ориентиром для сотен миллионов людей. И все-таки люди не читали бы газет, если б у каждого из них не было своего, пусть ограниченного, опыта, своих жизненных наблюдений и впечатлений.

Один старик в осажденном Ленинграде сказал мне слова, запомнившиеся на всю жизнь: «Вы, коммунисты, судите о людях по их делам. Это правильно. Но помните, что многие судят о ваших делах по людям».

Для того чтобы определить свое место, нужен, выражаясь штурманским языком, второй пеленг. Теория и практика, логика и художественный образ, расчет и эксперимент взаимно поверяют друг друга. На стыке обобщенного и личного опыта рождается ощущение своего места в строю.

Перечитывая Заявление абзац за абзацем, я невольно оживляю в своем сознании поток образов, впечатлений от дальних походов, от встреч с людьми, от произведений современного искусства. И меня радует, что многое из передуманного и пережитого находит опору в прочитанном.

Несомненно, что в последние годы люди мира все яснее осознают себя как нечто единое — как человечество. Тому есть много причин: сокращение расстояний и расширение международных связей, стремительный рост культуры и государственности отсталых народов, начавшееся завоевание космоса, нависшая над всем миром опасность ядерной войны.

Все яснее становится, что существуют общечеловеческие интересы. А раз так — существуют и общечеловеческие нравственные идеи, общечеловеческая мораль...

— Ого! — скажет кто-то. — Знаем мы эти разговоры! Буржуазия всегда рядилась в тогу общечеловеческой морали, чтобы заставить рабочий класс сойти с классовых позиций. Нет общечеловеческого, есть только классовое...

Но разве борьба с гитлеризмом не была воистину всемирным, всечеловеческим подвигом? И разве преступления фашизма не заклеены как преступления против человечества и человечности? Разве угроза ядерной войны и смертоносной радиации не касается всех и каждого?

И разве мысль, что все люди равны от рождения, не стала настолько общечеловеческой, что буржуазия, стремясь удержать неравенство, вынуждена спекулировать светлыми словами «Мир, Свобода, Равенство»? Вынуждена, потому что ни один буржуазный деятель, чей приход к власти хоть в малой степени зависит от избирателей, не рискнет сейчас открыто объявить себя сторонником рабовладения или завоевательной войны.

Человечество существует, и его чаяния, его всечеловеческую мораль сегодня наиболее полно представляют коммунисты. Центральный орган французской компартии не зря сохранил старое, жоресовское название газеты — «L'Humanité».

Империалистическая буржуазия еще сильна, но она не представляет человечества. Она давно уже не решается заявлять свое кредо без обвиняков, она стала на путь своеобразного самоотрицания. Мы уже не тот капитализм, говорят ее идеологи, что был осужден Марксом и Энгельсом, мы идем путем свободного предпринимательства, но печемся о народном благе. Мы держим большие армии, но только для целей обороны. Мы давно уже не колонизаторы и не империалисты. Мы опекуны и проводники цивилизации. Мы готовы уйти из колоний сами, как только подготовим отсталые народы к самостоятельной жизни.

Я был в Индонезии и знаю, как они уходили. Не своей волей и стараясь на прощанье раздеть и связать. Недавно я прочел в газетах, что за последний год индонезийцы национализировали семьдесят процентов оставшихся голландских предприятий. Отлично!

Общечеловеческая мораль существует — и классовая мораль буржуазии вынуждена отступать перед ней, как ложная мудрость перед светом истины. Буржуазные философы темнят и жонглируют словами, они, как кошки, отлично знающие, чье мясо они едят, предпочитают красться по стенке и все реже отваживаются перебежать дорогу. Не видя поддержки в современной действительности, они все чаще пытаются брать себе в союзницы историю. Буржуазный инженер Леман из научно-фантастического рассказа американского писателя Алана Инеса проповедует:

«— Вам не приходит в голову, что движение — это развитие? Я не отрицаю, мы совершали ошибки, но теперь с этим покончено. Во всяком случае, — он ухмыльнулся, — если б не кровожадное притеснение одних народов другими, что заставило бы людей броситься в межпланетное пространство? Да, люди много страдали, но в конце концов человечество от этого только выиграло».

Леман не зря ухмыляется. Он знает цену своим словам. Знакомая, заигранная пластинка: «Прогресс требует жертв, кучка беглых преступников из Ботани-Бей, потеснив аборигенов, создала культурную Австралию, на костях индейцев создавалась американская цивилизация, на купленном за горсть серебряных монет индейском острове Манхэт-

тен выросли чудо-здания, в том числе дворец Организации Объединенных Наций. Не будем же сентиментальны. Человечество только выиграло. Разве оно не воздало посмертные почести отважному Магеллану, своим открытием отдавшему Филиппины на поток и разграбление? Правда, забавник Твен записал в «Календаре простофили Вильсона»: «Замечательно, что Америку открыли, но было бы куда более замечательно, если б Колумб проплыл мимо». Но ведь это юмор, не более, а мы, благодарение богу, не простофили. Не стесняйтесь, господа, история все спишет...»

Но современная история — строгий бухгалтер. Она ведет точный счет. И уже давно ничего не списывает.

Нет, не кровожадность бросает человечество в звездное пространство и даже не неотложная нужда, а высокая и чистая жажда знания. Американская литература уже всю изображает колонизацию далеких планет и, фантазируя, проговаривается. Авторы этих сочинений буквально повторяют в космических масштабах многовековой опыт колониализма: тотальная эксплуатация туземцев, кабальные договоры и жандармская дубинка для переселенцев с Земли, смертность как естественный элемент калькуляции...

Нет, человечество наведет порядок на Земле, прежде чем проблема заселения дальних планет станет актуальной. Тут нужны чистые руки, и было бы недостойно человечества занести в звездный мир заразу гнивающего империализма.

Маяк, зажженный Совещанием коммунистических партий, светит ярко.

А. КРОН.



АРМАНДО ТЕХАДА ГОМЕС

(Аргентина)

★

ДЕВУШКА

Вспомни меня этой ночью, назови на своем наречии,
спутница снов моих, девушка, утро, полное птиц; назови меня,
когда, торопясь на работу, стоишь на площадке трамвая
в коротеньком будничном платьице, разрисованном лилиями.

Мне имя твое незнакомо; крошечное такое,
я знаю — оно похоже на поэму в одно словечко;
но я его называю, когда говорю «надейтесь»
или когда в мою душу ты входишь с песней беспечной.

Все лица твои в одном сияют мне; ветер ловит,
как лепестки, твой смех, мчась за тобой вдогонку.
Любовь твоя самозабвенно для вечности нас спасает,
и я в крови твоей слышу нежный хохот ребенка.

Ты озаряешь улицы вместе с утренними лучами,
когда идешь, на прохожих свое волшебство расточая.

Общественно бесполезные общественные учреждения;
шумные магазины, где ты лишена свободы;
подсчеты; зарплата; и горькая
необходимость себя продавать до субботы.

И ты — твой теплый затылок, раненый свет спокойных
глаз твоих, — все в тебе противится миру пигмеев,
когда на мечты опираешься, будто на подоконник.

А день, как огромный овод, гудит и жужжит нелепо,
стараясь, чтобы в тебе умолкнули птички ливни.
Города — льстецы, демагоги, завлекающие простодушных,
города — безымянные сводни, обходительно похотливые.
Они оплетают вас модами, липкие, как медузы,
рекламами и витринами пронзительно разукрашенные.
Города — это чопорные отели для проезжающих.
И умирать в городах, наверно, особенно страшно.

В них столько всего. Но они для любви ничего не сделали,
и ты с твоими мечтами на планах у них не значишься.
Но смех родился ведь с тобою, и свет твой скользит по лицам,
когда пролетает по улице твое легкрылое платьице.

Сейчас, когда ты нежданно в мечтах моих появилась,
пускай все на свете изменят

любовь твоя и легкрылость.

Позабудь о тоскливых сметах, все доходы хозяйские —
в сторону.

Будь собой и засмейся своим легким, лучистым смехом.
То-то опешат, наверно, погруженные в цифры сеньоры!

А я повелю поэме — на плечо ее опустишь
и на ушко шепни ей: утро, полное птиц...

тихая беседа
и немного грусти
под щекочущий запах обеда.
Это дон Мигель, встающий с рассветом,
чтобы выпить горячего мате¹,
это Хосе, Лусия, Томасито,
которым не хватает зарплаты.
Это донья Луиса,
весь день толкушая воду в ступке:
ее соседки, ее покупки...
Она пророчиг,
кто кончит тюрьмой,
а кто — сумасшедшим домом,
и клянется,
что у Нэны жених немой.
Он такой — мой квартал:
танцы субботними вечерами,
свадьбы и дни рожденья,
футбольный клуб,
питейное заведение,
стулья у каждой двери,
политические дискуссии,
теплые летние ночи
с легким запахом сырости,
идушие со смены рабочие
и карапузы, думающие,
что будут такими же,
только б им вырасти.

Мой квартал —
это «ничевошники»-полуночники,
урывающие радости на вечеринке
и в танцах сбивающие ботинки.
Это зима,
дожди без конца,
кино, поставляющее иллюзии
голливудского образца,
лотереи, жареные лепешки,
дома, тоскующие по теплу,
беспокойные, медленные рассветы
и нищета, притаившаяся
в каждом углу.

Мой квартал —
это простые люди, ценители
искусства бродячих актеров,
тротуар, темнота парадного.
Мой квартал — это мир бедняка,
заведенный волчок,
сигарета из черного табака,
это вьющаяся повилика,
это омолодившее кровь стиху
крепко закрученное словцо,
непонятное тем, кто вверху.

¹ Напиток, похожий на чай.

ПЕДРО ЛАЙА

(Венесуэла)

★

ИНОСКАЗАНИЕ О СПЯЩИХ ДЕТЯХ

Когда умирают дети,
я перестаю понимать
миссию смерти.

Мигель Отеро Сильва.

Они не умерли — они уснули:
ребенок — это луч неугасимый,
ребенок — это домик, где гитара
по мертвым никогда не голосила.

Я слышу их шаги среди извивов тучи,
я слышу их над колокольным плачем,
я слышу, как у побережья ночи
от смеха их хохочет ветер звонче.

Они не умерли,
они уснули.

Весь день играли в курицу слепую,
вот им глаза платком и повязали.

От радости, от чистоты своей
они навек устали.

Но почему они не отвечают
и день не пробужден их смехом и слезами?

Кто может знать! Как муравей, ребенок,
как побережье со следами чаек,
где все — загадка, все — иносказанье.

Я знаю — потеряли цвет слова их,
я знаю — их слова устали,
и холод, голубой, прозрачный холод,
лег на ресницы им, сковал уста им.
Сегодня поутру они играли в змейку,
и смерть их клейким языком коснулась.

Но ведь они не умерли — уснули,
текут в них вечной жизни струйки.
Как прежде, прячутся они в шкафах, на мельницах
и в нашей нежности к тому, что прорастает.
Их смерть коснуться не осмелится.

Они сегодня спят в пшеничных зернах.
И, как всегда, их игры
звонят на голубых просторах.

ЛУИС ПАЛЕС МАТОС

(Пуэрто-Рико)

★

УВЕСЕЛЕНИЯ

Французский флаг над портом взвился —
открыть дома терпимости.
Английский флагман появился —
бродяг из баров вымести.
Флаг янки...
— Эй, рому, негр! Поближе, антильянки!

Ром, проститутки, битые бутылки...
Увеселяются великие державы
в моей Антилье.

Перевел с испанского М. Самаев.

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ

★

МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ

Повесть

Было раннее утро, и трава, облитая обильной росой, казалась черной. Слабый ветер шевелил над Ишимом тяжелые клубы тумана.

Ваня-дурачок гнал через мост колхозное стадо и пел песенку. Губы у Ивана толстые, раздвигаются с трудом, поэтому в песенке нельзя было понять ни одного слова.

Я ехал на своем самосвале и уже собирался въехать на мост, но увидел на нем теленка. Задняя нога его застряла меж двух бревен, теленок лежит на брюхе, мычит, на том его борьба за жизнь и кончается. Я остановил машину и помог потерпевшему.

— Ну что ж ты,— сказал я Ивану,— губы-то распустил? Видишь, теленок провалился. Так ему и ногу недолго сломать.

— Пускай ломает.— Дурачок беспечно махнул рукой.— Прирежем... Хлопцам на стане три дня мяса не давали. А меня не дразни. Гошке скажу.

И пошел, волоча по траве свой длинный бич, который здорово щелкает в умелых руках.

Я медленно въехал на мост и забуксовал как раз на том месте, где провалился теленок. Я давил на газ, колеса крутились, еще больше раздвигая бревна, но машина не двигалась с места. Увидев это, Иван вернулся.

— Ну что? — спросил он, подходя, и хлопнул бичом.

— «Что, что», — передразнил я его. — Видишь, забуксовал.

— Ну давай тогда тебя прирежем. На шашлык.

— Брось ты эти свои шутки,— сказал я ему.— Ты вот лучше возьми мою телогрейку, вот так сложи вдвое, чтоб изнутри не запачкалась, и подложи под колесо.

Я благополучно переехал через мост и остановился. Иван подал мне мою телогрейку. Она была совсем чистая, а у него на правом боку через рукав шел грязный рубчатый след от ската.

— Ты сам, что ли, ложился под колесо? — спросил я.

— Нет, свою телогрейку подложил, а то твоя новая — жалко.

Выехав на грейдерную дорогу, ведущую на Кадыр, я в третий раз остановил машину и подошел к желтому дорожному щиту, на котором прямыми крупными буквами было написано только одно слово:

ПОПОВКА.

Много людей ездит мимо этого щита и видит то, что на нем написано. Но разве запомнишь название каждой деревни?

А я здесь часто бывал. Знал Гошку, знал и других.

Вот об этих людях я и написал свою повесть.

1

Кусты ивняка стояли над суженным руслом Ишима. Санька и Лизка нагрузили глиной высокий самосвал Павла Спиридонова, прозванного Павло-баптист, и Павло, надвинув кожаную фуражку по самые уши, уехал. Подруги, бросив лопаты, легли отдохнуть. Лизка сняла с себя выгоревшую кофточку, и тень от листьев пятнами упала на ее загорелую спину.

— Не умеешь ты, Санька, работать,— сказала Лизка.— Лопату криво удержишь, и все у тебя высыпается.

В кустах жужжали шмели и трещали кузнечики. Наискосок через небо почти невидимый самолет тянул извилистый волокнистый след. Лизка перевернулась на спину и посмотрела на небо.

— Смотри, самолет летит и дым пускает. Как все равно облако,— сказала она.

— А это облако и есть. Самолет сам его делает.

— Как это он делает?— недоверчиво спросила Лизка.

— Не знаю как, а знаю, что делает. Инверсией это называется.

— Ишь ты — инверсия,— почтительно повторила Лизка незнакомое слово.— Инверсия. А ты откуда знаешь?

— Так, знаю. Летчик один знакомый рассказывал.

— Летчик? У тебя есть знакомые летчики?

— Были.

Лизка немного помолчала, потом пошутила:

— Вот видишь, жила ты в городе, летчиков знакомых имела. А то ведь в Поповке их нету. Здесь какой ни то комбайнер и тот уже нос дерет — не подступишься. Поживешь-поживешь, да и выйдешь за Ивана-дурачка.

Санька, ничего не ответив, лежала, смотрела на небо и старалась ни о чем не думать. Ни вставать, ни тем более работать не хотелось.

— Слушала я вчера, как ты пела в клубе,— сказала Лизка.— Хорошо у тебя получается. Прямо как у артистки. «Парней так много холостых...»,— начала было Лизка, но одумалась.— Это ты тоже в своем городе научилась?

— Тоже.

— Все в городе,— вздохнула Лизка.— Летчики в городе, артисты в городе. А у нас...— Лизка поднялась на локте и посмотрела на дорогу.— Ой, никак Гошка едет!— сказала она радостно.

— Гошка?

— Ага.— Лизка торопливо застегивала кофточку.

— Ну что, мне опять идти цветочки собирать?— Санька поднялась и вытянула в стороны онемевшие руки.

— Сходи, Саня,— попросила Лизка.— Последний раз сходи. Сегодня что ни то да будет. Сегодня я у него добьюсь ответа.

— Что ж делать,— сказала Санька и пошла, раздвигая кусты, к Ишиму.

Гошка затормозил у самого обрыва и стал медленно подавать машину назад.

— Ну что, работать будем?— спросил он, стоя на подножке и глядя на Лизку через кузов.

— Будем,— сказала Лизка,— немного погодя.

— Погодя некогда, Лиза, там строители ругаются.

— Поругаются на пять минут больше. Санька умиралась, пошла умыться.

Гошка был в майке. Солдатская гимнастерка, придавленная учебни-

ком литературы, лежала рядом на сиденье. Лизка, влезая в кабину, отодвинула все это в сторону и сказала:

— Ты чего это костяной подворотничок носишь? От него шея портится. Надо тряпочный носить...

— Стирать его да подшивать,— сказал Гошка.— Некогда.

— Хорошо женатому,— вздохнула Лизка сочувствующе.— Жена и подошьет, и стирает, и вон дырку на рукаве залатала бы.

— Чего там латать? Выбрасывать пора.

— Чего ж не выбросишь?— насмешливо покосилась Лизка.

— А вот до плеча разорвется — выброшу.

Замолчали. Гошке хотелось спать, глаза слипались — не до разговоров. Сегодня в шесть утра он приехал из Актабара, а в восемь прискакал на лошади бригадир Сорока, заставил ехать за глиной. Лизка взяла в руки учебник, развернула посередине, долго смотрела, не читая, и снова положила на место.

— Учишься?

— А?— Гошка с трудом разомкнул веки.

— Учишься, говорю?

— Учусь.

— И долго тебе еще учиться?

— Не знаю, Лиза. Вот экзамен сдам, а там видно будет.

— В техникум пойдешь?

— Не знаю.

— Я летошний год тоже училась,— помолчав, сказала Лизка.— На кройки и шитья. Экзамены тоже сдавали. У меня и диплом есть.

Гошка не ответил.

— Я и вышивать умею. Что гладью, что крестом... Вот Мишка-тракторист увидел мои вышивки. «Кабы я не был женат,— говорит,— Лизка, на тебе б женился. А то,— говорит,— у меня не жена, а одно название. Так только, сготовить чего или постирать, а чего ни то сшить или вышить не может. Вот,— говорит,— коврик на стенку или подзор на кровать — все,— говорит,— купленное, за все денежки плачены». Ты б себе какую жену взял, а?

— Не знаю, Лиза. Какая попадется,— устало пошутил Гошка.

— Небось тоже хочешь покрасивше да ученую,— грустно сказала Лизка.— Вон как у Васьки. Ученая, учительшей работает, а некультурная. Придет с работы: «Я,— говорит,— устала, ты,— говорит,— должен за мной ухаживать». А чего она там устала? Чай, не кирпичи таскает. А когда Васька на курсы ездил, письмо ей придет, а она красный карандаш в руки, ошибки отметит и назад посылает.

Гошка открыл дверцу.

— Пойдем, Лиза, пока вдвоем поработаем.

— Еще посидим,— нерешительно попросила Лизка.

— Нет, нет. Некогда. Там строители небось рвут и мечут.

Он вытащил из-за кабины лопату с короткой кривой ручкой и пошел к заднему борту. Лизка неохотно пошла следом.

— Гоша, а ты вчера на собрании был?— спросила она, становясь рядом.

— Нет, я в Актабар ездил.

Лизка оперлась на лопату и сказала, как о большом секрете:

— Председатель выступал, Пятница. Говорил: как построим дома, женатым по полдома дадим, а у кого двое детей, так тому,— говорит,— и по цельному.

— Ладно, Лиза. Это нас с тобой не касается.

«Кабы ты схотела, так касалось бы»,— печально подумала Лизка и со вздохом швырнула в кузов первую лопату. Работали молча. Подошла

Санька, встала рядом с Лизкой и посмотрела ей в глаза. Лизка отвернулась, и Санька все поняла.

— Ну что?— спросила она, когда Гошка уехал.— Опять ничего не вышло?

— Нет.— Лизка отшвырнула лопату.— Не вышло.

— Ну, а что ты ему говорила? Опять на полдома намекала?

— Намекала,— призналась Лизка.

— Эх, Лизка, Лизка! Кто ж так делает? Разве такого парня заманишь этим?

— А чем же его замануть?

— Не знаю,— вздохнула Санька.— А если б знала, так не сказала бы.

— Это почему?

— Самой пригодилось бы,— тихо сказала Санька.

Лизка испуганно посмотрела в глаза подруге.

Санька отвернулась. Она долго смотрела в сторону Поповки, туда, где скрылась Гошкина машина, и не сразу услышала тихие всхлипывания.

— Ты что, Лиза?— кинулась она к подруге.

Лизка уткнулась мокрым лицом в траву и ничего не отвечала. Санька легла рядом.

— Ну что ты, Лиза? У меня ведь тоже ничего не получается. Ты хоть ему говоришь. А я и этого не умею.

Лизка села, утерлась подолом и, все еще всхлиывая, улыбнулась широкой улыбкой.

— Помнишь, Саня, я тебе рассказывала, сколько у меня парней было? Так все это неправда. Только один парнишка был, Аркаша Марочкин, Тихоновны сын. Билеты в кино покупал. А потом на службу ушел. Так с тех пор никого и не было.

Лизка замолчала и, сорвав желтый цветок одуванчика, стала рассеянно обрывать мягкие лепестки.

— Ну и что, ты уже забыла Аркашу?— тихо спросила Санька.

— Я-то не забыла, он забыл. Как первый месяц служил, одно письмо прислал — и все. Я ему еще штук шесть посылала, а от него ни ответа, ни привета. Да чего говорить! Им, мужикам, лишь бы обмануть, а наш брат — баба — всегда страдает.

— А может, у него времени нет письма писать? Может, с ним что случилось?

— Нет,— сказала Лизка и молоком, выступившим на обрыве стебелька, стала писать на руке слово «Аркадий».— Матери-то он пишет. Вчера иду мимо, а Тихоновна: «Зайди,— говорит,— на момент. Чего покажу». Фотокарточки показывала. Аркаша прислал. На танке сфотографированный, на котором ездит.

2

В этом году колхоз заложил двадцать два дома для переселенцев и молодоженов. На стенах некоторых домов уже лежали пожелтевшие от солнца стропила, для других домов еще только заложили фундамент.

На строительной площадке никто не работал. Возле четвертого справа дома стояла голубая «Волга» председателя колхоза Петра Ермолаевича Пятницы. Восемнадцать строителей (в Поповке их называли «шабашники») окружили председателя и слушали своего бригадира Потапова, высокого и худого мужика с усиками.

Гошка поставил машину возле растворного корыта и крикнул строителям, чтобы шли разгружать. Никто не отозвался. Только рыжий и рыхлый, похожий на женщину каменщик Валентин, не оборачиваясь, махнул рукой — подождешь.

Гошке тоже нужен был председатель, и он вылез из кабины.

Полукруглая желтая тень от широкополой соломенной шляпы падала на лицо председателя. На парусиновом пиджаке темнел потускневший и облупившийся за долгие годы орден Красного Знамени. Этот орден эскадронному командиру Пятнице вручил в 1921 году Буденный.

Председатель колхоза Пятница, прикрывая время от времени старческие веки, слушал бригадира Потапова. Голос у Потапова был глухой и ровный.

— Наше условие, Ермолаевич, простое,— говорил он.— Сто рублей в день на рыло — или порвем договор. Нам работа везде найдется.

— Не смею задерживать,— сказал председатель.

— Ты это, Ермолаевич, брось. Мы с тобой обое старые и лысые, и притворяться нам нечего. Тебе нужны дома, нам — деньги, друг без дружки нам не обойтись.

— Попался б ты мне лет сорок назад, Потапов,— задумчиво сказал председатель,— развалил бы я тебя шашкой на две половинки.

— Не развалил бы. Я костистый. Ты лучше скажи, будем перезаключать договор или ругаться будем?

— Ладно, отстань,— сказал Пятница.— Скажи лучше своим, пусть работают, а то за такую работу я вам и по десятке не заплачу. А насчет нашего разговора подумаю.

— А когда ответ дашь?

— Завтра.

Строители не спеша разбрелись по своим местам. Двое с лопатами через плечо пошли разгружать Гошкину машину. Петр Ермолаевич повернулся к Гошке.

— Ну, как дела, Яровой? Что это ты такой сонный ходишь?

— А чего ж мне не сонным ходить?— сказал Гошка.— Два часа всего спал.

— Тяжело,— согласился председатель.— Всем сейчас тяжело. Время такое. Зато осенью премии будем давать — тебе первому.

— Вы бы мне лучше отпуск дали.

— Зачем тебе отпуск?

— А вот.— Гошка вынул из кармана сложенную вчетверо бумажку.

В этой бумажке было написано, что выпускник десятого класса районной заочной школы Яровой Г. И. имеет право на отпуск за счет государства на время выпускных экзаменов.

Председатель перечитал бумажку два раза.

— Не могу,— сказал он, возвращая бумажку.

— Как это вы не можете?— возмутился Гошка.— Мне по закону положено.

— Какой тут, милая моя, закон,— вздохнул председатель.— Мне вот каждый день звонят из района: «Почему задерживаешь строительство? Почему опаздываешь с посевной?» А я что им скажу? Скажу, что я всех шоферов в отпуск отправил? Так по-твоему?

— Но мне же...

— Что тебе же? Экзамены надо сдавать? Знаю. А как на войне? Я в Отечественной, конечно, не участвовал, а вот в гражданскую у нас знаешь как было?

— Знаю,— сказал Гошка,— вы по трое суток с коней не слезали.

— Откуда ты знаешь?— удивился председатель.

— Это вы мне десять раз рассказывали.

Гошка огорченно махнул рукой и пошел к своему ЗИЛу.

3

Возле облитой маслом кирпичной стенки стояли машины. Из-под крайнего слева самосвала торчали ноги в легких парусиновых сапогах.
— Толька, убери ноги! Оттопчу!— крикнул Гошка, ставя машину к стене.

Из-под машины с тавотницей в руках вылез лохматый шофер в синем комбинезоне. Из бокового кармана достал измятую пачку «Беломора».

— Дай прикурить,— сказал он.

Гошка приехал в Поповку два года назад после демобилизации. Анатолий приехал в пятьдесят четвертом году после десятилетки: он считался среди новоселов почти старожилом. Гошка и Анатолий были друзьями, но в последнее время встречались редко.

— Пойдем, что ли?— спросил Гошка, закрывая машину.

— Пойдем.

По дороге домой Гошка рассказал Анатолию о своем разговоре с председателем.

— Какой ты дурак,— разозлился Анатолий.— На тебе скоро воду будут возить. Подумаешь, у него шоферов нет! А тебе какое дело? Тебе государство отпуск дает. А оно больше знает, нужен ты или не нужен. Ты ж завалишь экзамены.

— Не завалю.

— А я тебе говорю — завалишь. С таким дураком даже разговаривать не хочется. Отойди от меня. Вот так.

Некоторое время они шли молча. Гошка долго сдерживался и наконец хмыкнул в кулак. Анатолий тоже засмеялся.

— Когда у тебя сочинение?— спросил он, перестав смеяться.

— Через три дня.

— А шпаргалки у тебя есть?

— Нет. Я сам думаю написать.

— Чудак ты, Гошка. Кто ж сочинения сам пишет? Ты когда-нибудь такого видал?

— Нет,— сказал Гошка.

— Я тоже.

— Ну, а первый все-таки кто-то писал сочинения сам?

— Первый! А кто был первый человек на земле, ты знаешь? Адам! Вот, может, он первый и писал сочинения, а все, кто потом жил, сдували. И ты сдувай. Это надежней. Так все делают. А насчет устного экзамена я тебе вот что скажу. Самое главное — это уметь отличать положительного героя от отрицательного.

— А как же их отличать?

— Это очень просто. Тот ты, например, отрицательный. Ты, правда, не пьешь, не воруешь, не делаешь фальшивые деньги, но дураки — они тоже отрицательные.

— А ты положительный?

— Я положительный.

— Из чего это видно?

— А вот считай! — Анатолий стал загибать пальцы.— Комсомолец не хуже тебя. После окончания средней школы откликнулся на призыв. Добровольно поехал осваивать целинные земли. Имею почетную грамоту и медаль за освоение. Ну что? Съел?

— Ну, а еще что?

— Куда больше? Хватит.

— А вот Яковлевна говорит, что ты, когда в хатуходишь, ноги не вытираешь.

— Насчет ног — это верно, — признался Анатолий, — но зато... зато я приехал сюда после десятилетки. У меня не было жизненного опыта. Я уже шесть лет на целине.

— Много, — сказал Гошка. — А Яковлевна вон шестьдесят лет живет на целине — и ни одной медали. И вообще, — Гошка, сам не замечая, перешел на серьезный тон, — вот сейчас все говорят о десятиклассниках: им семнадцать лет, у них нет опыта, у них трудности. А когда я начинал работать, мне было двенадцать лет. У меня не было ни опыта, ни десяти классов. Почему же обо мне тогда ничего не говорили?

— Наверное, такое время было, — тоже переходя на серьезный тон, сказал Анатолий. — Не до тебя было.

— И тогда было не до меня, и сейчас не до меня.

— Да, — сказал Анатолий неопределенно и махнул рукой. — Ну, мне сюда. Пока.

4

В день экзамена Гошку все-таки освободили от работы. До города по грейдеру было двадцать два километра. Гошка долго ждал попутной машины, в школу приехал за пятнадцать минут до начала. Все заочники уже собрались. Они сидели на скамейках, на крыльце, просто на траве перед школой. Одни лихорадочно листали учебники, другие сортировали шпаргалки, третьи ожидали своей участи пассивно. Сутуловатый парень с пышной прической и металлическими зубами тасовал в руках пачку фотографий-шпаргалок.

— Навались, подешевело! Полный комплект сочинений за один червонец.

Парень был местным фотографом. Сегодня его продукция пользовалась небывалым спросом. Гошка тоже решил запастись новинками фотоискусства. На всякий случай. Он вынул деньги.

— Дай.

— Все, — сказал фотограф, — пива нет, ресторан закрыт. Осталась одна пачка — самому пригодится. Я тоже сдаю.

Вышел толстый учитель в чесучовом пиджаке и неожиданно тонким голосом сказал:

— Заходите.

Все пошли. В коридоре фотограф догнал Гошку и тронул его за рукав.

— Четвертной дашь?

— Раздумывать было некогда. Гошка сунул ему двадцатипятирублевку. Рассаживались долго. Взрослые люди с трудом помещались за детскими партами. Гошка сел за третью парту. Фотограф сел рядом.

— Вдруг чего, дашь мне сочинение, — сказал он.

Гошка не ответил. Ученики заворуженными глазами следили за учителем, пухлые пальцы которого слишком медленно разрывали пакет. Но вот он написал на доске первую тему, и Гошка облегченно вздохнул. «Молодая гвардия». Эту книгу Гошка знал хорошо.

Всего было четыре темы. Фотограф долго думал, на какой из них остановиться, и не остановился ни на одной.

— Слышь, дай мне Тургенева, — шепнул он Гошке.

— Полсотни, — сказал Гошка.

— Я ж тебе за двадцать пять.

— Подорожали.

Фотограф помолчал, подумал, но пятьдесят рублей пожалел. Он заглянул в Гошкину тетрадь.

— За два одинаковых сочинения оба автора получают по двойке,— глядя в потолок, сказал всевидящий учитель.

Гошка отодвинулся. Фотограф почесал в затылке и — делать нечего — взялся за сочинение. Некоторое время молча скрипел пером, потом ткнул Гошку в бок.

— Слышь, как пишется «патриот» — через два «т»?

— Пять рублей,— предложил Гошка.

— Шура,— сказал фотограф и обиженно отвернулся.

5

В начале июня неожиданно приехал досрочно демобилизованный Аркаша Марочкин. Уезжал простым человеком, а вернулся ефрейтором. Привез Аркаша матери подарки — полушалок чисто шерстяной, отрез на платье и еще кое-чего по мелочи. Было чего рассказать. Когда выключили электричество, Тихоновна засветила керосиновую лампу, и долго еще желтели два окна в доме Марочкиных.

Утром Аркаша, не торопясь, умылся, позавтракал и, приведя себя в порядок, вышел на крыльцо.

Лизка, которая вот уже полтора часа ковыряла мизинцем трухлявую штакетину в Аркашиной калитке, кинулась к долгожданному.

— Аркаша!

И обомлела. На Аркаше все сверкает. Сапоги, пуговицы, бляха. На груди значок штук шесть. Все большие, как ордена, и тоже сверкают.

— Аркадий Алексеевич,— поправилась Лизка и отступила на два шага в сторону.

— Здорово! — Аркадий двумя пальцами расправил гимнастерку под ремнем и, выбросив вперед левую руку, долго смотрел на циферблат часов.

— Сколько время? — почтительно спросила Лизка и сама смутилась от нелепого своего вопроса.

— Полчаса десятого,— значительно ответил Аркашка и между прочим поинтересовался: — Ну, как жизнь?

— Ничего, спасибо.

— Замуж еще не вышла?

— Нет еще.

— Чего ж так?

— Куда спешить-то? — сказала Лизка, приблизилась и тревожно посмотрела в Аркашины глаза. — А ты... А ты не женился?

— У солдата в каждой деревне жена и в каждом доме теща,— сказал Аркаша и опять посмотрел на часы. Потом вынул из кармана сверкающий никелем портсигар, щелкнул крышкой, постучал по крышке мундштуком «Беломора».

— Опять в колхоз пойдешь или как? — робко спросила Лизка.

— Не знаю. Посмотрю, чего председатель скажет. Найдется чего подходящее — останусь. А нет, так... Меня теперь где хотишь примут. Межаник-водитель. На любой завод без разговору.— И заторопился: — Ну ладно, пойду, чего тут зря разговаривать!

Лизка одним пальцем тронула наглаженный рубчик Аркашиного рукава.

— Вечером в клуб придешь?

— Не знаю.— Аркаша убрал локоть.— Чего там делать? — Но, поглядев ей в глаза, смягчился: — Может, и приду. Видно будет.— И пошел по тропке мимо соседских дворов, стройный, подтянутый.

Лизка тоже пошла было, но на крыльцо, гремя ведрами, вышла Тихоновна. Поздоровались. Тихоновна внимательно посмотрела на Лизку, спросила:

— Ждешь кого?

— Да нет... так просто стою.

— Аркашу видела?

— Видела.— Лизка пожала плечами — дескать, было б на что смотреть.

Тихоновна поставила ведра на землю.

— Ну и как?

— Да чего — как? Парень как парень. Две руки, две ноги — ничего особенного.

— Это как сказать — ничего особенного. На службе-то девки за им знаешь как бегали.

— Девки бегали? — насторожилась Лизка.

— И-их, милая, еще как бегали-то.— Тихоновна для чего-то наклонилась к самому Лизкиному уху и понизила голос. — Фотокарточек привез цельную пачку. Вот такую. И все девки. Мне уж больно одна там понравилась. Из себя такая видная, и родинка на этом месте, возле глаза. Симпатя. На фершалку учится.

— На фершалку?

— На фершалку, милая, на фершалку,— охотно подтвердила Тихоновна.

— Ну, я пойду,— неожиданно заторопилась Лизка.— До свидания вам.

— До свидания, милая. Заходи как-нибудь,— радушно предложила Тихоновна. «Когда нас дома не будет»,— добавила она про себя. Ей не нравилась Лизка. Она считала, что сын ее достоин лучшей пары.

А Лизка шла, задевая пальцами штaketник, и не глядела под ноги. «Фершалка,— думала она,— подумаешь, фершалка».

6

До последнего экзамена оставалось шесть дней. Немецкий язык — предмет несерьезный, и про учительницу, которая вела его, ходили в школе добрые слухи. Говорили: если знаешь все буквы — тройку поставит. Алфавит Гошка мог прочесть без подготовки. Поэтому он решил отдохнуть и сходить в кино.

Все знали, что в клуб привезли фильм про шпионов. Поэтому задолго до начала все скамейки были заняты. Завклубом Илья Бородавка продавал билеты прямо у входа и сразу отрывал контроль.

Гошка увидел на одном подоконнике свободное место и пошел туда. — Гоша,— услышал он Лизкин голос и обрадовался. Подумал: «Значит, и Санька здесь». Но Саньки не было. Лизка сидела во втором ряду, а рядом с ней — Аркадий Марочкин. Он уже снял с себя военную форму и сейчас сидел в похрустывающей кожанке и хромовых сапогах. Время от времени он небрежно выбрасывал вперед согнутую в кисти левую руку и смотрел на светящийся циферблат своих часов. Лизка была в шелковой косынке, в синей жакетке, с искусственной розой на груди.

— Садись, Гоша.— Она подвинулась к своему кавалеру и двумя пальцами подтянула подол праздничного платья.— В кино пришел? — спросила она и улыбнулась уголком рта, чтоб показать металлическую «фиксу», вставленную недавно. Лизка смотрела на Гошку, счастливо улыбалась, и глаза ее говорили: «Вот не хотел ты со мной, а я не хуже нашла».

«Где ж Санька?» — подумал Гошка и хотел спросить о ней у Лизки, но почему-то не решился и сказал:

— Что это ты зуб вставила?

— Болел, — сказала Лизка, и видно было, что врет — купила за три рубля в Актабаре.

В первом ряду, прямо перед Гошкой, сидел завскладом Николай Тюлькин со всем своим семейством: женой Полиной, трехлетней дочкой Верочкой и тещей Макогонихой. Девочка вдруг расплакалась. Полина трясла ее на руках и успокаивала:

— Зараз зайцев покажут. Богато, богато зайцев побытых!

— А воны з рогами? — спросила девочка, вытирая слезы.

— З рогами, з рогами.

Бабка Макогониха сидела рядом и не обращала на дочку и внучку никакого внимания.

Когда-то хорошая хозяйка и рукодельница, в последние годы Макогониха чувствовала себя все хуже и хуже. У нее часто кружилась голова, тряслись руки, а в ногах была такая слабость, что даже поболтать с соседками старуха выходила редко. Она жаловалась дочери на недоумание и удивлялась:

— Николы такого не було.

— Шо вы, мамо, удивляетесь? Восемьдесят годов вам тож николы не було.

В последнее время старуха почти ничего не помнила и не понимала. Полина давно уже отстранила ее от хозяйственных дел. Старуха, отчасти потому, что не привыкла сидеть без работы, отчасти из чувства обиды и противоречия, хваталась за все, но ничем хорошим это никогда не кончалось.

Макогониха сидела рядом с дочерью и, недоверчиво поджав губы, смотрела на экран, как будто видела его впервые.

Лизка толкнула Гошку в бок и, имея в виду Макогониху, шепнула:

— Сейчас будет плакать.

И правда. Как только погас свет и на экране появились борцы, старуха завздохала:

— Боже ж мий, таки молоди. За шо их? — И, не получив ни от кого ответа, она заплакала от жалости к борцам и плакала потом, когда после журнала люди с собаками полтора часа гонялись за молодым шпионом.

Лизка сидела, скрестив руки на груди, и смотрела равнодушно. Она видела фильм раньше и все знала наперед. Поэтому, когда в самом захватывающем месте Марочкин вскрикнул: «Вот, елки-моталки, опять ушел!» — она прижалась к нему.

— Не бойсь, пымают.

— Тише ты — «пымают», — сказал кто-то в заднем ряду.

Лизка испуганно съежилась и сильнее прижалась к своему кавалеру.

Трещал аппарат. В клубе кто-то курил. Было дымно и душно. На туманном экране бродили шпионы. Гошка закрыл глаза. Его разбудила Лизка. Она протянула ему горсть семечек.

— Будешь лускать?

— Что? — спросил Гошка, открывая глаза.

— Спишь, что ли?

— Нет, — сказал Гошка и опять задремал.

После кино все расходились кучками. Возле крыльца целой толпой стояли ребята и, ослепляя выходящих электрическими фонариками, искали своих попутчиц. Анатолий, который во время сеанса сидел у дверей, вышел первым и подождал Гошку на улице. Они пошли вместе. Впереди

них шли Тюлькины. Глава семьи шагал посредине, неся на руках девочку.

— Ну как картина? — спросил Анатолий. — Понравилась?

— Понравилась, — ответил Гошка, зевая. — Спать хорошо.

— Ты что, спал? Зря. А я люблю такие вещи. Вот я читал книжку «Охотники за шпионами». Не читал?

— Нет.

— Про контрразведчиков. Интересно. Ты хотел бы стать контрразведчиком?

— Раньше хотел, — сказал Гошка.

— А теперь что ж?

— Не знаю. Некогда думать об этом. Своей работы хватает.

Они свернули на тропку и пошли по одному — Анатолий впереди, Гошка сзади. Слева чуть слышно журчала река, и вода, отражая яркие звезды, неясно мерцала сквозь редкий камыш. Было совсем темно.

— Да, — сказал Анатолий, — ты Саньку не видел?

— Нет. Не видел.

— Когда картина началась, она пришла в клуб, все кого-то высматривала, а потом ушла.

7

Шесть дней, данных на подготовку к немецкому, прошли незаметно. К исходу шестого дня Гошка знал не больше, чем в первый день. Вечером, придя с работы, он сел у окна и раскрыл книгу.

За столом в ватных брюках и валенках сидел дядя Леша и набивал солью патроны для своего ружья. Иногда Гошка отрывался от учебника и смотрел, как старик сыплет в патрон щепотку серой, как весенний снег, соли и утрамбовывает ее желтым от самокруток пальцем.

Надвигались сумерки, но возле окна было еще довольно светло.

— Слышь, Гошка, — спросил хозяин, — у тебя ноги на погоду не крутит?

— Нет, — рассеянно ответил Гошка, — не крутит.

— А у меня крутит, — сказал дядя Леша и вздохнул. Ему очень хотелось поговорить с Гошкой, но Гошка, видимо, не был расположен к разговору. Дядя Леша почесал в затылке и снова принялся за свое дело.

С ведром в руках вошла Яковлевна.

— Так ты еще сидишь! — возмутилась она, стаскивая у входа резиновые сапоги. — Я вже корову подоила, порося накормила. Ой, Лешка, растащат у тебя склад — скажешь, шо я брехала.

— Ладно тебе, — примирительно проворчал дядя Леша. — Иду.

Но пошел он не сразу. Сперва ссыпал патроны в парусиновый мешочек, потом перемотал портянки, надел тулуп и долго искал свою шапку. Наконец перекинул через плечо централку и пошел к дверям.

— Ну, я пошел, — сказал он, остановившись.

Яковлевна промолчала. Гошка был занят и тоже промолчал.

— Ну, я пошел, — повторил дядя Леша. И так как его никто не задерживал, он вздохнул и вышел на улицу.

Яковлевна вкрутила лампочку. Гошка пересел к столу.

В окно постучали. Гошка подумал, что это дядя Леша. Видно, забыл что-нибудь. Гошка выглянул в окно и увидел всадника. Это был бригадир первой бригады Сорока. На лошади он напоминал модель памятника Юрию Долгорукому, что украшала собой чернильный прибор председателя.

— Гошка! — Сорока откинул руку с нагайкой в сторону. — Гошка, гони до правления. Там тебя председатель ждет,

Он резко опустил руку. Лошадь испуганно шарахнулась и унесла его в сумерки.

На столбе перед конторой горела лампочка. Она освещала кусок двора и высокое крыльцо с покосившимися перилами. Возле крыльца на земле лежал старый дамский велосипед. По нему Гошка сразу определил, кто находится в конторе. Это был велосипед бригадира строителей Потапова. Велосипед был старый-старый, и, когда хозяин ехал на этой штуке, по всей Поповке был слышен скрип.

Восемнадцать строителей сидели в конторе вдоль стен. Восемнадцать папирос мерцали в полумгле. Дым, слоями развешанный в воздухе, колебался. Мутный свет лампочки едва проходил через эти слои. За широким столом малозаметный в дыму сидел председатель и вертел в руках чернильницу, украшенную бронзовым Юрием Долгоруким, который напоминал бригадира Сорочу.

Председатель недавно бросил курить. Он кривился и морщился, испытывая искушение, и, отставив чернильницу, отмахивался от дыма руками. Перед ним стоял Потапов и убеждал председателя в том, что лучшей бригады, чем та, что сидит в этой комнате, ему не найти во всем районе и поэтому председателю нужно согласиться платить строителям по сто рублей на брата.

— Отстань,— сказал председатель устало.— Лучше отстань, Потапов.— И постучал пересохшей чернильницей по пружинящей крышке стола.

Потапов покосился на чернильницу, но, не отступая, спросил:

— Значит, не дашь?

— Не дам,— решительно сказал Пятница.

— Не дашь?

— Не дам.

— Дай закурить.— Потапов откинул в сторону руку.

Каменщик Валентин бросился к нему и с готовностью развернул портсигар. Некурящий Потапов закашлялся с непривычки и выпустил облако дыма в лицо председателя.

— Ладно,— сказал Потапов, покурив.— Последний раз спрашиваю: даешь или нет?

— Нет,— сказал председатель.

— Ладно. Тогда порвем договор. Завтра утром чтоб был полный расчет. Пошли, хлопцы.

Строители ушли.

— Георгий, открой окно,— попросил председатель, а сам пошел открывать другое.

Свежий ветер качнул сероватые занавески. По ступенькам крыльца вразнобой стучали сапогами строители. Потом раздался режущий ухо скрип и визг. Это ехал на велосипеде Потапов.

— Сволочь,— тихо сказал председатель и повернулся к Гошке.— Знаешь, зачем я тебя вызвал?

— Не знаю,— сказал Гошка.

— Завтра в Актабар эшелон с лесом приходит. Все машины туда бросаем.

— Меня не бросайте. Не поеду.

— Почему ж это?

— У меня завтра экзамен. По немецкому.

— Ну и что? Нагрузишься там, это недолго... минут пятнадцать. Потом в школу поедешь.

Глаза у председателя были грустные и красноватые. Гошке вдруг почему-то стало его жаль, и он согласился:

— Ладно, поеду.

Утром, выезжая из гаража, он подобрал Анатолия. Машина Анатолия стояла в Актабаре на ремонте, и он ездил в город на попутных. Ехали молча. Анатолий насвистывал какую-то песенку. Гошка крутил баранку, вспоминая про себя правила спряжения глаголов.

Выехали за околицу. Высокое солнце било в глаза. Впереди показалось кладбище.

— Вот смотри, ходим тут, ездим, а потом все равно туда,— сказал Гошка.

— Боишься умирать? — спросил Анатолий.

— Боюсь.

— А чего бояться-то? Умрешь — не надо ни о чем заботиться, ни о чем думать. Немецкий учить не надо. Зачем жить хочешь?

— Не знаю,— сказал Гошка.— Наверно, из любопытства. Хочется знать, что завтра будет.

— Завтра дождь будет. Смотри,— Анатолий вытянул шею,— никак покойники.

При приближении машины с кладбища поднялся высокий и худой человек и, ведя в руках дамский велосипед, вышел на дорогу. Это был бригадир Потапов. А за ним потянулись к дороге остальные шабашники, каждый со своим инструментом, как оркестранты. Остановившись посреди дороги, Потапов поднял руку, словно приветствовал проходящие перед ним войска. Гошка остановился.

— До Тимашевки подвезешь? — спросил Потапов и поставил на ступеньку ногу в белом от пыли кирзовом сапоге.

— Уезжаете? — спросил Гошка.

— А чего ж делать? — Потапов тронул пальцем стриженные свои усы.— Председатель договор перезаключать не хочет, а нам что? Мы люди вольные, дефицитные, нас где хотишь возьмут. А оно ведь, как говорится, рыба ищет где глубже... Каждый свой интерес понимает.

— Не повезу,— сказал Гошка, выжимая сцепление.

— Как — не повезешь? — Потапов одной рукой ухватился за дверцу.— Мы ж не задаром. По трояку с брата заплотим. Трижды восемнадцать — пятьдесят четыре. Заработать не хочешь, что ль?

— Погоди! — Анатолий выключил зажигание.— Давай по пятерке — повезем.

— Много больно,— замаялся Потапов.

— Не хочешь, как хочешь. Поехали, Гошка.

— По четыре,— набавил рыжий и рыхлый каменщик Валентин. Он был в милицейских галифе и в белых тапочках.

— По четыре с половиной,— предложил Анатолий.— И то себе в убыток.

— Ну и дерешь,— возмутился Потапов.

— Каждый свой интерес понимает,— процитировал его Анатолий.

— Ну и жох,— сказал, сдаваясь, Потапов.— Ладно, хлопцы, поехали, а то тут машины не дождешься.

«Дефицитные люди» горохом посыпались в кузов. Открыв дверцу, Гошка сказал:

— Садитесь все вдоль бортов, а то еще выпадаете, отвечай за вас.

Проехав с полкилометра по грейдеру, машина свернула вправо на едва заметную степную дорогу и остановилась. Анатолий вылез на подножку и сказал, не обращаясь ни к кому в отдельности:

— Сейчас заскочим в бригаду. Там подборщик с осени остался, хватить надо. Мы бегом.

— Валяйте,— махнул рукой Потапов.

Машина снова тронулась в путь. По этой дороге машины ходили обычно только два сезона в году: во время уборочной и во время посева.

ной. В остальное время дорога была пуста. Справа и слева, колеблемая тихим ветром, пыльно-зеленая, волновалась пшеница. Скоро шабашникам стало скучно, и они решили петь песни.

Когда б имел златяя го-оры,—

начал Валентин, и все подхватили:

И ре-ски, полные вина...

Шабашники пели нестройно, каждый старался всех перекричать.

Анатолий прислушался.

— Поют? — спросил он.

— Поют,— подтвердил Гошка.

Когда спидометр отсчитал двадцать километров, Гошка посмотрел на Анатолия.

— Пожалуй, хватит.

— Давай еще,— сказал Анатолий.— Что тебе, бензину жалко?

— Нет, хватит,— сказал Гошка.

Машина медленно взбиралась на большую гору, похожую на верховое седло. Шабашники, сидя вдоль бортов, пели. Валентин, покраснев от натуги, вытягивал шею, и его писклявый бабий голос выделялся среди всех остальных. Потапов одной рукой придерживал велосипед, который лежал посредине и подпрыгивал на ухабах. Вдруг мотор зачихал, захлопал, и машина остановилась, немного не доехав до вершины сопки. Гошка и Анатолий выскочили из кабины и открыли капот.

— Карбюратор,— сказал Гошка.

— Трамблёр,— возразил Анатолий.— А ну-ка ты,— обратился он к Валентину,— у тебя силы много. Покрути ручку.

Валентин крутил до тех пор, пока не взмок от пота. Потом крутили все остальные.

— Придется толкать,— сказал Анатолий, забираясь в кузов.— Я буду командовать. Раз-два, взяли!

Шабашники облепили машину, как мухи горшок со сметаной.

— Еще — взяли!

У Валентина от напряжения вздулись на шее жилы, и конопатое лицо его омылось румянцем. Бригадир Потапов шел бочком, упиравшись в кузов одной рукой, осторожно, словно боялся прилипнуть.

— Ты, начальник, не стесняйся,— сказал ему Анатолий,— здесь все свои. Вот видишь, сама идет, только толкай.

Подталкиваемая тридцатью шестью руками, машина медленно перевалила через гребень сопки и, быстро набирая скорость, покатила под уклон.

— Стой,— устало махнул рукой Потапов.— Стой! — крикнул он, видя, что машина все удаляется.

— Стой! — заорали хором шабашники, и бабий голос Валентина снова перекрыл все остальные. Валентин первый понял, что их обманули, и, работая локтями, побежал за машиной. Его рыжие волосы упали на лоб, придавая лицу выражение свирепости. За Валентином, широко расставив руки, бежал Потапов. За ними валили толпой все остальные.

Анатолий, стоя в кузове, поднял над головой измятую кепку.

— Привет бригаде коммунистического труда!

Впрочем, вряд ли те, к кому он обращался, могли его услышать.

У подножия сопки Гошка остановил машину и, вскочив в кузов, помог Анатолию сбросить на землю вещи шабашников. Они торопились и один ящик бросили неосторожно, из него вывалились на дорогу топор,

рубанок, ножовка и прочий плотницкий инструмент. Последним полетел с кузова велосипед бригадира. Он ударился о землю, высоко подпрыгнул и, свалившись набок, прочертил рулем полосу в дорожной пыли.

— Поехали,— скомандовал Анатолий.

Шабашники, размахивая руками, бежали с сопки, и уже совсем близко мелькали белые тапочки Валентина, когда машина тронулась и, обогнув сопку снизу, ушла по направлению к грейдеру.

— Небось рады, что мы с них денег не взяли вперед,— сказал Анатолий.

8

Несмотря на то, что Гошка приехал на станцию рано, там уже была очередь на погрузку. Гошка поставил машину в хвост колонны и сел на подножку читать учебник. Просмотрев две страницы, он понял, что уже все равно ничего не успеет выучить, и ему оставалось только надеяться на учительницу, которая, по слухам, ставила тройки за одно только знание алфавита. «Как-нибудь,— думал Гошка.— Все сдал, а уж немецкий...»

Когда подошла Гошкина очередь, он поставил машину под погрузку и отдал накладную хромому заспанному мужику. Тот долго держал накладную в корявых пальцах, рассматривал ее и, возвращая Гошке, сказал:

— А почему не подписано?

— Как не подписано?

— А вот не подписано. Видишь: «Подпись руководителя учреждения» — председателя, значит. Где она?

— Что ж делать?

— За подписью надо ехать. Давай освобождай место, другие ждут.

— Слушай. Ну, председатель потом приедет, подпишет.

— Потом и получишь. Освобождай место.

Он был неумолим.

Гошка плюнул, заехал в ближайший переулочек и нарисовал на накладной несколько крючков и закорючек. Вышло довольно убедительно. Гошка вернулся на станцию.

— Так быстро? — удивился завскладом.

— Встретил его, ехал в райком,— сказал Гошка.

— Ну вот видишь, как хорошо получается. Открывай борт.

Хотя грузчики работали быстро, в школу Гошка все-таки опоздал. Экзамены уже кончились. Гошка встретил учительницу, когда она с маленькой сумочкой и букетом цветов выходила из класса. Это была не та учительница, о которой ходили такие добрые слухи, а другая — молодая, высокая, с пышной прической. Несмотря на свою молодость, учительница была закоренелой пессимисткой. Все ученики, по ее мнению, были неисправимыми лодырями.

— Экзамен уже окончен,— сказала она.

— А как же быть? — спросил Гошка.

Учительница равнодушно пожала плечами.

— Надо было раньше думать. Для чего-нибудь другого вы бы нашли время. А для экзаменов у вас его нет.

— Ну как же, я ведь готовился, готовился,— сказал Гошка, идя следом.— Может, примете, а?

То ли голос его звучал очень жалобно, то ли была для этого другая причина, но учительница остановилась и сказала:

— Не знаю, что с вами делать. Я уже ключи отдала уборщице.

— Я сейчас возьму,— сказал Гошка и, не дожидаясь ответа, побежал искать уборщицу.

Учительница вошла в класс, положила на стол цветы, сумочку, достала из сумочки папиросу и сунула Гошке словарь.

— Переводите отсюда досюда.

Сама закурила и села на краешек парты у окна. Гошка трудолюбиво листал словарь.

— Ну что? — спросила учительница через несколько минут.

— Сейчас.

— Хорошо.

Подождала еще минуты три.

— Кончили? Нет? Сколько же вы перевели? Четыре строчки? Можно бы и больше, если вы усердно готовились. Ну хорошо, читайте. Так. Так. Это слово читается так: лейбен. Читаете вы, надо прямо сказать, неважно. Ну, а что вы еще знаете из области немецкого языка? Основные формы модальных глаголов знаете? Не знаете? Поспрягайте глагол «лерен».

— Лерен, лерте, гелерт.

— Правильно. Немен.

— Немен, немте, генемт, — охотно сказал Гошка и доверчиво посмотрел на учительницу.

— И это называется, вы знаете предмет, — с горечью вздохнула учительница. — Неправильно. Немен, нам, геномен. Не понимаю, зачем государство дает вам месячный отпуск.

— У меня не было отпуска.

— Ну да, вы — исключение.

Учительница взяла со стола цветы и сумочку и направилась к выходу, торжественно неся свою красивую голову с пышной прической.

— Может, я пересдам? — идя за ней, нерешительно попросил Гошка.

— Конечно, пересдадите. Осенью, — ответила учительница, не оборачиваясь.

9

Звездный вечер стоял над Поповкой, и луна, расколотившись, лежала в Ишиме. Гошка осветил спичкой часы и пошел домой. Он шел вдоль берега, раздвигая кусты, и пушистые листья скользили по его щекам. У песчаной излучины против бани Гошка хотел свернуть к дому, но услышал девичьи голоса. Гошка раздвинул кусты и увидел Лизку, которая, сцепив руками колени, сидела на бугре. Кто-то барахтался на середине реки.

— Эй, Лизка! — услышал Гошка Санькин голос. — Давай купаться!

— Холодно! — отозвалась Лизка.

— Глупая! — плывя к берегу, крикнула Санька. — Вечером вода всегда теплее!

Она подплыла к берегу и, все еще разводя руками, стала выходить из воды. И Гошка увидел, что она совсем голая. Он попятился назад, но под ногой хрустнула ветка, и Гошка застыл, боясь пошевелиться, боясь быть обнаруженным. Санька вышла и остановилась возле Лизки.

— Боишься? — спросила она. — А мне хоть бы что. Нисколько не холодно.

— У тебя кровь горячая, — сказала Лизка.

Санька не спеша вытиралась. Осыпанная светом луны, она видна была смутно и в то же время отчетливо. Настолько отчетливо, что Гошке казалось: он видит, как с ее ступней сбегает в песок нестойкие капли воды.

— Красивая ты, Санька, — вздохнула Лизка. — С таких, как ты, наверно, картины рисуют.

— Правда, красивая?

— Правда,— сказала Лизка.

Санька тихоноcko засмеялась, а потом сказала грустно:

— Красивая, да смотря для кого.

— Все об Гошке своем переживаешь,— сказала Лизка.— А по мне так ничего в ём такого и нету. Вот Аркаша у меня... Вчера сидим на крылечке, он вот так взял за плечи: «Поцелуй,— говорит,— меня».— «А я,— говорю,— не умею целоваться».— «Ну,— говорит,— я тебя поцелую. Можно?»— «Можно,— говорю,— только осторожно».— «А больше,— спрашивает,— ничего не можно?»— «Ишь ты,— говорю,— какой быстрый. Ты,— говорю,— это брось, не на ту напал».— Лизка усмехнулась.— Они ведь, мужики, все такие. Лишь бы обмануть. А ты ходи потом мать-одиночкой, это его не касается. Но меня не обманешь. Я ведь таких насквозь вижу.— Лизка засмеялась, потом спросила испуганно:— Санька?

— А?

— А что, если кто ни то запрятался в кустах и смотрит?

— А это смотря кто...— Санька помолчала.— Вот если бы там Гошка стоял... Только так, чтоб я не знала.

От легкого порыва теплого ветра зашелестели кусты.

— Ну что, Лизка, пойдем? Завтра рано вставать.

Санька натянула на себя прилипающее к телу платье и пошла впереди, неся в руках белые тапочки. Гошка подождал еще немного и вышел из кустов.

10

Как-то после обеда Иван ходил по деревне и, показывая всем большой екатерининский пятак, хвастался:

— Вот, поеду в Акмолинск. Машину куплю, буду ездить, как председатель.

Оказалось, что за этот пятак Иван продал цыганам колхозную корову. Цыган догнали, корову отобрали, а пятак остался у Ивана. Только с того дня мальчишки не давали пастуху прохода. Они ловили его где-нибудь на улице, и кто-нибудь самый бойкий допрашивал: «Иван, ты зачем продал цыганам корову? Вот я возьму тебя за верхнюю губу и отведу в милицию». Иван прятал верхнюю губу за зубы. «Ничего, я тебя за нижнюю отведу». Иван пытался спрятать и нижнюю, но это ему не удавалось, и он, сжав кулаки, молча бросался на своих обидчиков. Те, визжа и хохоча, разбегались врассыпную.

Но потом эту историю забыли даже мальчишки, и единственный, кто ее помнил, был Тюлькин.

В этот день Тюлькин открыл склад поздно и, сидя за деревянной перегородкой, ожидал, не придет ли кто за продуктами. Но никто не шел. Тогда Тюлькин повесил на двери склада большой висячий замок и присел на оглоблю поломанной брички, что стояла во дворе. На свежем воздухе сидеть было приятно. Тюлькин вытащил из бокового кармана четвертинку и стограммовый стаканчик, поболтал остатки, выпил, не закусывая, и бросил бутылку на кучу опилок, чтобы не разбилась. Закурил. Глядя на черную свинью, что рылась в корыте посреди двора, он думал о смысле жизни. «Вот,— думал он,— жрет свинья. А зачем жрет? Чтоб жирней быть. Разжиреет, скорей зарежут. А ведь небось тоже жить хочет». Не хотел бы Тюлькин быть свиньей. Ведь свинья только для того и живет, чтобы ее зарезали. Подрастет, откормится, потом ее под нож и за заднюю ляжку на крюк. У Тюлькина таких крюков двенадцать штук в балку вбито.

Тюлькин перевел взгляд со свиньи на дорогу и, увидев на ней Ивана, понял: коров пригнали, значит время уже — обед. Увидев, что Иван идет к складу, догадался: тридцатое число. Пастуху, кроме трудодней, выпивали на каждый день литр молока и сто граммов сала. За салом Иван приходил в последний день каждого месяца, брал сразу три килограмма.

— Тюлькин, сало есть? — спросил он, подходя.

— На что тебе сало?

— Кушать буду.

— Куша-ать. У тебя вон губища какая — за все лето не сжуешь.

Иван, насколько это было возможно, поджал губы и, помолчав, напомнил:

— Тюлькин, давай сало.

— Ну ладно, — согласился Тюлькин. — Спляши барыню, тогда получишь. — Иван стоял, не двигаясь. — Ну, чего ж ты? Давай, давай, а то останешься без сала.

Иван постоял, подумал и стал нерешительно перебирать ногами.

— Ну, ну, быстрее, — подзадоривал Тюлькин.

Иван задвигал ногами быстрее. Это была не пляска, а какие-то целевые прыжки, лишённые смысла и ритма. Иван уже полдня гонялся в поле за коровами и особенно за телятами, которые чуть что поднимали хвосты трубой и разбежались в разные стороны. Поэтому сейчас он быстро умирался. Пот струйками тек с висков, со лба, затекал в глаза. Не останавливаясь, он скинул с себя казахскую лохматую шапку, расстегнул гимнастерку и продолжал подпрыгивать на месте, широко открыв рот и бессмысленно пуча глаза. Тюлькин угрюмо подбадривал:

— Давай, давай, работай, зарабатывай на сало.

Он смотрел на ноги Ивана и думал: «Хорошо быть дурачком, было б чего поесть да где поспать, а там хоть трава не расти. И обижай его, не обидится, потому что дурак».

Гошка шел мимо склада в магазин за папиросами. Он случайно увидел пляшущего Ивана и подошел поближе.

— Давай, давай, — подбадривал Тюлькин, — вот и Гошка хочет посмотреть. Хватит барыню, давай русского. Вот так, да побыстрей, а то сала не получишь.

— Опять балуешься, Тюлькин, — сказал Гошка и повернулся к Ивану. — Иван, перестань плясать.

Иван перестал. Поднял с земли шапку и дышал тяжело, по-рыбьи. Тюлькин посмотрел на Гошку, потом на Ивана и после некоторого молчания спросил:

— Ну, чего стал?

— Давай сало, — сказал Иван.

— А чего стал?

— Гошка сказал.

— Ну и проси у него сало, — подумав, посоветовал Тюлькин и, поднявшись, пошел прочь.

Гошка схватил его за рукав.

— Дай человеку сало.

— Вот ты и дай. Ты ведь начальник. Министр!

— Дашь сало?

— Не дам.

После выпивки Тюлькин становился храбрым.

У Гошки задрожали пальцы и кровь отошла от лица. Он сжал пальцы в кулак и двинул им Тюлькину в подбородок. Тюлькин прошел спиной вперед шага четыре и, споткнувшись, сел в пыль посреди двора возле свиного корыта. Свинья, испуганно хрюкнув, отбежала в сторону, потом зашла с другой стороны и снова принялась чавкать.

— Ну ладно,— сказал Тюлькин, трогая рукой подбородок.— Я тебе, Гошка, это припомню.

Он поднялся, сплюнул кровь с прикушенного языка и пошел прочь.

— Пойду скажу Петру Ермолаевичу, пусть он тебя на пятнадцать суток оформит.

— Сначала дай Ивану сало, а потом пойдешь жаловаться.

Тюлькин, не отвечая, прошел мимо. Гошка опять схватил его за рукав.

— Открой склад.

Тюлькин посмотрел Гошке в глаза и понял: надо открывать.

Вечером к Гошке зашел Пятница. Сняв шапку и приглаживая ладонью пушок на голове, он сказал:

— Ты что ж это, Яровой, рукоприкладством занимаешься?

— Каким рукоприкладством?

Гошка сделал вид, что не понимает, о чем речь.

— Ну как — каким? Вот Тюлькин жалуется, что ты его по физиономии съездил. Говорит: «В суд подам». Как же это получается? Я, конечно, на Отечественной не был, врачи в армию не пустили, но у нас в Первой Конной за это знаешь что делали? Не знаешь? А я вот тебе скажу: у нас за это...— Он долго думал, что в таких случаях делали в Первой Конной, но, так и не вспомнив, закончил:— У нас за такие дела по голове не гладили.

Гошка нахмурился.

— А что у вас делали в Первой Конной, если кто-нибудь издевался над раненым или больным?

— То есть как это — издевался? Что мы, денкиницы, что ли? У нас такого не было.

— А у нас было.

— Что было? Расскажи.

Гошка рассказал. Теперь нахмурился председатель.

— Да, брат,— сказал он,— в Первой Конной за такие дела, пожалуй, к стенке поставили б. Ну, а как сейчас время невоенное, то по морде, наверно, хватит.

Уходя, Пятница остановился в дверях и на всякий случай сказал:

— А вообще, Георгий, ты руки-то не особенно распускай. Не боксер.

Утром возле правления к Гошке подошел Иван и, протянув свой знаменитый пятак, сказал застенчиво:

— На, возьми.

— Зачем? — удивился Гошка.

— Машину себе купишь. Ездить будешь, как председатель.

В следующую субботу Илья Бородавка повесил на шите перед клубом афишу, извещающую всех проходящих мимо, что в девять тридцать вечера в клубе начнется вечер молодежи. В программе — танцы под радио. Из всех видов культурно-просветительной работы Илья Бородавка пользовался в основном двумя: танцами и кино.

На должности заведующего клубом Илья оказался совершенно случайно. В прошлом году бывшая завклубом неожиданно вышла замуж за городского учителя и уехала. Полторы недели клуб был закрыт и как раз в ту пору, когда с полевых станов все уже съехались в село. Из района никого не присылали. Молодежь роптала. Тогда председатель на очередном собрании колхозников спросил, не хочет ли кто занять освободившуюся должность. Все молчали. Знающих это дело людей не было, да и маленькая зарплата заведующего никого не устраивала. Наконец

поднял руку счетовод Илья Бородавка и сказал тихо, но решительно, как будто шел добровольцем в опасную разведку:

— Я. Разрешите мне пойти.

Ему разрешили. Все были довольны. Правда, председатель сказал, что Илья на должность назначается временно, пока не пришлют кого-нибудь с образованием, — однако всем было ясно, что с образованием никого не пришлют.

Илья взялся за дело со всей решительностью. Отремонтировал сцену, кинобудку, поставил несколько новых скамеек, а самое главное — потребовал у колхоза денег на покупку нового рояля. Рояль купили. Но так как никто не умел на нем играть, инструмент стоял без дела в глубине сцены. Илья сам стирал с него пыль, а чтобы никто без толку не стучал по клавишам, положил на крышку табличку: «Руками не трогать!» Эта заповедь была священной, и никто не решался прикоснуться к дорогому инструменту, кроме самого Ильи, который изредка, когда в клубе никого не было, открывал крышку, трогал наугад какой-нибудь клавиш и, приложив ухо к роялю, долго прислушивался к затихающему звучанию струн.

В этот день Гошка поздно вернулся из Актабара и, не заезжая ни домой, ни в гараж, остановился возле клуба. Так, в замасленных брюках, гимнастерке и кое-как очистив сапоги о скобу, прибитую возле крыльца, он вошел в клуб. Танцы были в полном разгаре. Вся молодежь была в клубе. Хромовые сапоги Аркаши Марочкина осторожно поскрипывали рядом с Лизкиными танкетками. Среди танцующих были две девушки-студентки, приехавшие из города на каникулы. Девушки эти танцевали только вдвоем и только «стилем». Во всяком случае, они сами так говорили. Должно быть, в городе, где они жили, девушки никогда не были «стилягами», но уж очень заманчива перспектива выглядеть в родной деревне по-иностранному.

— Гошка, привет!

Это крикнул Анатолий. Он танцевал с фельдшерницей Азалией, женой тракториста Степана Дорофеева. Сам Степан возле сцены играл на маленьком столе в бильярд. Когда подходила его очередь, Дорофеев прикладывался к кию небритой щекой, долго целился, как из ружья, и бил каждый раз мимо. Потом отдавал кий напарнику, а сам ревниво глядел туда, где его жена танцевала с Анатолием.

Потом стали играть в почту. На блузках и пиджаках танцующих появились бумажные номерки. К Гошке подошел Илья Бородавка и тоже вручил номерок. Гошка приколол его к гимнастерке и почти тут же получил анонимку: «№ 27 в личные руки. Вам шлет чистосердечный пламенный привет молодая и прекрасная принцесса».

Гошка посмотрел в глубину зала. «Молодая и прекрасная принцесса», отворачиваясь, смущенно сверкнула фиксой.

Гошка танцевать не умел и делать ему в клубе было нечего. Он пришел с единственной целью — увидеть Саньку. Но Саньки не было. Гошка, постояв еще немного возле бильярда, стал пробираться к выходу. И именно в это время он увидел Саньку. Она вбежала в клуб в светлом платье, раскрасневшаяся и запыхавшаяся. И тут же к ней подлетел незнакомый парень из строительной бригады, недавно присланной из района. Он хотел, видно, пригласить Саньку на танец, но неожиданно между ним и Санькой встал Анатолий. Он что-то сказал Саньке, потом парню, Санька улыбнулась и положила руку на плечо Анатолия. Все это Гошка видел издалека. Он стоял возле стены и смотрел, как легко и свободно кружит Анатолий Саньку, и в это время завидовал своему другу. Вот они прошли почти полный круг и подошли к Гошке. Анатолий взял Саньку под руку и, подведя ее к Гошке, сказал:

— Ну, а теперь вы станцуйте вдвоем, а то у меня нога что-то заболела.

— Я не умею танцевать,— сказал Гошка и покраснел, сам не понимая почему.

— Врет,— сказал Анатолий Саньке.— Танцует лучше всех. Балетмейстер.

Они прошли два круга. Гошка танцевал первый раз в жизни. Он держал Саньку за талию, стараясь это делать легко и свободно, и все-таки ему казалось, что держится он за горячий утюг. Кроме того, не получалось самое главное. Его кирзовые сапоги казались ему огромными, как пароходы. Он все время боялся наступить Саньке на ногу и смотрел вниз.

— Не смотри под ноги! — сказала Санька.

Но не смотреть он не мог. Ему было страшно. Его спасла сама Санька. Когда они проходили мимо дверей, она сказала:

— Выйдем на улицу. Жарко.

Минут через двадцать из клуба вышла Лизка. Утираясь платком, она увидела стоящую в стороне машину. В кабине кто-то сидел, кто-то смеялся, кто-то целовался в кабине. Лизка из любопытства прислушалась к смеху и узнала Гошку и Саньку. Лизка вернулась в клуб. Аркаша пригласил ее на танго. Лизка танцевала, и выражение грустной задумчивости не сходило с ее лица.

— Ты чего? — взглядываясь в ее лицо, спросил Аркаша.

— Ничего,— сказала Лизка,— ничего.— И вздохнула.

«Нешто так можно, с первого вечера»,— подумала она осуждающе.

12

— Ну чего, хватит, что ли, месить?

Лизка вышла из круга и выставила вперед вымазанную в глине ногу.

— Саня, слей-ка, ноги помою. Да не сильно лей-то, а то еще раз к колодцу бежать...

Санька осторожно наклонила ведро. Струйка воды побежала по Лизкиной ноге и, смешиваясь с глиной, стекала на землю.

— Вчера Степан Дорощев меня на мотоцикле катал. Только из-за магазина выскочили, и свет в аккурат на мельницу попал. А там двое как вскочат да как шарханутся за мельницу! Парень с девкой. Кто б это, думаю, был, а? — Лизка скосила глаза на Саньку.

— Что у тебя за шпионские замашки,— поморщилась Санька.— Знаешь, что мы с Гошкой были. Ну и что?

— А чего это вы там делали?

— Да ничего не делали. Сидели и разговаривали.

— Девушки, скажите, пожалуйста, как пройти к правлению?

На дороге с чемоданом в руках стоял незнакомый городской, судя по одежде, парень. На нем были голубоватые узкие брюки, желтая, в клеточку, рубашка навыпуск.

— А вам кого надо? — полюбопытствовала Лизка.

— Ну кого... председателя, что ли.

— А-а. Ну, пойдешь, значит, прямо, потом налево, потом опять прямо, тут тебе по праву руку и будет правление.

— Спасибо.

Парень пошел.

— А председателя-то в конторе нету. Его раньше вечера не поймешь! — крикнула Лизка вслед приезжему и посмотрела на Саньку.— Кто такой, как думаешь?

Санька пожала плечами. Лизка проводила парня долгим взглядом и опять повернулась к подруге.

— Значит, вы там сидели и разговаривали?

— С кем?

— Ну с Гошкой-то.

— Не веришь? Честное слово, сидели и разговаривали.

— На мельнице? — усомнилась Лизка. — Поговорить, я думаю, и возле хаты на лавочке можно.

— Какая ты умная! — Санька вздохнула. — Ничего такого у нас не было.

— И не будет, — подставляя другую ногу, насмешливо поддержала Лизка.

— Будет или не будет, не знаю, а пока не было. Понимаешь, Лизка, боюсь я этого. Говорят, ребята после этого уже не любят. А вдруг Гошка меня разлюбит?

— Или бросит, — сказала Лизка.

— Нет, разлюбит.

— Ну, это все равно, — сказала Лизка. — Что разлюбит, что бросит — все равно.

— Нет, Лизка. — Санька поставила ведро на землю. — Самое страшное — когда разлюбит. А там уж бросит или не бросит...

13

Утром Илья Бородавка пришел в клуб и заперся в библиотеке. От нечего делать занялся перестановкой книг. Каждую книгу он снимал с полки, обтирал байковой тряпкой и ставил на прежнее место. Увлеченный этим занятием, он не сразу услышал, что кто-то играет на его любимом рояле. Илья прислушался. Нестройные звуки неслись из клуба. Илья почувствовал, что внутри у него что-то оборвалось. С тряпкой в руках он вбежал в клуб. Какой-то парень в узких брюках и широкой клетчатой рубашке навывпуск («Должно быть, стилияга», — подумал Илья) сидел за роялем и бойко барабанил по клавишам всеми десятью пальцами. Илье было бы легче, если бы его самого стукнули по голове. Он подошел к парню и вежливо сказал:

— Молодой человек, на инструменте разрешается играть только музыкантам, которые умеют.

При этом Илья поднес ко рту руку и кашлянул в кулак, должно быть, для внушительности.

— А я немножко умею, — сказал неуверенно парень.

Илья с сомнением посмотрел на его короткие, пухлые пальцы и сказал:

— Что-то не верится. А ну, исполните что-нибудь.

— А что именно?

— Полонез Огинского.

Это было единственное произведение из всей классической музыки, которое знал Илья.

Парень пожал плечами и ударил по клавишам. Сначала пальцы его ходили медленно, как бы нехотя, но потом они стали работать все быстрее и быстрее, и Илья уже не успевал следить за ними. Иногда парень высоко взмахивал рукой и с размаху ударял по клавишам.

— Да, — сказал Илья восхищенно. Он готов был прослезиться от удивления. — А я подумал, что вы стилияга, — виновато признался он. Помолчал и спросил нерешительно: — А фокстрот какой-нибудь вы тоже умеете?

А потом в клуб пришел председатель. В последние дни его мучили приступы ревматизма, и он ходил, опираясь на палку. Увидев незнакомого молодого человека, председатель решил, что это, должно быть, из

обкома комсомола. «Опять какая-нибудь проверка»,— недовольно подумал он. Однако он никак своего недовольства не проявил и, протянув гостью руку, представился:

— Пятница.

— Корзин,— ответил парень. Потом подумал и уточнил: — Вадим.

— Культуру проверять? — полуутвердительно спросил Пятница.

— Нет.

«Заливает»,— подумал Пятница и на всякий случай стал рассказывать приезжему, какая работа по части улучшения культурно-просветительной работы ведется в Поповке и в целом по колхозу.

— Вы меня, очевидно, принимаете за кого-то другого,— перебил Вадим.— Я приехал сюда работать. Мне посоветовали в ваш колхоз.

— В наш колхоз? А-а,— догадался председатель,— молодой специалист? Агроном?

— Нет.

— Зоотехник?

— Нет.

Пятница перебрал в уме еще несколько специальностей и посмотрел на гостя.

— Ну, а кто же ты?

— Я? Так просто... человек.

— Ну, а все-таки?

— Видите ли... Я москвич. Я учился в институте...

— Исключили?

— Нет, сам ушел. Не мое призвание.

— А в чем же твое призвание?

Вадим замялся.

— Да, собственно, ни в чем... Я стихи... пишу. Хочу у вас поработать. Мне жизненный опыт нужен. Примете?

— Принять? — Пятница почесал лысину.— Да принять-то можно. Только ты ж ничего делать не можешь. А стихи у нас есть кому писать. Правда, Илья? — При этом Илья смутился и покраснел.— Ну ладно, ты пока устраивайся да Илье в клубе помогай. В поле пока уборки нет, делать нечего. А там видно будет.

14

Всей деревне было известно, что в свободное время Илья Бородавка тайком пишет стихи. Писать Илья начал, можно сказать, по необходимости. Вот уж лет пять он был бессменным редактором стенгазеты. А так как никому до газеты не было дела и никто не писал для нее заметок, Илья решил собственными силами сделать ее интересной и содержательной. Так с некоторого времени в газете стали появляться стихи за таинственной подписью «Фан Тюльпан». Илья вывешивал газету в коридоре клуба и в полуоткрытую дверь библиотеки ревниво следил за тем, как относятся к его творчеству читатели. Читатели читали, усмехались, а встречая завклубом, любопытствовали:

— Кто это у нас, интересно, поэт такой?

— Знаем, где взять,— отвечал Илья, хоть и некстати, зато загадочно.

Примерно месяц тому назад Илья собрал несколько своих лучших, по его мнению, стихотворений и отправил в столичную газету с таким письмом:

«Дорогая редакция!

Я, Фан Тюльпан (настоящее фамилие Бородавка), посылаю вам несколько своих произведений на сельскохозяйственную тематику. Буду рад увидеть их на страницах печати вашей газеты. Сам я рождения два-

дцать седьмого года и заведую клубом в селе Поповка. Являюсь редактором стенной газеты. В заключение разрешите выразить надежду на ваше благополучное внимание.

Остаюсь Илья Ефимович Бородавка».

Как только приходила почта, Илья брал нужную газету, запершись в библиотеке, просматривал ее и оставался разочарованным.

Писал Илья, будто глыбы ворочал, — потел, пыхтел, но все-таки ухитрялся сочинять в день по два, по три, а то и по четыре стихотворения. Написанное складывал в бумажный мешок и хранил его под кроватью.

Вернувшись после разговора с Вадимом из клуба, Илья сел за стол и минут за пятнадцать написал стихотворение. Он даже сам удивился такой быстроте. Перечитав стихи и поправив на ходу одну строчку, Илья пошел за женой, которая при свечке чистила курятник.

— Слышь, Пелагея, — сказал он, встав в дверях, — иди в хату, стих расскажу.

Пелагея поставила в угол ведро и лопату, загасила свечу и послушно пошла за мужем.

— Вот, слухай, — сказал Илья. — Подруге жизни Пелагее Бородавке — тебе, значит, — этот стих посвящает автор:

Я помню чудное мгновенье,
Я шел по улице тогда,
И ваши очи голубые
Взглянули ласково в меня.

И понял я, что жизнь наша
Всегда имеет два пути...

Пелагея легла на стол засаленным животом, подперла голову, смотрела в окно и думала о своем. Вот уже шесть лет, как они с Ильей расписаны, а детей все нет да нет. Соседка Татьяна восьмерых родила, троих рожать отказалась — лишние, видать. А тут хоть бы один... В прошлом году ездили в город к врачу специальному. «Ничего, — говорит, — у вас нет, дети должны быть». Татьяна вчера приходила, посидела, семечки поплевала. «Чего-то, — говорит, — хочется еще родить. Пузо поносить хочется». А Пелагее разве не хочется?

...И я сказал вам: — Здравствуй, Паша,
Я долго ждал вот здесь тебя.

В дверь постучали. Илья недовольно поморщился и, закрыв тетрадку, пошел открывать. Вошла Яковлевна. Села к столу, развязала ситцевую хусточку.

— Дуже душно. Там, у клуби, якийсь чи поет, чи поёт, в общем, вирши читает.

— Вадим, наверно? — встрепенулся Илья.

— Ну да, мабуть, Вадим. Той студент, шо приихав. Я ходила грабли шукать. Мон вчера стоялы біля сарайчику, а сьгодні выйшла сино сгребать, дывлюсь — немає. Чи пацаны утяглы, чи шо. Пишла я до Павла-баптиста. «Дай, — кажу, — Павло, грабли, на пивчаса, бо мои десь дилысь». А він: «С сожаленнем, — каже, — дав бы, но самому зараз нужни». Бреше, як собака. Ни разу из хаты не выйшов. Пиду, думаю, до Гальченка, у нього попрошу. А Гальченка дома нема, и собака коло двору бигае. Ну, я повернулась, тай назад. Треба, думаю, в клуб зайти. Зайшла так, стала біля дверей, а той студент вирши читае. Шось таке про любов.

Илья схватил кепку и побежал к дверям.

— Ты куда? — спросила Пелагея.

— Сейчас приду, — сказал Илья.

15

В клубе возле сцены стоял окруженный студентами и колхозниками Вадим и, выбрасывая вперед правую руку, читал:

Мы в угольных шахтах потели,
Пилляли столетние ели,
Мы к цели брели сквозь метели,
Глотая махорочный дым.
Фуфаяк прокисшая вата
Мне тоже знакома, ребята,
Привыкли кирка и лопата
К рабочим ладоням моим.

— Здорово протаскивает! — сказал восхищенно Марочкин.

— Я чего-то не понял, — сказал стоявший рядом с Марочкиным Анатолий. — Это кто там в шахте потел? Ты, что ли?

— Нет, не я, — смутился Вадим. — Нельзя так буквально понимать стихи. Я — это мой лирический герой.

— А я думал, ты — это ты и есть, — сказал Анатолий.

— Ну, это все равно что я. Это мой внутренний мир.

— А я думал, ты и снаружи такой, — разочарованно сказал Анатолий, и все засмеялись.

Только Гошка дернул Анатолия за рукав и сказал тихо:

— Брось, зачем ты?

Илья, с трудом протолкавшись к поэту, попросил:

— Товарищ поэт, можно вас на минутку.

— Можно, — ответил Вадим, польщенный таким обращением.

Они заперлись в библиотеке и в течение полутора часов вели секретный разговор, после которого Илья сбегал домой и, достав из-под кровати заветный лирический мешок, вернулся в клуб.

— Вот, — сказал он, передавая мешок Вадиму, — здесь все. Только смотри, чтоб ничего не пропало.

Илья шел домой, и настроение у него было хорошее. Ему было приятно оттого, что он поговорил сегодня с таким интересным человеком. Все-таки образованный и пишет. И печатался в четырех газетах и одном журнале. Когда они сидели в библиотеке, Илья прочел Вадиму несколько своих стихотворений. Вадим стихи похвалил, но сказал, что на месте Илья он писал бы прозу. Например, записки заведующего клубом.

— Опишите обычные свои трудовые будни. По-моему, это будет очень интересно и актуально.

Придя домой, Илья достал из тумбочки чистую тетрадь и написал на обложке:

ДНЕВНИК

заведующего клубом Ильи

Ефимовича Бородавки.

Начат в селе Поповка 14 августа 1960 года.

Илья открыл первую страницу и своим красивым почерком написал: «Сегодня в наше село Поповка прибыл молодой поэт. Он охвачен патриотическим подъемом убрать казахстанский миллиард».

Дальше ничего не писалось. Илья посидел, поскреб обратной стороной ручки в голове и, ничего не придумав, лег в постель к теплому телу жены.

Когда Вадим шел с мешком по улице, встретился ему Анатолий и спросил удивленно:

— Что несешь?

— Илья Бородавка,— сказал Вадим, вытягивая руку с мешком.— Собрание сочинений в четырех мешках. Мешок первый.

16

В заливных лугах за Ишимом косили сено. Гошка вез сено в Поповку. Машина была перегружена, и Гошка с тревогой замечал, что на ухабах передние колеса отрываются от земли. Подъезжая к мосту, он сбавил скорость, но это его не спасло. Мост был горбатый, и на самом въезде машина задрала нос и поползла назад. Гошка выжал сцепление и тормоз. Машина встала на задний борт и покачивалась. Река, Поповка, горизонт ушли вниз. Над ветровым стеклом висели облака. Гошка выругался и вылез из кабины. Машина стояла на заднем борту и сушила на солнце передние колеса.

Подъехал Анатолий. Он обошел машину и почесал в затылке.

— Дела! А у меня и троса буксировочного нет.

В кабине у него сидел Вадим.

— Эй, Вадим! — крикнул ему Анатолий.— Сбегай в правление, пускай трактор сюда гонят.

Вадим вылез из кабины и нехотя затрусил в гору.

— Бегун,— глядя ему вслед, проворчал Анатолий.— Слушай, Гошка, ты зачем Саньке разрешаешь с ним по вечерам заниматься?

— А что? У них же репетиции.

— Репетиции... Смотри, дело, конечно, не мое...

— А что?

— Да ничего! Часто у них репетиции.

— Отстань.

В последние дни он почти не видел Саньку. Работала она по-прежнему на стройке, где Гошка уже не бывал. А по вечерам Санька уходила в клуб и пела под аккомпанемент Вадима разные песенки. Времени для свиданий не было. Отчасти такое положение вещей Гошку даже устраивало — ему надо было готовиться к передаче немецкого. Но какая-то смутная, еще не осознанная тревога волновала и его.

Гошка поднял с земли щепочку и стал счищать налипшую на сапог глину. Потом разогнулся и увидел Саньку. Перепрыгивая через лужи, Санька бежала к реке. Косынка у нее развязалась, она на ходу сорвала ее с головы и бежала, размахивая косынкой, как флажком.

— Уф! — Санька перевела дыхание и посмотрела на Гошку.— А Вадим мне сказал, что ты совсем перевернулся.

— А ты испугалась?

Санька посмотрела ему в глаза.

Испугалась. Видно по ней. При чем здесь Вадим?

Гошка насмешливо взглянул на Анатолия.

— Чего ты на меня уставился? — спросил Анатолий.

— Ничего. Вон трактор идет.

От Поповки к реке торопился «ДТ-54». Из его кабины высовывалась кудрявая голова Аркаши Марочкина.

17

Как только начали убирать силос, Саньку перевели на новую работу — весовщицей на автомобильные весы. Теперь она часто виделась с Гошкой, потому что, перед тем как везти силос к яме, Гошка должен был заезжать взвешивать машину. Время было горячее, перекинуться

словом некогда, и все-таки, издалека завидев Гошкин «ЗИЛ» с покореженным левым крылом, Санька радовалась, что вот опять она сможет увидеть его.

В этот день Гошке не повезло. С утра он проколол заднюю камеру и пока менял колесо, другие сделали уже по две ходки, а Павло-баптист успел сделать три. Смонтировав колесо, Гошка гонял машину на полной скорости, чтобы догнать других, но тут новая неприятность — сломался комбайн.

Когда в конце дня Гошка подъехал к весам, на них стояла машина из Кадырской автобазы. Шофер, здоровенный парень с выпирающей под майкой грудью, размахивая руками, спорил о чем-то с Санькой.

— Вот,— сказал он подошедшему Гошке,— на принцип идет. Одну ходку, говорю. За свое, что ли, боишься?

Сев в кабину, он сердито хлопнул дверцей, так что весы ходуном заходили, и укатил. «Здорово Санька его,— въезжая на весы, подумал Гошка,— какой умный, ходку ему».

Санька поставила рычаг весов на защелку и, посмотрев в свой блокнотик, сказала неувверенно:

— Гоша, я тут что-то напутала. У тебя шесть ходок только?

— Правильно,— сказал Гошка.— Шесть.

— Как же это? У других по восемь, по девять...

— Так получилось. Я много стоял.

— Ну ладно,— сказала Санька и стала заполнять путевку.— Восемь ходок хватит?

— Ты что? — Гошка вырвал путевку из ее рук.— Не надо.

— Ну, а чего? Пускай,— просительно сказала Санька.

— Не надо, Саня, обойдемся.

— Как хочешь! — Санька обиженно поджала губы.— Я хотела как лучше.

— Разве так можно, Саня? — сказал Гошка и взял Саньку за локоть.— Ведь ты ему вон не приписала.

— Так то ж ему...— сказала Санька и расплакалась.— Так то ж ему... Проезжай давай. Не мешай работать.

Накануне концерта художественной самодеятельности Санька и Вадим поздно задержались в клубе. Ушли участники хора, ушли трое исполнителей одноактной пьесы про лодыря «Баранчук проснулся», а Вадим еще долго сидел за роялем и заставлял Саньку повторять то ту, то другую строчку «Подмосковных вечеров».

— Ты пойми, это твой коронный номер. Ты должна исполнить это с блеском. Ты должна исполнить это не хуже, чем...— Он назвал фамилию известной певицы.

— Сравнил! — сказала Санька.— Она певица, а я колхозница.

— Саня, ты живешь в неведении. Ты, как младенец, все видишь в перевернутом виде. Ты даже не подозреваешь, что в тебе живет великое чудо — талант.

Он закрыл крышку рояля, и они вышли в коридор. Санька смотрела, как Вадим возится с дверным замком, все никак не может закрыть его. Станный человек этот Вадим. Он ни к чему не приспособлен, ничего не может. Его сейчас поставили работать грузчиком на силосе, эта работа выматывает его, но вечером он аккуратно приходит на репетиции и занимается в клубе допоздна. Он не похож ни на Гошку, ни на Анатолия, ни даже на тех летчиков, которых она знала в своем городе.

Вадим говорит туманно и, наверно, поэтому красиво. И его хочется слушать. Он много знает. И совсем непонятно, зачем он сюда приехал и что ему здесь надо.

— Пойдем!

Вадим наконец справился с замком. Они вышли на улицу.

— Смотри,— сказал Вадим и остановился.

Санька оглянулась вокруг себя, но ничего не увидела.

— «Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, и звезда с звездою говорит»,— с чувством прочел Вадим.— Степь и звезды. В этом есть какая-то мистика. Это черт знает что! Ты знаешь, когда я учился в школе, мы ходили в турпоходы. И понимаешь, Саня, я не знаю ничего замечательнее, скажем, ночного привала. Пылает огонь, трещит хворост, и искры уносятся в синюю тьму. Сейчас бы пойти в поход. Далеко. Километров за сто. И чтобы вокруг ни деревни, ни человека — никого и ничего.

По улице мимо клуба шли парни с гармошкой. «Увидят с Вадимом, сплетен будет...»,— подумала Санька и заторопилась.

— До свидания, Вадим, я пойду.

— Уже уходишь? — грустно спросил Вадим.— Хочешь, я тебя провожу?

— Нет, нет, я сама.

Она пошла домой и думала о Вадиме. Зачем здесь живет этот парень? Хочет в поход ходить. На сто километров. Санька не слышала, чтобы у кого-нибудь из ее знакомых возникало такое желание. Вот хоть бы у Гошки. Гошка... Конечно, он прав в этой ссоре. Но Саньке тоже не хотелось сдавать позиции. И вот уже четыре дня они не разговаривают. И опять виновата она. Гошка раза три пытался заговорить, но Санька каждый раз становилась глухой. Гошка ездил злой и измученный. «Надо будет завтра мне помириться с ним»,— подумала Санька и ускорила шаги. Пора было спать.

19

Над Поповкой плыли облака, настолько тонкие и прозрачные, что сквозь них просвечивали звезды. Дядя Леша расправил в бричке слежавшееся сено и, улегшись на него, положил рядом с собой ружье-централку. Спать не хотелось. Сегодня было заседание правления, и на нем решили платить колхозникам от шестидесяти лет и старше пенсию, как на производстве.

Яковлевна, которая рассказала об этом дяде Леше, насчет размера пенсии ничего толком не знала. Вроде бы должны платить по тридцать трудодней в месяц да еще надбавка за выслугу лет. За двадцать пять лет — десять процентов, за тридцать лет не то пятнадцать, не то двадцать процентов. Дядя Леша сначала подсчитал, сколько получится, если надбавка будет двадцать. Выходило неплохо — тридцать шесть трудодней без всякой работы. А если пятнадцать? Дядя Леша снова стал подсчитывать, но тут же сбился со счета. Он плюнул с досады и стал пересчитывать еще раз, но на этот раз его сбили Гошка и Санька, которые шли мимо склада и разговаривали о чем-то. «Может, насчет пенсии»,— подумал дядя Леша и прислушался. Говорила Санька:

— Ты, Гоша, хороший, только... ну, я не знаю, как сказать. Вот, смотри: ночь, степь... Ты хотел бы пойти в поход далеко-далеко, километров... на сто?

— Нет, не хотел бы,— сказал Гошка.— Мы как-то в армии ходили на двадцать пять километров, я портянку плохо намотал и ногу стер до крови.

— При чем здесь портянка? — вздохнула Санька.

— Как — при чем? Чтоб ходить в походы, надо уметь портянки наматывать.

— Вот видишь... портянки. А вот скажи, ты хотел бы совершить какой-нибудь подвиг?

— Зачем?

— Ну ни за чем. Просто так.

— Просто так не хотел бы,— сказал Гошка.— Вот если б для дела...

— А для меня?

— Для тебя?

— Да, для меня. Соверши для меня какой-нибудь подвиг.

— А какой? Ну хочешь, я тебя... на руках понесу?

— Понеси меня на руках,— упавшим голосом сказала Санька.

Дядя Леша не поверил своим ушам, приподнялся на локте и неодобрительно посмотрел вслед уносящему Саньку Гошке. «Виданное ли дело — девок на руках носить!» И вслух передразнил:

— «Хочешь, я тебя на руках понесу!»

Чудная молодежь пошла! Он вот свою жену никогда на руках не носил. Да и то сказать, в ней и смолоду пудов шесть было...

— Стой! Кто идет? — крикнул дядя Леша и на всякий случай потянул к себе заряженное солью ружье.

— Я,— ответила, приближаясь, расплывчатая в темноте фигура, и дядя Леша узнал в ней собственную супругу.

— А я уж тебя хотел солью,— сказал дядя Леша.— Чего пришла-то?

— Да вот сметанки тебе принесла. Исты будешь?

Дядя Леша только сейчас вспомнил, что он сегодня не ужинал. Он встал с брички и, разминая затекшие ноги, сказал:

— Пойдем, вон там на приступочках посидим.

— А ружье где?

— Там, в бричке. Нехай лежит.

Яковлевна размотала тряпку и вынула из нее маленький глечик со сметаной. Дядя Леша ел сметану долго, потом вымазал остатки хлебом и положил корку в глечик, потому что выбрасывать — грех. Вытер губы, посмотрел изучающе на жену и поманил ее пальцем.

— Поди-ка сюда.

— Чого тебе?

— Иди, иди, не укушу.

А когда Яковлевна подошла, дядя Леша неожиданно обхватил ее руками и попытался приподнять. Яковлевна, вырываясь, размахивала руками и кричала полусердито:

— Пусти... Дурень старый... Тоже выдумал шутки...

С годами дядя Леша ослаб, а жена, видимо, еще прибавила в весе. Дядя Леша отпустил ее и, махнув рукой, сказал огорченно:

— Ладно, иди... бомба водородная.

Яковлевна ушла. Дядя Леша долго вздыхал, думая об ушедшей силе, но потом мысли его опять вернулись к вопросу о пенсии. Дядя Леша подумал, что, когда ему назначат пенсию, он вместе с женой уедет к сыну, который служит летчиком где-то на Кавказе. Он подумал о том, как обрадуется сын, и представил себе эту встречу в лицах.

— Здравствуй, сынок,— сказал дядя Леша слабым голосом, обращаясь к воображаемому сыну, и сам себе ответил радостно: — Здравствуйте, батя! Очень радый вас видеть! Как доехали? — Ничего, спасибо...

— С кем это ты разговариваешь?

Дядя Леша вздрогнул и увидел перед собой Гошку. Проводив Саньку, Гошка возвращался домой.

— С собой разговариваю. С кем же еще?

— С собой?

— С собой. Это мне по должности моей одинокой полагается,— пояснил дядя Леша.— Из-за скуки своей разговариваю. Дома хоть с бабой поговоришь, а здесь...— Сторож махнул рукой.

С бабой! Вот живет человек всю жизнь со своей женой и всю жизнь зовет ее «баба». И может, за всю жизнь ласкового слова ей не сказал.

— Дядя Леша, а ты свою бабу любишь?

— Чего?

— Ну, она у тебя хорошая?

— Да как тебе сказать...— задумался дядя Леша.— Ничего вроде бы. Тяжелая она,— вздохнул он, вспомнив недавнее.

20

Экзамен принимала старая Гошкина учительница, которая не была требовательной. Она заставила только прочесть несколько строк и проспрягать два глагола. И Гошка испытал то едва ощутимое чувство легкой обиды, когда требуют очень мало, а ты способен на большее. Потом Гошка пошел к директору, и ему тут же вручили хрустящий аттестат. Гошка пожал протянутую ему холодную руку директора.

«Ну вот,— подумал он,— среднее образование». Оно ему досталось с таким трудом, и он даже удивился, что особой радости по этому поводу не было. «Так, наверно, всегда,— подумал он,— когда добьешься чего-нибудь, уже не интересно». Сейчас все ему почему-то давалось очень легко. Даже машина завелась с пол-оборота.

Выезжая из брода, Гошка увидел на берегу человека. Человек поднял руку. Гошка затормозил.

— А, наше вам! — в восторге закричал человек и сверкнул стальными зубами. Это был тот самый фотограф, с которым Гошка писал сочинение. Фотограф был тогда первым из заочников, кто завалился.

— До Ивановки подвезешь? — спросил он.

— Садись.

— Свой парень,— сказал фотограф, влезая в кабину, но, когда немного проехали, вдруг спросил озабоченно: — А сколько возьмешь?

— Десятку.

Фотограф дернулся к дверце.

— Останови.

— Зачем?

— Ох ты — десятку! Другие и тройку рады.

— Ладно, сиди. Ничего я с тебя не возьму.

— Ха-ха, шутник! — радостно воскликнул фотограф и, удобно устроившись на сиденье, начал рассказывать, что, кроме сочинения, он завалил и геометрию с тригонометрией, и химию, но ему наплевать, потому что сейчас среднее образование все равно как раньше четыре класса, и вообще на своей работе он обойдется без него.

Вылезая против Ивановки, он спросил:

— Может, все же возьмешь трешницу-то?

— Вылазь.

— Как хочешь,— сказал фотограф и, поправив на бедре фотоаппарат, пошел прочь.

21

В первый же день уборки Илья Бородавка отобрал десятка два книг из тех, что поистрепанней, и, связав их стопкой, вышел на дорогу ловить попутную машину. Ему повезло. Не прошло и пяти минут, как на дороге появился Гошкин «ЗИЛ-5». Илья забросил книги в кузов, где лежал большой фанерный ящик с продуктами, и они поехали.

Было жарко. Хвостатое облако пыли тянулось за идущей впереди «Волгой».

— Хорошие книжки везешь? — спросил Гошка.

— А как же! Самые зачитанные выбрал.

— А когда же ты свою книжку дашь почитать? — пошутил Гошка.

— Свою? Да вот жду, чего из Москвы ответят. У меня, Гошка, грамотности не хватает. А стихотворения я писать могу. Талант у меня к этому делу есть, это я знаю. Вот насчет прозы не скажу. Тут я не силен. Захотел я описать нашего председателя, какой он есть. Ну и пишу: «Высокий, стройный, с умным взором в глазах». А он, может, и высокий, да толстый, как беременная баба. Какая уж тут стройность. Не получается, да и все.— Илья вздохнул.— А насчет стихов — это мне раз плюнуть. Другой раз, поверишь ли, идешь — и вдруг в голову чего стукнет. Приду домой, запишу. Через пятнадцать минут стих готовый. А вот грамотность — да-а. Тут мне еще надо над собой работать. Говорил я Вадиму: «Исправь ошибки, а потом деньги и все такое на двоих». «Некогда», — говорит. Не хочет заработать, что ли. А знаешь, я сегодня стих накатал. Послушай: «Воспоминание о любви».

Стихи были длинные. Когда Илья поинтересовался Гошкиным мнением, Гошка ответил:

— Не знаю. По-моему, непонятно.

— Так это ж стихи,— снисходительно объяснил Илья.

На стане народу было полно, и все занимались разными делами: одни натягивали на колья палатку, другие копали в земле печку, третьи перетаскивали вещи. Гурий Макарович Гальченко, которого назначили на стан бригадиром, шел с Пятницей по краю поля и недовольно размахивал руками.

— Як тут косылы — не поймешь. Тут навесной жаткой, там прицепной. Тут ни одного валка, тут три валка сразу. Абы скосять.

Потом Павло-баптист привез шефов — рабочих с консервного завода. Шефы сбрасывали на землю вещмешки, чемоданы, матрацы и тащили все это в палатку. Вместе с ними приехал на стан Вадим, который первую машину проспал. Вскочив на ящик с продуктами, Вадим торжественно произнес:

— Приветствую тебя, пустынный уголок!

— Эй ты, уголок! — крикнул Микола.— Ящик проломишь!

Гурий Макарович собрал шефов в кружок за палаткой и проводил переключку:

— Знаменский!

— Знаменский,— поправили его.

— Це по-вашему, по-городскому, а по-нашему Знаменский,— сказал Гурий Макарович, но в следующей фамилии сделал поправку на московское произношение.

— Вольнский!

— Вольнский,— поправили его.

— А, вас не поймешь! — Гурий Макарович махнул рукой.— Буду читать по-своему.

После переключки следовал инструктаж. Инструктаж был кратким и выразительным.

— Ну шо вас тут инструктировать? Це трактор, це комбайн, це копнитель. Пршлый год у нас тут тоже булы городские, так некоторые путалы. Ну, трактор и комбайн вам знать не надо, вы будете работать на копнителе. Правильно вин называется чи соломополовокопнитель, чи половосолюмокопнитель, вам це тоже знать не нужно. Шо вам треба для работы? Дви руки, шоб держать вила, дви ноги, шоб нажимать на педали. Шо ще? Курить на копнителе не положено, но хто куре, все

одно не вдержится. Значить, шо? Курить осторожно. Прыгать на ходу с копнителя не положено, но прыгать придется. Значит, прыгать так, шоб не попасты пид колесо. Все ясно? Вопросов нема? Пишлы розписываться за технику безопасности.

На поле выехали после обеда. Гурий Макарович расставил все семь комбайнов так, чтобы они были на одинаковом расстоянии. Аркаша Марочкин хотел трогаться первым, но Гальченко его остановил:

— Не лизь поперед батька в пекло.

Он еще раз прошел по краю поля, потом поднялся на свой комбайн и поднял руку.

— Поихали!

И сразу загудели моторы, заработали приводы комбайнов, тронулись с места трактора. Первые метры валков потекли в молотилки.

Илья Бородавка, вернувшись со стана, вспомнил, что видел он за этот день, и написал в своем дневнике:

«Сегодня началась борьба за казахстанский миллиард. Наш бригадир Гурий Макарович Гальченко встал на своем любимом комбайне и своим свежим голосом сказал: «Поехали!» И сердца у всех задрожали в сладостном волнении, будто лопнула в них какая струна. И все закричали «ура».

Илья подумал и дописал: «А на копнителях с вилами в руках стояли наши дорогие шефы. Они пели веселые песни».

Дальше ничего не получалось.

«Эх, был бы я писатель»,— грустно подумал Илья и отложил дневник в сторону.

22

В тот день, когда на стане был Илья Бородавка, произошла некоторая заминка с распределением кадров. Закрепив комбайны за комбайнерами, трактора за трактористами и копнители за приезжими шефами, Гурий Макарович совсем выпустил из виду Вадима. Вадим подошел к нему.

— А мне что делать?

— Тоби? — Бригадир был явно озадачен.— А шо ты можешь робыть?

— Вин на рояли грае,— подсказал Микола.

— Гм... на рояли... Вот беда. А в мене сим комбайнив и ни одного рояля. Ну, а шо ще ты можешь робыть?

Вадим пожал плечами.

— Вин ще вирши пише,— подсказал Микола.

— Значит, вирши... Так издательства в мене тож немае. Щось в тебе таки специальности неподходяши. А шо як я тебе поварем назначу? Работа дуже проста и интеллигентна. Берешь ведро воды, ведро крупы и жменю соли. Казан е, кизяк е, солярка е. Работай.

Но очень скоро Гурию Макаровичу пришлось раскаяться в своей неосмотрительности. Вечером, когда комбайны пришли с поля, и все, расхватав алюминиевые миски, кинулись к кухне, оказалось, что никакого ужина нет. Гречневая каша наполовину не доварилась, а наполовину пригорела.

— Шо ж ты так, а? — сетовал Гурий Макарович на незадачливого повара.— Можна ж було воды добавить.

— Вы сказали ведро, я ведро и налил.

— Ну ладно. А як насчет чаю?

— Чай есть.

— Тягны сюда сахар, масло... Шо ще у нас есть.. Колбасу. Хлопцы, сегодня будем вечерять сухим пайком.

— Шо? — возмутился Микола.— Цилый день робылы...

— Микола! — Бригадир повысил голос.

После этого случая Гальченко составил график, по которому пищу варили все в порядке очередности. Вадим стал постоянным рабочим по кухне. В его обязанности входило залить котел водой, растопить кизяк, принести, если нужно, продукты.

Однажды очередной повар Степан Дорофеев стоял на кухне и огромной суковатой палкой помешивал кашу в котле. Вадим, кусая карандаш и изнывая от жары, лежал в палатке и сочинял очередное стихотворение. Потом встал и подошел к Степану.

— Хочешь стихи новые прочту?

— Стихи? А чего ж, валяй,— поощрил Степан. Он оперся на палку и приготовился слушать.

Еще туманы бродят по земле,
Еще не встало солнце за спиною,
Но на комбайне, как на корабле,
Я отправляюсь в плаванье степное.

Пусть от жары в глазах круги рябые,
Дымит земля поземкой ковыля...
Земля, ты — покоренная рабыня,
Я — бог и повелитель твой, земля.

— Ну как?

— Ничего вообще-то.— Степан почесал в затылке.— Занятно. Слышь, а как это все у тебя получается?

— Что — как?

— Ну вот так, чтоб складно было?

— Не знаю.— Вадим замялся.— Это трудно объяснить.

— Да-а... А зачем это ты все сочиняешь? Трудно небось голову ломать.

— Нелегко. Но понимаешь, стихи помогают людям жить, работать...

— А-а, работать,— сообразил Степан.— Это я, значит, кашу варю, а ты мне помогаешь?

И Вадим не понял — то ли Степан шутит, то ли всерьез говорит.

23

Вторую неделю идет дождь. Постоянно, непрерывно он стучит по брезенту палатки и с шорохом скатывается на раскисшую землю. Дует ветер. В палатке холодно и сыро. Пахнет мокрыми телогрейками и тулупами. Каждый выбирает себе занятие по вкусу. Четверо режутся в домино. Степан Дорофеев и Микола играют в шахматы. У Миколы ангина. Поэтому он перевязал горло серым полотенцем и хрипит на всех, кто задерживается у входа.

Гошка лежит на постели в бушлате и читает книжку.

— Гошка, как ты думаешь, в этом, наверное, есть своеобразная романтика?

Это спрашивает Вадим. Он лежит рядом, натянув одеяло до самого подбородка.

— Что? Романтика?— Гошка долго не может сообразить, в чем дело.— Не знаю, Вадим.

— Ну, а зачем же мы тогда сидим?

— Ну как? Ну... нужно так, вот и сидим. Урожай кому-нибудь нужно убирать.

— А-а, урожай.

В первый день дождя, когда сверкали молнии и грохотал гром, все стояли, скучившись в палатке, а Вадим шатался по полю и пел: «Будет буря, мы поспорим...» Теперь он тоже иногда ходит спорить с бурей, но редко.

— Хорошо бы сейчас домой. Присесть в теплом углу, посмотреть телевизор... Вот почему здесь нет телевидения?

— Будет,— отвечает Гошка.— В том году обещают построить станцию.

— Будет, будет... А знаешь, хорошо бы пойти сейчас в ресторан. В Москве я после стипендии всегда ходил в «Арагви». Там бывают поэты, художники... Да что «Арагви»... Мне бы сейчас стакан газированной воды без сиропа. Ты не хотел бы газированной воды?

— Не знаю.— Гошка пожимает плечами. О газированной воде он просто не думал.

Вадим поднимается и выходит из палатки.

В стороне от палатки выстроились в ряд трактора и комбайны. Возле крайнего трактора возится Аркаша Марочкин. У него заедает сцепление. Пользуясь непогодой, Аркаша решил устранить неисправность.

Каждому поэту хочется, чтоб его слушали. Вадим подошел к Марочкину.

— Аркадий.

— Чего тебе?

— Как сцепление? Получается что-нибудь?

— А чего ж не получится.— Аркаша сплевывает сквозь зубы.— Я ж механик-водитель. Танки, бывало, по кусочкам разбирал. А трактор...

— Аркадий, а у меня и про трактора стихи есть. Хочешь, прочту?

Вадим боится, что его не дослушают, и торопится:

Облака лиловые висели,
Полыхали синие ветра...
Вдавливая гусеницы в землю,
Медленно катились трактора.

— Да-а...— Аркаша задумался.— «Вдавливая в землю»... Слышь. Вадим, сбегай к Степану, возьми у него ключ на двадцать два. Скажи, Аркадий просил.

Вот так все. Никто не понимает, никто слушать не хочет. Хоть бы Бородавка приехал, что ли. Вадим приподнимает полог палатки, просовывает внутрь голову.

— Терем-теремок, кто в тереме живет?

— Залази, а то дует,— хрипит из своего угла Микола.

24

В один из дождливых дней Степан Дорофеев, который выходил на улицу по своим делам, вдруг приоткрыл полог палатки и сказал:

— Там кто-то скачет.

— Шо ты мелешь?— сказал Гурий Макарович.

— Ну, посмотрите.

Кто мог тащиться по степи в такую пору, да еще верхом на лошади? Любопытство было настолько большим, что даже Микола выскочил из палатки, обмотав вокруг шеи серое полотенце. Он взгляделся пристально в скакавшего от разбега всадника и удивился:

— Так то ж баба!

— Шо?

— Та ни шо. Баба, кажу.

Это была Лизка. Возле самой палатки она, откинувшись в седле, натянула повод. Лошадь косилась на людей, раздувала ноздри и перебирала тонкими в забрызганных чулках ногами.

— Аркаша! — Лизка спрыгнула с седла чуть ли не в руки любимого.

— Ну, чего ты, — сказал Аркаша, отступая. — Чего приехала?

— Соскучилась, — сказала Лизка, не обращая внимания на посторонних. С рукавов, с капюшона ее брезентового плаща стекала вода. — Ну, чего встал-то? Аль не рад? Веди в свою хату. — Она презрительно скользнула взглядом по палатке.

В палатке вытряхнула из складок капюшона остатки дождя, достала из-под полы привязанный к пояску большой узел.

— Вот, — сказала Лизка, развязывая узел прямо у входа, — пирогов тебе напекла. Носки вот привезла теплые. Сама вязала, — подчеркнула она.

Они сели на Аркашину постель. Лизка сняла резиновые сапоги и поджала под себя ноги. Смущаясь взглядов товарищей, Аркаша нехотя жевал испеченный Лизкой пирог.

— Холодно тут у вас, — сказала Лизка.

— Холодно, — подтвердил Степан. — Привезла бы ты лучше милому одеяльце ватное или тулупчик. Знаешь, как говорится: сейчас бы ружьишко, тулупчик и... на печку.

Все засмеялись. Аркаша отложил полпирога в сторону, поднялся.

— Ну, может, ты поедешь? — сказал он почти ласково. — Погостила — и будет.

— Ну и хозяйин, — покачала головой Лизка. — Сейчас гулять пойдем. — И потянула к себе сапог.

— Гулять? Дождь на дворе.

— А мне двадать пять километров ехать — не дождь? Пойдем, не сахарный.

— Ну пойдем, — покорно согласился Аркаша.

— Иди, иди. Она тебя захочмутае, — сказал ему вслед Степан, но тут же поперхнулся под колючим Лизкиным взглядом. — Ну и баба! — сказал он, когда они вышли.

Уезжала Лизка перед вечером, когда надвигались тяжелые дождливые сумерки. Она отвязала лошадь от палатки и неловко, по-бабьи, влезла в седло.

Гошка подошел к Лизке и спросил, не передавала ли ему чего-нибудь Санька.

— Нет, не передавала. Но-о! — Она замахнулась на жеребца кулаком, и тот вихрем понес ее по дороге.

На другой день по Поповке пронесся слух, что Аркаша Марочкин дал твердое согласие расписаться с Лизкой, как только закончится уборка. Узнала об этом и Тихоновна. И самое обидное было в том, что узнала она об этом через сторонних людей. К тому, что теперь дети не спрашивают родительского благословения и даже не советуются с родителями, она уже привыкла. Но хоть бы сказал! А то приходит выжившая из ума старуха Макогониха и говорит — так, мол, и так. Тихоновна целый день ходила по комнате как неприкаянная, а вечером, когда вышла встречать корову, увидела на улице Лизку.

— Зайди в хату, — приказала она Лизке. — Подожди меня. Я сейчас, только корову в лабаз загоню.

Лизка послушно зашла в дом и сидела там в полутьме, пока не вошла Тихоновна.

— Чего ж свет не включаешь? — сказала она. — Привыкай, хозяйкой будешь.

Щелкнул выключатель, и Лизка зажмурилась от яркого света. Тихоновна села на стул и долго смотрела в упор на Лизку, которая, потупив глаза, нервно перебирала подол шелкового платья. Потом встала, вынула из печи закопченный казанок, налила в тарелку борща, поставила перед Лизкой:

— Ешь.

Сложив на груди руки, опять смотрела на будущую свою невестку. Лизка очень хотела есть, но, боясь показаться обжорой, ела медленно.

— Ты что ж лоб не крестишь? — сурово спросила Тихоновна.

Лизка бросила ложку и в замешательстве поднесла ко лбу сперва правую, потом левую, потом опять правую руку.

— Ладно, это я так, — сказала Тихоновна.

Лизка, оставив для приличия полтарелки борща, отложила в сторону ложку.

— Еще насыпать? — спросила Тихоновна.

— Нет, благодарю.

— Кашу есть будешь?

Лизка промолчала. Тихоновна наполнила тарелку гречневой кашей, бросила сверху кусок масла. Масло таяло и растекалось по миске желтым пятном. Каша пахла так аппетитно, что Лизка, позабыв уже о всяких приличиях, уплетала ее за обе щеки, громко чавкала и каждый раз вылизывала ложку.

«Эко жрет», — подумала Тихоновна и еле слышно спросила:

— Значит, вы уже про все договорились?

— А? — очнулась Лизка.

— Договорились, говорю, про все? — повысила голос Тихоновна.

— Ага, — испуганно сказала Лизка.

Тихоновна смотрела на Лизку и долго вздыхала, собираясь с мыслями.

— Ну, вот что, Лизавета... — начала она. Она хотела сказать Лизке, что раз уж та окрутила ее единственного сына, раз она отняла его у матери, так чтоб берегла его, чтоб смотрела за ним. И много еще кой-чего хотела она сказать Лизке, но ничего не сказала и вдруг расплакалась. Плакала громко, хлюпая носом. Лизка, перепуганная и растерянная, отодвинула миску и вышла из-за стола. Она не знала, что делать. То ли успокаивать, то ли уходить.

— Спасибочка вам на угощении, — чуть ли не шепотом сказала она. Тихоновна подняла к ней заплаканное лицо, что-то хотела ответить, но разрыдалась еще пуще и только махнула рукой. Лизка пулей выскочила на улицу.

В дни дождей Гурий Макарович развлекал подчиненных по-своему: проводил по разным поводам собрания или читки газет, когда приходила почта. Почту привозили вместе с продуктами. Письма получали только шефы-горожане и Вадим. Колхозникам обычно получать было не от кого, да и сами они никому не писали.

Но вот однажды пришло письмо Гурию Макаровичу. Гальченко долго и удивленно рассматривал синий конверт с довольно странным адресом, где после названий области, района и колхоза было написано: «Полевой стан. Бригадиру копнителей». Обратного адреса не было, но на штемпеле значилось: «Москва».

Сначала Гальченко подумал, что, может быть, это письмо вовсе и не ему, но, придя к выводу, что больше на стане никаких бригадиров нет, решительно распечатал конверт.

— Гурий Макарович, шо там такое?— Микола подошел сзади и заглянул через плечо.

— Не лизь.

Он долго читал это письмо, и чем дольше читал, тем больше хмурился и, сдвинув шапку на лоб, скреб затылок черными пальцами. Потом встал и вышел из палатки. Видно, письмо это его сильно озадачило. Степан, сидевший у выхода, видел, как бригадир широкими шагами ходил взад-вперед возле палатки и бормотал что-то себе под нос, чего раньше за ним не наблюдалось.

Через несколько минут он вернулся и приказал коротко:

— Все в кучу!

— Чего, опять собрание?— спросил Брынза.

— Митинг.— Гурий Макарович подождал, пока все устроились, кто на чемоданах, кто на концах матрацев, кто просто на корточках.— Вот тут я получил письмо. Из Москвы.— Гурий Макарович выдержал многозначительную паузу и обвел всех задумчивым взглядом.— Но тут шось так напысано, чого я нияк не понимаю. Якась така ерунда... Може, вмишти розберемось. Кто у нас самый грамотный? Гошка, в тебе среднее образование — читай.

— «Уважаемый товарищ бригадир!

Я, пожалуй, не стала бы Вам писать, если бы не самое серьезное беспокойство за судьбу моего единственного сына.

Вчера я получила от него письмо, из которого узнала, что он два дня болел и с высокой температурой лежал на сырой соломе в дырявой палатке.

Меня уже не удивляет то, что разносторонне одаренный мальчик занимается работой, мягко выражаясь, не совсем интеллектуальной. Меня удивляет невнимательное и, если говорить прямо, бездушное отношение к моему сыну со стороны товарищей и с Вашей стороны в частности. Неужели нельзя было вызвать врача и обеспечить больному нормальный уход? Уж Вам-то следовало об этом побеспокоиться не только из простого человеколюбия (об этом я даже не говорю), но и потому, что Вас к этому обязывает положение руководителя и, как я понимаю, воспитателя своих подчиненных.

Безотносительно к своему сыну хочу Вам сказать, что, на мой взгляд, человек, который пренебрег личным благополучием и всеми удобствами, с которыми было связано его пребывание в Москве, достоин всяческого уважения и внимания. Но не много можно сказать хорошего о людях, которые оставляют своего товарища в беде.

Если Вы пожилой человек и если у Вас есть дети...»

— Ну ладно,— прервал чтение Гурий Макарович.— Тут дальше про мене. Неинтересно.— Заложив руки за спину, он заходил по палатке.— Вот я тут шось ничего не понимаю. Якась болезнь...

Впрочем, остальные этого тоже не понимали.

— Про кого це?— удивленно спросил Микола.

— Про кого?— Гурий Макарович сощурился.— А про тебе.

— Про мене? Та вы чи здурили, чи шо?— Микола даже засопел от негодования.

— Ну а про кого ж? Бач, тут написано насчет температуры. В кого була температура? В тебе. Значит, про тебе и написано.

Микола засмеялся, и всем стало весело. Все тоже засмеялись.

— Шо смиешься? Тут ничего смиешого нема.

Микола хотел обидеться еще пуще прежнего, но Гурий Макарович незаметно подмигнул ему.

— Эх, Микола, на шо ж так матир волноваты? Ну хай в тебе температура, погани товарищи — промовчи. Не все ж треба матери писать! А шо до нашей работы, то як тут про неї написано? — Гурий Макарович заглянул в письмо. — Не-ин-тел-лектуальная? Це так. Работа у нас неинте... ну, в общем, не така, шо и казать. Но шо робыть? Все одно комусь надо и сиять хлеб и убирать. Вот, може, колы диты наши та внуки повыврастають, вывчаться, словами заграничными будут балакать, тоди... тоди, може, и жизнь друга буде. Може, и так буде, шо нажмешь кнопку — посялось, нажмешь другу — убралось, а третью нажмешь — так и булка в роти... З кремом там, чи з повидлой... Но зараз такого нема. Нема. Вот и приходиться нам в земли отой колупаться. И работа у нас неинте, и сами мы неинте. В общем, гусь свинье не товарищ.

27

Вадим сам не знал, почему он написал матери о болезни, которой не было. Просто хотелось, чтобы его пожалели, а на что жаловаться — сам толком не знал. Вот и написал первое, что пришло в голову. И как глупо все получилось.

После этого Вадим как-то отдалился от всех. Он не решался заговаривать с другими, и с ним тоже никто не заговаривал. Но однажды во время обычного вынужденного безделья Гурий Макарович его подозвал:

— Вадим, ты б рассказав шо-небудь.

— А что рассказывать?

— Ну як — шо рассказывать? Расскажи, як там жизнь в Москве. Шо там вообще хорошего?

— В Москве все хорошее.

— Чого ж там хорошего? Так же люди живут, як и тут.

— Ну, не так, — сказал Вадим. — Там совсем другие условия. Библиотеки, театры...

— А правда, что в Москве сигналов нету? — спросил Павло-баптист.

— Давно уж.

— Ну, а ежели я, к примеру, еду, а на улице свинья лежит?

— Пидожды ты со своей свиньей, — сказал Гурий Макарович, поморщившись. — Ты, Вадим, мне вот шо скажи: в Москве лучше жить, чм тут, так? В тебе там своя квартира чи як?

— Своя.

— Ну, а в мене своя хата. Яка ж разница?

— Ну как? У меня в квартире паровое отопление. Ванная...

— Хорошо.

— Уборная...

— Хорошо.

— Телефон.

— А на шо тоби телефон? Кому звонить?

— Ну, например, с товарищем мне надо поговорить.

— Так, хорошо. Ну, а ще шо?

— Все, — сказал Вадим. — Хочу я в кино сходить — иду туда, куда мне хочется. Пешком не хожу. Сел в метро или в троллейбус и доехал, куда надо. Такси, выставки, музеи — все есть в Москве.

— В общем, в Москве хорошо, а в Поповке погано, так? — спросил Гурий Макарович.

— Ну, я так не говорю... — замялся Вадим.

— Ну, а шо тут ничего такого нема. Шо погано в Поповке, то погано, я и сам це могу сказать. Вот дызысь. Утром я встаю, треба дров

наколоть, печку растопить, тут тоби дым, копать, вся посуда в сажу, не то шо газ. Ты його включив, и вин не дымить, не коптыть. У нас такого нема. Погано? Погано. В бане треба помыться, сам за водой сходы, сам опять пичку растопы, пока все зробишь, так по́том умыешься. Тож погано. Та шо там казать! Другий раз ночью, извини за выраження, на двир сходить треба, та як згадаешь, шо бигты через огород, а на вульци холодно — витер, мороз, а ще хуже — грязь, та думаешь: хай воно все провалыться! Шуряк в мене в Кайнарах живе, було б метро, на метри б доихав, а то пишки хожу. Погано. Треба Миколу обматерить, зняв бы трубочку: «Алло, Микола!» А то пока через всю Поповку пройдешь, так и зло пропадае. Да. Ну, и музеев у нас, конечно, нема. Погано у нас в Поповке, так?

— Ну, так,— неуверенно подтвердил Вадим.

— А вот сказали б мени зараз: «На тоби, Гальченко, в Москве квартиру из четырех комнат, на тоби ванную, на тоби телефон»,— ни за шо б не поихав. Ты Москву за шо любишь? За ванну та телефон. А шоб в Москве ничего этого не було, а було в Поповке?.. А я вот не знаю, за шо я Поповку люблю. Все наче тут погано, а никуда не пойду. Як бы тут Москву построили, то дило другое.

Через несколько дней на стан приехал председатель, и Вадим попросил председателя взять его с собой в Поповку. Вадим сказал, что он хочет поработать в клубе.

Председатель согласился.

28

На четвертый день после возвращения в Поповку Вадим вывесил в коридоре клуба новую стенгазету.

Вечером возле газеты собрались любопытные. Все читали внимательно и смеялись над карикатурами, особенно над той, где верхом на лошади, в буденновском шлеме и с шашкой на боку, был нарисован Петр Ермолаевич Пятница. Под карикатурой были такие стихи:

Чтоб вперед работа шла,
Чтоб назад не пятиться,
Переносит он дела
Со среды на пятницу.

Пятница, узнав об этом, приходил в клуб, смотрел и, хотя ничего не сказал, ушел расстроенный.

Когда люди не очень заняты, они не прочь и развлечься чем-нибудь. Читателей становилось все больше. Читатели обратили внимание и на другие стихи, подписи под которыми не было. Но все понимали, что это не Фан Тюльпан.

Аркаша Марочкин, приехавший со стана за продуктами, долго стоял возле газеты и беззвучно шевелил губами. Прочтя стихотворение, он повернулся к Лизке и заметил:

— Протаскивает.

Лизка понимающе сверкнула фиксой.

Илья Бородавка сидел в бухгалтерии за своим старым, в чернильных пятнах столом и барабанил по нему пальцами, как будто играл на рояле. Илья был очень огорчен тем, что его отстранили от клубной работы, и даже тем, что Вадим не поместил в газете ни одного из представленных им стихотворений. Илья дал себе слово не ходить в клуб и все-таки не выдерживал, несколько раз на дню появлялся в коридоре клуба. Стоя у входа, он ревниво следил за тем, как относятся читатели к творчеству нового заведующего. При этом он чувствовал себя

до крайности неловко: в каждом взгляде (во всяком случае, так казалось Илье) сквозила жалость и насмешка. В каждом взгляде он читал: «Что же ты, Илья? Эх ты...»

Но, несмотря на все это, Илья, который был человеком справедливым, понимал, что должность заведующего клубом Вадиму подходит больше.

Вадим посрывал со стен клуба половину плакатов, и от этого ничего страшного не произошло, в клубе стало даже светлее.

Кроме того, Вадим возобновил занятия художественной самодеятельности. По вторникам и четвергам шли репетиции драматического и хореографического кружков. Но особое внимание Вадим уделял вокальным номерам. Ежедневно он репетировал с хором современные песни, а потом отдельно занимался с Санькой. Они оставались в клубе до позднего вечера, и до позднего вечера слышны были звуки рояля и приглушенный двойными стеклами Санькин голос. И по поводу этого ходили по деревне разные слухи. Однако толком никто ничего не знал.

29

— Саня! — осторожно позвали за окном.

Санька отвела занавеску и разглядела желтое от электрического света лицо Вадима.

— Тебе что? — шепотом удивилась она, выйдя к нему. Было около одиннадцати, и Санька уже постелила.

Вадим улыбался умудренно и горько, как человек, у которого есть что сказать.

— Пойдем в степь, — сказал он.

«Пойдем в степь!» Так никто не говорит. Степь была всюду, и по этой причине в нее никто никогда не ходил.

Но Саньке это понравилось, и она сказала:

— Пошли.

Вадим хотел идти мимо правления, но Санька побоялась, что кто-нибудь увидит их вдвоем и подумает нехорошее.

— Пойдем здесь, — сказала она. — Мне здесь больше нравится.

И они пошли по узкой тропинке к реке.

Перешли по гулкому настилу моста. Было тихо. Мерцали звезды. Если наклониться к земле, можно было рассмотреть вдали чуть просветленную линию горизонта.

— Пути господни неисповедимы, — с чувством сказал Вадим. Он шел и давился дымом папиросы, считая своим долгом защищать Саньку от комаров. Впрочем, комаров в этот вечер не было.

— Это заглавие? — несмело спросила Санька, ожидая услышать стихи.

Вадим задохнулся, закашлялся и замотал головой.

— Я говорю образно, ты извини. Понимаешь, Саня, мы часто не знаем точки своего назначения. Не щадим себя, жжем топливо, летим на красный свет. А потом, оказывается, нам надо в обратную сторону.

Санька вежливо промолчала. Это было не про нее и не про тех, кого она знала.

— Я уезжаю, — сказал Вадим и остановился, посмотрел на Саньку.

— Уезжаешь? А как же репетиция? — спросила Санька, подумав, что Вадим уезжает на стан.

— Репетиция провалилась, Саня. Представление кончилось — я уезжаю домой. Домой, в дом, в те самые четыре стены, которые могут стоять где угодно. Но мои четыре стены стоят в Москве. Я уезжаю в Москву. Ну, что ты молчишь? Дезертирство, да? Малодушие, да? Да, я тряпка. Слюняй. Не выдержал. Осточертело!

— Не кричи на меня,— обиделась Санька.

— Извини.— Вадим понизил голос.— Понимаешь, Саня, Поповка не по мне. И самое главное не то, что она мне не нужна, а то, что я ей не нужен. И стихи мои никому не нужны. Анатолий все время язвит. Аркаша Марочкин думает, что я кого-то протаскиваю. Один поклонник у меня остался— Илья Бородавка. Этот готов молиться на меня. Да что я оправдываюсь? Разве ты не хотела бы в Москву? Не хотела бы, скажи?

— Не знаю,— тихо сказала Санька.

— Не знаешь? А я знаю. Тебе смешно, когда я говорю: «Точка моего назначения». Я так привык говорить. Так вот, точки нашего назначения совпадают. Ты тоже не нужна Поповке. Ты хорошо поешь, у тебя природные способности, а ты сидишь на своей паршивой стройке и камушки перебираешь. Ты знаешь такие стихи?

Жизнь твоя протекла в одиночестве
Где-то здесь, на задворках села,
Не спросила об имени-отчестве,
В золотые дворцы не ввела.

Когда-нибудь эти стихи попадутся тебе, и ты поймешь, что это про тебя, про твою жизнь. Разве тебе не страшно?

Было тихо и звездно. Санька наклонилась к земле и увидела вдали чуть просветленную линию горизонта.

— Нет, мне не страшно,— сказала она.— Как все, так и я.

— Да, но это все обыкновенные люди.

— А кто необыкновенный? По-моему, необыкновенных людей нет.

— Все зависит от точки зрения,— сказал Вадим.— Но ты подумай. Вот ты работаешь на стройке. Ты делаешь простую, но тяжелую работу, которую другой на твоём месте мог бы делать лучше. Эту работу может делать любой. А вот петь, как ты, может не каждый. Человека по-настоящему ценят тогда, когда он что-нибудь умеет делать лучше других. Даже если он занимается прыжками в высоту, от которых никому никакой пользы нет. И каждый должен поднимать планку до тех пор, пока окончательно не убедится, что ни на полсантиметра выше он уже не прыгнет.

— Ты опять говоришь образно? — вежливо спросила Санька.

— Да, я опять говорю образно. Я, наверно, всегда буду говорить образно и потому смешно. Даже в этом я донкихот. Я... Ты куда, Саня?

— Домой. Спать пора,— сказала Санька.

30

Так получилось, что с наступлением хорошей погоды Гошку отозвали со стана возить картофель из Поповки в Актабар. Первые две машины он отвез по накладным на какую-то овощную базу, а третью машину нагрузили картошкой для детского сада.

Тюлькин, закрывая основной склад, где хранились сало, масло, сахар и другие ценные продукты, сказал стоявшему рядом дяде Леше:

— Вот я тебя уже знаю досконально. Ведь небось опять ночью дрыхнуть будешь?

— А как же? — удивился дядя Леша.— Ночь для того человеку и дадена, чтоб спать. Кто ж ночью не спит? Филин разве.

— Фи-илин.— Тюлькин протянул через отверстие в специальной фанерке два шнурка, залепил их пластилином и разровнял пластилин большим пальцем.— Фи-илин,— повторил он, вдавливая в пластилин

бронзовую печать.— Пломбу кто-нибудь сорвет — вот будет тебе филлин. Склад не приму.

— Не сорвут. У меня вот соль.— Дядя Леша похлопал по висевшему за спиной ружью.

Тюлькин махнул на него рукой и пошел к машине.

— Я тоже поеду,— сказал он Гошке.

Завскладом всю дорогу острил, рассказывал «медицинские» анекдоты и вообще вел себя так, как будто между ним и Гошкой никогда ничего не происходило и они всегда были лучшими друзьями. Когда доехали до города, Тюлькин стал показывать, куда надо ехать.

— Вот сюда свернешь. Так. Теперь налево. Прямо. Вон, видишь ворота? Это и есть детский сад.

Тюлькин вылез из машины и, разминая ноги, не спеша пошел в маленькую калиточку. Вскоре он вернулся с молодой полной женщиной.

— А мы думали, вы уже не приедете,— сказала женщина, отпирая ворота.

— Как — не приедем? Раз Тюлькин сказал, значит — точка.

Женщина отперла ворота. Тюлькин стал на подножку. Остановились у правой стороны дома. У крыльца высокий мужчина в голубой майке, охая и крикая, колот огромный поленья. Увидев машину, посадил в полено топор и, не торопясь, пошел навстречу.

— Чего ж поздно-то? — хмуро спросил он.

— Где ж поздно, Петя? У нас рабочий день еще не кончился.

Картошку носили по узкой крутой лесенке в сырой, пропахший плесенью подвал. Тюлькин покрутил носом.

— Смотри, сопреет она здесь.

— Не твоя печаль,— сказал Петя.

Потом он пригласил гостей в дом. Заведующая детсадом и ее муж занимали в доме две комнаты. В первой комнате было тесно от мебели. Слева стоял большой книжный шкаф.

— Все покупаешь книжечки,— усмехнулся Тюлькин.

— Читаем,— сказал хозяин и вышел из комнаты.

Вошла хозяйка и поставила на стол горячую сковороду с яичницей и картошкой. Следом за ней Петя внес две запотевшие бутылки и тарелку с огурцами. Хозяйка вынула из шкафчика три граненых стакана.

— Я пить не буду,— сказал Гошка.

— Чего это? — удивился хозяин.— Больной, что ли?

— Человек за рулем,— пояснил Тюлькин.

— Твое дело.

— В Бельгии придумали такие машины,— сказал Тюлькин,— что, если от шофера водкой пахнет, она не едет.

— А если кто рядом с шофером сидит выпивший? — спросила хозяйка.

— Будем живы-здоровы,— перебил Петя глупые речи жены и поднял стакан.

— Дай бог не последнюю,— поддержал Тюлькин.

— Поехали,— заключил хозяин.

Тюлькин долго морщился и с ожесточением нюхал черную корку.

Гошка вышел на улицу. Он завел машину и, выехав за ворота, стал ждать. Уже стемнело. Небо было звездное, без луны. Посреди двора висела на столбе под эмалированной шапкой неяркая лампочка. Она освещала двор, угол сарая и крыльцо заведующей детсадом. В доме слышался шум. Тюлькин пытался спеть «Вот кто-то с горочки спустится», но громкий голос хозяина каждый раз перебивал его. «Так они до утра пропойт»,— подумал Гошка. Он придавил ладонью кнопку сигнала. Сигнал был слабый, хриплый, и в доме его, вероятно, не слыша-

ли. Гошка хотел было идти за Тюлькиным, но в это время дверь распахнулась, и Тюлькин вместе с хозяином вышли на крыльцо. Тюлькина шатало из стороны в сторону. Хозяин тоже изрядно выпил, однако равновесие сохранял. Он даже поддерживал гостя, помогая ему сойти с крыльца. Тюлькин поочередно спускал со ступенек то левую, то правую ногу и молчал несурзное.

— Кто Тюлькин? — вопрошал он. — Ты Тюлькин?

— Ты Тюлькин, — успокаивал гостя хозяин.

— Ну, а раз я Тюлькин, то скажи, друг я тебе или нет? Скажи, Петя, друг тебе Тюлькин или портянка?

— Друг, друг, — уверял Петя, но целовать себя не давал.

Они подошли к машине, Тюлькин сел на подножку и хотел петь песни.

— Тише, Коля, — сказал хозяин, — там на углу милиция.

— Милиция! — обрадовался Тюлькин. — А что мне милиция? Я сам себе милиция.

— Оно, конечно, так, — согласился хозяин. — Но чтоб не было неприятностей.

Он наклонился к Тюлькину и что-то сказал ему на ухо, от чего тот как будто на миг протрезвел и полез в кабину.

— Гошка, ты здесь?

— Здесь, здесь он, — сказал хозяин. — Ты смотри, Георгий, не вырони его по дороге.

— Никуда не денется, — сказал Гошка, выжимая сцепление.

Фары с трудом разрывали густой сыроватый воздух, и дорога черной лентой ложилась под колеса. По обе стороны ее стояла непроглядная темнота, только изредка на фоне темного неба выростали призрачные конические очертания сопок. Далеко в степи помигивали огоньки. Это работали комбайны.

Через несколько километров Гошка свернул в сторону и погнал машину по сырой траве, по едва заметному автомобильному следу. След шел по небольшому склону, машина все время кренилась влево, и Тюлькин валился на Гошку, мешая править. Гошка время от времени отталкивал Тюлькина плечом, но он был тяжелый, не давался и хватался за рычаг скорости. Но потом дорога сошла со склона, и Тюлькин стал валиться вправо. «Откроет дверцу — вывалится», — подумал Гошка. Он затормозил и, обойдя машину спереди, закрыл дверцу на ключ. Тюлькин проснулся.

— Гошка, ты?

— Я.

— А... а куда... ты меня везешь?

— В Поповку.

— В Поповку? А... поворачивай обратно. — Он схватился за руль.

— Пусти!

— Поворачивай. У меня... в городе... баба осталась. Я у ней ночевать хочу. Поворачивай!

— Я тебе сейчас как повернусь, — сказал Гошка. — Сиди смирно.

Тюлькин отодвинулся, посмотрел на Гошку и вдруг захохотал.

— Опять по... по морде дашь опять! Ой, не могу! — стонал Тюлькин. — Как ты меня тогда двинул. Ой, смешно-то! Слушай, — сказал он, перестав смеяться, — а этот-то, он хитрый. На сотню меня надул.

— Кто надул? На какую сотню?

— А ничего... ничего... — Тюлькин помолчал. — Слышь, Гошка, а баба-то твоя, Санька, спуталась с этим... с Вадимом.

— Что-о? — Гошка затормозил. — Ты что, пешком хочешь идти?

Тюлькин испуганно отодвинулся в угол.

— Да я чего... Я ничего,— забормотал он, как сквозь сон.— Вся деревня знает. Кого хочешь спроси...

— Заткнись!

Высадив Тюлькина возле его калитки, Гошка поехал домой и по дороге вспомнил бессвязные слова Тюлькина о каких-то деньгах. Какие деньги? И вдруг понял: картошка, которую они отвезли в город, не для детского сада. Тюлькин продал эту картошку. Гошка резко развернул машину и остановил ее возле низкого заборчика. За заборчиком светилося окно. За окном сидел Анатолий.

Гошка постучал.

— Гошка?! Ты чего? — Анатолий открыл окно.

— Давай сюда.

— Сейчас обуюсь.

Он вышел в сапогах и в нижнем белье.

Потом они долго разговаривали в кабине. Гошка рассказал ему о Тюлькине и картошке. Анатолий посоветовал Гошке завтра же пойти к председателю.

— А то мало ли чего! Втянет тебя Тюлькин в какую-нибудь историю.— Анатолий открыл дверцу.

— Подожди. Понимаешь... Мне Тюлькин про Саньку что-то наговаривал. Врет, конечно. Но все-таки...

Анатолий ответил не сразу.

— Знаешь, Гошка... Я тебе не хотел говорить... Не врет Тюлькин. Санька уезжает.

— Уезжает? Куда?

— В Москву за песнями.

31

А дело было так.

О своем разговоре с Вадимом Санька рассказала Лизке. Голова Лизки была занята мыслями о предстоящем замужестве, и Лизка, не разобравшись толком, решила, что Санька уезжает с Вадимом учиться на артистку. Об этой новости Лизка рассказала Полине Тюлькиной, та передала это Пелагее Бородавке, Пелагея — Яковлевне, а той только скажи!

Яковлевна стояла у колодца и, размахивая пустым ведром, говорила:

— Пишла я утречком корову выгонять. Ще остановилась, думаю: чи Иван до Каражар погоне стадо, чи до Кайнарив. Дывлюсь: Санька со степу йде, а за нею Вадим...

Бабы, окружив Яковлевну, молча вздыхали и осуждающе покачивали закутанными в платки головами: нехорошо.

Через два дня все в Поповке знали, что Санька с Вадимом уезжает в Москву.

Сама Санька узнала об этом слишком поздно.

Так вот почему Гошка не здоровается с ней! Вот почему, когда она пытается заговорить с ним, он молча проходит мимо!

Что же делать? Посоветоваться с Лизкой? Но что может посоветовать Лизка? «Я ему докажу»,— подумала Санька и направилась к дому Яковлевны. Что она ему докажет и как докажет — Санька пока не знала.

32

Гошка стоял на улице возле калитки и курил. Капля упала на кончик сигареты и потушила ее. Пошел дождь.

Гошка вернулся в хату, одетый упал на кровать и, не снимая сапог, положил ноги на табуретку. Яковлевна, вытаскивая из печки казанок

с борщом, посмотрела на Гошку неодобрительно и что-то проворчала себе под нос.

— Яковлевна, — попросил Гошка, — сбегай к продавщице, принеси пол-литра.

— Пол-литра? — удивилась Яковлевна и поставила казанок обратно в печку. Она долго думала, что бы это значило, потом сказала нерешительно: — Так вона ж тепер дома не продае. Як ото ревизия була... Ще приизжав такий товстючий мужчина...

— Яковлевна, сходи. А я тебе завтра сено перевезу.

— Зараз, — тут же согласилась Яковлевна. Закутавшись в платок, она вышла из хаты.

До дома продавщицы было ходу не больше пяти минут. Пять туда, пять назад, пять на разговоры. Прошло пятнадцать минут — Яковлевны не было.

В дверь постучали. Гошка не пошевелился. Дверь заскрипела, и через зеркало он увидел, что в комнату просунулась голова Саньки, покрытая мокрой газетой.

— Можно?

Гошка вытащил из кармана сигарету и спички. Закурил.

— Гоша, мне надо с тобой поговорить.

— Поговорить? — Он стряхнул пепел. — Поговорить можно. Сейчас как раз такое время: дождь, делать нечего.

— Гошка, я знаю, что обо мне рассказывают...

В это время вошла Яковлевна. Покосившись на Саньку, она поставила бутылку на стол и положила сдачу — рубль с мелочью.

— Вот видишь, Яковлевна, я же знал, что у меня будут гости. — Гошка встал, подошел к буфету. — Так что про тебя рассказывают?

Санька посмотрела на Яковлевну и промолчала. Яковлевна дипломатично удалилась, однако не очень далеко, чтобы не пропустить чего-нибудь в этом любопытном разговоре.

Гошка достал два стакана, тарелку с солеными огурцами, кусок хлеба.

— Садись, пить будем.

Санька стояла.

— Ах да, ты не пьешь. Ну, тогда я пить буду.

Он поднес стакан ко рту. Запах водки ударил в нос. Гошка поморщился и хотел поставить стакан, но Санька стояла рядом. Гошка задержал дыхание и выпил всю водку залпом.

— Значит, поговорить? Это интересно. Правда, поздновато уже. Спать чего-то хочется. — Гошка потянулся. — Может, в другой раз, а? Или лучше так: ты мне напишешь письмо, я тебе отвечу, будем переписываться.

— Значит, ты не хочешь со мной говорить? — Глаза Саньки были полны слез. Она рванулась к дверям, но тут же остановилась. — Я ухожу, — тихо сказала она.

Гошка, не оборачиваясь, ткнул вилкой в огурец.

— Я ухожу, — нерешительно повторила Санька.

— Ах, да... Тебя проводить? Желаю удачи. Заходи как-нибудь еще.

Выскочив из комнаты, Санька изо всей силы хлопнула дверью. Гошка долго смотрел на дверь, потом подошел к кровати и, уткнувшись в подушку, заплакал тихо и беспомощно, как плачут больные дети.

Яковлевна, изумленная, постояла в дверях, потом на цыпочках подошла к столу и унесла недопитую водку в буфет.

На другой день Санька не вышла на работу. Не дождавсь ее, Лизка решила зайти к ней домой, узнать, в чем дело. Посреди комнаты на табуретке стоял раскрытый чемодан. Санька укладывала вещи.

— Ты чего это? — спросила Лизка.

— Что?

— Ну вот это.— Лизка показала глазами на чемоданы.— Уезжаешь, что ли?

— Уезжаю,— хмуро сказала Санька.

— Значит, едешь? — Лизка вздохнула.— С Вадимом, значит?

— А хоть бы и так,— не оборачиваясь, сказала Санька.— Тебе-то что?

На общем собрании Тюлькин признался, что продал машину картошки спекулянту из города. Но, сказал Тюлькин, это было с ним в первый раз, и он возместит колхозу стоимость проданной картошки. Ему поверили и решили дело в суд не передавать. На собрании решено было в ближайшие дни провести на складе ревизию.

Когда комиссия, выделенная для этой цели, подошла к складу, оказалось, что на дверях нет пломбы. Очевидно, ее сорвал кто-то ночью во время дежурства дяди Леша. Тюлькин принимать склад отказался. Дядя Леша переминался с ноги на ногу и, время от времени поправляя висевшее за спиной ружье, растерянно хлопал покрасневшими веками.

Часа через два приехали в Поповку два милиционера с собакой. Синяя, с красной полосой, машина стояла возле правления. Пожилой старшина-казах разговаривал с председателем. Молоденький, с черными усиками сержант держал овчарку на поводке и охотно рассказывал:

— Ведь это собака ученая. Полтора года на курсах была. Кого-хоть поймают.

— А мясо ей дать — будет есть? — спросил Аркаша Марочкин.

— Что ты! — Милиционер снисходительно посмотрел на Аркашу.— Да ведь она ученая. У ей и медаль по этому делу есть.

— А если конфету? — спросил Анатолий.— Будет?

— Нипочем не будет. Тоже сказал — конфете-гу.

Видно, сержант не терпел невежества.

Анатолий вынул из кармана шоколадку и, сняв обертку, бросил конфету собаке. Собака, лязгнув зубами, поймала ее на лету.

— Цыц! — крикнул милиционер, но было уже поздно. Собака благодарными глазами смотрела на Анатолия.

Старшина, кончив разговаривать с председателем, подошел к сержанту и взял из его рук поводок. Он подвел собаку к дверям. Обнюхав дверь, собака бросилась в поле. Держась за поводок, старшина неуклюже бежал за ней.

Возле склада собирался народ. Люди насмешливо смотрели, как милиционер с собакой кружат по полю, а когда они повернули назад, Анатолий сказал сержанту:

— Ученая! Так и я бегать умею.

Сержант промолчал. Старшина и собака вернулись. И вдруг неожиданно для всех собака бросилась на Тюлькина. Старшина оттянул ее к себе и, быстро надев намордник, снова отпустил. Собака уперлась передними лапами Тюлькину в грудь, рычала и даже через намордник пыталась ухватить его за горло.

— Ты срывал пломбу? — грозно спросил запыхавшийся старшина.

— Я,— бледнея, признался Тюлькин.

Его посадили в машину.

— Он, понимаешь, зря признался,— пояснил молоденький милиционер, запирая снаружи дверцу.— Собака так и так должна была на него броситься. Ставил-то пломбу он.

Анатолий и Гошка шли по берегу Ишима. Дул холодный, порывистый ветер. Возле моста, стоя на большом плоском камне, голый по пояс, умывался Вадим. Он изображал из себя закаленного человека.

— Слушай,— сказал Гошке Анатолий,— почему бы тебе не дать этому, который в шахте потел, по шее?

— Зачем?

— За Саньку. Или просто из любопытства. Посмотреть, как это ему понравится. Надо ж ему знать, что иногда можно получить по шее. Пойдем? Я помогу.

— Да нет уж, не надо.

— Ну, тогда я пойду один.

— Как хочешь.— Гошка повернул к дому.

Когда Анатолий подошел к мосту, Вадим уже умылся и растирал загорелую грудь мохнатым полотенцем. Анатолий подошел ближе.

— Приветствую тебя, пустынный уголок,— сказал он Вадиму.

— Привет.

— Ну, как жизнь?

— Хорошо.— Вадим поежился и накинул полотенце на плечи. Кисточки бахромы затрепетали на его закаленной груди.— Ветер.

— Ничего, мне не холодно,— успокоил его Анатолий и застегнул верхнюю пуговицу телогрейки.— Значит, уезжаешь?

— Уезжаю,— сказал Вадим и сделал шаг в сторону дороги.— Извини.

— Ничего, я не тороплюсь,— сказал Анатолий, загораживая дорогу,— приятно иногда поговорить с образованным человеком. Между прочим, я сейчас советовался с Гошкой, дать тебе по шее или не надо. Мы решили, что один раз можно.

— Да? — Щеки Вадима стали принимать зеленоватый оттенок, но сам он держался довольно спокойно.— За что, если не секрет?

— Не секрет,— сказал Анатолий.— Ты что девке мозги крутишь? Куда она поедет? Что ее там ждет?

— Да я разве ее заставляю? Я ей дал совет, и ее личное дело, выполнять его или нет. По-моему...

— Ну что по-твоему? Сам не можешь здесь жить, так другим не мешай. Зачем ты сюда приехал?

Вадим задумался.

— Ну, видишь ли... мне кажется... Я приехал сюда... чтобы делать здесь то, что все. И ты, и я, и Гошка. Все мы здесь делали одно общее дело, и никакой разницы в этом между нами нет.

— Есть разница, Вадим,— сказал Анатолий.— Разница в том, что ты приехал сюда опыт получать, а мы здесь живем. Понял? — Неожиданно для себя самого он повысил голос.— Ты думаешь, я не знаю, как ты делал это общее дело? Я и про письмо знаю.

— С чем тебя и поздравляю.— Вадим криво улыбнулся.

Анатолий подступил ближе к Вадиму.

— Слушай, ты,— сказал он ему.— Я тебе не Гошка. Я больной, я нервный, у меня справка есть.

Вадим что-то хотел сказать, но в нужных случаях он умел быть благоразумным.

— В другой раз приходи умываться в тулупе! — крикнул вслед ему Анатолий.— Поговорим.

В воскресенье утром Гошка сидел у окна и видел, как к правлению подъехала машина. Это Анатолий собрался везти колхозников на базар. Со всех сторон с мешками и кошелками к машине торопились женщины. Потом подошли Санька и Вадим. Вадим сначала забросил в кузов чемоданы, а потом посадил Саньку. Прибежала Лизка. Она стояла возле машины, что-то говорила Саньке и время от времени проводила рукой по лицу — должно быть, плакала.

Когда машина тронулась, Лизка долго еще стояла на дороге и махала рукой.

В это время в комнату вошла Яковлевна.

— Там шо робыться, шо робыться,— сказала она, стаскивая с головы платок.— Все вещи описують. Стоить Сорока...

— Что? Чьи вещи?

— Та я ж кажу: Тюлькиных. Стоить Сорока, все пише, пише. Все, каже, конфискуемо. Будем, каже...

Гошка схватил в руки бушлат, поискал глазами шапку, но, не найдя ее, махнул рукой и выбежал на улицу.

Возле хаты Тюлькина стоял самосвал Павла-баптиста. Сам Павло, в надвинутой на уши кожаной фуражке, сидел в кабине и смотрел, как двое колхозников пытались втащить в кузов объемистый и тяжелый пружинный матрац.

— Осторожней, а то борт пошкарябаеет! — Павло высунулся из кабины и еще глубже натянул на голову фуражку.

Гошке попался навстречу Микола, который вытаскивал спинки от кровати. В хате было еще несколько колхозников во главе с Сорокой. Сорока, раскрыв на подоконнике ученическую тетрадку, писал маленьким огрызком химического карандаша: «Опись имущества гр. Тюлькина Н. А.».

В соседней комнате безнадежно голосили Макогониха и Полина. Гошка подскочил к Сороке.

— Ты что делаешь? Зачем это?

— А я не знаю,— слюнявя карандаш, флегматично ответил Сорока.— Мне что сказано, то я и делаю.

Услышав Гошкин голос, из соседней комнаты выскочила Полина. Она была в одной рубашке, распатланная. От злости Полина даже плакать перестала. Виновником всего она почему-то считала Гошку.

— Ага, прийшов! — закричала она, раздувая ноздри и нелепо размахивая руками.— Прийшов, да? Выслужився? На вот тобі! — Гошке в руки полетело зеленое плиссированное платье.— Може, ще шо небудь визьмешь? Може, шифанер тобі дадуть?

Гошка держал в руках легкое платье и смотрел, как бьется на покрасневшей шее Полины голубая жилка. Потом неожиданно сорвался с места и, швырнув в сторону платье, бросился к выходу.

Петр Ермолаевич Пятница болел. Возле кровати на стуле лежали какие-то порошки, стоял стакан воды. На спинке стула висел черный, с потертым воротником, пиджак. На левом борту пиджака — орден Красного Знамени с облупившейся местами эмалью.

— Лежите?! — закричал Гошка, врываясь в комнату.— Там у людей вещи описывают, а вы лежите и ничего не знаете!

— Погоди, погоди, не кричи,— поднимаясь на подушке, сказал Пятница.— Во-первых, на больных и старых не кричат. Во-вторых, я все знаю, и нечего паниковать.

— Знаете? — Гошка растерялся, посмотрел на вспотевшую лысину председателя, на пиджак, на облупившийся орден.— Как же так, Пётр Ермолаевич? — совсем тихо спросил он.— Знаете и лежите?

— Ты, Георгий, не смотри на меня так,— сказал Пятница, опуская глаза.— Тут дело серьезное. Я звонил в район. Говорил со следователем. Понимаешь, Тюлькин сам признался, что наворовал в колхозе тысяч на пятьдесят. Следователь говорит, что по суду вещи все равно конфискуют. Вот я и решил описать все это, пока Полина не припрятала.

— Петр Ермолаевич, а разве семья виновата, что Тюлькин — вор? Разве они должны за него отвечать?

— Ну, тут трудно сказать, кто за кого отвечает. Тюлькин ведь деньги домой приносил.

— Какие деньги он приносил? Вы ведь сами знаете, что у него баба была в городе. Да и пил он.

— Ну ладно, Яровой,— рассердился председатель.— Нечего нам тут с тобой антимионии разводить. Я знаю одно — раз человек украл, с него надо получить. Вот так.

— Ну, как же...

— Не знаю, Яровой, ничего не знаю. На то есть законы, которые все мы должны выполнять.

Гошка посмотрел председателю в глаза, повернулся и, сгорбившись, пошел к выходу. Он уже взялся за ручку двери, но остановился.

— Петр Ермолаевич!

— Да?

— Петр Ермолаевич! — Гошка вернулся.— Вот вы часто рассказываете про Первую Конную. А если бы там так делали?

Пятница приподнялся в постели.

— Ты, Георгий, мне в душу не лезь,— сказал он хмуро.— Тоже заладил: в Первой Конной, в Первой Конной. Много ты понимаешь. Молод еще. Глуп.

Гошка ничего не ответил и опять направился к выходу.

— Погоди,— сказал Пятница.

Гошка остановился.

— Подойди-ка сюда.— Председатель посмотрел ему в глаза.— А может, ты и не глуп. Может, это я... не понимаю чего-то. Чего-то путается в голове... Старею, что ли... Ладно, Георгий, сейчас пойдем, разберемся.

Пятница взял со стула брюки и просунул в них белые худые ноги.

Всю ночь шел снег. Но никто этого не знал. Люди спали, и снились им разные сны. А утром проснулись, выглянули в окошки и увидели — первый снег.

Утром прибежал Анатолий. В зимней шапке, с фотоаппаратом через плечо.

— Гошка, вставай! Пойдем фотографироваться.

Он тормашил Гошку до тех пор, пока тот не поднялся. Достал из шкафа тщательно отутюженный костюм. Анатолий нетерпеливо ожидал, пока Гошка оденется.

— Да кто ж так галстук повязывает! В Москве сейчас тонкие узлы носят. Ну чего ты опять хмуришься? Подумаешь — уехала девка, ну и уехала, другую найдешь. Сама ведь она виновата.

— Сама... А знаешь, что мне Лизка вчера сказала?.. Все это брехня. Ничего у Саньки с Вадимом не было. И вообще она не с Вадимом уехала, а в город, к родным.

Они вышли на улицу. Все было в снегу — поля, крыши, стога сена.

Фотографировали друг друга сначала у речки, потом возле мельницы, напоследок дома.

А вечером пошли они в клуб. В клубе играла радиолa, кружились пары. Илья Бородавкa сидел один в библиотеке и подбирал пластинки. Вступив в прежнюю должность, Илья снова задвинул в угол рояль и положил на крышку табличку «Руками не трогать». Но больше ничего менять не стал. Илья понимал, что сравнения с Вадимом ему не выдержать, и все-таки был несказанно обрадован тем, что клуб снова в его распоряжении. Кроме того, была у Ильи еще одна радость, которой он тут же поспешил поделиться с Гошкой:

— Слышь, Гошка, Пелагея-то моя ездила в город. А врач ей сказал: «Вы,— говорит,— на втором месяце». На втором месяце,— повторил Илья и кашлянул в кулак, должно быть от смущения.

Они снова вернулись в клуб и долго смотрели на танцующих. Аркаша Марочкин, одетый в новенькое полупальто, кружил раскрасневшуюся от счастья Лизку. Только позавчера они расписались, и на заседании правления было решено дать им полдома. Правда, Лизка хотела получить целый дом, но из этого ничего не вышло.

В перерыве между двумя танцами Лизка подошла к Гошке.

— Гошка, председатель сказал, что ты завтра со мной в город поедешь. Там гардеробы по тыще двести я видела.

— Ладно,— сказал Гошка,— съездим.

— Ну, вот и хорошо,— обрадовалась Лизка.— Значит, прямо утречком и подъезжай. Четвертый дом от краю.

— Знаю,— сказал Гошка и подошел к Анатолию.— Пойдем домой.

— Побудем еще немного.

— Да чего тут делать? Пошли.

Вышли на улицу. Было совсем темно. Сквозь разрывы в облаках редкими кучками млели звезды. Гошка включил фонарик, и по снегу запрыгал широкий, едва заметный желтый круг.

— Надо сменить батарейку,— сказал Анатолий.

Гошка не ответил. Они шли, и каждый думал о своем.

— Ты, Гошка, я думаю, смог бы,— неожиданно сказал Анатолий.

— Что — смог бы?

— Подвиг совершить.

— Подвиг? Нет, наверно, не смог бы.— Гошка вспомнил, что когда-то об этом же его спрашивала Санька.— Где уж,— вздохнул он.— Даже с Санькой быть человеком не смог. А тут...

Возле дома Ильи Бородавкы они попрощались, и Гошка один пошел домой.

— Стой! Кто идет? — грозно окликнули его возле склада.

Дядя Леша стоял у самых дверей и держал ружье наготове.

— Это я, дядя Леша,— сказал Гошка, подходя.— Стоишь?

— Стою,— неохотно сказал дядя Леша.— При блombe стою.

— Я около тебя посижу здесь, ладно?

Дядя Леша заколебался, но отказать не посмел.

— Посиди, чего уж.

Гошка смахнул со ступеньки снежок и сел.

— Слухай, Гошка,— нарушил молчание сторож,— вот если баба моя в пятьдесят годов работу бросила, пенсию ей будут платить? Ты не узнавал?

— Не узнавал,— сказал Гошка.— Дядя Леша, от тебя Яковлевна никогда не уходила?

— Уходила? Как это — уходила?

— Ну, может, ты ее обидел когда.

— Обидел? Зачем мне ее обижать? Ну, бывало, конечно, в молодости побьешь по пьяному делу, а чтоб обижать — нет, не обижал я ее.

— Ну ладно.— Гошка встал.— Пойду спать.

Основные работы в колхозе давно закончились, но на току еще шумели автопогрузчики и зернопульты. Колхозники счищали с буртов пшеницы тонкий слой снега и грузили зерно на машины.

Прямо с элеватора Гошка подъехал к хозяйственному магазину, где его ожидали Лизка и Аркадий. Они купили только шифоньер, а диван, который продавался в магазине, Лизке не понравился — он был без зеркала. А еще Лизка купила на базаре матерчатый коврик, на котором были изображены непроходимые джунгли и полосатый тигр с оскаленной пастью. Лизка показала коврик Гошке.

— Ничего. Хорошо бы еще сюда лебеда, — пошутил Гошка.

— Так тут же тигра. Она его съест. Картины понимать надо, — укоризненно заметила Лизка. — Слышь, Гоша, а я тут на почту ходила.

— Ну и что?

— Да ничего. Письмо от Саньки получила.

— Письмо? Что ж она пишет? — Гошке хотелось показать, что письмо его мало интересует, но это ему не удалось.

— Чего пишет-то? Да так... ничего особенного. Ребят, говорит, у нас много и все больше летчики да инженера. — Лизка посмотрела на Гошку и пожалела: — Ладно, это я так просто, для шутки. Ты бы ей написал письмо — может, вернется. На вот адрес.

Лизка оторвала нижнюю часть конверта и подала Гошке. Гошка положил адрес в карман гимнастерки. Потом он открыл задний борт и влез в кузов, а Аркаша подавал ему шифоньер снизу. Шифоньер был тяжелый, дубовый, и Аркаша никак не мог его осилить. Лизка, скрестив руки на груди, стояла в стороне и командовала:

— Да ты его споднизу, споднизу бери!

— Ты лучше подсобила б, — хмуро заметил Аркадий.

— Мне нельзя тяжелое подымать. Я женщина, — сказала Лизка.

Когда шкаф был погружен, Гошка получил последние указания:

— Гоша, ты там это... разгрузишь с кем-нибудь, а мы тут еще походим по магазинам.

Лизка взяла Аркашу под руку и повела по улице.

Гошка вынул из кармана обрывок конверта и еще раз посмотрел на адрес, который был написан Санькиной рукой. Значит, она и правда ни в какую Москву не поехала. Может, еще вернется...

Было тепло. Таяло. Следы автомобильных колес пожелтели. Гошка остановил машину возле дорожного щита, что стоял на обочине, и, подойдя к нему, долго смотрел на прямые крупные буквы, которыми было написано одно слово:

ПОПОВКА.

Потом нашарил в кармане угловатый осколок мела и написал внизу:

МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ. Г. ЯРОВОЙ.

Впереди послышался шум моторов. Гошка посмотрел на свою надпись и стер ее рукавом. Шум нарастал. По дороге в сторону Актабара шли машины, груженные хлебом.



МАРГАРИТА АЛИГЕР

★

ИЗ ЛИРИКИ

* * *

Стихотворенье — голубая жилка.
Покуда кровь течет свободно в ней,
не слишком торопливо, в меру пылко,
становится она лишь голубей.

Но если в хрупком голубом сосуде
стеснится кровь,—
порвег его она,
на волю хлынув.

И увидят люди:
кровь тяжела, тревожна и красна.

* * *

Бывают дни —
ни голоса, ни смеха.
Живу с трудом и двигаюсь с трудом.
Как будто кто-то дорогой уехал
и замерла душа моя, как дом.
Как дом, где мало солнечного света,
где ни к чему хозяйство и уют,
как дом, в котором чья-то песня слета,
где никого не любят и не ждут.

Я ненавижу собственную душу
в такие дни,
едва ее тяну.

И вот, когда я тишину нарушу,
раскрою окна, двери распахну,
и выбегу, и встану на пороге,—
увиду вдруг,
куда ни брошу взгляд,
что мир мой полон весточек с дороги
того, кто возвращается назад.
На облаках и на листве он пишет,
и на полянах и на глади рек,
и вся земля поет, цветет и дышит
тем, как он близко, этот человек.

Скорей за дело!
 Труд мне будет сладок.
 Мне весело глядеть на белый свет.
 Я наведу в душе своей порядок
 к приезду гостя.
 Но его все нет.
 Нелегко путь.
 Задерживает что-то.
 Но в ожиданье светится, как дом,
 моя душа,
 и спорится работа.

Ну что ж, дружок, спасибо и на том.

* * *

Я все плачú, я все плачú,
 плачú за каждый шаг.
 Но вдруг — бывает! — я хочу
 пожить денек за-так.
 И жизнь навстречу мне идет,
 подарки дарит мне,
 но исподволь подводит счет,
 чтоб через месяц, через год
 спросить с меня вдвойне.

* * *

Вошла в мою душу откуда-то с тыла.
 Никто и не ждал и не думал о ней.
 Но вдруг оказалось: душа не остыла,
 душа не устала, а стала умней.
 И, справившись с первой досадой и злостью,
 она поняла, что бороться невмочь,
 что ей не осилить незваную гостью,
 и нечего спорить,
 и надо помочь.
 Дикарке, упрямо забившейся в угол,
 сказала душа моя:
 — Раз уж ты тут,
 давай мы по-честному скажем друг другу,
 какие нас будни и праздники ждут.
 Я рада тебе!
 Стань же солнечным светом.
 Стань песней.
 Веди меня в утренний путь.
 Последним решеньем, последним ответом,
 последней свободой и силою будь.
 Я рада тебе,
 только я не позволю
 глаза отводить на упреки в ответ,
 стать чьей-нибудь мукой, стать чьей-нибудь болью.
 Нет, ты не затем появилась на свет.

Пустыми обидами сердца не мучай,
забудь сожаленья и жалобы брось.
Живи для того, чтобы всем было лучше,
чтоб каждому чуточку лучше жилось.
А если ты вдруг заскучаешь немножко,—
не пряча невольной своей красоты,
захочешь присесть на виду, у окошка...
Не стоит.

Нельзя.

Никакой суеты.

Прошу я большого, как небо, покоя,
какая беда ни ждала б впереди.
И если тебе не по силам такое,
тотчас, не раздумывая, уходи.
Тотчас уходи. Притворяться не надо.
...Но вздрогнули детские губы любви
в обиде.

Ну, что ты!

Я верю.

Я рада.

Не гостьей,

а доброй хозяйкой живи!

ОГОНЕК

Бежит по морю огонек
за снежной кутерьмой.
Спешит рабочий катерок
откуда-то домой.
Он режет толстый пласт воды
железною кормой.
Он завершил свои труды
и вот бежит домой.
Вовсю неистовствует норд,
и ветер бьет, как жгут,
но близок берег, близок порт,
но где-то дома ждут.
И что с того, что хлещет в грудь
студеная волна.
...Я вижу этот трудный путь
из своего окна.
Я озабоченно слежу
за быстрым огоньком,
гляжу, и глаз не отвожу,
и думаю о нем.
Откуда он и кто он есть?
Куда ему идти?
Но кто бы ни был он, бог весть,
счастливого пути!
Осиливая зимний мрак,
он будет невредим.
Ведь на молу горит маяк,
ведь я слежу за ним.
И в теплом доме, у огня

на крымском берегу.
мне кажется, что это я,
что это я бегу.
Не теплоход, не пароход,
рабочий катерок.
И море в грудь нещадно бьет,
и зимний норд жесток.
И так порою нелегко
управиться с зимой.
Но мне уже недалеко,
но я иду домой.
Порою кажется: никак
вздохнуть я не могу.
Но светит с берега маяк,
но ждут на берегу.
И в мире есть душа одна,
которая порой
следит из своего окна,
как я бегу домой,
и мне желает в добрый час
счастливого пути.
Прямая воля этих глаз
поможет мне дойти.

ОСЕННИЙ ДЕНЬ

Читаю «Римские рассказы»,
бесхитrostные, как стихи.
А дни — лучистые алмазы.
А думы ясны и тихи.

Я — камешек в твоей оправе,
осенний драгоценный день.
Ты потерять меня не вправе!
Не гасни, не скрывайся в тень!

Я от тебя неотделима
и тем сильна и тем чиста.
Как облака, проходят мимо
обиды, вздор и суета.

Осенний день в душе усталой
зажег последние огни,
Все прояснилось, заблестало,
как будто небо в эти дни,

Простая правда отовсюду,
как ручеек, насквозь видна.
Просить о помощи не буду.
Я все должна понять одна.

И если я люблю и верю,
я все осилю и пойму.
Пойму и не передоверю
на белом свете никому.

ЗОЛУШКА

Золушка приехала на бал,
как положено, в разгаре бала.
Полон был гостей дворцовый зал.
Духовая музыка играла.

Хлопотал не покладая рук
церемониймейстер, как диспетчер.
Золушка, на зависть всем вокруг,
танцевала с принцем целый вечер.

Принц в толпе ее заметил сам
и ухаживал единолично.
Время шло к двенадцати часам.
Все могло закончиться трагично.

«Ах, простите, принц, я не могу...»
Золушка по лестнице бежала,
и с прелестной ножки на бегу
крошечная туфелька упала.

Туфелька лежала на полу.
Принц стоял, несчастный и влюбленный.
...Я была однажды на балу
Золушкой, сироткой, Сандрильоной.

Оборвалась шелковая нить,
мне развязка выпала другая.
Я и башмачка-то обронить
не успела, с бала убегая.

Бедный принц, как не было меня!
Вальс умолк. Оборвалась беседа...
Ночь прошла, и в ярком свете дня,
как звезда, бледна моя победа.

Принц давно уж потерял престол.
Он теперь в одной газете служит.
Золушку он так и не нашел
и об этом, кажется, не тужит.



Н. МЕЛЬНИКОВ

★

ШТАБ УДАРНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ

Очерк

Человек казался подвешенным к небу. Он помахал мне, чуть откинувшись назад — насколько позволял страховочный пояс, — и крикнул:

— Скоро в Москву еду!

Я узнал ремонтника Колю Еникеева. О том, что он едет в Москву, я однажды уже слышал от него. Но, видно, не только на земле, но и на верхотуре Еникеев не переставал думать об этом.

— Как там на Одиннадцатую Парковую попасть? — кричал он.

— Метро довезет.

— А Лужники далеко?

— Близко.

Про Парковую и Лужники Коля тоже уже спрашивал меня, но позабыл. Позабыл, должно быть, на радостях. У ремонтников сегодня особый день: то, что полагалось сделать за неделю, сделано за два дня. Оставалось сменить последние фланцы, навинтить последние гайки, и система снова вступит в действие. Ну а потом отпуск и первая в жизни встреча с Москвой.

Подошла Рая Ефимова — секретарь комитета комсомола.

— Вы что, про Еникеева писать хотите? — спросила она. — Не торопитесь.

— А что случилось?

— Приходите вечером в штаб — узнаете. Крупный разговор будет.

В эти дни жара доходила до сорока градусов. Люди приостанавливались на перекрестках, подставляя себя сквознякам. А Еникеев с утра до вечера где-то там под выгоревшим небом орудовал тяжелым гаечным ключом. Он возглавлял капитальный ремонт воздушных газовых коммуникаций. О нем писала республиканская комсомольская газета. По вечерам Коля садился на скамеечке у общежития и тихо наигрывал на баяне.

Я сказал Ефимовой, что в штаб, конечно, приду, но что, по-моему, Коля хороший парень.

— Я тоже так думала, — ответила Рая скорбно, как бы сочувствуя самой себе.

— Ну а какие еще вопросы будут? — спросил я.

— Похлеще еникеевского!

Она сказала это гневно и строго поглядела мне в глаза, и я невольно подумал: уж не меня ли она собирается прорабатывать?

— Будем обсуждать аморальный поступок Шайнурова.

Шайнуров — начальник штаба всесоюзной ударной комсомольской стройки, и я решил, что теперь-то уж Ефимова наверняка разыгрывает меня.

— Будет шутить, я серьезно спрашиваю.

— А я серьезно отвечаю.

— Да что он сделал?

— Приходите, сами услышите. А пока до свидания. До вечера.

Она ушла торопливой, деловой походкой, а я пошел разыскивать Шайнурова. За три недели, что я провел на стройке, мы сдружились с ним, и мне казалось, я имел право спросить его начистоту: что произошло?

Но не так-то легко днем найти Шайнурова на стройке. Заглянул в штаб — на дверях замок. В парткоме сказали — был, но ушел. Стройка готовилась к пуску бутиловой группы. Сейчас там строителей и будущих эксплуатационников видимо-невидимо. Шайнуров наверняка тоже пошел туда. Но подступы к новому корпусу держали в своих руках дорожники. На каждом шагу грозные надписи: «Проход закрыт», «Не ходить!» А попробуешь сунуться — тебя остановят крепким словом. Кое-как, с прилипшим к подошвам варевом асфальта, я все-таки добрался до дверей корпуса. Здесь на всех этажах лестничной клетки шуршали малярные кисти, и, чтобы не угодить под них, надо было глядеть в оба. В цехи я так и не попал. Там работали специальные комиссии по приемке оборудования. То у одного, то у другого я спрашивал, нет ли здесь Шайнурова. Ответ был неизменен: «Заходил, но ушел». Мне ничего не оставалось, как ждать вечера.

На улице меня чуть не сбил с ног начальник строительного управления Краснов. Он поздоровался и пронесся мимо.

Не так давно я был свидетелем невеселого разговора между Красновым и Шайнуровым, после того как штаб выпустил «молнию»: «Товарищ Краснов срывает план пускового объекта».

В тот день я зашел в приемную Краснова. Деловито стучала пишущая машинка, от стены могущественно выступал несгораемый шкаф. Сам начальник сидел в просторном кабинете за большим столом. Он устало кивнул нам, устало протянул руку.

— Имей в виду, — сказал он, обращаясь к Шайнурову, — твоя «молния» бьет рикошетом по всему тресту. Не слишком ли замахнулся?

— Ваше управление еще не весь трест, — ответил Шайнуров. — Да и трест тоже не весь Советский Союз.

В кабинет влетела секретарша и быстро, чуть не плача, заговорила:

— Александр Иванович, лучше увольте меня. Сiju, работаю, вдруг в дверь просовывается чья-то нахальная голова и начинает надо мной издеваться. «Вам, — говорит, — гражданочка, еще не надоело срывать план пускового объекта?» Это же бог знает что! Как хотите, а я заказала междугородный разговор с Тирасполем. На нашу телеграмму они не ответили, так пусть по телефону скажут, будет наконец отгружена эта проклятая метлахская плитка. А вы, — она уставилась на Шайнурова, — отправляйтесь ко мне домой и забирайте пол у меня из кухни и ванной, только оставьте нас в покое...

Высказав все это, она исчезла так же внезапно, как появилась.

Краснов спросил Шайнурова:

— Ну как, доволен?

— Доволен. Кажется, плитка будет.

Потом Шайнуров спросил о кирпиче. Краснов обещал помочь. При этом он оговорился, сказав, что совнархоз фонды распределяет не каждый день и может случиться так, что его, Краснова, просто даже слушать не будут, однако он сделает все, что от него зависит.

— Вы меня, конечно, простите, — сказал ему Шайнуров. — Вот вашу секретаршу похоже что проняло, а вас, по-моему, еще нет. При чем здесь

запланированные фонды? Стройке нужен кирпич! — Он встал и направился к двери. — Жду вас внизу, — сказал он мне и вышел.

Я тоже поднялся. Начальник, прощаясь, сказал:

— Шайнуров — это голова. Штаб для него маловат. Ему бы в обком или по меньшей мере в райком.

А я подумал, что Краснов хитрит. Просто он считает, что ему, солидному работнику, не пристало обижаться на юнца. Куда дипломатичнее похвалить.

На улице Шайнуров сокрушался:

— Честно говоря, никогда не думал, что Краснов будет терпеть нашу «молнию». Мы ждали, что он поднимет шум, добьется пересмотра фондов или по крайней мере заставит снять «молнию». Ни того, ни другого Краснов не делает. Ну что ж, приходится самим в совнархоз идти. — И вдруг Шайнуров взорвался: — А пустим бутиловую группу, небось Краснова в президиум выберут на торжественном собрании!..

К зданию совнархоза вела широкая лестница. Шайнуров остановился и предложил закурить. А я подумал: «Неужто робеет?» Впрочем, почему бы и не сробеть? Человеку двадцать лет, он невысокого роста, щуплый — совсем мальчишка, на нем ковбойка и пиджачок с хлястиком. Вид, прямо сказать, не очень-то солидный, недаром на него покосился вахтер...

Скоро мы были в приемной. Нас встретил секретарь — молодой человек с вежливым лицом. На диванах по двое и в одиночку сидели посетители. Телефоны здесь не звонили, а тренькали — тихо-тихо, шаги тонули в ковровой дорожке, люди переговаривались шепотом или вполголоса, будто там, за бархатными гардинами, находился тяжело больной человек. И хотя я знал, что там никто не болен, голос Шайнурова (говорить тихо он не умел) резанул меня.

Сначала он представился секретарю сам, потом представил меня, потом заговорил о деле, сказал, что ударная комсомольская стройка не может жить подачками и что ей нужно в день пятнадцать — двадцать тысяч штук кирпича. Секретарь деликатно ответил, что план поставок давно утвержден и в этом вопросе ничего стихийного, анархического быть не может. Короче говоря, та же песня, что и у начальника строительства управления. Шайнуров терпеливо, сдерживаясь, наступал:

— Люди на сдельной оплате. Хотят работать, зарабатывать деньги, есть, хорошо одеваться, ходить в театр.

Молодой человек печальным голосом ответил:

— Ничем не могу помочь.

Тут уж Шайнуров не выдержал:

— Я же не у вас лично прошу помощи. От вас требуется записать меня на прием.

— По таким вопросам не записываю.

Шайнуров посмотрел на молодого человека долгим оценивающим взглядом, прикидывая, должно быть, каких еще слов достоин тот.

— Неужели вам не ясно, — чеканя каждое слово, начал он, — что не мне нужен кирпич? — И сам ответил: — Нет, вам не ясно. Наплевать вам на нашу стройку — вот почему вам не ясно.

Шайнуров везде и во всем делил людей на две категории: если человек помогает стройке — значит, он свой человек, хороший, если не помогает — не свой, плохой...

Мы ушли. Нас окликнули уже на лестничной площадке. К нам спешил тот самый молодой человек из приемной ответственного товарища.

— Дурень ты, вот кто, — сказал он Шайнурову уже без всякой вежливости. — Ну, запиши я тебя, все равно ведь раньше субботы на прием не попадешь. А сегодня вторник. Устроит тебя?

— Нет, не устроит. Сейчас пропусти.

— А ты видел, сколько людей в приемной?

— Видел.

— Да они же меня на части разорвут.

— И хорошо сделают.

Молодой человек был немногим старше Шайнурова, и теперь, когда он заговорил на «ты», все стало проще.

— Ваську Маслова знаешь? — спросил молодой человек. — Он у вас на стройке с первых дней.

— Каждый день вижу.

— Передай привет от Смородинова. Мы вместе строительный кончили. Он на стройку, а меня сюда. Во как надоело! — Ребром ладони он провел по шее.

— Ну и хватит штаны просиживать.

Молодой человек доверительно сообщил:

— Квартиру дали. Неудобно сразу срываться.

Шайнуров усмехнулся и сказал:

— Мы тоже не в шалашах живем.

— Я твой кирпич проверну сам. Сегодня же доложу.

Мы возвращались на стройку тихой улочкой. Пятиэтажные дома на правой стороне всеми своими окнами словно вглядывались в пустырь напротив. Скоро и его застроят, а пока он был отрадой мальчишек, игравших в футбол.

Шайнуров долго молчал, потом вдруг весело заговорил:

— Есть интересная идея. А что если этого Смородинова ввести в состав нашего штаба? Вот бы зажили!.. — И тут же веселость его как рукой сняло. — Ничего не выйдет. Утопия. — Он не только не одобрил свою собственную идею, но даже возмутился: — Черт знает что в голову приходит! Можно подумать, что наша стройка одна-единственная у совнархоза.

И он ринулся в спор, который затеяли мальчишки, игравшие на пустыре в футбол. Когда он успел разглядеть, кто прав, кто виноват, одному богу известно. Спор шел из-за гола: мяч лежал в воротах, но пострадавшая сторона утверждала, что забивший этот гол огненно-рыжий парень находился вне игры. Рыжий готов был разреветься. Шайнуров заявил, что гол был забит правильно, что, мол, он со стороны хорошо это видел. На том и порешили, но тут вратарь пострадавших ворот огласил пустырь громким рыданием. Его пришлось заменить. Наверно, не будь рядом меня, Шайнуров самозабвенно погонял бы мяч. И это нисколько не помешало бы ему назавтра явиться в Верховный Совет республики, чтобы «провернуть» вопрос о кирпиче.

Он и явился. Дело в том, что ответственный товарищ совнархоза был депутатом Верховного Совета. Шайнуров пришел к нему как избиратель и не только был принят, но и заручился обещанием в срочном порядке пересмотреть план поставок стройматериалов.

На той же неделе два завода стали отгружать в адрес большой химии двадцать тысяч штук кирпича ежедневно.

Вечером, в шесть часов, я пришел в штаб, где, как сказала секретарь комитета комсомола Ефимова, будут обсуждать «аморальный поступок Шайнурова» и где ремонтника Еникеева тоже ждал «крупный разговор».

Конечно, святых на свете нет, с каждым может случиться неладное. Но на чем сорвался Шайнуров, в чем провинился Еникеев — я не представлял себе.

Комсомольский штаб строительства и комитет комсомола завода помещались в одном коридоре одноэтажного домика. Все двери и окна

домика были распахнуты, чтобы легче дышалось. К вечеру жара спала всего на два-три градуса. Было уже не сорок, но тридцать семь верных.

За столом Шайнурова, но не на его председательском месте, а сбоку, перед телефоном, в глубокой задумчивости сидела Рая Ефимова.

— Бйтый час жду междугородную с Барнаулом — и ни звука, — пожаловалась она. — Арматурный завод подводит. О чем только они там думают? Который уж раз заказы срывают. Шайнуров хотел взять отпуск и поехать к ним. Толкачами становимся.

— За что все-таки его прорабатывать собираетесь? — спросил я.

— Шайнурова?..

— Ну да.

— А вы небось о нем хотели целую статью написать?

Я ответил, что дело не в этом, но я просто не верю, чтобы Шайнуров был способен на аморальный поступок. На это Ефимова сказала:

— А если человек у жёниха из-под носа невесту увел? Как, по-вашему, это называется?

— Шайнуров, что ли, увел?

— Именно. Галю Хасанову знаете из метилстиролового?

— Знаю.

— Ее увел. У монтажника Феди Блохина. Комитет готовил им комсомольскую свадьбу. Изыскал средства на сервиз, тахту. Постройком и завком обещали выделить комнату в новом доме, а Шайнуров взял и все расстроил. Отбил невесту. Честно это?

Я ответил, какая же это, мол, невеста, если ее взяли и «увели». Стало быть, все к лучшему.

— Я вижу, вы улыбаетесь, а мне людям в глаза смотреть стыдно. Постройкому и завкому голову наморочили. Сервиз выбрали, тахту заказали... Будто на одной Хасановой свет клином сошелся.

И неожиданно для меня, а может, и для себя, Рая призналась:

— Я, между прочим, тоже была влюблена в Шайнурова. Теперь прошло.

Раздались длинные звонки. Вызвала междугородная.

— Алло, слушаю.

...С Галей Хасановой меня познакомил Шайнуров. Она стояла тогда перед шитом с приборами. Над ней распласталась громадная паутина стальных трубопроводов. Воздух был наполнен нетерпеливым, требовательным жужжанием, будто сюда залетела огромная пчела и никак не могла вылететь. Этот приглушенный шум казался отголоском мощной работы пиролизных печей.

Галя не отрывала глаз от крошечного оконца, в котором «вечное перо» выводило на белой сетчатке кривую режима печей, напоминая кардиограмму сердца.

Шайнуров попросил Галю растолковать мне значение метилстирола, а сам ушел.

— Метилстирол, — сказала Галя, всматриваясь в окошечко, и умолкла.

Больше я ничего от нее не услышал. Она подошла к небольшому столику, выдвинула ящик, достала целую пачку брошюр и протянула их мне.

— Там все написано, — сказала она, хитро улыбаясь, и вернулась на свой пост.

Намек был внушительный, но я нисколько не обиделся, только мысленно чертыхнул Шайнурова, ловко сбывшего меня с рук...

— Алло, слушаю! — кричала в трубку Ефимова. — Кто у телефона? Мне секретаря комитета Тимченко... В кино пошел? То есть как в кино?

В рабочее время?.. То-то мы вашей арматуры не видим... — Она вдруг повернулась ко мне и громко зашептала: — Забыла, что у них время на три часа быстрее бежит! — И опять в трубку: — Слушай, друг, с кем я говорю? Никишин?.. Так вот, товарищ Никишин, ставим вас в известность, если в ближайшие дни вы не отгрузите наш заказ, мы напишем коллективное письмо в «Комсомольскую правду»... Что, что? Сами пишете?.. Почему это мы внеплановые?.. Слушай, Никишин, — примирительно продолжала Рая, — какого числа начнете отгружать?.. Двадцатого?.. Пусть Тимченко телеграмму даст. Ладно? Ну, привет!.. Нет, нет, стой! Какое у вас сегодня кино?.. Эх, опять отстаете от жизни, у нас «Русский сувенир» давно прошел... Желаю успеха! — Рая положила трубку, раскрыла рабочий дневник штаба и что-то записала туда. — Сейчас сюда еще один жених придет. Посмотрите, что за тип. Заявление в комитет написал. — Она протянула мне листок. — Почитай-те. Думает, здесь дурачки сидят...

В заявлении говорилось, что он и она давно любят друг друга и просят комитет комсомола устроить комсомольскую свадьбу. А также просят комитет учесть, что создавать семью под открытым небом никак нельзя...

— Понимаете! — возмущалась Рая. — Им вовсе не семья нужна, а комната. Их ни одна живая душа вместе и не видела. Знают, что на комсомольской свадьбе ключ от комнаты вручают, вот и решили попытать счастья, чем черт не шутит. А потом развод, комнату на две менять будут. Вот сейчас явится, своими глазами увидите.

И верно, скоро пришел парень. В зубах папироска, на плечах, несмотря на жару, кожаная куртка внакидку, брюки заправлены в сапожки. Он не поздоровался, а прямо с порога весело спросил:

— Ну как, секретарь, свадебку сообразим?

Рая мрачно поглядела на парня, медленно поднялась из-за стола.

— Ты что, в пивную пришел?

Парень выхватил изо рта папироску, спрятал ее за спину.

— Виноват, молод, исправлюсь. Я ведь только спросить пришел.

Рая вздохнула, села на место и, не глядя на парня, сказала:

— Комитет комсомола не верит в вашу любовь. Липа это, а не любовь. Придешь на бюро со своей невестой, а сейчас иди.

Парень ушел не сразу, потоптался на месте и даже вроде обиделся:

— Я ведь только спросить пришел, а ты уж сразу на бюро. Сказала бы «нет», и все тут.

— Нет, не все. За вранье отвечать будешь. Оба будете отвечать.

Парень ушел, больше ничего не сказав, а Рая еще долго не могла успокоиться.

— Ну скажите, не тип? Свадебку, говорит, сообразим? Точно о поллитре речь идет.

Пришел демобилизованный матрос Григорьев. Несколько дней он ходил по заводу и стройке, приглядывался, примеривался — никак не мог решить, оставаться ему здесь или податься куда-нибудь еще. С утра он появлялся то на одном, то на другом участке стройки, потом навещивался в комитет и в штаб. На нем все еще была флотская форма. То ли покрасоваться хотел, то ли не купил еще штатского костюма.

— Гулять не надоело? — спросила его Ефимова.

Григорьев сел, вытащил железный портсигар, поиграл им в руке.

— С ходу такие дела не решают, — сказал он. — У меня до флота шестой ряд автоматчика был, а у вас учеником берут. Конечно, техника новая, подучиться не мешает. Но все же обидно...

Рая ответила, что обижаться глупо и что, если у человека голова и руки на месте, его никто и не будет держать в учениках.

— Заходил сегодня в вашу столовку,— не спеша продолжал Григорьев,— кормят неплохо, да и вообще культурно.

— А ты думал, у нас пригоршней хлебают, что ли?

Григорьев промолчал. Потом сообщил, что на корабельной художественной самодеятельности он не последним человеком был:

— Сплю куплеты, так все полягут.

На это Рая не без ехидства ответила:

— Так чего ж ты сюда пришел? Ступай в филармонию.

Короче, матрос терпел поражение по всем статьям и скоро умолк.

Штаб начал заседание далеко не в полном составе. И тут ничего нельзя было поделывать: сегодняшней вечер принадлежал футболу. Еще с утра меня спрашивали, пойду ли я на футбол. Я отвечал, что не пойду. На меня тарасили глаза, а кто-то даже сказал: «Да вы что? Ведь мы сегодня с Сызранью играем!»

Ефимова сказала, что Шайнурова вызвали в обком комсомола и он запоздает, просил начинать без него. А я подумал: «Неужто и до обкома докатилась эта история со свадьбой?»

Были в штабе два незнакомых мне человека: бригадир отделочников Мухин, или попросту Петя, как представила мне его Ефимова, и мастер с мебельной фабрики Крылов. Но тут Рая сказала сухо: «Знакомьтесь — Крылов». Без имени.

Как только Петя увидел Крылова, он прямо-таки вцепился в него.

— Обманываешь, халтуру подсовываешь! — кричал Петр.

— А ты не ерепенся. Я не частник, чего ты с меня одного спрашиваешь?

Ефимова прикрикнула, требуя тишины. Петр сел, повернулся спиной к Крылову. Кто-то предложил выключить репродуктор, откуда раздавался захватывающий гул стадиона. Представитель автобазы Вася Харитонов нехотя поднялся, подошел к репродуктору и, прежде чем выключить его, чуть-чуть послушал и тяжело вздохнул.

Разговор начали с Васи Харитонова. Его спросили, собираются ли автобазовцы работать в воскресенье на уборке территории завода. Ведь не за горами торжественный день пуска бутилового цеха. Харитонов ответил, что поручиться за это не может, что ребята, мол, по две смены вкальвают, и если в воскресенье не отдохнуть, то в понедельник заснешь за баранкой.

— Ты что думаешь, мы прослезимся? — спросила Ефимова. — Нас не разжалобишь. Собери актив и выступи перед людьми. Вспомни, как ты на активе транспортников выступал. Сколько человек тогда добровольно согласилось по выходным оборудование со станции вывозить!

— Это дело прошлое, — сказал Вася. — Ты лучше спроси, скольких я за грудки брал, что в рейс ехали. Сами, черти, аплодировали, а потом орать стали: «Сдалось нам твое оборудование!..»

Рядом с Харитоновым сидела Халида Фаттахова, бригадир каменщик. Всей стройке было известно, что не сегодня-завтра она и Харитонов отправятся в загс. Ну, а пока Халида не щадила Василия.

— Ну что с него взять, — сказала она. — Видите, не умеет он с людьми разговаривать, чего доброго рукам волю даст.

— Как хочешь, — сказала Ефимова, — собирай актив, бери за грудки, но чтоб машины были.

Она доложила о своем разговоре с Барнаулом и заговорила о подготовке массового выезда за город, но тут, запыхавшись, вбежал паренек из бригады ремонтников и сообщил, что ребятам на верхотуре в

срок не уложиться, потому что десять фланцев оказались бракованными, а на складе висит замок. Что делать?

— Вот она, тщательная подготовка к ремонту, — проворчал кто-то.

Васю Харитонову, хотя он был без машины, откомандировали на розыск завскладом. Петр и Крылов, забыв про вражду, отправились в ремонтные мастерские. За ними увязался матрос Григорьев. Ефимова побежала в общежитие к слесарям. Так штаб, не успев начать заседание, снялся, чтобы в ударном порядке спасти ремонт воздушных коммуникаций. Ведь в десять часов вечера по трубам снова должен пойти газ с нефтеперерабатывающих заводов в действующие цехи завода «Синтезспирт». Я остался вдвоем с Халидой Фаттаховой. Она разложила на столе чистый лист бумаги и стала писать «молнию», в которой выводила на чистую воду халтурщиков слесарей.

В один из субботних дней в городском парке читали лекцию «О любви». Позади меня на лавочке сидели Халида и Харитонов. Вскоре после начала переполненный читальный зал стал дружно пустеть. Лектор доказывал, что до Октябрьской революции женщина имела все основания изменять мужу и что это было вызовом царскому самодержавию. Пример тому — Анна Каренина и Катерина из «Грозы». Но теперь со старым миром покончено, и нет никаких оснований для таких фактов.

Непонятно было, где раскопала администрация парка этого пронафталиненного специалиста по этическим вопросам.

Неподалеку от меня шумно поднялся парень.

— Не про нас, — громко сказал он и пошел к выходу.

Халида и Харитонов вполголоса спорили о чем-то своем.

— Он или я! — твердо заявил Вася.

— Смешно слушать, — отвечала Халида.

— Я за себя не ручаюсь, — грозился Вася. — Вот о таких, как он, надо бы лекции читать.

Я думал, что речь идет о Васином сопернике, но потом выяснилось, что никакого соперника нет, а есть прадед Халиды Фаттаховой — злейший враг Васи Харитонova.

В лучшем случае от молодого города нефтяников и химиков доживали свой век жалкие хибары старого рабочего поселка. Чтобы показать их, и привез меня однажды на своей трехтонке Вася Харитонов. Возле ухабистой дороги — несколько приплюснутых к земле домишек. Казалось, их можно просто поддеть лопатой и зашвырнуть в кузов Васиной трехтонки.

— Здесь, — сказал Вася, — он и проживает.

Еще недавно Вася гордился своим будущим родственником и уверял, что прадед Халиды чуть ли не был лично знаком с Пугачевым. Теперь же Вася не мог слышать об этом старце.

— Человеку за сто двадцать перевалило, — возмущался Вася. — А ведь как зазнался, националист оголтелый.

«Зазнайство» прадеда Фаттахова заключалось в том, что он не давал Халиде своего прадедовского благословения, иначе говоря, не разрешал выйти замуж за Харитонova. Между тем в громадной семье Фаттаховых были уже представлены и русские, и украинцы, и армяне, и татары. Прадед гулял на всех свадьбах внуков и правнуков, а тут вдруг на тебе, заартачился. То ли почувствовал приближение смерти и захотелось напоследок проявить характер, то ли просто блажь на него нашла. На семейном совете решили не доводить прадеда до отчаяния и сыграть свадьбу без лишнего шума — тихо.

Видно, не так-то легко было разыскать завскладом. Харитонов долго не возвращался. Петр, Крылов и матрос Григорьев обошли все ремонт-

ные мастерские и тоже тщетно. Ефимова привела двух слесарей из той бригады, что готовила фланцы, но они в один голос заявили, что фланцы загублены, что надо нарезать новые, однако им точно известно, что на складе готовые можно раздобыть. Кто-то предложил сбить замок, но тут под конвоем Харитонов явился и сам завскладом. Слесари не ошиблись — на складе оказалось все, что нужно, а слесарей в наказание за халтуру заставили до конца ремонта помогать на участке. Причем этим наказанием не ограничилось. Халида предложила им собственноручно вывесить «молнию» о них же самих. Но на это слесари не пошли.

Штаб возобновил заседание. Петр снова повернулся спиной к Крылову. Ефимова опять заговорила о предстоящей массовке в лесу, рассказала о своих переговорах с трестом столовых. Трест обязался выделить «точку» с пирожками, фруктовой водой и печеньем.

— Пивка бы хорошо, — негромко заметил Харитонов, но получил стпор со стороны присутствующих женщин. Мужчины промолчали.

В распахнутых дверях появилась девушка в пышной красной юбке, белой блузке и белых лодочках на высоких каблуках. На согнутой руке у нее висела большая яркая сумка.

— Можно? — спросила она, кокетливо улыбаясь, уверенная в своей неотразимости.

— Входи, — сухо разрешила Ефимова.

Харитонов помахал ей рукой.

— Привет, Наташа.

Матрос Григорьев, видимо, был сражен красотой Наташи.

— Ну прямо «парле ву франсе», — прошептал он мне на ухо.

— Зачем пожаловала? — спросила Ефимова.

Наташа объяснила, что у нее три месяца не плачены комсомольские взносы, но она просит ее простить, так как с этим чертовым обменом квартиры совсем потеряла голову и не имела свободной минуты.

— Если бы ты знала, — говорила Наташа Ефимовой, — какой бюрократизм. Сотни справок, тысяча объяснений, зачем да почему меняешь.

— А верно, зачем меняла-то? — спросила Ефимова.

— Хотелось с балконом и чтоб окна на солнечную сторону, а то целый день мрак. Ну вот и пришлось заново красить, белить. Да, ты ведь знаешь Соньку Ковалеву? Представляешь, решила дать ей подработать, наняла по вечерам ремонт делать, так она такую халтуру выдала, что смотреть тошно.

— Взяла бы да сама сделала, — сказала Ефимова. — Или забыла, как кисть держать?

Наташа, очевидно, решила, что Ефимова шутит. Она усмехнулась, порылась в сумке, достала комсомольский билет, деньги и положила то и другое на стол перед Раей.

— Вот, только поскорее, пожалуйста, а то мы сегодня в драматический идем. Ты еще не ходила на москвичей? Говорят, исключительно играют.

— В партере или в амфитеатре сидеть будете? — поинтересовался Вася Харитонов.

— В партере, Васенька. Нам всегда одни и те же места оставляют. Надоело даже...

— Слушай, — сказала Ефимова. — Не приму я у тебя взносов.

— Ой, Раенька, я ж не знаю, когда в другой раз выберусь.

— А я и в другой раз не приму, — сказала Ефимова.

— Как — не примешь?

— Не могу я брать эти деньги. Не твои они. Не тобой заработаны. Получается, что муж за тебя комсомольские взносы-то платит.

— Ну и что? Что тебе, жалко?

— Денег мне его не жалко. Но ты-то сама неужели не понимаешь, что не за квартиру пришла платить и не за электричество. Комсомольские взносы своими деньгами платят. Да и вообще, какая ты комсомолка? На каждом углу висят объявления, что заводу и стройке дозарезу нужны люди, а у тебя профессия, разряд. Ни черта тебя не интересует. Соньку Ковалеву батрачить на себя заставила, а та, дура, согласилась.

Напудренное лицо Наташи покрылось испариной. Наташа явно не знала, что ей делать. Убежать? Устроить скандал? Расплакаться? Потом губы ее сомкнулись в тонкую злую полоску, сверкнули глаза, раздулись ноздри.

— По-твоему, я какая-нибудь стилига или тунеядец, так, что ли? Тсперь за нее взялся Вася Харитонов.

— А в самом деле, кто ты? Вот я смотрю на тебя и думаю: кто ты и зачем тебе комсомольский билет?

Наверно, еще никто и никогда впрямую не спрашивал ее об этом, и она не знала, что ответить.

— Честно говоря, — продолжал Харитонов, — я сначала даже радовался за тебя. Думал, вот замуж вышла, поступит учиться, все легче будет, чем другим. А ты не работасшь и не учишься.

— Буду, — проговорила Наташа.

— Что будешь? — спросила Ефимова.

— Учиться.

— Не верю.

— Буду. На курсах иностранных языков.

— Так все говорят, кто ничего делать не хочет... Не пойму, вроде своя ты и не своя. Перед кем хвастала квартирой с балконом да партером? Ну нет у нас пока квартир с балконами, и билеты на галерку покупаем, ну и что с того?

— Я принципиально дорогих билетов ни в кино, ни в театр не покупаю, — сказал Вася Харитонов. — Лучше кружку пива в фойе выпить.

Наташа стояла молча и неподвижно. Куда только девалась ее легкость! Стоит, точно ее приковали, молчит, не шелохнется.

Крупные капли дождя ударили о подоконник.

— Дождь! Наконец-то! — воскликнуло несколько голосов сразу.

— Что ж ремонтники наши? — забеспокоилась Ефимова. — Неужели все еще на арматуре висят? — Она взяла со стола Наташин комсомольский билет, деньги и протянула ей. — Иди. Опоздаешь в театр. Поговорю в райкоме. Пусть сами берут на учет. Нам балласт не нужен.

Наташа опустила билет и деньги в сумку, повернулась и вышла, не попрощавшись.

— Что ж ты ее на дождь-то выставила? — спросил матрос Григорьев.

На улице уже бушевал ливень. Подхваченный набежавшим ветром, он клубился по земле, как пыль. Мы увидели Наташу в окне. Спотыкаясь, не разбирая дороги, прямо по лужам, она бежала к трамвайной остановке.

Кто-то подумал вслух:

— Вернется Наташка на стройку.

К штабу подкатил «газик», и из него выскочил Шайнуров. Слышно было, как он быстро шел по коридору. Потом он остановился в дверях, сказал «привет» и прошел к своему месту за столом. Его расстроенный, мрачный вид говорил сам за себя. Над головой начальника штаба явно сгущались тучи. Он долгим, внимательным взглядом посмотрел на представителя с мебельной фабрики, вытщил что-то из кармана и положил на стол. Это оказалась простая дверная ручка.

— С каких пор, — спросил Шайнуров Крылова, — дверные ручки ставят на гвоздях, а не на шурупах?

— На шурупах ставят, — проговорил Крылов.

— А вот твоя продукция вся на гвоздях.

— Опять моя? Да что вы, в самом деле? Я ж не в ОТК работаю. Я ж за срок отвечал. Мне и в голову не приходило проверять. Мне и так начальник цеха говорит, ты, мол, у кого жалованье получаешь: на фабрике или у Шайнурова в штабе?

— Это еще не все, — сказал отделочник Петр Мухин, решив, видно, добить Крылова. — Ни одна дверь как следует не проолифена. Нам пришлось самим бежать за олифой. Художники лозунги уже пишут к открытию бутилового, а мы за олифой бегаем.

Крылов сидел, угрюмо понутив голову.

— Завтра на оперативке я им устрою разнос, — пообещал Крылов. — Лучше, если и ты тоже приедешь, — сказал он Шайнурову.

— А ты маленький?

— Ну, не приезжай, сам разносу.

— Есть небольшое сообщение, — сказал Шайнуров. — Обком комсомола решил выдвинуть меня в секретари райкома.

— На повышение идешь! — воскликнул матрос Григорьев. Видно, он уже считал себя здесь своим человеком.

Шайнуров невесело усмехнулся и сказал:

— Товарищи из треста хлопочут. Надоел я им. Снять не за что, вот и решили повысить. Расчет простой: у секретаря райкома целый район, что ему одна стройка! А мне и крыть нечем. Расти, говорят, надо...

Я вспомнил, как расхваливал Шайнурова Краснов. Но тогда я не придал значения его словам.

— Не отпустим, — отрезала Ефимова. — Ты из штаба не можешь уйти. Неужели согласился? Я сама в обком пойду!

Казалось, она не только забыла сорванную Шайнуровым комсомольскую свадьбу Федьки Блохина и Хасановой, собственную обиду, но и готова сейчас, немедленно, сломя голову бежать в райком.

Уже стемнело, когда в штаб ввалился Коля Еникеев, вымокший до нитки, перепачканный с ног до головы. Он плюхнулся на первый попавшийся стул и вытянул ноги.

— Все! — выдохнул он из себя одно только слово и закрыл глаза. Потом он снова открыл их и уставился на Ефимову. — Говори скорей, зачем звала, а то лягу здесь и не встану.

— Полюбуйтесь на него! — предложила нам Ефимова, указывая на Еникеева. — Комитет просил его обеспечить баяном нашу массовку. Так он потребовал, чтобы мы ему заплатили, ну как артистам, когда приглашаем. Видали — артист!

— Да я пошутил, Райка.

— Врешь. И не стыдно в глаза смотреть?

Почти двое суток без передышки Еникеев работал где-то в небесах под нещадно палящим солнцем, а сегодня — и в ливень. Ему бы сейчас отвести душу и послать всех ко всем чертям. А он сидит и добродушно смотрит на комсорга, виновато моргает порыжевшими, спаленными ресницами.

— Вру. Просил денег. Думал, лишний рубль в Москве пригодится. Ну, в общем, глупость сморозил.

Нет-нет да вспомнится мне август 1943 года, первые дни нашего наступления на Западном фронте. Батальон, с которым я шел, изрядно поредел. С минуты на минуту мы ждали приказа выступить на Ельню. Она была перед глазами, только о ней и говорили, будто все мы были родом из Ельни.

К командиру батальона подошел молоденький солдат, должно быть последнего призыва. Как сейчас, помню его безукоризненный, подтянутый вид: винтовка с примкнутым штыком приставлена к ноге, за спиной скатка, противогаз на боку, подсумок, лопатка, котелок, ложка за голенищем... А в глазах слезы.

Комбат спросил его, в чем дело. Солдат рассказал, что был легко ранен, отпросился из санроты и вот уже сутки не может отыскать свою часть. Он предъявил свою красноармейскую книжку и комсомольский билет. Комбат приказал поставить его на довольствие. Солдат повеселел, а через час с четвертью он был убит.

Прошли годы, а я никак не мог забыть его. Он вдруг появился перед глазами в тайге, на далекой стройке бумажного комбината, на строительстве домны в казахстанской степи. И сегодня я будто снова увидел его: он вбежал сюда, в штаб, и с тревогой рассказал о беде ремонтников...

Я не сообщил читателю, где, в каком именно краю, в каком городе, до позднего вечера горят окна комсомольского штаба и комитета комсомола, возглавляемых Шайнуровым и Ефимовой.

Не сделал я это потому, что та, которую я назвал Раей Ефимовой, прямо так и сказала мне: «Подождите писать про нас, мы же еще только разворачиваемся». К тому же она не уполномочила меня во всеуслышание рассказывать о ее безответной любви.

Неизвестно еще, чем кончится и эта история с выдвижением начальника штаба на пост секретаря райкома.

— Мне в самый раз здесь. Не хочу я никуда уходить. Мы еще побремся, — сказал он мне в тот вечер.



АЛИМ КЕШОКОВ

★

РАДИ ЖИЗНИ

Лишь мертвого не оживит весна!
Цветы в саду проснулись, задышали,
От сока их сама весна пьяна
И пляшет в пестрой, цветотканой шали.

Но ветёр, вырвавшийся из-за скал,
Примчался в бурке, с ветками расправясь.
Он скопище разбойных туч пригнал,
Чтоб уничтожить плод, и цвет, и завязь.

Всю ночь в саду — тяжелый свист бича,
Всю ночь в саду — удары крупных градин,
И падают цветы, кровотока,
Бой не стихает, холод беспощаден.

Как много битв, пока созреет плод,
И редко кто в сраженьи выжить в силе,
О, если б все цветы из года в год
Давали завязь и плодоносили!

Кладутся сотни жизней на весы,
Чтоб лишь одну спасти себе на смену.
За каждый миг отдай в бою часы:
То — жизни миг, ему ты понял цену!

Тот, кто в горах родился, на земле,
Что никогда цветения не знала,
Кто, чтоб на голой вырасти скале,
Скалою прикрывался от обвала, —

Тот понял: жизнь безмерно дорога,
Она не может смертью быть разбита!
Вот почему, поднявшись на врага,
Он борется со стойкостью гранита.

Вот почему на ветке зреет плод
И наливается душистым соком,
В нем жизнь победоносная растёт
В своем упорстве щедром и высоком.

Лишь ради жизни ценятся дела,
Вне жизни нет путей к победе, к славе.
Лишь тот за жизнь свою борется вправде,
Кто в бой вступил, чтоб жизнь кругом цвела,

Перевел с кабардинского С. Липкин.

НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА

У подножия Эльбруса,
Там, где луг альпийский ярок.
Ферма вновь расположилась
С наступлением тепла.
Там теперь под облаками —
Тридцать девушек доярок
И всего один мужчина,
Горский мальчик из села.

Поутру телят мальчишка
К роднику гонять обязан.
Он у девушек в почете
И от них слышал не раз:
— Лихо носишь ты папаху,
И ремнем ты подпоясан;
Хоть и маленький, а все же
Есть мужчина среди нас!

Село солнце за горами,
Вышел месяц, в тучках кроясь,
Оцинкованные ведра
Молоком уже полны.
И сидит себе в сторонке,
У костра, безусый горец.
Девушки — таков обычай —
Уважать его должны.

— Без тебя, — одна сказала, —
Ночью боязно нам, право. —
И ему в палатке стелет
Белоснежную кровать.
Но единственный мужчина,
Громко свистнув волкодава
И швырнув на землю бурку,
У костра ложится спать.

Как начищенные мелом,
Блещут звезды над вершиной.
Черной кажутся рекою
Тридцать расплетенных кос.
А под буркой спит мужчина,
Сны витают над мужчиной.
Рядом голову на лапы
Положил огромный пес.

Перевел с кабардинского Я. Козловский.



И. ЭРЕНБУРГ

★

ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ

Книга вторая

1

Я походил на ягненка, отбившегося от стада, о котором писал Дю Белле: ведь когда я уехал из России, мне не было и восемнадцати лет. Как пригостишка, я готов был учиться грамоте; спрашивал всех, что происходит, но в ответ слышал одно: «Этого никто не понимает...» Я пробовал заводить длиннейшие разговоры — о миссии России, о гнили Запада, о Достоевском, но люди были заняты другим: они не разговаривали, а ругались, проклинали — кто большевиков, кто Керенского, кто революцию.

На Финляндском вокзале нас встретила пожилая меньшевичка в пенсне; она мне сказала: «Идите за мной». Я ответил, что меня сопровождает конвойный. Она начала ругать солдата, солдат ругал ее. Она ему говорила, что он мешочник (он действительно вез с собой кулек), а он отвечал, что она, наверно, «жрет мармелад». Я стоял и дивился. Меньшевичка нас отвезла в общежитие: там было тесно и темно. Какой-то юноша кричал своему соседу: «Какой ты революционер? Ты Галифе, тебя нужно приставить к стенке!..»

Как всем политэмигрантам, мне дали отсрочку; поручик в участке сказал, что в армии и без меня достаточно болтунов.

Я получил в «Биржевке» причитавшийся мне гонорар и поселился в меблированных комнатах на Мойке. С утра я шел на улицу и смотрел. Архитектура города, его проспекты казались мне необычайно ясными, величественными, но понять что-либо было невозможно.

Я пошел на митинг в цирк Чинизелли. Народу было много, но я сразу почувствовал, что речи всем надоели: энтузиазм первых месяцев, видимо, успел иссякнуть, даже болтуны выговорились. Выступали люди случайные. Седая дама доказывала, что революцию спасет эсперанто; ее не слушали. Потом выступал анархист, он говорил, что необходимо сейчас же отменить государство; все на него кричали; тогда он стал отчаянно свистеть — и его стащили с подмостков. Элегантно одетый молодой человек умолял не отдавать Россию кайзеру. На него насели два солдата: «А ты, сукин сын, в окопе сидел?..»

Я попытался разыскать поэтов, с которыми переписывался; никого из них в городе не оказалось, мне отвечали «на даче» или «в Крыму». Т. И. Сорокин как-то послал за мной: «Приходи, здесь сейчас Блок». Я побежал в Зимний дворец, но пришел слишком поздно — Блока уже не было. Так я и не увидел поэта, стихи которого любил больше всего...

В «Биржевке» мне посоветовали пойти в ресторан «Вена» — там по вечерам собираются поэты и художники. Я решил, что «Вена» нечто вроде «Ротонды». Но за столиками сидели обыватели, офицеры, спекулянты. Один кричал: «Что же вы на карточке пишете, если этого нет? Вы еще Николая поставьте!» Дама визжала: «Почему они прозевали Ленина?..»

На улицах ловили дезертиров; патрули, проверявшие документы, сами ходили на дезертиров. Однажды я видел, как два офицера отобрали у женщины мешок с сахарным песком. Она вопила: «Ироды!..» Когда она ушла, один из офицеров крикнул вслед, что скоро ее приставят к стенке, — Керенский потакает мешочникам, но и на него найдется управа. Потом офицеры, не стесняясь прохожих, поделили между собой добычу.

В магазинах можно было купить гаванские сигары, севрские вазы, стихи графини де Ноай. В кондитерских подавали кофе с медом (сахара уже не было), а вместо пирожных — тоненькие ломтики белого хлеба и повидло. Извозчики больше не говорили про овес, только угрюмо ругались. Один поэт, с которым я познакомился в редакции «Биржевки», сказал: «Единственная надежда на генерала Корнилова. Его зовут Лавр — это символично...»

Солдаты говорили про «замирение». Дезертиры ничего не говорили, мрачно поглядывали на прохожих. По Невскому гуляли девушки в военной форме; они лихо козыряли, и груди у них были очень большие; они «митинговали» на углу Садовой, кричали, что нужно найти Ленина, а пока что арестовать Чернова.

Я услышал Чернова; он говорил, как в Париже, очень возвышенно. Но в марте он меня чем-то тронул, а в августе показался смешным. Он умел говорить и, в общем, напоминал французского радикал-социалиста, который клянется избирателям, что если его выберут, то он построит мост через речку. Чернов клялся, что даст крестьянам землю и спасет Россию от немцев. У него были хитрые глаза; по-моему, никто из слушавших ему не поверил. Слышал я и Керенского; это напоминало театр — казалось, что глава Временного правительства сейчас заплачет или убежит со сцены. К этому времени слава Керенского успела потускнеть; все же полсотни женщин истошно вопили, приветствуя его, одна кинула ему букетик полуувядших астр; он поднял цветы и почему-то их понюхал.

Я встретил двух-трех эмигрантов, которых знал по Парижу. Один из них, большевик (его звали Сашуней), сказал, что Антонов-Овсеенко сидит в «Крестах», что меньшевики — предатели, время споров прошло. Я спросил его, не боится ли он, что немцы, воспользовавшись гражданской войной, захватят Петроград. Он стал кричать, что я рассуждаю, как меньшевик, что я интеллигент «с головы до ног», «интеллигенция путается в ногах», теперь не немцы страшны, а «оборонцы».

Я проговорил час или два с Савинковым. Он был помощником военного министра, и я не узнавал того Бориса Викторовича, который уныло усмехался в «Ротонде». Савинков говорил о крутых мерах, о диктатуре, о порядке. Керенского он назвал фразером, который упивается тембром своего голоса; о Временном правительстве отозвался презрительно: «Это растерявшиеся люди, они заседают не сидя, а стоя...»

В Зимнем дворце я увидел, как жил царь; жил он неинтересно; комнаты были заставлены безвкусной мебелью, мещанскими безделушками. (Такие же вещи я увидел потом в пекинском дворце, в покоях последнего китайского императора.) Среди пуфов стояли раскладушки; валялись винтовки — революция, которую Савинков хотел преждевременно похоронить, бродила по залам Зимнего дворца. На лестнице какая-то дама

схватила помощника военного министра за борт пиджака. «Но вы мне скажите, почему Жоржа держат в остроге? Он еще в лицее читал Герцена...»

Савинков познакомил меня с Ф. А. Степуном. Я знал, что Степун — философ, что он написал интересную книгу «Письма прапорщика», в которой показал войну без обязательной позолоты. Менее всего я мог себе представить его исполняющим должность начальника политического управления военного министерства. Лицо у него было скорее мечтателя или пастора. Я начал бестолково и страстно твердить, как Сашуне, что немцы могут оккупировать Россию и задавить революцию. Он спросил, не хочу ли я стать военным комиссаром. Я усмехнулся — комиссар должен понимать, объяснять другим, а я занят одним: всех спрашиваю.

Был я и в Смольном. Там люди кидались на Чхеидзе, кричали, что Савинков сговаривается с генералами, а в тюрьму сажают рабочих. В коридорах спали солдаты.

Один из парижских эмигрантов мне строго сказал: «Здесь тебе не «Ротонда» — иди на фронт...» Я ответил, что меня не хотят брать в армию. Он зло рассмеялся: «Значит, ты большевик? Я тебя выведу на чистую воду...» Старушка прижала меня к стенке, плакала: «Ты им скажи, что у Андриюши дочка в консерватории, а сукно это Мишукин получил...»

В Петрограде тогда находились Тихон Иванович Сорокин и Катя с моей дочкой Ириной. Они жили у отца Кати, который не мог слышать моего имени: ко всем прочим грехам я был евреем. Катя тайком от отца привела ко мне Ирину; девочке тогда было шесть лет. Я ее повел в кафе «Ампир», угостил белым хлебом с повидлом. Потом мы гуляли по Невскому. У Ирины одно время была няня итальянка, она ее научила молиться богу. Девочка попросила, чтобы мы зашли в Казанский собор; там она тотчас стала на колени и приказала мне последовать ее примеру. Я не послушался. Ирина начала кричать, плакала; женщины, молившиеся в соборе, возмутились: стыдно в святом месте обижать ребенка! К счастью, Ирине надоело молиться, и она спросила, нельзя ли снова пойти в кондитерскую.

Тихон сказал мне, что Степун направляет его на Кавказский фронт, а меня хочет сделать помощником Тихона. Я долго смеялся: Тихон разбирался в событиях еще меньше, чем я. Он хорошо знал книги Владимира Соловьева и архитектуру ранней готики. Интересно, о чем он будет говорить солдатам: о «вечной женственности» или о витражах Шартрского собора?..

(В архиве я нашел удостоверение военного министра от сентября 1917 года, в котором говорится, что «в согласии с фронтовой комиссией Центрального исполнительного комитета Всероссийского съезда Советов солдатских и рабочих депутатов» я назначен помощником военного комиссара Кавказского военного округа. Я был в Ялте и об этом назначении узнал тогда, когда уже исчезли и военный министр и Кавказский фронт.)

Все уверяли, что кто-то скоро «выступит»; одни считали, что выступит генерал Корнилов, другие — что выступят большевики. Я понял, что ничего не пойму, и уехал в Москву.

Вот и Остоженка... Здесь я знал все переулки, все вывески. Сначала город мне показался более спокойным; но это была видимость — люди и здесь ничего не понимали. Я попробовал разыскать старых знакомых. Прошло восемь лет, а это немалый срок. Один гимназист, ходивший в 1907 году на наши собрания, успел стать модным адвокатом; когда я назвал себя, он начал на меня кричать: «Доигрались! Мог бы сидеть в Париже, там по крайней мере не стреляют на улицах...» Гимназистка

Люся, которая обожала стихи Лермонтова, оказалась полной дамой с усками; она меня напоила чаем, но замучила жалобами: нет сахара, прислуга дерзит, ночью страшно выйти на улицу.

На Тверской помещалась кафе «Бом» с красивыми бархатными диванами; там подавали кофе и пирожные. Туда приходили писатели. Там я познакомился с В. Г. Лидиным; он был розовым и очень опрятным; говорил о лошадях, о конюшнях, о мастерстве Бунина. Б. К. Зайцев задушевно рассказывал о красоте православных обрядов и о новелле. В. Ф. Ходасевич язвительно обо всех отзывался и писал нежные стихи о том, что его клонит к смерти, как девушек вечером клонит ко сну; у него было лицо, похожее на череп. А. Н. Толстой мрачно попыхивал трубкой и говорил мне: «Пакость! Ничего нельзя понять. Все спятили с ума...»

Алексей Николаевич уверял, что я похож на мексиканского каторжника. Я зашел в кафе на Арбате, начал что-то строчить; подошла девушка, сердито забрала пустой стакан и сказала: «Здесь вам не университет...» Я отвык от русского быта и часто выглядел смешным. Мне казалось, что именно поэтому я не могу разобраться в значении происходящих событий. Но и Алексей Николаевич был растерян не меньше меня. Недавно я перечитал дневники Блока, письма Короленко, статьи Горького; все тогда и принимали, и отвергали, и соглашались, и протестовали. Очевидно, «мексиканский каторжник» оказался при проверке заурядным русским интеллигентом... Я говорю это не для того, чтобы каяться или оправдываться; мне хочется объяснить мое состояние в 1917—1918 годы. Конечно, теперь я вижу все куда яснее, но гордиться здесь нечем — задним умом крепок каждый.

2

Говорят, что из-за деревьев не видно леса; это так же верно, как то, что из-за леса не видно деревьев. Читая о Франции 1793 года, мы видим Конвент, неподкупного Робеспьера, гильотину на площади Революции, клубы, где витийствовали санюлоты, памфлеты, заговоры, битвы. А в том самом году Филипп Лебон сидел в маленькой лаборатории и думал о газе; Тальма репетировал ложноклассическую трагедию; модницы примеряли новые шляпы с лентами; а домашние хозяйки рыскали по городу, разыскивая исчезающие продукты.

А. Н. Толстой так описал разговоры лета 1917 года: «Пропадем или не пропадем? Быть России или не быть? Будут резать интеллигентов или останемся живы?»; другой говорил: «Оставьте, батенька, зачем нас резать, чепуха, не верю, а вот продовольственные магазины громить будут»; третий сообщал из достоверного источника, что «к первому числу город начнет вымирать от голода».

Случайно у московских знакомых сохранилась моя записная книжка 1917—1918 годов. Записи настолько лаконичны, что порой я не могу их расшифровать, но некоторые строки помогли мне многое восстановить в памяти. Записал я и про первую встречу с В. Я. Брюсовым.

Это было в то самое лето, о котором писал Толстой. Я провел у Валерия Яковлевича несколько часов. Он прочитал мне недавно написанное им стихотворение об Ариадне, и мы поспорили. Если сформулировать эту часть беседы, то она будет выглядеть достаточно неожиданно для августа 1917 года:

1. Правда ли, что Тезей испытывал угрызения совести, оставив Ариадну на безлюдном острове?

2. Как правильнее писать — «Тезей» или «Фессей»? (Валерий Яковлевич настаивал на последней транскрипции.)

3. Нужно ли современному поэту писать о Тезее? (Я говорил, что не нужно.)

Можно подумать, что Брюсов был эстетом, формалистом, вечным декадентом, решившим противопоставить свой мир действительности. Это неверно; вскоре после Октябрьской революции, когда и его сверстники и поэты более молодого поколения (в том числе я) недоумевали, метались, многое оплакивали, многим возмущались, Брюсов уже работал в первых советских учреждениях. Если он говорил со мной о Тезее, то потому, что верил в живучесть поэзии и уважал свою собственную работу. Всю жизнь он жил книгами — чужими и своими. В молодости он как-то признался, что у него «глупая чувствительность к романам, когда ее вовсе нет к событиям жизни».

Я шел к нему с двойным чувством: помнил его письма — он ведь неоднократно приободрял меня, — уважал его, а стихи его давно разлюбил и боялся, что не сдержусь, невольно обижу человека, которому многим обязан.

Валерий Яковлевич жил на Первой Мещанской; чтобы попасть к нему, я должен был пересечь знаменитую Сухаревку. Если Ватикан в Риме — независимое государство, то таким государством в Москве 1917 года была Сухаревка; она не подчинялась ни Временному правительству, ни Совету рабочих депутатов, ни милиции. Прекрасная башня высилась над грандиозным рынком; здесь, кажется, еще жила древняя Русь с ее слепцами, певшими заунывные песни, с нищими, с юродивыми. Матерщина перебивалась причитаниями, древняя божба — разговорами о «керенках», о буржуях, о большевиках. Кого только тут не было: и дезертиры, и толстущие бабы из окрестных деревень, и оказавшиеся безработными гувернантки, экономки, приживалки, и степенные чиновницы, и воры-рецидивисты, и сопляки, торговавшие рассыпными папиросами, и попы с кудахчущими курами. Все это шумело, чертыхалось, покрикивало, притопывало — человеческое море...

«Восплакался Адамой: раю мой, раю!» — гнусавил слепец; его песня еще звучала у меня в ушах, когда я подошел к дому Брюсова. Сухаревка была необходимым предисловием, ключом к разгадке сложного явления, именуемого «Валерием Брюсовым»; ведь если можно спорить о ценности стихов, посвященных Тезее, Ассаргадону, Кукулкану, то никто не станет отрицать значение Брюсова в развитии русской культуры. (Валерий Яковлевич как-то написал: «Хотел бы я не быть «Валерий Брюсов»; но хорошо, что он им был.)

Конечно, не одна только Сухаревка имеет право значиться в предисловии; я сказал о ней, потому что Брюсов жил неподалеку; можно было бы припомнить и Зарядье с его лабазами, и «Общество свободной эстетики», и Китай-город, и купца Щукина, покупавшего холсты никому не ведомого Пикассо, и «Литературно-художественный кружок» на Большой Дмитровке, где Валерий Яковлевич проповедовал «научную поэзию», пока члены кружка, прекрасно обходившиеся и без науки и без поэзии, играли в винт. Брюсов одевался по-европейски, знал несколько иностранных языков, в письма вставлял французские словечки, на стены вешал не Маковского, а Ропса, но был он порождением старой Москвы, степенной и озорной, безрассудной и смекалистой.

Его трудолюбие, энергия поражали всех. При том первом свидании, о котором я рассказываю, он запальчиво возражал против моего, как он говорил, «безответственного» отношения к поэтической работе: «При чем тут вдохновение? Я пишу стихи каждое утро. Хочется мне или не хочется, я сажусь за стол и пишу. Даже если стихотворение не выходит, я нахожу новую рифму, упражняюсь в трудном размере. Вот черновики», — и он начал выдвигать ящики большого письменного стола,

заполненные доверху рукописями. Меня он укорял за легкомыслие, дилетантство; говорил, что нужно устроить высшую школу для поэтов: это — ремесло, хотя и «святое», и оно требует обучения.

Он был великолепным организатором. Отец его торговал пробкой, и я убежден, что, если бы в молодости Брюсов не попал на стихи Верлена и Малларме, у нас выросли бы леса пробкового дуба, как в Эстремадуре. Работоспособность в нем сочеталась с честолюбием. Когда ему было двадцать лет, он записал в дневнике: «Талант, даже гений, честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало! Мне мало. Надо выбрать иное... Найти путеводную звезду в тумане. И я вижу ее: это — декадентство. Да! Что ни говорить, ложно ли оно, смешно ли, но оно идет вперед, развивается и будущее будет принадлежать ему, особенно когда оно найдет достойного вождя. А этим вождем буду Я! Да, Я!»

Он организовывал издательства, создавал журналы, писал труды о стиховедении, переводил латинских авторов, спорил с признанными авторитетами, наставлял молодых; боялся одного — отстать от своего времени.

Он часто писал о хаосе — это шло от Тютчева; но Брюсову хотелось взять воспеваемый им хаос и его организовать. Помню, как я пришел к нему в конце 1920 года в маленький особняк, где помещался ЛИТО — так назывался отдел Наркомпроса, которому была вверена литература. Валерий Яковлевич говорил со мной как заведующий отделом, предлагал работу; он показал на стену, там висела диковинная диаграмма: квадраты, ромбы, пирамиды — схема литературы. Это было наивно и вместе с тем величественно: седой маг, превращающий поэзию в канцелярию, а канцелярию — в поэзию.

Его часто называли рационалистом, человеком сухого рассудка; многие уверяли, что он никогда не был поэтом. По-моему, это неверно: разум для Брюсова был не здравым смыслом, а культом, и в своей вере в разум он доходил до чрезмерности. Поэтом он был даже в самом обыденном, обывательском понимании этого слова: жил в условном мире иступленных схем. Его замечательно написал Врубель; сухие, обжигающие глаза, голова, как бы срезанная сзади.

Вспоминаю «Кафе поэтов» в Москве в 1918 году. Приходили туда люди, мало причастные к поэзии, — спекулянты, дамочки, молодые люди, именовавшие себя «футуристами». Валерий Яковлевич объявил, что он будет импровизировать терцины на темы, заданные посетителями. Ему посылали дурацкие записки. Он как будто не замечал ни официантов с их криками «два кофе, два!», ни смеха подвыпивших матросов. Строгий, торжественный, он читал стихи; у него был странный голос, когда он декламировал, — резкий, отрывистый. Читая, он откидывал голову назад. Он походил на укротителя, только перед ним были не цирковые львы, а слова. Он сочинял терцины то о Клеопатре, то о барышне, сидевшей за столиком, то о прозрачных городах будущего.

Ко всему он подходил серьезно; его эротические стихи — нечто вроде путеводителя по царству Афродиты. Окруженный поэтами, охваченными мистическими настроениями, он начал изучать «окультурные науки», знал все особенности инкубов и суккубов, заклинания, средневековую ворожбу.

Когда появились футуристы, Бальмонт наивно просил их помедлить с его низложением. Брюсов попробовал сам низвергать; написал стихотворение «Футуристический вечер». Маяковский писал: «А за солдками улиц где-то ковыляла никому не нужная, дряблая луна»; у Брюсова: «Монетой, плохо отчеканенной, луна над трубами повешена». Футу-

ристы, однако, не признали его своим, и среди их лозунгов значилось: «Стащить бумажные латы с черного фрака Брюсова».

Валерий Яковлевич разыскал во Франции мало кому известного поэта Рене Гиля, изобретателя «научной поэзии». Брюсову рассуждения Рене Гиля понравились: Валерий Яковлевич давно уже хотел быть колдуном с высшим образованием, магом-академиком.

Он изучил Пушкина, писал об анагорах, зевгмах, пролепсах, силлепсах, подсчитал, что в третьей главе «Онегина» семьдесят три процента рифм отличаются согласованием доударных звуков, а в четвертой главе всего пятьдесят четыре процента. Брюсов попытался дописать «Египетские ночи», создать обновленный вариант «Медного всадника»; но эти его вещи не хочется перечитывать.

Несправедливо некоторые обвиняли Брюсова в отсутствии вкуса: эта черта присуща всем символистам — очевидно, такой у них был вкус. Разве не удивительно, что почти все они восхищались поэтами Игоря Северянина, которые нам кажутся образцом пошлости? Брюсов мог незадолго до смерти писать: «Я — междумирик. Равен первым, я на собраньи знати — пэр, и каждым вздохом, каждым нервом я вторю высшим духам сфер». Я думаю сейчас о поэзии символистов. Это было замечательное явление; родился великий поэт Александр Блок; русский стих как будто раскрепостили. Но до чего мне по-человечески понятнее письма не только Чехова, но и его тусклых сателлитов, чем дневники Брюсова, путевые очерки Бальмонта или переписка между Блоком и Андреем Белым!..

К принятию революции Брюсова привел разум: он увидел завтрашний день. Ему было уже под пятьдесят. Он работал над сохранением библиотек, над распространением поэзии, делал много доброго и важного. Есть довольно уродливое немецкое слово «культуртрегер»; по смыслу оно вполне подходит к деятельности Брюсова и до революции и после. Я предпочту более старомодное определение: Брюсов был про-светителем.

Он верил, что революция коренным образом переменит все; говорил мне, что социалистическая культура будет отличаться от капиталистической столь же сильно, как христианский Рим от Рима Августа. Он хотел подойти к новому и как поэт, но был слишком тесно связан с прежним миром. Его стихи о революции наполнены мифологическими образами, в них знакомый нам словарь символистов. В Октябрьские дни он увидел в Москве трех парок Эллады. Когда Г. В. Чичерин подписал соглашение с Германской республикой, Брюсов писал: «От совета Лемурув до совета в Рапалло...» Он обличал защитников капитализма: «Было так, длилось под разными флагами, с Семирамиды до Пуанкаре... Кто-то, засева властелином над благами, тесно сжимал роковое каре». (Я вспоминаю аккуратного среднего француза мосье Пуанкаре; он, бесспорно, был бы польщен, что кто-то поставил его рядом с легендарной Семирамидой.) Порой Брюсовым овладевала тоска, и он жаловался, как в молодости: «Все люди теперь, и прежде, и в грядущем, взглянув на забор, повтор все тех же арпеджий, аккордов старый набор...»

Он умер осенью 1924 года в возрасте пятидесяти одного года. Я был в Париже; мы устроили вечер памяти Брюсова. Когда человек умирает, вдруг его видишь по-новому — во весь рост. Есть у Брюсова прекрасные стихи, которые кажутся живыми и пыне. Может быть, над его колыбелью и не было традиционной феи, но даже если он не родился поэтом, он им стал. Он помог десяткам молодых поэтов, которые потом его осуждали, отвергали, ниспровергали. А молодой Советской

России этот неистовый конструктор, неутомимый селектор был куда нужнее, чем многие сладкопепцы.

Не могу не вспомнить еще раз моих парижских лет. Валерий Яковлевич меня поддержал; даже его упреки помогали мне жить.

При первой нашей встрече Брюсов заговорил о Наде Львовой — рана оказалась незажившей. Может быть, я при этом вспомнил предсмертное стихотворение Нади о седом виске Брюсова, но только Валерий Яковлевич показался мне глубоким стариком, и в книжку я записал: «Седой, очень старый» (ему тогда было сорок четыре года). Записал я также: «Жизнь у него на втором плане», — может быть, думал при этом о Наде, может быть, о революции; но уже наверно помнил его слова о том, что «все в жизни лишь средство для яркопелучих стихов».

Он подарил мне на память маленькую книгу, надписал: «В знак близости в одном, расхождений в другом». Это относилось к нашему спору о поэзии. О событиях того грозowego лета мы не говорили; только уходя, я не выдержал, спросил: что будет дальше? Валерий Яковлевич ответил стихами: «Растет потоп... Но с небосвода, приосеняя прах, как арка радуги, свобода гласит о светлых днях».

Я снова очутился на Сухаревке. Слепой с его «Адамием» исчез. На углу Сретенки толпились люди — кого-то пырнули ножом. Я постоял и пошел дальше; а думал я не о Тезее — о потопе.

3

Марине Ивановне Цветаевой, когда я с нею познакомился, было двадцать пять лет. В ней поражало сочетание надменности и растерянности; осанка была горделивой — голова, откинута назад, с очень высоким лбом; а растерянность выдавали глаза: большие, беспомощные, как будто невидящие — Марина страдала близорукостью. Волосы были коротко подстрижены в скобку. Она казалась не то барышней-недотрогой, не то деревенским паренком.

В одном стихотворении Цветаева говорила о своих бабках: одна была простой русской женщиной, сельской попадеей, другая — польской аристократкой. Марина совмещала в себе старомодную учтивость и бунтарство, высокомерность и застенчивость, книжный романтизм и душевную простоту.

Когда я впервые пришел к Цветаевой, я знал ее стихи; некоторые мне нравились, особенно одно, написанное за год до революции, где Марина говорила о своих будущих похоронах: «По улицам оставленной Москвы поеду я, и побредете вы, и не один дорогом отстанет, и первый ком о крышку гроба грянет, и наконец-то будет разрешен себялюбивый, одинокий сон... Прости, господь, погибшей от гордыни новопреставленной болярине Марине...»

Войдя в небольшую квартиру, я растерялся: трудно было представить себе большее запустение. Все жили тогда в тревоге, но внешний быт еще сохранялся; а Марина как будто нарочно разорила свою нору. Все было накидано, покрыто пылью, табачным пеплом. Ко мне подошла маленькая, очень худенькая, бледная девочка и, прижавшись доверчиво, зашептала: «Какие бледные платья! Какая странная тишь! И лилий полны объятья, и ты без мысли глядишь...» Я похолодел от ужаса: дочке Цветаевой — Але — было тогда лет пять, и она декламировала стихи Элока. Все было неестественным, вымышленным: и квартира, и Аля, и разговоры самой Марины — она оказалась увлеченной политикой, говорила, что агитирует за кадетов.

В ранних стихах Цветаева воспевала вольницу Разина. По природе

она была создана скорее для бунта, чем для добротного порядка, о котором тосковали летом 1917 года перепуганные обыватели. У Цветаевой с ними не было ничего общего; но она отшатнулась от революции, создала в своем воображении романтическую Вандею; жалела царя (хотя и осуждала: «Помянет потомство еще не раз византийское вероломство ваших ясных глаз»). Повторяла: «Ох, ты моя барская, моя царская тоска...»

Почему ее муж, Сережа Эфрон, ушел в белую армию? Я знал в Париже старшего брата Сережи — актера Петра Яковлевича Эфрона, больного туберкулезом и рано умершего. Сережа ходил на него — был очень мягким, скромным, задумчивым. Никак не могу себе представить, что ему захотелось стать шуаном.

Он уехал, а Марина писала неистовые стихи: «За Софью на Петра!» Писала: «Андре Шенье взошел на эшафот, а я живу, и это страшный грех». Она читала эти стихи на литературных вечерах; никто ее за это не преследовал. Все было книжной выдумкой, нелепой романтикой, за которую Марина расплатилась своей искалеченной, труднейшей жизнью.

Когда осенью 1920 года я пробрался из Коктебеля в Москву, я нашел Марину все в том же иступленном одиночестве. Она закончила книгу стихов, прославлявшую белых, — «Лебединый стан». К тому времени я успел многое повидать, в том числе и «русскую Вандею», многое продумал. Я попытался рассказать ей о подлинном облике белогвардейцев — она не верила; пробовал я поспорить — Марина сердилась. У нее был трудный характер, и больше всех от этого страдала она сама. У меня сохранилась ее книга «Разлука», на которой она написала: «Вам, чья дружба мне далась дороже любой вражды и чья вражда мне дороже любой дружбы, Эренбургу от Марины Цветаевой. Берлин, 29 мая 1922 года». (С ятями, даже с твердыми знаками, хотя к этому времени от прежних твердых позиций в ней оставалось мало что.)

Когда весной 1921 года я поехал одним из первых советских граждан за границу, Цветаева попросила меня попытаться разыскать ее мужа. Мне удалось узнать, что С. Я. Эфрон жив и находится в Праге; я написал об этом Марине. Она воспрянула духом и начала хлопотать о заграничном паспорте. Она рассказывала, что паспорт ей сразу дали; в Наркоминделе Миркин сказал: «Вы еще пожалеете о том, что уезжаете...» Цветаева везла с собой рукопись книги «Лебединый стан».

Ее встреча с мужем была драматичной. Он рассказал ей о зверствах белогвардейцев, о погромах, о душевной пустоте. Лебеди в его рассказах выглядели воронами. Марина растерялась. В Берлине я с ней как-то проговорил ночь напролет, и в конце нашего разговора она сказала, что не будет печатать свою книгу.

(В 1958 году сборник «Лебединый стан» был издан в Мюнхене. Уезжая накануне второй мировой войны в Советский Союз, Цветаева оставила свой архив в библиотеке Базеля («нейтральная страна»). Не знаю, как удалось издателям получить рукопись; преследовали они, конечно, политические цели, нарушив волю Цветаевой, — она ведь провела в эмиграции семнадцать лет, много раз ей предлагали издать «Лебединый стан», она всегда отказывалась.)

Мне хочется углубить, да и расширить разговор об опозитизированной Мариной Цветаевой Вандее, сказать о том, как порой искусство становится позой, бутафорией, одеждой. (Я уже упоминал об этом, вспоминая свои ранние стихи.) Это относится не только к «Лебединому стану», но ко многим книгам многих поэтов, и этот разговор может хотя бы отчасти помочь понять дальнейшие главы моего повествования.

Как я говорил, у меня не сохранилось старых писем. Небольшую часть своего архива Цветаева привезла в Москву. Есть в нем черно-

вики некоторых писем ко мне. В одном из них Марина писала: «Тогда, в 1918 году, Вы отметали моих Дон-Жуанов («плащ», не прикрывающий и не открывающий), теперь, в 1922 году,— моих Царь-девиц и Егорушек (Русь во мне, то есть вторичное). И тогда и теперь Вы хотели от меня одного — меня, то есть костяка, вне плащей и вне кафтанов, лучше всего ободранную. Замысел, фигуры, выявление через — все это для Вас было более или менее бутафорией. Вы хотели от меня главного — без чего я — не я... Я Вас ни разу не сбила (себя постоянно и буду), Вы оказались зорче меня. Тогда, в 1918 году, и теперь, в 1922 году, Вы были жестоки — ни одной прихоти!.. Вы правы. Блуд (прихоть) в стихах ничуть не лучше блуда (прихоти, своеволия) в жизни. Другое — впрочем, два разряда — одни, блюстители порядка: «В стихах — что угодно, только ведите себя хорошо в жизни»; вторые, эстеты: «Все, что угодно, в жизни — только пишите хорошие стихи». И Вы один: «Не блудите ни в стихах, ни в жизни. Этого Вам не нужно». Вы правы, потому что к этому я молча иду».

Она шла и пришла к той цели, которую перед собой поставила, пришло дорогой страданий, одиночества, отверженности.

Сложны и мучительны были ее отношения с поэзией. Она написала о В. Я. Брюсове много несправедливого: видела внешность и не попыталась заглянуть глубже, задуматься, но, разумеется, ее должны были возмутить строки: «Быть может, все в жизни лишь средство для ярко-певучих стихов, и ты с беспечального детства ищи сочетания слов». Цветаева отвечала: «Слов вместо смыслов, рифм вместо чувств? Точно слова из слов, рифмы из рифм, стихи из стихов рождаются...» Вместе с тем она жила в плену у поэзии. Вспоминая слова Каролины Павловой, Цветаева назвала одну из своих книг «Ремесло». В ней она писала: «Ищи себе доверчивых подруг, не выправивших чуда на число. Я знаю; что Венера — дело рук, ремесленник, я знаю ремесло».

Марина многих в жизни называла своими друзьями; дружба внезапно обрывалась, и Марина расставалась с очередной иллюзией. Был, однако, один друг, которому она оставалась верна до конца: «Да, был человек возлюблен, и сей человек был стол» — ее рабочий стол — стихи.

Я встречал в жизни поэтов, знаю, как тяжело расплачивается художник за свою страсть к искусству; но, кажется, нет в моих воспоминаниях более трагического образа, чем Марина. Все в ее биографии зыбко, иллюзорно: и политические идеи, и критические суждения, и личные драмы — все, кроме поэзии. Мало осталось людей, которые знали Цветаеву, но ее поэзия только-только входит в мир многих.

С отрочества до смерти она была одинокой, и эта ее отверженность была связана с постоянным отталкиванием от окружающего: «Я все вещи своей жизни полюбила и пролюбила прощанием, а не встречей, разрывом, а не слиянием». Очутившись в эмиграции, Цветаева оказалась снова одинокой; ее неохотно печатали эмигрантские журналы, а когда она написала восторженно о Маяковском, заподозрили в «измене». В одном из писем Цветаева рассказывала: «В эмиграции меня сначала (сгоряча!) печатают, потом, опомнившись, изымают из обращения, почуяв не свое: тамошнее. Содержание будто «наше», «а голос — и х н и й».

В том, что обычно называют политикой, Цветаева была наивна, упряма, искренна. В 1922 году я выпускал вместе с художником Э. Лисицким журнал «Вещь» — он выходил по-русски, по-французски и по-немецки. Марина по своему желанию перевела для журнала на французский язык обличительное стихотворение Маяковского «Слушайте, сволочи!». В тридцатые годы, давно охладев к русской Вандее, она

все еще не могла примириться с новым стилем — я говорю не об искусстве, а о календаре. (Я вспоминаю рассказы о первом годе Советской власти; в Петрограде на одном из совещаний Блок страстно отстаивал старую орфографию — все он принимал, а вот «лес» без ятя ему казался не лесом.)

В годы первой мировой войны Цветаева писала: «Германия, мое безумье! Германия, моя любовь!» (Она не была одинока в этой любви — Блок тоже говорил о своей приверженности к немецкой культуре.) Четверть века спустя немецкие дивизии вступили в преданную Прагу, и Марина их прокляла: «О, мания! О, мумия величия! Сгоришь, Германия! Безумие, безумие творишь».

Наши встречи в тридцатые годы были редкими, случайными, пустыми. Я не знал, как она живет, чем живет; не знал ее новых стихов. Это были для Цветаевой годы больших испытаний и большой работы: теперь я вижу, как она поэтически росла, освобождалась от последних «плащей», находила простые и пронзительные слова.

Жилось ей очень плохо: «Муж болен и работать не может. Дочь вязкой шапочек зарабатывает пять франков в день, на них четвером (у меня сын 8-ми лет, Георгий) живем, то есть просто медленно подыхаем с голоду».

С. Я. Эфрон стал евразийцем, потом одним из организаторов «Союза возвращения на родину». Обращаясь к своему сыну, к молодым, родившимся в эмиграции, Марина писала: «Перестаньте справлять поминки по эдему, в котором вас не было...» Аля уехала в Москву; вскоре за нею последовал С. Я. Эфрон.

Но не было в мнимом эдеме и самой Цветаевой. Прошлый мир никогда ей не казался потерянным раем. «Я тоже любила смеяться, когда смеяться нельзя». Она многое любила именно потому, что «нельзя», аплодировала не в те минуты, что ее соседи, глядела одна на опустившийся занавес, уходила во время действия из зрительного зала и плакала в темном пустом коридоре.

Девочкой Марина увлекалась «Орленком» и всей условной романтикой Ростана. С годами ее увлечения стали глубже: Гёте, «Гамлет», «Федра». Она иногда писала стихи по-французски, по-немецки. Однако повсюду, кроме России, она чувствовала себя иностранкой. Все в ней связано с родным пейзажем — от «жаркой рябины» молодости до последней кровавой бузины. Основными темами ее поэзии были любовь, смерть, искусство, и эти темы она решала по-русски. Любовь для нее тот «поединок роковой», о котором говорил Тютчев. Цветаева писала о пушкинской Татьяне: «У кого из народов такая любовная героиня: смелая и достойная, влюбленная и непреклонная, ясновидящая и любящая?» Пуще всего Марина ненавидела заменители любви: «Сколько их, сколько их ест из рук, белых и сизых! Целые царства воркуют вокруг уст твоих, Низость!» Она сама была «влюбленной и непреклонной».

Цветаева вернулась на родину с четырнадцатилетним сыном в 1939 году. Кажется, одним из ее последних стихотворений было написанное после того, как фашисты прикончили Испанию и вторглись в Чехословакию: «Отказываюсь быть в Бедламе нелюдей, отказываюсь жить. С волками площадей отказываюсь выть...» С. Я. Эфрон погиб. Аля была далеко. Марина и в Москве оказалась одинокой.

Она пришла ко мне в августе 1941 года; мы встретились после многих лет, и встреча не вышла — по моей вине. Это было утром, «тарелка» успела уже рассказать: «Наши части оставили...» Мои мысли были далеко. Марина сразу это почувствовала и придала разговору деловую видимость: пришла посоветоваться о работе — о переводах. Когда она

уходила, я сказал: «Марина, нам нужно повидаться, поговорить...» Нет, мы больше не встретились: Цветаева покончила с собой в Елабуге, куда ее занесла эвакуация.

Сын Марины погиб на фронте. Алю я иногда вижу; она собрала неизданные стихи Марины.

От некоторых строк Цветаевой я не могу освободиться — они засели в памяти на всю жизнь. Дело не только в огромном поэтическом даре. Дороги у нас были разные, и, кажется, мы ни разу не встретились на одном из тех перекрестков, где человек, в действительности или только в своих иллюзиях, выбирает себе дорогу. Но есть в поэтической судьбе Цветаевой нечто мне очень близкое — постоянные сомнения в правах искусства и одновременно невозможность от него отойти. Марина Ивановна часто спрашивала себя, что важнее — поэзия или созидание реальной жизни, отвечала: «За исключением дармоедов во всех их разновидностях — все важнее нас (поэтов)». Она писала после смерти Маяковского: «Прожил, как человек, и умер, как поэт...» Никогда Цветаева не пыталась укрыться от жизни; напротив, хотела жить с людьми: одиночество было для нее не программой, а проклятием; оно было тесно связано с тем единственным другом Марины, о котором она сказала: «Сей человек был стол»... Она не была никогда в «Ротонде», не знавала Модильяни, а написала: «Гетто избранничеств. Вал и ров. Пошады не жди. В сем христианнейшем из миров поэты — жидаы». Слово «избранничество» может сбить с толку; но Цветаева считала «гетто» не гордым отъединением, а обреченностью: «Какой поэт из бывших и сущих не негр?»

Когда я перечитываю стихи Цветаевой, я вдруг перестаю думать о поэзии, перехожу к воспоминаниям, к судьбе многих моих друзей, к своему — люди, годы, жизнь...

4

Передо мной клочок желтой выцветшей газеты; это «Биржевка» за 24 сентября 1917 года. Несколько театральных новостей: «Михайловский театр репетирует «Смерть Иоанна Грозного», но пьеса, весьма возможно, будет снята с репертуара, причины — малочисленность труппы и несоответствие политических тенденций самой пьесы с событиями и настроениями наших дней». «Комиссия при Совете Р. и С. Д. устроивает в октябре ряд симфонических концертов. Участвуют солисты и оркестр 171-го зап. пехотного полка. Дирижировать концертами будут А. Глазунов, А. Зилоти и А. Коутс». Рядом напечатан мой очерк, присланный из Москвы:

«В квартире 6 у писателя-символиста изысканное общество: мадам Элеонора — теософка, офицер с орденами, еще писатель помоложе, несколько просто интеллигентов.

— Никто не слушает, — стонет интеллигент. — Недостоин наш народ свободы — хамы, насильники, воры. В трамвае у меня два ключа украли. Палки требуют. Рано дали им свободу, не учили. Говорят «учите их». Этих-то мужиков? Не-ет! Пускай попробуют, проявятся. Порезут друг друга, а потом придет генерал на белом коне — усмирит. И лучше будет...

— Что вы, — грустно вздыхает теософка, — вы говорите на коне генерал, а я думала Милоков...

— Так точно. палка необходима, — учтиво поясняет ей офицер. — И возьмите, до этой «свободы» офицера, который, простите, и в морду даст при случае, солдатики очень уважали, можно сказать, любили. А теперь комитеты и прочее безобразия. Чтобы «земляки» наши резолю-

ции выносили?.. Не могу! Они мне Георгия за храбрость присудить хотели. Отказался — хитрость! Так точно, палка необходима, дисциплина...

Писатель-символист недоумевающе оглядывает гостей, закатывает глаза и вещает:

— Уходите! Прячьтесь! Спасайте нашу культуру, мудрость, веру от этих варваров! Все достояние в библиотеках, в музеях, в ваших душах. Храните музеи! Замкните от голоса улицы ваши уши! Я не раскрываю этих треклятых газет, почти не выхожу из дома. В моих ушах звенит пэон...

— А я, мэтр,— заявляет молодой писатель,— занял несколько иную позицию. В душе я бесстрастен, но слезу за игрой страстей. Я выше ее, но сколько материала для моего грядущего романа!..

Все начинают беседовать о пэонах и ямбах, о символистах и футуристах. Лишь четверть часа спустя по поводу пастилы, стоящей семь рублей и заменяющей сахар, все возвращаются на землю. И снова стонет интеллигент:

— Хамы! Палку! Генерала!..»

Издеваясь над другими, я издевался над собой: я не мечтал ни о палке, ни о генерале, ни о дешевой пастиле, но понять происходящее не мог.

Москва жила, как на вокзале — в ожидании третьего звонка. Устраивали облавы на дезертиров. Ругались повсюду, а особенно в трамваях, которые ползли, облепленные людьми. В «Метрополе» отчаявшиеся либералы пили французское шампанское, расплачиваясь большими листами неразрезанных «керенок»; по привычке они бормотали, что нужно спасти Россию; может быть, им и хотелось спасти себя, но они больше ни во что не верили и жили по инерции. В кафе «Бом» новоиспеченные издатели уверяли, что издадут «Гавриилиаду», мемуары Распутина и полное собрание сочинений любого из нас; некоторые быстро остывали к издательскому делу и переходили на мануфактуру или на сахар. В чайных на Шаболовке люди угрюмо ждали развязки.

Моя мать была в Ялте; мне хотелось повидать ее после долгой разлуки. С трудом я купил билет и прорвался в вагон. Мать я нашел сильно постаревшей; она кашляла, куталась в оренбургский платок и боялась выстрелов (стреляли часто и неизвестно почему).

Я заехал в Коктебель к Волошину. Он говорил о стихии, о протопе Аввакуме, о трех эринниях со змеями; а глаза его напоминали окна с закрытыми ставнями.

В поезде пассажиры поймали воришку, мальчика лет двенадцати; все на него кинулись, били. Я до сих пор вижу детское лицо в крови... На одной станции поезд простоял часа три; все пошли на базар, купили хлеба и яблок; потом начали митинговать. Барышня, прижимая к груди буханку, истерически вопила, что теперь даже калеки обязаны идти на фронт. Солдат ее крыл матом, но она не унималась. Мешочники следили за своими мешками и загадочно усмехались.

Когда я приехал в Москву, шли уличные бои. У Красных ворот я увидел на мостовой старика — его убила шальная пуля.

В 1921 году автор «Хулио Хуренито» так описывал переживания персонажа, именуемого в романе «Ильей Эренбургом»: «Я проклинал свое бездарное устройство; одно из двух: надо было вставить другие глаза или убрать эти никчемные руки. Сейчас под окном делают — не мозгами, не вымыслом, не стишками, нет, делают руками историю... Кажется, нет ничего лучше — беги через ступеньки вниз и делай ее скрее, пока под руками глина, а не гранит, пока ее можно писать пулями, а не читать в шести томах ученого немца. Но нет, я сижу в камор-

ке, жую холодную котлету и цитирую Тютчева. Проклятые глаза, косые, подслеповатые или дальнозоркие, во всяком случае нехорошие! Зачем видеть тридцать три правды, если от этого не можешь зажать в кулак одну, пусть куцую, но свою, кровную, крепкую? Кругом по крайней мере охают, радуются и по различным обстоятельствам прославляют господу. «Слава богу, идет Алексеев, этих разбойников прогнали!» — кричит Леля. «Слава тебе, господи,— умиляется ее прислуга Матреша,— большаки берут верх». Я даже на это не способен... Запомните, господу из так называемого «потомства», чем занимался в эти единственные дни русский поэт Илья Эренбург».

Я писал далее все в том же «Хуренито»: «Пошла повсеместная наихида; причем многие оплакивали то, чего раньше не замечали или, замечая, не одобряли: Леля — великодержавность, Сережа (тот, что с Михайловским) — церковь, гимназист Федя — промышленность и финансы. Это было все-таки делом, и за отсутствием другого я занялся оплакиванием... Я вспоминал, отпевал, писал стихи и читал их со средним успехом в многочисленных «кафе поэтов».

На этот раз автор «Хуренито» говорил не о воображаемом герое, а о самом себе, говорил искренно, отнюдь не пытаясь себя оправдать или приукрасить. Однако я издевался над собой не только три года спустя, но и в те самые дни, когда недоумевал, искал тридцать три правды и оплакивал мир, который никогда не был моим. Я писал тогда очень плохие стихи: искусство не терпит лжи, а я старался обмануть самого себя — молился богу, в которого не верил, рядился в чужую одежду.

В дневниках Блока есть запись от 31 января 1918 года: юноша Стэнг рассказывает Блоку об отношении молодежи к поэзии: «Сначала было З Б (Бальмонт, Брюсов, Блок); показались пресными — Маяковский; и он пресный — Эренбург (он ярче всех издевается над собой; и потому скоро мы все будем любить только Эренбурга)».

«Стэнг» — это молодой поэт В. О. Стенич. Познакомился я с ним позднее. Он читал вперемежку стихи Блока, Маяковского, Хлебникова, свои собственные; печально зубоскалил; почему-то мне запомнилась его шутивная пародия на Анненского: «Бывают такие миги, когда не жаль и малых овец, об этом писала в поваренной книге Елена Молоховец». Погиб он в тридцатые годы. Если бы я тогда услышал от Стенича, что кому-то могут нравиться мои стихи, я, наверно, удивился бы: мне самому они не нравились; в записной книжке я себя уговаривал: «Нужно перестать писать, заняться огородничеством или, когда все успокоится, купить аппарат со штативом и снимать портреты на ярмарках».

«Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые» — эти строки написаны двадцатисемилетним поэтом, вторым секретарем русского посольства в Мюнхене. Молодой Тютчев читал в газетах о Французской революции 1830 года и, находясь в спокойной, сонной Баварии, позавидовал свидетелю бури: «Он их высоких зрелищ зритель...» А на самом деле, когда история переходит со страниц учебника на окрестные улицы, ничего нет глупее и унижительнее роли зрителя. Напрасно лжемудрец пытается осмыслить происходящее: если подойти вплотную к большому зданию, будь оно самым прекрасным, самым величественным, видишь только детали. Участник событий понимает куда больше, чем холодный наблюдатель; слепота поражает не того, кто любит и ненавидит, а того, кто пытается, сидя в зале, расшифровать мелькающие кадры фильма.

Как-то я встретил Алексея Ивановича Окулова. Я знал его в Париже угрюмым, он много пил, не понимал, что ему делать; записывал что-

то в блокнот; потом раскладывал на постели листочки и сшивал рассказ; получил даже как-то премию. Числился он писателем, но, выпив, кричал: «Какой я писатель? Уж если я на что-нибудь годен, так стрелять...» Биография его была бурной: боевые дружины, тюрьмы, эмиграция, подполье, снова тюрьмы и снова эмиграция. В революционной Москве он чувствовал себя уверенно; он мне сказал, что через несколько дней уезжает на фронт. Такое душевное веселье — привилегия активного участника событий. Удел наблюдателей куда горше. А. М. Горький писал: «...В 17—18 годах мои отношения с Лениным были далеко не таковы, какими я хотел бы их видеть, но они не могли быть иными. Он — политик. Он в совершенстве обладал тою четко выработанной прямолинейностью взгляда, которая необходима рулевому столь огромного, тяжелого корабля, каким является свинцовая крестьянская Россия. У меня же органическое отвращение к политике, и я плохо верю в разум масс вообще, в разум же крестьянской массы — в особенности». Горький оказался наблюдателем и тринадцать лет спустя написал: «Пусть же читатели знают эту мою ошибку. Было бы хорошо, если б она послужила уроком для тех, кто склонен торопиться с выводами из своих наблюдений».

(Мне кажется, что Горький в одном не прав: люди учатся на своих ошибках, а не на чужих — уж слишком часто в истории повторяются одни и те же ошибки.)

Я не могу сказать, что я всегда чуждался политики, точнее — действия: я начал с подпольной работы, потом, в зрелом возрасте, не раз оказывался участником событий; в дальнейших частях моих воспоминаний политические события будут не раз заслонять книги или холсты. Но в 1917 году я оказался наблюдателем, и мне понадобилось два года для того, чтобы осознать значение Октябрьской революции. Для истории два года — ничтожный срок, но в человеческой жизни это много смутных дней, сложных раздумий и простой человеческой боли.

С тех пор прошло сорок три года... Мне хочется напомнить, какой выглядела Франция сорок три года спустя после революции 1789 года. Позади был калейдоскоп событий — термидор, госпожа Тальен, молодой корсиканец, наполеоновские войны, казаки в Париже, снова Бурбоны, белый террор, маленькая революция, — и в итоге Людовик-Филипп, демократизм которого состоял в том, что он прогуливался с зонтиком в руке и отвечал на поклоны верноподданных. Для парижанина 1832 года революция 1789 года была событием давно минувшей, загодичной эпохи. Из сотни людей, с которыми я вчера разговаривал, вряд ли один помнит дореволюционную Россию: для пятидесятилетних, не говоря уж о более молодых, советский строй не идея, о которой можно спорить, не программа одной партии, а естественная форма общества.

Конечно, на Западе и спорят, и сомневаются, и отрицают; но в 1960 году можно сравнивать, можно аргументировать сложной жизнью большого государства. Русской интеллигенции в 1917—1918 годах было куда труднее...

Я не оплакивал ни имений, ни заводов, ни акций: я был беден и богатство сызмальства презирал. Смущало меня иное. Я вырос с тем понятием свободы, которое нам досталось от XIX века; со школьных лет я уважал неуважение, прислушивался к голосу ослушников. Я не понял, что меняются не только порядки, но и понятия; новый век многое принес и многое унес, а я пытался подойти к завтрашнему со вчерашней меркой.

Впрочем, и это не главное. Если говорить честно, я еще не знал, что такое жизнь, хотя мне было уже двадцать шесть лет. Оговорки, описки, ошибки мешали мне понять значение текста. Я замечал много

уродливого, видел злобу, невежество, но не видел главного: осуществлялось то, о чем я мечтал подростком, что мерещилось мне в тюремных камерах. Жизнь никогда не похожа на мечты. Гадалки говорят про «линию жизни»; такая линия действительно существует — не на ладони, а в судьбе человека, и чем раньше ее увидишь, осознаешь, тем легче будет преодолеть сомнения. Эта линия складывается не только из высоких идей, но и из реальных событий, не только из притяжений, но и из отталкиваний, не только из страстных чувств, но и из раздумий. Менее всего я хочу этим сказать, что, походящему определению, цель оправдывает средства, я слишком хорошо знаю, что средства могут изменить любую цель. Я думаю только о верности линии жизни — человека, народа, века.

Потом мне, как и всем моим современникам, пришлось пережить немало испытаний; я оказался к ним подготовленным: в сорок шесть лет линия жизни мне была куда яснее, чем в двадцать шесть... Я знал, что нужно уметь жить, сжав зубы, что нельзя подходить к событиям, как к диктовке, только и делая, что подчеркивая ошибки, что путь в будущее — не накатанное шоссе. Как сказал поэт Твардовский, «тут ни убавить, ни прибавить» — в истории, как и в жизни отдельного человека, много горьких страниц, не все разворачивается так, как хотелось бы... Теперь каждому ясно, какой подвиг совершил наш народ в нищей, темной, голодной стране, когда осенью 1917 года он пошел по новому, непроторенному пути. А тогда не только я, но и многие писатели старшего поколения, да и мои сверстники еще не понимали масштаба событий. Но именно тогда молодой петроградский поэт, которого считали салонным, ложноклассическим, далеким от жизни, тщедушный и мнительный Осип Эммануилович Мандельштам написал замечательные строки: «Ну, что ж, поворачивай огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля. Земля плывет. Мужайтесь, мужи, как плугом, океан деля, мы будем помнить и в летеиской стуже, что десяти небес нам стоила земля».

Впрочем, обо всем этом мне еще придется говорить — и о Мандельштаме, и об огромном повороте руля, и, главное, о той земле, которая нам стоила десяти небес.

5

Не помню, кто меня познакомил с Маяковским; сначала мы сидели в каком-то кафе и говорили о кино; потом он повел меня к себе — в маленький номер мебелирашек «Сан-Ремо» в Салтыковском переулке, около Петровки. Незадолго до этого я прочитал его книгу «Простое как мычание»; он мне представлялся именно таким, каким я его увидел, — большим, с тяжелой челюстью, с глазами то печальными, то суровыми, громким, неуклюжим, готовым в любую минуту вмешаться в драку — сочетанием атлета с мечтателем, средневекового жонглера, который, молясь, ходил на голове, с непримиримым иконоборцем.

Когда мы шли в гостиницу, он бубнил эпитафию Франсуа Вийона, написанную в ожидании виселицы: «Я — Франсуа, чему не рад. Увы, ждет смерть злодея, и, сколько весит этот зад, узнает скоро шея».

Едва мы вошли в номер, как он сказал: «Сейчас я вам читаю...» Я сел на стул, он стоял. Он прочитал мне незадолго до этого законченную поэму «Человек». Комната была маленькой, никого, кроме меня, не было, но читал он так, как будто перед ним толпа на Театральной площади. Я глядел на гнусные обои и улыбался: голенища действительно становились арфами.

Маяковский меня поразил: в нем уживались поэзия и революция, взбудораженные улицы Москвы и то новое искусство, о котором мечта-

ли завсегда и «Ротонды». Мне даже показалось, что он может помочь мне найти правильный путь. Случилось иначе: Маяковский остался для меня огромным явлением и в поэзии и в жизни века; но непосредственно он на меня никак не повлиял, оставался близким и одновременно бесконечно далеким.

Может быть, в этом особенность гения, может быть, особенность характера Маяковского — он говорил, что поэты должны быть «разными», был вдохновителем «Лефа», «Нового лефа», «Рефа», хотел привлечь многих, объединить, но вокруг него оказывались только его приверженцы, порой эпигоны. Он рассказал, как на даче под Москвой он беседовал с Солнцем; он сам был солнцем, вокруг которого кружились спутники.

Я встречался с ним и в Москве — в 1918 году, в 1920-м, и в Берлине в 1922-м, и в Париже, и снова в Москве, и снова в Париже (в последний раз мы виделись весной 1929 года — за год до его смерти). Порой встречи были беглыми, порой значительными. Мне хочется рассказать о моем понимании Маяковского; я знаю, что этот рассказ будет односторонним, субъективным, но могут ли быть иными показания современника? Из множества различных, порой противоречивых рассказов легче воссоздать облик человека. Беда в том, что Маяковский, будучи страстным разрушителем различных мифов, с необычайной быстротой превратился в мифического героя. Ему как будто положено быть не таким, каким он был. Есть воспоминания очевидцев, запомнивших несколько свирепых шуток. Есть страницы школьного учебника. Есть, наконец, статуя. Подросток зубрит отрывки из «Хорошо!». Домохозяйка в троллейбусе озабоченно спрашивает: «Вы на Маяковской сходите?..» Трудно говорить о человеке...

До середины тридцатых годов Маяковский вызывал страстные споры. Во время Первого съезда советских писателей, когда кто-либо произносил его имя, одни страстно аплодировали, другие молчали; я тогда писал в «Известиях»: «Не потому аплодировали мы, что кто-то захотел канонизировать Маяковского, — мы аплодировали потому, что имя Маяковского означает для нас отказ от всех литературных канонов». Менее всего я мог себе представить, что год спустя Маяковского действительно начнут канонизировать. Я не был на его похоронах. Друзья рассказывали, что гроб был слишком коротким. Мне кажется, что слишком короткой, а главное, слишком узкой оказалась для Маяковского его посмертная слава.

Я прежде всего хочу рассказать о человеке; он отнюдь не был «монолитом» — большой, сложный, с огромной волей и с клубком порой противоречивых чувств.

«Мертвые остаются молодыми» — так назвала свой роман Анна Зегерс. Почти всегда более поздние впечатления заслоняют первоначальные. Я попытался в этой книге рассказать о молодом А. Н. Толстом; он был одним из первых писателей, которого я встретил. Но часто, думая о нем, я вижу его грузным, признанным, с громким смехом и с утомленными глазами — таким, каким видел его в последние годы. Вот я гляжу на фотографию — рядом с Маяковским А. А. Фадеев, молодой, мечтательный, с мягкими глазами. Мне очень трудно припомнить Александра Александровича таким: я вижу волевые, порой холодные глаза... А Маяковский остался в памяти молодым.

До конца жизни он сохранял некоторые черты, может быть вернее сказать, некоторые привычки своей ранней молодости. Критики не любят задерживаться на так называемом «футуристическом периоде» Маяковского, хотя без его первых стихов непонятны его поэмы. Но я сейчас говорю не о поэзии, а о человеке. Конечно, Маяковский быстро

расстался не только с желтой кофтой, но и с лозунгами ранних футуристических манифестов. Однако в нем остался тот дух, который продиктовал «Пощечину общественному вкусу»,² в манере себя держать, в шутках, в ответах на записки.

Помню «Кафе поэтов» зимой 1917/18 года. Помещалось оно в Настасьинском переулке. Это было очень своеобразное место. Стены были покрыты диковинной для посетителей живописью и не менее диковинными надписями. «Я люблю смотреть, как умирают дети» — эта строка из раннего, дореволюционного стихотворения Маяковского красовалась на стене для того, чтобы ошарашить проходящих. «Кафе поэтов» никак не походило на «Ротонду» — здесь никто не разговаривал об искусстве, не спорил, не терзался, имелись актеры и зрители. Посетителями кафе были, по тогдашнему выражению, «недорезанные буржуи» — спекулянты, литераторы, обыватели, искавшие развлечений. Маяковский вряд ли их мог развлечь: хотя многое в его стихах им было непонятно, они чувствовали, что есть тесная связь между этими странными словами и матросами, прогуливавшимися по Тверской. А песенку, сочиненную Маяковским о буржуе, который напоследок ест ананасы, понимали все; ананасов в Настасьинском переулке не было, но кусок вульгарной свинины застревал у многих в горле. Развлекало посетителей другое. На эстраду, например, подымался Давид Бурлюк, сильно напудренный, с лорнеткой в руке, и читал «Мне нравится беременный мужчина...» Оживлял публику также Гольцшмидт; на афишах он именовался «футуристом жизни», стихов не писал, а золотил порошком два локона на голове, отличался необычайной силой, ломал доски и вышибал из кафе скандалистов. Однажды «футурист жизни» решил поставить себе памятник на Театральной площади; статуя была гипсовая, не очень большая и отнюдь не футуристическая — стоял голый Гольцшмидт. Прохожие возмущались, но не решались посягнуть на загадочный монумент. Потом статую все же разбили.

Все это дела далекого прошлого. Года два назад в Москву приехали американские туристы — Давид Бурлюк с женой. Бурлюк в Америке рисует, прилично зарабатывает, стал почтенным, благообразным; нет ни лорнетки, ни «беременного мужчины». Футуризм мне теперь кажется куда более древним, чем Древняя Греция. Но для Маяковского, который рано умер, он оставался еще если не живым, то близким.

В «Кафе поэтов» я довольно часто бывал, даже как-то выступил и получил от Гольцшмидта причитавшиеся мне за это деньги.

Помню вечер, когда в кафе пришел А. В. Луначарский. Он скромно сел за дальний столик, слушал. Маяковский предложил ему выступить. Анатолий Васильевич отказывался. Маяковский настаивал: «Повторите то, что вы мне говорили о моих стихах...» Луначарскому пришлось выступить: он говорил о таланте Маяковского, но критиковал футуризм и упомянул о ненужности саморасхваливания. Тогда Маяковский сказал, что вскоре ему поставят памятник — вот здесь, где находится «Кафе поэтов»... Владимир Владимирович ошибся всего на несколько сот метров — памятник ему поставлен недалеко от Настасьинского переулка.

Нескромность? Самоуверенность? Такие вопросы часто ставили многие современники Маяковского. Он отпраздновал, например, двенадцатилетний юбилей своей поэтической деятельности. Он не раз называл себя самым большим поэтом. Он требовал прижизненного признания — это было связано с эпохой, с тем низвержением «идолов», на которое жаловался Бальмонт, с желанием любым способом привлечь внимание к искусству.

«Я люблю смотреть, как умирают дети»... Маяковский не мог видеть, как бьют лошадей. Однажды в кафе мой знакомый порезал себе ножиком палец — Владимир Владимирович поспешно отвернулся. Самоуверенный? Да, конечно, он резко отвечал на критические замечания, ссорблял своих литературных противников. Помню такой диалог. Записка: «Ваши стихи не греют, не волнуют, не заражают». Ответ: «Я не печка, не море, не чума». На своих книгах он надписывал читателям: «Для внутреннего употребления». Все это общеизвестно. Менее известно другое.

Помню вечер Маяковского в парижском кафе «Вольтер». На нем присутствовала Л. Н. Сейфуллина. Было это весной 1927 года. Кто-то в зале крикнул: «Почитайте теперь ваши старые стихи!» Маяковский, как всегда, отшутился. Когда вечер кончился, мы пошли в ночное кафе возле бульвара Сен-Мишель: Маяковский, Л. Н. Сейфуллина, Э. Ю. Триоле, другие. Играла музыка, кто-то танцевал. Владимир Владимирович то шутил, изображал поэта Георгия Иванова, присутствовавшего на вечере, то надолго замолкал, мрачно оглядываясь по сторонам, как лев в клетке. Мы с ним условились, что на следующее утро, чем раньше, тем лучше, я к нему зайду. В крохотном номере гостиницы «Истрия», где он всегда останавливался, постель была не раскрыта — он не ложился. Встретил он меня мрачный и сразу, не поздоровавшись, спросил: «Вы тоже думаете, что я раньше писал лучше?..» Никогда он не был самоуверенным; обманывала раз и навсегда затверженная поза. Мне думается, что такая поза была продиктована скорее разумом, нежели характером. Ему была свойственна романтика, но он ее стыдился, обрывал себя: «Кто над морем не философствовал?» (после горьких раздумий о своей жизни), и тотчас ироническое «вода». В статье «Как делать стихи» все выглядит логично и просто. На самом деле Маяковский хорошо знал те мучения, которые неизменно связаны с творчеством. Он подробно рассказывал о заготовках рифм: были у него и другие «заготовки», о которых он не любил говорить, — душевные терзания. Он написал в предсмертном стихотворении, что «любовная лодка разбилась о быт» — это было данью много раз им осмеянной романтике; на самом деле его жизнь разбилась о поэзию. Обращаясь к потомкам, он сказал то, чего не хотел говорить современникам: «Но я себя смирял, становясь на горло собственной песне».

Он казался чрезвычайно крепким, здоровым, жизнерадостным. А был он порой несносно мрачным; отличался болезненной мнительностью, носил в кармане мыльницу и, когда приходилось пожать руку человеку, который был ему почему-то физически неприятным, тотчас уходил и тщательно мыл руки. В парижских кафе он пил горячий кофе через соломинку, которую подавали для ледяных напитков, чтобы не касаться губами стакана. Он высмеивал суеверия, но все время что-то загадывал, обожал азартные игры — орел и решку, чет или нечет. В парижских кафе были автоматы-рулетки; можно было поставить пять су на красный, зеленый или желтый цвет; при выигрыше выпадал жетон для оплаты чашки кофе или кружки пива. Маяковский часами простаивал у этих автоматов; уезжая, он оставлял Эльзе Юрьевне сотни жетонов; жетоны ему были не нужны, ему нужно было угадать, какой цвет выйдет. Он и в барабане револьвера оставил одну пулю — тот же чет или нечет...

Когда Владимир Владимирович разговаривал с женщинами, его голос менялся, обычно резкий, настойчивый, становился мягким. Я прочитал в книге Виктора Шкловского: «Владимир Владимирович поехал за границу. Там была женщина, могла быть любовь. Рассказывали мне, что они были так похожи друг на друга, так подходили друг к другу, что люди в кафе благодарно улыбались при

виде их...» Недавно было опубликовано стихотворение Маяковского, обращенное к Т. А. Яковлевой, о которой упоминал Шкловский. А у меня сохранилась рукопись «Клопа», подаренная Маяковским Тате (Т. А. Яковлевой), выкинутая Татой за ненадобностью. Нет, она не походила на Маяковского, хотя была, как он, высокого роста, красива. Я не хочу рассказывать о том, что Маяковский справедливо называл «сплетнями»; и упомянул я об этом эпизоде (отнюдь не самом значительном в жизни поэта) только для того, чтобы еще раз показать, как не походил живой Маяковский на бронзовую статую или на богатыря Владимира Красное Солнышко.

Маяковский, когда ему было восемнадцать лет, поступил в училище живописи — хотел стать художником. Он сохранил живописное видение мира и в поэзии: его образы не придуманы, но увидены. Он любил живопись, чувствовал ее; любил и среду художников. Мир он скорее видел, чем слышал. (Шутя он говорил, что слон ему наступил на ухо.)

Я упоминал о вечере у Цетлиных, когда Маяковский читал «Человека». Вячеслав Иванов иногда благожелательно кивал головой. Бармонт явно томился. Балтрушайтис, как всегда, был непроницаем. Марина Цветаева улыбалась, а Пастернак влюбленно поглядывал на Владимира Владимировича. Андрей Белый слушал не просто — иступленно и, когда Маяковский кончил чтение, вскочил настолько взволнованный, что едва мог говорить. Его восторг разделяли почти все присутствовавшие. Но Маяковского рассердила чья-то холодная, вежливая фраза. Так с ним всегда бывало: он как бы не замечал лавров, искал тернии. В его стихах непрерывные бои с реальными и воображаемыми противниками новой поэзии. Что скрывалось за этими обвинениями? Может быть, спор с самим собой?

Мне привелось читать некоторые статьи о Маяковском, написанные за границей, авторы которых пытаются доказать, что революция погубила поэта. Трудно придумать большую нелепость: без революции не было бы Маяковского. В 1918 году он меня справедливо обозвал «испуганным интеллигентом»; мне понадобилось два года, для того чтобы понять происходящее. А Маяковский революцию сразу понял и принял. Он был не только увлечен — поглощен строительством социалистического общества. Он ни в чем не приспособливался и, когда некоторые хотели его приручить, огрызнулся: «Лицом к деревне» — задание дано, — за гусли, поэты-друзи! Поймите ж — лицо у меня одно — оно лицо, а не флюгер... Идею нельзя замешать на воде. В воде отсыреет идея. Поэт никогда и не жил без идей. Что я — попугай? индейка?» Никогда у него не было конфликта с революцией; это выдумка людей, которые не брезгают ничем в борьбе против коммунизма. Драма Маяковского была не в разладе между революцией и поэзией, а в отношении левых к искусству: «Пусть ропщут поэты, слюною плеща, губою презрение вызмеив. Я, душу похерив, кричу о вещах, обязательных при социализме». (Газета в свое время изменила несколько слов: «Я, душу не снизив» вместо «я, душу похерив», Маяковский восстановил первоначальный текст — в нем объяснение его поэтического и человеческого подвига.)

Маяковский любил Леже; было нечто общее в их понимании роли искусства в современном обществе. Леже увлекался машинами. урбанизмом, хотел искусства в повседневном быту, не заходил в музеи. Он писал свои холсты и создал хорошую живопись, на мой взгляд, декоративную, никак не подрывающую нашу любовь к Ван-Гогу или Пикассо, но, бесспорно, связанную с новым временем. Маяковский в течение ряда лет боролся против поэзии не только в манифестах или в статьях — хотел стихами уничтожить стихи. В «Лефе» был напечатан смертный приговор искусству — «так называемым поэтам», «так назы-

ваемым художникам», «так называемым режиссерам». Художникам рекомендовалось вместо станковой живописи заняться эстетикой машин, текстилем, утварью; режиссерам — организовывать народные празднества, демонстрации и распродаваться с рампой; поэтам — оставить лирику, писать для газет, подписывать плакаты, сочинять рекламы.

Отказаться от поэзии оказалось нелегко. Маяковский был человеком сильным и мужественным. Однако порой и он отступал от своей программы. В 1923 году, когда «Леф» еще отрицал лирику, Маяковский написал поэму «Про это». Ее не поняли даже близкие, ее поносили и союзники Маяковского и его литературные противники, но ею он обогатил русскую поэзию.

С годами его отрицание прошлого искусства слабело. В конце 1928 года «Новый леф» сообщал, что Маяковский публично заявил: «Я амнистирую Рембрандта». Еще раз напомним — он умер молодым. Он жил, думал, чувствовал, да и писал не по плану — прежде всего он был поэтом. Помню, с каким восхищением он говорил о новой, индустриальной красоте Америки в те далекие годы, когда электрификация нашей страны была еще только замыслом, когда на Театральной площади, темной, занесенной снегом, горели тусклые лампочки: «Дети — цветы жизни». Я встретил его, когда он вернулся из Америки. Да, конечно, Бруклинский мост хорош, да, там много машин. Но сколько там дикости, бесчеловечности! Он ругался, говорил, как обрадовался, увидев крохотные садики Нормандии. Из программы «Лефа» вытекало и отрицание Парижа, где каждый дом — обломок старины, и восхваление сугубо новой, индустриализированной Америки. Но Маяковский проклинал Америку и, не стыдясь показаться сентиментальным, объяснялся в любви Парижу. Откуда такое противоречие? Да, «Леф» был журналом, просуществовавшим несколько лет, а Маяковский был большим поэтом. В декларативных стихах он издевался над поклонниками Пушкина, над посетителями Лувра, а его восхищали и строфы «Онегина» и старая живопись.

Он сразу понял, что Октябрьская революция переменяла ход истории; но детали будущего он видел условно: не на полотне — на плакате. Нам трудно теперь соблазниться гигиенической идиллией последнего действия «Клопа». Искусство прошлого представлялось Маяковскому не столько чуждым, сколько обреченным. Его иконоборчество было обетом, подвигом. Он вел бой не только с тем или иным критиком, не только с авторами чувствительных романсов, но и с самим собой. Он написал: «Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят, — что ж, по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь» — и зачеркнул эти строки, найдя их чересчур чувствительными. А родная страна его поняла, поняла также выброшенные им прекрасные стихи...

Я вспоминаю его осенью 1928 года — он пробыл тогда больше месяца в Париже. Мы часто встречались. Вижу его мрачным в маленьком баре «Куполь». Он заказывал виски марки «Уайт хорс» («Белая лошадь»); пил он мало, но сочинил песенку «Хорошая лошадь «уайт хорс», белая грива, белый хвост...» Как-то он сказал: «А вы думаете, это легко?.. Я мог бы писать стихи лучше их всех...» Он был до конца предан своей идее.

Много говорили, почему он покончил с собой, — то про неудачи с выставкой его литературных работ, то про нападки рапповцев, то про сердечные дела. Мне не по душе догадки: я не могу подойти к жизни человека, которого я знал, как подходят к плану романа... Хочу сказать одно: люди часто забывают, что поэт обладает обостренной чувствительностью, на то он поэт. Владимир Владимирович себя называл

«волом», даже «волищем», о своих стихах говорил, что они «бегемоты», на одном собрании сказал, что у него «слоновья шкура», которой не пробить никакой пулей. На самом деле он жил и без обыкновенной человеческой кожи.

По христианским легендам, язычник Савл, превратившись в апостола Павла, начал крушить статуи богов и богинь. Статуи были совершенны, но Павел сумел побороть в себе чувство прекрасного. Маяковский сокрушал не только красоту прошлого, но и себя самого; в этом величие его подвига, в этом и ключ к его трагедии.

Был в Петербурге литератор Андрей Левинсон, который считался знатоком хореографии. В 1918 году в журнале «Жизнь искусства» он опубликовал пасквиль на Маяковского. Ему тогда ответили и многие художники и А. В. Луначарский. Андрей Левинсон уехал в Париж. Когда пришло известие о трагической смерти Маяковского, он напечатал в газете «Ле нувель литтерер» отвратительную клеветническую заметку. Вместе с несколькими французскими писателями я составил письмо в редакцию французской литературной газеты, выражавшее наше негодование. Под этим письмом подписались все пристойные писатели Франции самых различных воззрений; не помню, чтобы кто-нибудь отказался поставить свою подпись. Я отнес письмо редактору Морису Мартен дю Гару. (Это был малопримечательный литератор, никак не похожий на большого писателя Роже Мартен дю Гара.) Редактор спокойно прочитал чрезвычайно резкое письмо и сказал: «Я попрошу вас сделать одно маленькое изменение». Я ответил, что текст не может быть смягчен. «Я этого и не прошу. Но, может быть, вы прибавите во фразе «мы возмущены тем, что литературная газета» два слова — «самая крупная литературная газета». Он соглашался получить пощечину, но просил отметить, что щека у него большая. Маяковский об этом, наверно, хорошо бы написал...

Необычайна судьба Маяковского в мире. Совсем недавно мне говорили о нем писатели Черной Африки — он дошел и туда. Он обходит мир. Конечно, стихи с трудом поддаются переводу, да и многое в той форме, которую Маяковский утверждал как форму будущего, стало формой прошлого. Но человек и поэт, он по-прежнему молод. Ни Арагон, ни Пабло Неруда, ни Элюар, ни Тувим, ни Незвал никогда не писали «под Маяковского»; но все они многим Маяковскому обязаны — он научил их не новым формам стихосложения, а мужеству выбора.

Нужно уметь отделить современность от злободневности, дух новаторства от тех или иных новинок, которые четверть века спустя кажутся старомодными. Один поэт несколько месяцев назад сказал мне, что после сложных рифм Маяковского нельзя употреблять глагольные рифмы. Это, конечно, наивно. Можно писать и с глагольными рифмами и вовсе без рифм. В 1940 году девять десятых начинающих поэтов писали стихи «лесенкой», теперь подражают другим образцам: моды меняются. Маяковского били по голове книгами Пушкина, Некрасова, Блока. Стоит ли дубасить молодых томами Маяковского?

Я говорил, что Маяковский мог бы мне помочь во многом разобраться. Помню ночной разговор; было это в феврале или в марте 1918 года. Мы вышли вместе из «Кафе поэтов». Маяковский расспрашивал про Париж, про Пикассо, про Аполлинера. Потом он сказал, что ему понравилась моя стихи о казни Пугачева. «Вам бы радоваться, а вы скулите... Нехорошо!» Я охотно согласился: «Конечно, нехорошо». Политически он был прав, я это вскоре понял; но мы всегда думали и чувствовали по-разному. В 1922 году он говорил мне, что «Хуренито» ему понравился: «Вы поняли многое лучше других...» Я засмеялся:

«А по-моему, я все еще ничего не понимаю...» Мы часто встречались и ни разу не встретились.

О Маяковском я думал и думаю; иногда спорю с ним, но всегда восхищаюсь его поэтическим подвигом. На статую я не гляжу — статуя стоит на месте; а Маяковский идет — и по новым кварталам Москвы, и по старому Парижу, по всей нашей планете; идет с «заготовками» — не новых рифм, а новых дум и чувств...

6

Каждое утро обыватели тщательно изучали наклеенные на стены, еще сырые, топорщившиеся декреты: хотели знать, что разрешается, что запрещено. Однажды я увидел толпу возле листка, который назывался «Декретом № 1 о демократизации искусств». Кто-то читал вслух: «Отныне вместе с уничтожением царского строя отменяется проживание искусства в кладовых, сараях человеческого гения — дворцах, галереях, салонах, библиотеках, театрах». Бабка взвизгнула: «Батюшки, сараи отбирают!..» Очкастый человек, читавший «декрет» вслух, разъяснил: «Про сараи ничего не сказано, а вот библиотеки закроют, ну и театры, конечно...» Листок был сочинением футуристов, и внизу значились подписи: Маяковский, Каменский, Бурлюк. Имена ничего не говорили прохожим, зато все знали магическое слово «декрет».

Вспоминаю 1 мая 1918 года. Москва была украшена футуристическими и супрематистскими полотнами. На фасадах облупленных домов, ампирных особняков с колоннами обезумевшие квадраты воевали с ромбами; пестрели лица с треугольниками вместо глаз. (Искусство, которое теперь именуется «абстрактным» и вызывает немало споров как у нас, так и на Западе, тогда выдавалось всем советским гражданам в неограниченном размере.) Первое мая совпало в тот год со страстной пятницей. Возле Иверской часовни толпились молящиеся. Мимо них проезжали грузовики (бывшие фирмы Ступина), задрапированные беспредметными холстами; актеры на грузовиках изображали различные сцены: «Подвиг Степана Халтурина» или «Парижскую коммуны». Одна старушка, глядя на кубистическое полотно с огромным рыбьим глазом, причитала: «Хотят, чтобы мы дьяволу поклонялись...»

Я смеялся, но смех был невеселым.

Сейчас я перечитал мою статью, напечатанную летом 1918 года в газете «Понедельник» и озаглавленную «Среди кубистов»; в ней я рассказывал о Пикассо, Леже, Ривере. Я говорил, что можно рассматривать произведения этих художников как «сумасшедшие орнаменты готового рухнуть дома или как фундамент иного, еще невиданного даже в творческом сне строения».

Конечно, не случайно Пикассо, Леже, Ривера стали коммунистами. В 1918 году на Красной площади оказались не художники академического направления, а футуристы, кубисты, супрематисты. Что же меня смущало в торжестве тех художников и поэтов, которые напоминали (хотя бы внешне) лучших друзей моей ранней молодости?

Прежде всего — отношение к искусству прошлого. Всем известно, что Маяковский рос, менялся, но в то время он был страстным иконоборцем: «Белогвардейца найдете — и к стенке. А Рафаэля забыли? Забыли Растрелли вы? Время пулям по стенке музеев тенькать. Стодуймовками глоток старье расстреливай!.. Выстроили пушки по опухке, глухи к белогвардейской ласке. А почему не атакован Пушкин?» Этого я не мог понять. Часто, бродя по московским переулкам, я повторял стихи Пушкина; с нежностью вспоминал я холсты старых итальянских мастеров. Приехав в Москву, я чуть ли не сразу побежал в Кремль. Живопись

XV века меня потрясла — я ведь до того не имел представления о русском Возрождении.

Споры о ценностях прошлого вскоре улеглись. Маяковский написал стихи о Пушкине, а материалы о Маяковском теперь выходят в издании Академии «Литературное наследство». (Я уже упоминал о журнале «Вещь»; среди его сотрудников были многие представители нашего «левого искусства»: Маяковский, Малевич, Мейерхольд, Татлин, Родченко. В статье, посвященной задачам журнала, я писал: «Теперь смешно и цинично «сбрасывать Пушкина с парохода». В течении форм есть связь, и классические образцы не страшны современным мастерам. У Пушкина и Пуссена можно учиться... «Вещь» не отрицает прошлого в прошлом, она зовет делать современное в современном...»)

Маяковского нетрудно понять: его стихи встречались гоголом. Над картинами художников, которые пошли с футуристами (Малевич, Татлин, Родченко, Пуни, Удальцова, Попова, Альтман), в дореволюционное время издевались. После Октября эпигоны классической поэзии начали укладывать вещи в чемоданы. И Бунин и Репин уехали за границу. Остались футуристы, кубисты, супрематисты. Подобно их западным единомышленникам, довоенным завсегдатаям «Ротонды», они ненавидели буржуазное общество и в революции увидели выход.

Футуристы решили, что вкусы людей можно изменить столь же быстро, как экономическую структуру общества. Журнал «Искусство коммуны» писал: «Мы действительно претендуем и, пожалуй, не отказались бы от того, чтобы нам позволили использовать государственную власть для проведения своих художественных идей». Конечно, это было скорее мечтой, чем угрозой. Улицы Москвы расписывались супрематистами и кубистами прежде всего потому, что художники академического толка находились в оппозиции (не художественной, а политической). Все же результаты оказались печальными. Дело не в бабке, принявшей кубистический холст за черта, а в той художественной реакции, которая последовала за кратковременным выходом на улицы «левого искусства».

Открытия в области точных наук доказуемы, и вопрос о том, прав или неправ Эйнштейн, решали математики, а не миллионы людей, помнящих всего-навсего таблицу умножения. Новые формы искусства всегда входили в сознание людей медленно, извилистыми путями; причем сначала их понимали и принимали немногие. Да и вообще предписать, внедрить или навязать вкусы невозможно. Боги древней Эллады потребляли нектар, который поэты называли божественным напитком; но если бы нектар стали вводить через зонд в желудки афинских граждан, то, наверно, дело кончилось бы всеафинской рвотой.

Впрочем, сейчас все это (не только споры о том, кто будет украшать площади Москвы, но и «левое искусство») — древняя история. Еще раз я нарушу правила, которые предписывают мемуаристу придерживаться хронологической последовательности. Мне хочется понять, что произошло со мной, со многими поэтами и художниками моего поколения. Не знаю, кто перепутал нити — наши художественные противники или мы сами; но я попытаюсь размотать клубок.

Прежде всего скажу о себе. Вскоре я увлекся тем, что тогда называли «конструктивизмом»; признаюсь, однако, — идея растворения искусства в жизни меня и вдохновляла и отталкивала. В 1921 году я написал книгу «А все-таки она вертится», шумливую и наивную, напоминавшую декларацию левовцев (журнал «Леф» отмечал, что «группа И. Эренбурга во многом совпадает в выводах с нами»). Я уверял, будто «новое искусство перестает быть искусством». Одновременно я издевался над своими идеями; в том же 1921 году я написал «Хулио Хуренито»; мой герой доводит до абсурда тезисы книги «А все-таки она вертится». Хуренито

говорит: «Искусство — очаг анархии, художники — еретики, сектанты, опасные бунтовщики. Итак, не колеблясь, надо запретить искусство, как запрещены изготовление спиртных напитков или ввоз опиума... Картины кубистов или супрематистов могут быть использованы для различных целей — чертежи киосков на бульварах, орнамент набойки, модели новых ботинок и так далее. Поэзия переходит к языку газет, телеграмм, деловых разговоров...» Я не двурушничал — двурушничество ведь всегда связано с опаской или с расчетом. Просто я не очень-то верил в провозглашаемую многими, в том числе и мною, смерть искусства.

Футуризм родился в начале нашего века в захолустной, технически отсталой Италии; там на каждом шагу можно было увидеть изумительные памятники прошлого; а в магазинах продавали немецкие ножи, французские кастрюли, английские материи — заводские трубы еще не пытались затесаться в изысканное общество старинных башен. (Теперь Северная Италия может посоперничать с наиболее индустриализованными странами, но теперь в Италии не сыщешь футуриста, требующего сжечь все музеи, а бывшие футуристы Карра или Сестерини вдохновляются фресками Джотто или равеннской мозаикой.) Увлечение Маяковского, Татлина, других представителей русского «левого искусства» индустриальной эстетикой в первые годы революции вполне понятно: тогда на Сухаревке продавали поштучно не только куски сахара, но даже спички. В «Мистерии-Буфф» Маяковский так мечтал о будущем: «Громоздятся в небо распахнутые махины прозрачных фабрик и квартир. Обвитые радугами, стоят поезда, трамваи и автомобили...» (Когда художник избирает природу или человеческие чувства, его произведения не устаревают. Никто не скажет, что женщина XX века прекраснее, совершеннее Нике Акрополя, созданной двадцать пять веков назад; терзания Гамлета или любовь Ромео и Джульетты никому не смешны. Но стоит художнику увлечься техникой, как его утопии оказываются превзойденными или опровергнутыми временем. Уэллс был человеком весьма образованным, ему казалось, что он видит будущее, однако открытия современной физики сделали его утопические романы смешными. Как мог Маяковский предвидеть, что трамвай вскоре разделит судьбу конки, а поезда начнут казаться архаическим способом передвижения?..)

Кубистические полотна Пикассо были рождены не тоской по машинам, а стремлением живописца изобразить человека, природу, мир, освободившись от случайных подробностей. Мало кого теперь интересуют книги Метценже, Глеза и других теоретиков кубизма; а холсты Пикассо, Брака, Леже живы, нас радуют, огорчают, волнуют. Пикассо себя считает наследником Веласкеса, Пуссена, Делакруа, Сезанна, и никогда он не видел в электрическом поезде или в реактивном самолете наследников живописи.

Разумеется, искусство всегда постепенно входило в быт, меняло здания, одежду, словарь, жесты, утварь. Средневековая поэзия с ее культом любимой женщины помогла людям найти формы для выражения своих чувств. Холсты Ватто и Фрагонара перекочевали в быт, изменили планировку парков, костюмы, танцы, повлияли на диваны или на табакерки. Кубизм помог современным урбанистам освободиться от домов, заляпанных ненужными украшениями, он отразился на мебели, даже на коробках сигарет. Утилитарное использование искусства, его декоративное применение не может быть целью художника, оно естественно вытекает из его творческого взлета. Обратный процесс свидетельствует о творческом оскудении. Беспредметный орнамент вполне уместен на ткани или на керамике, когда же он претендует на звание станковой живописи, то это не взлет, а спад.

Недавно я был в Брюсселе на ретроспективной выставке Малевича. Его ранние работы (период «Бубнового валета») очень живописны. В 1913 году он написал черный квадрат на белом фоне. Так родилось абстрактное искусство, которое сорок лет спустя обворожило тысячи западных художников. Оно мне кажется прежде всего декоративным. Холсты Пикассо — мир, в них столько мыслей и чувств, что они порождают восторг или подлинную ненависть; а холсты абстракционистов остаются элементами ткани или обоев. Женщина может надеть на себя шарф с беспредметным орнаментом, этот шарф может быть красивым или некрасивым, может оказаться к лицу женщине или нет, но он никого не заставит задуматься о природе, о человеке, о жизни.

Стремительное развитие техники требует от художника еще более углубленного понимания внутреннего мира человека. Это быстро поняли сторонники «левого искусства», защищавшие индустриальную эстетику. Повидав Америку, Маяковский заявил, что необходимо обуздать технику. Конечно, он думал при этом о роли художника, не отрицая необходимости технического прогресса (в Москве тогда — это было в 1925 году — техники было чрезвычайно мало); Маяковский понимал, что если не надеть на технику гуманистического намордника, то она иссушает человека. Мейерхольд, забыв про биомеханику, увлекся «Лесом», «Ревизором», мечтал поставить «Гамлета». Татлин занялся станковой живописью; Альтман писал портреты; Пуни стал мастером маленьких пейзажей. Что касается зонда с нектаром, то он перешел в другие руки, куда более подходящие для подобных операций.

Наши музеи обладают превосходными коллекциями «левого искусства» первых послереволюционных лет. Обидно, что эти коллекции не открыты для посетителей. Из цепи кольца не выкинешь. Я знаю молодых советских художников, которые в 1960 году открывают Америку: делают (вернее, хотят сделать) то, что в свое время делали Малевич, Татлин, Попова, Розанова. Может быть, если бы они могли взглянуть на историю развития названных художников, они пытались бы не вернуться к 1920 году, а найти нечто новое, соответствующее нашему времени? Молодые поэты знают стихи Хлебникова, ценят его мастерство, но не пытаются ему слепо подражать. Почему же Татлин «опаснее» Хлебникова? Может быть потому, что идея монополии одного направления особенно утвердилась в области пластических искусств?..

Конечно, представители нашего «левого искусства» в первые годы революции во многом ошибались. Об ошибках художников, писателей, композиторов говорят часто и охотно; вряд ли это объясняется тем, что ошибаются только они... Но сейчас, оглядываясь назад, я думаю с признательностью даже о том холсте, который испугал бабушку возле Иверской часовни. Многие были сделаны; а эссенцию всегда разбавляют. Благотворные следы «левого искусства» можно увидеть в произведениях ряда писателей, художников, режиссеров, кинорежиссеров, композиторов последующих десятилетий.

Я никогда в жизни не был страстным адептом какой-либо художественной школы. Я сравнил раннего Маяковского с апостолом Павлом, который крушил статуи лжебогов. Павла, до того как он обратился в новую веру, звали Савлом. В 1922 году, когда я защищал конструктивизм и издавал журнал «Вещь», В. Б. Шкловский в книге «Цоо» назвал меня Павлом Савловичем — это зло, но справедливо. Через всю мою жизнь я пронес любовь ко многим художественным произведениям прошлого — к романам Стендаля, к рассказам Чехова, к стихам Тютчева, Бодлера, Блока. Это мне не мешало ненавидеть подделку под старое и любить Пикассо или Мейерхольда. В общем, у Павла должно быть отчество, и лучше вылепить новую статую, чем разбить даже с самыми высокими

побуждениями статую, некогда созданную. Для скульптора, который высекал изображения индийских богов и богинь в Эллоре, Брахма, Вишну или Шива были богами; для нас это люди, созданные человеческим гением, с близкими нам страстями, с понятной нам гармонией.

Идолы отжили свой век не только в религии, но и в искусстве. Вместе с почитанием икон умерло иконоборчество. Но разве от этого может исчезнуть стремление сказать новое по-новому? Недавно я прочитал в одном журнале слова «скромное новаторство»; они меня сначала рассмешили, потом опечалили. Художник должен быть скромным в своем поведении, но отнюдь не умеренным, тепленьким, ограниченным в своих творческих дерзаниях. Право же, достойнее писать каракулями свое и по-своему, чем каллиграфически переписывать прописи прошлого. Мне кажется, что колхозники, изображаемые в манере академической (болонской) школы, мало кого могут порадовать и что нельзя передать ритм второй половины XX века тем избытком придаточных предложений, которым блистательно пользовался Л. Н. Толстой.

7

В Пречистенском комиссариате мне пришлось заполнить первую анкету; это было внове, и я задумывался над каждым вопросом. Какая, например, у меня профессия? Журналист? Переводчик? Поэт? Я написал «поэт» — это звучало наиболее благородно — и рассмеялся: менее всего я чувствовал себя профессиональным писателем.

Помимо дурных стихов, я писал очерки в газеты; написал вместе с А. Н. Толстым пьесу для театра «Летучая мышь», называлась она «Рубашка Бланш» и была основана на французском фавле XIII века, которое я перевел еще в Париже. Я писал стихотворный текст, а Алексей Николаевич старался оживить его забавными репликами.

Внешне я как-то устроился, снял комнату в Левшинском переулке, в профессорской квартире, за сто рублей, иногда обедал в вегетарианской столовой — кажется, она называлась «Примиришь», но примириться ни с чем не мог.

Иногда я вспоминал «Ротонду», Пикассо, Модильяни, наши споры об искусстве. Бог ты мой, как давно это было!.. Я попробовал написать Шанталь и тотчас порвал письмо: нельзя писать в другой мир. Даже если письмо дойдет, никогда ей не понять, что со мною происходит...

Появилось много новых слов: «мандат», «чека», «рабис», «комфуты», «домком», «уплотнение», «излишки», «пша», «спецы», «пролеткульт», «кубаршины», «ликбез», «рабкрин», «разверстка». Я продолжал приставать ко всем с наивными вопросами; никто мне не отвечал.

Неожиданно для себя я очутился в среде писателей, даже стал одним из наиболее типичных ее представителей: у других ведь были семьи, знакомые, налаженный быт, а я попал в революционную Москву с тремя сменами белья, без профессии и потеряв из виду друзей отрочества.

Я упоминал о кафе «Бом» на Тверской, куда часто заглядывали писатели; там мы пили кофе и делились новостями. Были другие кафе, где мы работали, — за тридцать или за пятьдесят рублей читали свои произведения перед шумливыми посетителями, которые слушали плохо, но глядели на нас с любопытством, как посетители зоопарка глядят на обезьян. Кафе эти были эфемерными — названия то и дело менялись: «Кафе поэтов», «Трилистник», «Музыкальная табакерка», «Домино», «Питтореск», «Десятая муза», «Стойло Пегаса», «Красный петух».

Цетлины нас кормили пышно, как подобало последним представителям чайной династии. Собирались мы часто у Кара-Мурзы; там нас тоже подкармливали, и атмосфера там была куда проще, сердечнее.

Иногда мы ходили к Толстому; иногда в Афанасьевском переулке встречались у актрисы Людмилы Джалаловой.

Еще происходили скучноватые собрания «среды»; там бытовики читали рассказы и литераторы монотонно требовали различных «свобод»; во главе «сред» стоял брат Бунина, милейший Юлий Алексеевич.

Председателем Всероссийского союза писателей был Юргис Казимирович Балтрушайтис, человек очень добрый и очень угрюмый. Лицо у него было пустынное, бледные глаза, горестно сжатый рот. Когда Маяковский сокрушал Бальмонта или когда Толстой рассказывал анекдоты, Юргис Казимирович, в черном, наглухо застегнутом сюртуке, непоколебимо молчал. Его комната напоминала его самого — голые стены и распятие. Такими же унылыми, горькими, отвлеченными были и его стихи: «И всех равняет знаком сходства, приметой божьего перста, одно великое сиротство, одна великая тщета...» Помню, как мы ездили в Кимры на литературный вечер. Балтрушайтис читал стихи. Потом Лидин прочитал рассказ о конюшнях и скачках. Зал был шумным; кого-то вывели. На эстраду взобрался паренек и запел: «Дезертиром я родился, дезертиром и умру, коль хотите, расстреляйте, в коммунисты не пойду...» Мы пили водку; нас отвели в пустую комнату — поезд отправлялся утром; спали мы на полу. Юргис Казимирович, как всегда, молчал; только когда мы приехали в Москву, он неожиданно сказал: «В общем, глупо... А все-таки хорошо, что поехали...» Мне кажется, что те годы были для Юргиса Казимировича лучшими годами его жизни. (В 1921 году он стал послом Литвы в Москве. Ему хотелось по-прежнему встречаться с писателями, но он числился дипломатом, и его дипломатично избегали. Он продолжал писать угрюмые стихи; писал и на литовском языке. Жизнь его сложилась нелепо, но он не удивлялся — с детства он знал, что такое пустыня.)

Помню светящееся окно на Зубовском бульваре — там жил поэт Вячеслав Иванович Иванов. Он казался мне мудрым старцем (ему тогда было пятьдесят два года); походил он на ибсеновского пастора; одевался по-старомодному; блеснула золотая оправка очков. Был он человеком большой культуры; писал сложно и патетически; его называли «Вячеславом Великолепным». Я слушал, как он, волнуясь, будто импровизируя, читал отточенные сонеты, и во мне боролись два чувства: благоговение и жалость; время рванулось вперед, а где-то на Зубовском бульваре остался чужак в сюртуке, с менадами, с Изольдой, с розами Суристана, с акафистами. В домах появились печки, окрещенные «буржуйками», на них варили пшеничную кашу, а Вячеслав Иванович писал: «Охалку дров свалив у камелька, вари пшено,— и час тебе довлеет. Ах, вечности могила глубока!..» Он хорошо говорил о древней Элладе, а когда события заглядывали в его кабинет, терялся. Он писал Г. И. Чулкову: «Да, сей костер мы поджигали, и совесть правду говорит, хотя предчувствия не лгали, что сердце наше в нем сгорит». Мне кажется, сердце Вячеслава Иванова в те годы не горело, а замерзло... (Несколько лет спустя он уехал в Италию, преподавал славистику в католическом университете, писал, как прежде, сонеты и умер в глубокой старости.)

Как-то я возвращался после литературного вечера с М. О. Гершензоном, который жил в одном из переулков Арбата. Я знал его книги о декабристах, о Чаадаеве и думал, что для Михаила Осиповича самое важное — сохранить те духовные ценности, о которых говорил Вячеслав Иванов. Но Гершензон неожиданно рассмеялся и, остановившись возле сугроба, который был выше его, стал меня наставлять: важнее всего внутренняя свобода, нечего плакать об истлевших ризах. Он смеялся, а глаза у него были ласковые и печальные: «Почему вы огорчаетесь? Вы ведь молоды... Разве не счастье почувствовать себя свободным от все-

го, что представлялось нам вечным, незыблемым? Я вот радуюсь...» Михаилу Осиповичу не было и пятидесяти, но мне он, конечно, казался стариком. Я тогда не понял, чему он радуется, а теперь с восхищением думаю о его словах; если он страдал дефектом зрения, то в отличие от многих писателей, в том числе молодых, был не близоруким, а дальновзорким.

Позднее я расскажу об Андрее Белом — я часто с ним встречался в Германии в 1922 году. В годы, о которых я говорю, он казался мне призраком. Он не сидел на стуле, как все, а приподымался; казалось, еще минута — и он превратится в облако; говорил он не с собеседником, а с воображаемым обитателем воображаемой планеты. Слово «эфир» давно стало техническим термином работников радиовещания, они говорят «выпускаем в эфир», даже когда идет речь о беседе, как предохранить себя от желудочных заболеваний. А тогда слово «эфир» еще звучало таинственно: «Тебя я, вольный сын эфира, возьму в надзвездные края...» Так вот, мне казалось, что Андрей Белый говорит исключительно в лермонтовский эфир: Россия — мессия, разрушение — созидание, бездна — взлет... Он восхищал меня, а я не думал: «Тебе хорошо, ты и не сидишь на стуле, ты взлетаешь, а я не умею ни развоплощаться, ни испаряться, ни вещать...»

Все выводило из себя Бальмонта. Однажды мы должны были проехать от Покровских ворот к Арбату. Войти в трамвай было нелегко: я, вскочив на подножку, пытался пробиться, а Константин Дмитриевич начал вопить: «Хамы, расступитесь! Идет сын солнца...» Это не произвело никакого впечатления, и Бальмонт объявил, что, поскольку ни у него, ни у меня нет денег на извозчика, мы пойдем пешком: «Я не могу касаться моим телом этих бесчувственных амфибий».

И. А. Бунин уверял, что «декаденты» повинны во всем — и в том, что разорили его усадьбу, и в том, что исчез сахар. Однажды у Толстого я прочел стихи о казни Пугачева, написанные еще в Париже в 1915 году; там были строки: «И останется от нашей родины икра рачьа да на высоком колу голова Пугачья...» Бунин встал, сказал Наталье Васильевне: «Простите, подобного я слушать не могу» — и ушел. Кто-то сочинил тогда стихи, которые оказались в моей записной книжке: «Вы дружбой связаны со мною, бандит и черт, парижский сноб в огромной шляпе, вышиною напоминающей сугроб, вы, что стихами без нагана спугнули Бунина Ивана. Желаю вам от сей поры отборных раков без икры».

У Толстых, несмотря на душевное беспокойство, овладевшее Алексеем Николаевичем, было уютно: Толстой умел не только вкусно радоваться, но и вкусно огорчаться. Неизменно он рассказывал забавные истории, причем сам смеялся первый. Как-то, вернувшись с репетиции своей пьесы, он рассказал, будто в первые дни революции солдаты нашли в Малом театре голову Иоканаана, которой в пьесе Уайльда гешится Саломея; голова им понравилась, и они начали ею играть в футбол. В другой раз Толстой рассказывал, как во время выборов в Учредительное собрание в подмосковной деревне одна бабка взяла со стола не тот бюллетень, что хотела. Агитатор сказал ей: «Да это не твой номер», а она ему ответила: «Наследить боюсь... Если бог поможет, мы и с этим управимся...» «Ха-ха-ха!» — грохотал Алексей Николаевич, а было ему, как я говорил, совсем не весело.

Из писателей старшего поколения я встречал Б. К. Зайцева, больного, недоумевающего; он охотно вспоминал Италию, а про то, что делается вокруг, говорил откровенно: «Не понимаю...» Ходили мы иногда к поэту Г. И. Чулкову, который жил на Смоленском бульваре. В молодости Георгий Иванович принимал участие в революционном движении, по-

бывал в тюрьмах, в ссылке. Около 1907—1908 годов он оказался в центре литературной жизни, о нем Блок спорил с Андреем Белым. Я его узнал постаревшим и печальным; он походил на большую больную птицу, больше не проповедовал ни «соборности», ни «мистического анархизма», иногда, помолчав, повторял строки Тютчева. Иван Алексеевич Новиков предпочитал цитировать Пушкина; он был радушным хозяином, никого не обижал; глаза у него были ласковые, спокойные, и дома держался старый быт — на пасху пекли куличи, красили яйца.

У Кара-Мурзы собирались главным образом молодые — там Алексей Николаевич был классиком. Поэт Липскеров нараспев читал стихи о красотах Востока. Приходила В. М. Инбер. (Ее я знал еще в Париже; она должна была уехать в горный санаторий в Швейцарию и попросила меня присмотреть за изданием ее первой книги «Печальное вино». Иллюстрации к книге сделал мой приятель, скульптор Цадкин.) Вера Михайловна читала шуточные стихи: «Вилли, милый Вилли, отвечайте мне без долгих дум, вы когда-нибудь кого-нибудь любили, Вилли-грум?..» В то время я подружился с В. Г. Лидиным. В молодости он был наивным и жаждал романтики. Людмила Джалалова его называла «розовым Марабу», эта кличка прижилась.

В одном из писем Маяковского к Л. Ю. Брик я нашел такие строки: «Кафе омерзело мне. Мелкий клоповничек. Эренбург и Вера Инбер слегка еще походят на поэтов, но и об их деятельности правильно заметил Кайранский: «Дико воет Эренбург, одобряет Инбер дичь его...» Маяковский ненавидел антисемитизм и не привел конца эпиграммы (хотя рифма должна была ему понравиться): «ни Москва, ни Петербург не заменят им Бердичева». Сочинил эти стишки критик А. А. Кайранский на вечере у Кара-Мурзы. Я тогда еще многого не предвидел и не рассердился.

Мы развлекались, как могли. Сфинкс ставил людям загадки, они их не могли решить, и Сфинкс их пожирал. Эдип знал, что, если он не разгадает головоломки, то его ждет гибель; все же я думаю, что, когда Сфинкс на минуту оставал Эдипа в покое, Эдип развлекался...

Вот только Андрей Михайлович Соболев редко смеялся, и улыбка у него была печальная. В ранней молодости он был связан с эсеровским подпольем, восемнадцатилетним юношей был приговорен к каторжным работам, послан в свирепый Зерентуй, с поселения бежал за границу. Я с ним познакомился в итальянской деревушке Кави ди Лаванья, где почему-то обосновались, вернее бедствовали, русские эмигранты. Во время войны Соболев с чужим паспортом вернулся в Россию. Не знаю, почему он был так печален, может быть потому, что хлебнул в жизни горя, может быть потому, что действительность не походила на мечты подростка: крестьяне жгли в усадьбах библиотеки, матросы увлекались самосудами, а по Мясницкой вместо героев Степняка-Кравчинского деловито шагали мешочники. В 1923 году в «Правде» было напечатано «Открытое письмо» Андрея Соболева. «В бурные, грозные годы, прошедшие перед нами, над нами и сквозь нас, ошибалась, спотыкалась и падала вся Россия. Да, я ошибался, я знаю, где, когда и в чем были мои ошибки, но они являлись органическим порождением огромной сложности жизни. Безукоризненными могли себя считать или безнадежные глупцы, или беспардонные подлецы. В отсутствии глупости и подлости в себе я не нахожу повода для раскаяния. Одни сознают свои ошибки раньше, другие — позднее. Я позднее многих сознал, быть может, потому, что всегда был и оставался социалистом и всегда верил в тот час, когда рикша из Калькутты протянет, аннулируя моря и океаны не только воды, но и слез и крови, руку Федьке Беспятому из Недоеловки...» Андрей Михайлович был человеком болезненным, с обостренно

чувствительной совестью, добрым, мягким. В 1926 году он покончил с собой.

Газеты сообщали об огромных событиях: наступление немцев, Брестский мир, переезд правительства в Москву, мятеж левых эсеров, начало гражданской войны на Дону. В Москве то и дело постреливали. На Поварской чуть ли не в каждом особняке был штаб анархистов. В кафе я часто видел на столике рядом с пирожными маузер. Ночью на прохожих нападали бандиты. На собраниях повторяли: «Социалистическое отечество в опасности!» Появилось сообщение о том, что организована «Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем».

А жизнь продолжалась... Я встретил поэта Михаила Герасимова; он повел меня на собрание пролеткультовцев; там издевались над футуристами. Маяковский называл стихи пролеткультовцев «протухшим товаром». Толстой говорил, что нужно уехать в Париж. Бунин называл Толстого «полубольшевиком».

Сфинкс требовал ответа. А мы все-таки ходили к Кара-Мурзе, дуррачились, сочиняли пародии, покупали на Сухаревке табак, ссорились друг с другом, влюблялись...

Пошел я на выставку «Бубновый валет»; там были холсты и некоторых бубнововалетцев, и супрематистов, и салонных стилизаторов — вывеска обманывала. А живопись тех художников, которые действительно были в прошлом организаторами группы «Бубновый валет», мне понравилась. Я почему-то считал (да так думают многие и поныне), что бубнововалетцы слепо подражали французам. Конечно, они любили Сезанна, знали Матисса, но к опыту французских мастеров они добавили нечто свое. В ранних холстах Лентулова, Машкова, Кончаловского, Ларионова, Шагала, да и Малевича (до супрематизма) есть нечто от вывесок парикмахерских, фруктовых или табачных лавок, которые в дореволюционное время в провинциальных городах являлись подлинным народным творчеством.

Увлекали меня и театры; судя по записной книжке, я за один месяц побывал в Художественном на «Трех сестрах» и на «Селе Степанчикове», увидел в Камерном «Фамиру Кифаред» Иннокентия Анненского, был в Драматическом театре на «Павле» Мережковского. Глядел я в филиале Художественного театра пьесу «Потоп». На сцене было кафе, люди заказывали коньяк, подзывали официанта. Рядом со мною сидел художественный критик Я. А. Тугенхольд, незадолго до того вернувшийся из Парижа. Когда опустили занавес, Яков Александрович полез в карман за деньгами: ему показалось, что он в кафе и должен расплатиться с официантом. А я посмеивался, хотя пьеса была скорее мрачная: смешил меня натурализм театра — актеры действительно пили что-то, все было, как «на самом деле». В 1909 году в Париже мне показался неправдоподобным трагический актер Муннэ-Сюлли в роли царя Эдипа, а вот теперь меня смешила неправдоподобность чересчур правдоподобного...

Искусство искушало, но я продолжал думать о вопросах Сфинкса. Жизнь становилась внешне все труднее и труднее: все жили впроголодь. Говорили о перестрелках, о пайках, о сыпняке. Я переносил лишения легче, чем многие из моих новых друзей: в Париже прошел школу голода.

Как-то с оказией пришло письмо от Шанталь, она писала, что ждет меня. На минуту передо мной встал Париж. Сена, кашганы, друзья и маленькая улочка Кур де Роан, где жила Шанталь. Ответ я писал долго — хотел объяснить, что война продолжается, что у меня нет денег, а главное, я не могу уехать из России, не поняв, что здесь происходит... Письмо получилось глупое, и я его порвал.

Моя мать умерла в Полтаве осенью 1918 года. Я знал, что она тяжело больна, торопился. Когда я добрался до дома моего дядюшки, отец, сгорбившись, сидел в передней: он только что вернулся с кладбища. Я опоздал на два дня и не простился с матерью. В жизни каждого человека смерть матери многое внутренне меняет. Я с семнадцати лет жил далеко от родителей и все же почувствовал себя сиротой. Шел холодный дождь, цветы на могиле быстро почернели от ранних заморозков. Я не знал, что сказать отцу; мы оба молчали. Я пробыл с ним две или три недели; об этом можно было бы многое рассказать, можно и промолчать.

Однажды на улице я увидел В. Г. Короленко. Он шел сутулясь; лицо его поражало добротой и печалью. Казалось, это идет последний представитель интеллигенции прошлого века. (Словарь Ушакова дает и такое толкование «интеллигента»: «Человек, социальное поведение которого характеризуется безволием, колебаниями, сомнениями». А русская интеллигенция XIX века не была безвольной; она умела расплачиваться за свои идеи и житейскими невзгодами, и тюрьмой, и каторгой. Сомнения ее часто объяснялись не боязливостью, а совестью. Именно совестливым был и Короленко.) Я вспомнил, как он пригласил начинающего поэта на чужбине. Студент, который бывал у него, сказал: «Хотите, я вас представлю...» Я знал, что Владимир Галактионович плохо себя чувствует, подавлен событиями, тревожится за своего зятя, которого арестовали немцы. Я не решусь ни о чем его спросить... А просто подойти, поблагодарить за то, что он живет на свете, я постеснялся; так и не подошел к нему...

В Киеве я оказался в скверное время. Я расскажу о том, как я там жил и что увидел; но прежде всего мне хочется сказать о самом Киеве. Мальчишкой я часто бывал в этом городе — гостил у деда; побывал в Киеве и после тюрьмы, без прописки, без крова. Моя жизнь протекла в двух городах — в Москве и в Париже. Но я никогда не мог забыть, что Киев — моя родина. Очевидно, такова власть слова, сила воображения. Не знаю, когда мои предки оказались на Украине и откуда их пригнали ветры истории; может быть, из Кордовы или Гренады. В Киев мой дед приехал из Новгород-Северска, древнего уездного городка Черниговской губернии, и было это, разумеется, не во времена князя Игоря, а относительно недавно — в начале царствования Александра Второго. Где пан таскал его за пейсы — в Новгород-Северске, в Киеве или, может быть, в том самом Бердичеве, о котором рассказывали сотни анекдотов и который помог Кайранскому сочинить едкий стишок? Не знаю. Не берусь доказать, что я добротный, потомственный киевлянин. Но у сердца свои законы, и о Киеве я неизменно думаю, как о моей родине. Осенью 1941 года мы теряли город за городом, но я не забуду день 20 сентября — тогда мне сказали в «Красной звезде», что по Крещатику идут немецкие дивизии. «Киев, Киев! — повторяли прохода. — Вызывает горе. Говорит беда. Киев, Киев, родина моя!..»

Помню, как мальчишкой я подъезжал к Киеву. Поезд останавливался на каждой станции, не торопился (торопился я), и названия станций были странные — Бобрин, Бобровица, Бровары. Потом начались пески; мне они казались Сахарой. Я высовывался из оконца. Киев показывался внезапно — купола Лавры, сады, широчайший Днепр с островками, на которых зеленели деревья. Поезд долго гротолал на мосту...

В Киеве были огромные сады, и там росли каштаны; для московского мальчика они были экзотическими, как пальмы. Весной деревья

сверкали канделябрами свечей, а осенью я собирал блестящие, будто отполированные каштаны. Повсюду были сады — и на Институтской, и на Маринско-Благовещенской, и на Житомирской, и на Александровской; а Лукьяновка, где жила тетя Маша с грушами и с курами, мне казалась земным раем. На Крещатике был писчебумажный магазин Чернухи, там продавали школьные тетради в блестящих цветных обложках; в такой тетради даже задача на проценты выглядела веселее. Был магазин кондитерских изделий Балабухи, в нем продавали сухое варенье (его называли «балабухой»); в коробке лежала конфета, похожая на розу, она пахла духами. В Киеве я ел вареники с вишнями, пампушки с чесноком. Прохожие на улице улыбались. Летом на Крещатике в кафе сидели люди — прямо на улице, пили кофе или ели мороженое. Я глядел на них с завистью и с восхищением.

Потом всякий раз, приезжая в Киев, я поражался легкости, приветливости, живости людей. Видимо, в каждой стране есть свой юг и свой север. Итальянцы считают жителей Турина северянами — они суховатые, сдержанные, деловитые. Гасконцы живут на той же географической широте, что туринцы, но Гасконь — юг Франции, и по-французски «гасконец» означает фантазер, насмешник, балагур. Для испанца барселонцы — северяне, а если отправиться из Барселоны на север и пересечь границу, то можно доехать до Тараскона, где жил Тартарен...

На севере человек иногда улыбается: он вспомнил что-то приятное. А почему улыбается южанин? Вероятно потому, что ему нравится улыбаться. Украинская фантазия, украинский юмор красили суровый облик старой России. Гоголь был болезненным человеком с очень тяжелым характером, но скольких он лечил своими книгами! Я знаю, что Гоголь — «великий реалист», это стоит в любом учебнике, и я в гимназии учил наизусть «Чуден Днепр при тихой погоде». Там сказано: «Редкая птица долетит до середины Днепра». Птицы перелетают через моря, но Гоголь прав: и Днепр широк, и широко искусство.

После революции в русскую литературу вошли яркие, несдержанные, насмешливые и романтические южане; они нас слепили, смешили, вдохновляли — Бабель, Багрицкий, Паустовский, Катаев, Светлов, Зощенко, Ильф, Петров, Олеша...

Мальчиком я гостил у тети Маши; она арендовала хутор возле Борисполя; там на ярмарке я слышал, как слепцы пели старые песни. Много лет спустя я услышал, как М. Ф. Рыльский читал свои стихи, и было в этом нечто мне знакомое — лукавая и нежная музыка украинской речи.

В киевской Софии я провел немало часов. Часто противопоставляют византийское искусство древнегреческому; разумеется, Христос-Пантократор, требовательный и суровый, связанный не только с синим небом Греции, но и с фанатично-полицейским строем великой империи, не входит в мир кентавров и нимф. И все же Византия сохраняла гармонию Эллады; ее отсвет дошел до древнего Киева. В Софии я чувствовал не только груз веков, но и легкость, крылья искусства.

Я люблю барокко Киева; его вычурность смягчена каким-то естественным добродушием; это не гримаса, а улыбка. Мне жаль Михайловского монастыря, он хорошо стоял, был милый дворик. Конечно, Андреевская церковь лучше, но зря его снесли... (Футуристов обвиняли в неуважении к искусству прошлого; но у футуристов были перья, а не ломы. В тридцатые годы порой так рубили лес, что летели не щепки — вековые камни. В 1934 году я видел, как в Архангельске взрывали здание таможни петровского времени, спрашивал — почему, мне отвечали: «Мешает уличному движению», а в Архангельске автомобили были наперечет.)

Война нанесла Киеву много ран. Немцы взорвали собор Лавры. Крещатика не стало. Потом сделали тротуары, поставили вазы с цветами, милиционеров. А потом улицу отстроили. На старом Крещатике не было памятников старины, и он мне мил только воспоминаниями. А в Москве я живу на улице Горького и пригляделся к той архитектуре, которую теперь называют «украшательской», хотя ничего она украсить не способна. Зато я восхитился, увидев новый проспект над Днепром: Киев теперь может присесть на скамеечку (разумеется, в тихую погоду) и проверить, до чего чуден Днепр... Похорошели зеленые Липки. С Подола сняли клеймо отверженности.

Нет, Киев мне не чужой! Первые мои воспоминания — это большой двор, куры, бело-рыжая кошка, а напротив дома (на Александровской) красивые фонарики — там помещалось летнее увеселительное заведение «Шато де флер».

С Киевом связано немало событий в моей жизни. В 1918—1919 годах там существовала художественная школа Александры Александровны Экстер, «левой» художницы, которая выставлялась в Москве вместе с «бубнововалетцами» и делала постановки в Камерном театре. В школе учились дюжина молоденьких девушек и несколько юношей. Об этом я расскажу в одной из последующих глав — теперь я говорю не о живописи, но о себе. Среди учениц А. А. Экстер была восемнадцатилетняя девушка Люба Козинцова. Она заинтересовалась мною, узнав, что я знаком с Пикассо. Что касается меня, то я заинтересовался ею, хотя она была знакома только с Александрой Александровной. Я начал ходить на Мариинско-Благовещенскую, где жил доктор Козинцов. Конечно, репутация у меня была шаткая; но шатким тогда было все. Гетмана сменил Петлюра, Петлюру прогнала Красная Армия. Люба с товарищами расписывала агитпароход. Швейцар «Литературно-художественного клуба» философствовал: «Сегодня навыворот, а завтра за шиворот». Я продолжал писать стихи, но в многочисленных анкетах на вопрос о роде занятий отвечал уже не «поэт», а «служащий» — я работал в нескольких советских учреждениях. Впрочем, все это к делу не относится. Люба украдкой приходила ко мне — я снимал тогда комнату на Рейторской. Несколько месяцев спустя мы, никого об этом не предупредив, направились в загс, пробираясь через спящих красноармейцев и тюки, отобранные продкомом.

В октябре 1943 года вместе с другими корреспондентами «Красной звезды» я жил в сожженном селе Летки на Десне. Мы ждали, когда освободят Киев. Вокруг шумел высокий камыш. Иногда мы ездили в Дарницу, оттуда можно было рассмотреть город. Иногда переправлялись на правый берег Днепра. Ждать было трудно. Поэт Семен Гудзенко потом написал: «Но и в сугробах Подмосковья и в толях белорусских рек был Киев первую любовью, незабываемой вовек».

Я увидел пески Бабьего Яра; там гитлеровцы убили семьдесят тысяч евреев. Мне показали объявление: «Жида г. Киева и окрестностей В понедельник 29 сентября к семи часам утра вам надлежит явиться с вещами, документами и теплой одеждой на Дорогожицкую улицу, возле Еврейского кладбища. За неявку — смертная казнь». По длинной Львовской шло шествие обреченных; матери несли грудных детей; парализованных везли в тележках. Потом людей раздевали и убивали. Среди погибших не было моих близких, но, кажется, нигде я не пережил такой тоски, такого сиротства, как на песках Бабьего Яра. Иногда чернели зола, обугленные кости (немцы незадолго до эвакуации приказали военнопленным выкопать тела жертв и сжечь их). Почему-то мне казалось, что здесь погибли мои родные, друзья, сверстники, что

сорок лет назад я видел их — они играли в детские игры на смутных улицах Подола или Демиевки.

В Киеве жило много евреев. Когда я еще был мальчишкой, мой двоюродный брат, студент, показал мне на Крещатике человека в очках, с длинными волосами и почтительно пояснил: «Это — Шолом-Алейхем». Я тогда не знал о таком писателе, и мне он показался одним из ученых чудаков, которые сидят над книгой и выразительно вздыхают. Много позднее я прочитал книги Шолом-Алейхема, и я вздыхал и смеялся, мне хотелось вспомнить лицо ученого чудака, мелькнувшее на Крещатике. Шолом-Алейхем называл Киев «Егупцем», и люди этого города заполняют его книги. Их дети и внуки простились с Егупцем в Бабьем Яру...

В Киеве я пережил еврейский погром. Для меня рассказ украинского писателя Коцюбинского вдвойне дорог — и потому, что я понимаю муку Эстерки, и потому, что автор рассказа не мясник Абрум, а Михаил Михайлович, сын Михаила Матвеевича и Гликерии Максимовны.

Я много пережил в Киеве, но дело не в этом. Говорят, что можно родиться в случайном месте — на узловой станции или в далекой стране, куда судьба на месяц или на год закинула родителей. Что же, в таком случае узловая станция перестает быть одним из кружков на карте, далекая страна становится близкой.

«Киев, Киев, родина моя...»

Всякий раз, когда я попадаю в Киев, я обязательно подымаюсь один по какой-нибудь крутой улице; мальчишкой быстро взбегал, а постарел и задыхаюсь; подымаюсь, и кажется мне, что только с Липок или с Печерска я могу взглянуть на годы, на десятилетия, на прожитый век.

Все это, если угодно, присказка. Я прожил в Киеве с осени 1918 года по ноябрь 1919-го — один год. Менялись правительства, порядки, флаги, даже вывески. Город был полем гражданской войны: громиди, убивали, расстреливали. Вот об этой недоброй сказке мне предстоит рассказать. Если я начал с лирического отступления, то потому, что почти все послловицы лгут (точнее, излагают истины наоборот), в том числе и классические пословицы классических римлян, которые говорили: «*Ubi bene, ibi patria*» — «где хорошо, там и родина». На самом деле родина и там, где бывает очень плохо...

9

В Париже мы в тоске повторяли: «Немцы в Нуайоне». И вот я увидел немцев на Крещатике. Навстречу мне шел высокий офицер с вильгельмовскими усами. Возле Думы стояли немецкие часовые в высоких сапогах, они выстукивали чечетку деревянными подошвами. На одной из станций по пути, в Киев я заметил в ресторане чистую половину с надписью: «Только для господ немецких офицеров».

Газеты заверяли, что правит Украиной гетман Скоропадский. Фамилия его звучала плохо — правительства тогда слишком часто падали. Я его никогда не видел, может быть внешность у него была подходящая. Когда петлюровцы подошли к городу, гетман уехал в Германию; однако возле дома, где он жил, по-прежнему стояли молоденькие добровольцы, уверенные в том, что защищают главу государства. Киевляне, смеясь, говорили, что гетман поторопился. Что же, он не торопился умереть. Он прожил в эмиграции почти тридцать лет, восхищался Гитлером и увидал вторично разгром Германии. Один немец мне рассказал, что Скоропадского до самой смерти величали «господином гетманом»; наверно, с годами он привык к этой кличке, но в 1918 году он играл плохо, как дебютант. Ему полагалось защищать независимость Украины, но,

будучи офицером царской армии, он явно предпочитал петербургских гвардейцев киевским гайдамакам. Гетманом его сделали немцы — естественно, что он им объяснялся в любви; но во Франции союзники начали большое контрнаступление, и Скоропадский послал своего человека в Одессу, где сидел представитель союзников, французский консул мосье Энно.

На толкучке демобилизованные в ободранных шинелях продавали хрустальные люстры и винтовки. На толкучке пели: «Украина моя хлебородная, немцу хлеб отдала, сама голодная».

Немцы не могли пожаловаться на отсутствие аппетита; ели они повсюду — в ресторанах, в кафе, на рынках; ели веяские шницеля и жирные пончики, шашлыки и сметану.

Немцы были веселы и довольны жизнью; в киевских паштетных было куда уютнее, чем на Шемен-де-дам или у Вердена. Они казались фигурами с одного из тех памятников, которые в Германии ставились в честь военных побед. Они верили, что подчинят себе мир. (Двадцать два года спустя я увидел сыновей тех немцев, что некогда прогуливались по Крещатику, они шли по парижским бульварам; дети походили на отцов: много ели и слепо верили в свое превосходство.)

Киев напоминал обшарпанный курорт, переполненный до отказа. Киевляне терялись среди множества беженцев с севера. Крещатик был первым этапом русской эмиграции — до одесской набережной, до турецких островов, до берлинских пансионатов и парижских мансард. Сколько будущих шоферов такси в Париже прогуливалось тогда по Крещатику! Были здесь и сиятельные петербургские сановники, и пронырливые журналисты, и актрисы кафешантанов, и владельцы доходных домов, и заурядные обыватели — северный ветер гнал их, как листья осенью.

Каждый день открывались новые рестораны, паштетные, шашлычные; северяне после жизни «в сушь и впроголодь» тучнели на глазах. Открывались также казино с азартными играми, театры миниатюр, кабаре. Одно из таких заведений называлось «Кривой Джимми»; куплеты писал Агнивцев; актеры, беспечно подпрыгивая, пели: «И было всех правительств десять, но не успели нас повесить...»

Пооткрывалось множество комиссионных магазинов; это было внове и удивляло; продавали меха, нательные кресты, иконы с ризами, столовое серебро, серьги, шотландские пледы, кружева — словом, все, что удалось вывезти из Москвы и Петрограда. Деньги ходили разные — царские, керенки, украинки; никто не знал, какие из них хуже. Возле Думы спекулянты предлагали желающим германские марки, австрийские кроны, фунты, доллары. Когда приходили известия о неудачах немцев во Франции, марки падали, а фунты подымались. Особенно привлекательными казались покупателям доллары; причем спекулянты, то ли чтобы проявить некоторую фантазию, то ли чтобы побольше заработать, делили доллары на различные категории, дороже всех расценивались те, что «с быками».

Офицеры тоже делились на категории: были сторонники Деникина, красновцы, кубанцы и даже представители «астраханского войска». Все они, кажется, входили в «особый русский корпус», но между собой ссорились. Все, однако, ругали большевиков, самостийников и евреев. На Крещатике я впервые услышал боевой клич: «Бей жидов, спасай Россию!» Евреев они убили немало, но своей, старой России этим не спасли.

Поползли слухи: союзники разбили немцев; в Германии беспокойно; во главе нового правительства стоит какой-то немецкий Керенский, его зовут «Макс Баденский». Белые офицеры не знали — радоваться

им или огорчаться; с одной стороны, они клялись в верности союзникам и клеймили Брестский мир, с другой — хорошо понимали, что если немцы уйдут, то город захватят, как они говорили, «бандиты», то есть петлюровцы.

Немцы упаковывали чемоданы деловито, не торопясь. Кайзер из Берлина уехал в Голландию. Военные действия на Западе кончились. Газеты сообщили, что в Киеве образовался немецкий «Совет солдатских депутатов». Не знаю, чем он занимался. Что касается немецких офицеров и солдат, то они старались вывезти на родину побольше трофеев и, разумеется, живности.

Эсеры и кадеты, заседавшие в городской думе, хотели было объявить, что они берут в свои руки власть как демократические избранники населения; но из Одессы приехал эмиссар от мосье Энно и объявил, что союзники приказывают «демократическим силам Киева» поддерживать гетмана Скоропадского.

Петр Пильский, который в дореволюционные годы был известен тем, что высмеивал поэтов-символистов, издавал в Киеве юмористический журнал «Чертова перечница». Посмеяться было над чем: гетман, поставленный немцами, спешно разучивал «Марсельезу»; мосье Энно говорил, что он за гетмана, и предлагал Директории снабдить ее оружием; правительство новой германской республики называло себя социалистическим и договаривалось с французскими генералами о военном походе на Советскую Россию. Об этом в «Чертовой перечнице» не было ни слова: перец молот не черт, а петербургский литератор, который знал, что вскоре ему придется просить визу — французскую или немецкую.

Поезда в Одессу штурмовали: все говорили, что там высадятся войска союзников; высадятся они слишком поздно, чтобы оградить Киев от петлюровцев или от большевиков, а вот Одесса — это рай, крепость, спокойная жизнь. Скептики добавляли, что если даже из Марселя не приедут французские «пуалю», то беженцы смогут из Одессы уехать в Марсель: море есть море.

Я говорил, что никогда не рождается столько басен, как в начале войны. Гражданская война длилась долго, но противники Советской власти то и дело менялись, и все они фантазировали, как это делают в самом начале войны. Различные «осведомленные» люди клялись, что у союзников имеются ультрафиолетовые лучи, которыми они могут в течение нескольких часов уничтожить и «красных» и «самостийников».

Шли разговоры о «бандах». Повстанческих отрядов было много; внешне они походили друг на друга, но среди повстанцев были люди, думавшие по-разному: одни верили в Директорию, другие считали, что нужно покончить с буржуями, а пока что раздевали крестьян; были и любители пограбить, непокаявшиеся Опанасы, которые набили себе руку на еврейских погромах. Не помню, когда на сцену появлялся тот или иной «батько» — в 1918 году или в 1919-м, но за год я наслушался историй о Стрюке, Тютюнике, Ангеле, Зеленом, Заболотном и, разумеется, о самом знаменитом из всех — Махно.

Войска Директории подошли к городу. Напоследок белые офицеры опорожнили винные погреба, пили, пели, ругались, плакали и расстреливали «подозрительных».

Когда солдаты занимают город, настроение у них хорошее; когда им приходится оставлять город, они полны злобы, лучше им не попадаться на глаза. В тот год мне приходилось очень часто слышать три определения: «в штаб Духонина», «эксцессы» и «хлопнуть дверь».

Петлюровцы шли по Крещатику веселые, никого не трогали. Московские дамы, не успевшие выбраться в Одессу, восхищались: «Какие они

милые!» Белых офицеров собрали и заперли в Педагогическом музее (очевидно, дело было в размерах помещения, а не в педагогике). Помню, как все перепугались: раздался грохот, во многих домах повывлетали стекла. Обыватели поспешно стали набирать воду в ванны — может быть, не будет воды — и жечь петлюровские газеты. Оказалось, что кто-то бросил бомбу в Педагогический музей.

Названия газет изменились. Вывесили желто-голубые флаги. На асигнациях был трезубец. Приказали переделать вывески магазинов, и повсюду можно было увидеть лесенки, на них стояли маляры с кистями — вместо «и» ставили «і».

На двух домах в Липках появились гербы — английский и французский. Газеты сообщали, что мосье Энно обещал защитить независимость Украины и от «красных» и от «белых».

Иногда мне казалось, что я смотрю фильм и не понимаю, кто за кем гонится; кадры мелькали так быстро, что нельзя было не только задуматься, но рассмотреть. Петлюровцы вели переговоры с большевиками и с деникинцами, с немцами и с мосье Энно. В Киев войска Директории вошли в декабре и пробыли недолго — шесть недель.

Никто не знал, кто кого завтра будет арестовывать, чьи портреты вывешивать, а чьи прятать, какие деньги брать и какие постараться всучить простофиле. Жизнь, однако, продолжалась. У меня долго не было комнаты, и я спал на диване в квартире моего двоюродного брата, профессора-венеролога. Порой утром на улицах стреляли, а в приемной уже сидели мрачные пациенты; они неизменно отворачивались друг от друга, некоторые пытались закрыть лицо газетой. Названия газет менялись, и писали там совсем другое, чем вчера, но не это смущало пациентов.

Был дом на Липках, где обычно допрашивали арестованных; уходя, жгли бумаги, выбивали стекла. Приходили новые власти, стекла вставляли, привозили кипы бумаги и начинали допрашивать арестованных.

Я упомянул о «Литературно-художественном клубе»; помещался он на Николаевской и назывался весьма неблагозвучно «Клак» («Киевский литературно-художественный клуб»). В месяцы Советской власти его переименовали в «Хлам» — не из презрения к искусству, а потому, что все и всё переименовывали: «Хлам» означал: «Художники, литераторы, актеры, музыканты». Я туда частенько приходил. После очередного переворота некоторые завсегда исчезали: уходили с армией или, как говорил философический швейцар, их «хватали за шиворот». Оставшиеся пели или слушали пение, читали стихи, ели биточки.

Когда в феврале пришли с левого берега красноармейцы, почти все им обрадовались. Помню одного из посетителей «клуба», лысого московского адвоката; возбужденный, он кричал: «Я против их идей, но все-таки у них есть идеи, а мы здесь жили черт знает как!..»

Были, разумеется, непримиримые; они считали, что через месяц Городской сад снова станет Купеческим и начнет выходить в свет дорогой им «Киевлянин». Ведь мосье Энно обещал, что союзники высадутся в Одессе, в Севастополе, в Новороссийске и первым делом освободят от большевиков «мать городов русских»...

С кем только не договаривался общительный мосье Энно! Вокруг Киева рыскали «курени смерти» и отряды различных атаманов. Горели дома; летел пух из перин. Каждый день рассказывали о новом погроме, об изнасилованных девочках, о стариках с распоротыми животами. Союзники заседали в Париже; вдохновленные романтикой Венеции дождей, они организовали «Совет десяти»; этот «совет» договаривался с Деникиным. Мосье Энно обещал винтовки батьке Зеленому. Люди умирали от голода, от шальной пули, от погромов, от тифозных вшей.

При петлюровцах кто-то принес в «Клак» французскую газету «Магэн». Я узнал, что в Париже появилась новая мода — мужчины носят пиджаки, чрезвычайно узкие в талии, победители кайзера напоминают элегантных дам. Вслед за модами была напечатана статья, объяснявшая, что союзники в России защищают свободу, гражданские права и высокие человеческие ценности.

Я говорил, что Скоропадский дожил на немецких хлебах до глубокой старости. Петлюру застрелил в Париже часовых дел мастер Шварцбард. Не знаю, что стало с мосье Энно, он был маленьким человеком, историки им не занимаются. Но часто, откладывая газету с сообщениями о событиях — в Гватемале или в Конго, в Иране или на Кубе, — я вспоминаю 1919 год, истерзанный Киев и тень таинственного мосье Энно.

10

Красноармейцы пришли в феврале 1919 года, а в августе город заняли белые. Шесть месяцев были яркими, шумными. Для Киева это была пора надежд, порывов, крайностей, смятения, пора весенних гроз.

Начну с себя. Я уже говорил, что стал тогда советским служащим. В Париже я был гидом, потом на товарной станции разгружал вагоны, писал очерки, которые печатала «Биржевка». Все это, включая газетную работу, не требовало большой квалификации. Но дальнейшая страница моей трудовой книжки воистину загадочна: я был назначен заведующим «секцией эстетического воспитания мофективных детей» при киевском собесе. Читатель улыбнется, улыбаюсь и я. Никогда до того времени я не знал, что такое «мофективные дети». Читатель тоже, наверно, не знает. В первые годы революции были в ходу таинственные термины. «Мофективный» — означало морально дефективный; под это понятие подходили и несовершеннолетние преступники и дети трудновоспитуемые. (Когда это мне объяснила сухопарая фребеличка, я понял, что в детстве я был наимофективнейшим.) Почему мне поручили эстетическое воспитание детей, да еще свихнувшихся? Не знаю. К педагогике я никакого отношения не имел, а когда в Париже моя дочка начинала капризничать, знал только один способ ее утихомирить, отнюдь не педагогический: покупал за два су изумрудный или пунцовый леденец.

Впрочем, в те времена многие занимались не своим делом. М. С. Шагинян, читавшая лекции по эстетике, начала обучать граждан овцеводству и ткацкому делу, а И. Л. Сельвинский, закончив юридический факультет и курсы марксизма-ленинизма для профессоров, превратился в инструктора по сбору пушнины.

В «мофективной секции» два или три месяца проработал юноша, случайно не обнаруженный угрозыском: он торговал долларами, аспирином и сахаром. Кроме того, он писал неграмотные стихи (он говорил: «Извиняюсь, но жутко эротические»). Многие черты героя романа «Рвач», написанного мною в 1924 году, взяты из биографии этого моего сослуживца. В педагогике он разбирался еще меньше меня, но был самоуверен, развязен, вмешивался в разговоры педагогов или врачей. Помню одно заседание; говорили о влиянии на нервную систему ребенка белков, жиров, углеводов. Молодой автор «жутко эротических» стихов вдруг прервал седого профессора и заявил: «Эти штучки вы бросьте! Я сам вырос нервный. Уж если разбирать по косточкам, то и жиры полезны, а главное, белки...»

Я предупреждал педагогов и психиатров, что я круглый невежда, но они отвечали, что я хорошо работаю. Создалась репутация: Эренбург — специалист по эстетическому воспитанию детей; в осень 1920 года,

когда я вернулся в Москву, В. Э. Мейерхольд предложил мне руководить детскими театрами Республики.

Мы долго разрабатывали проект «опытно-показательной колонии», где малолетних правонарушителей можно будет воспитывать в духе «творческого труда» и «всестороннего развития». То была эпоха проектов. Кажется, во всех учреждениях Киева седоволосые чудаки и молодые энтузиасты разрабатывали проекты райской жизни на земле. Мы обсуждали, как действуют на чрезмерно нервных детей чересчур яркие краски, влияет ли на коллективное сознание многоголосая декламация и что может дать ритмическая гимнастика в борьбе с детской проституцией.

Несоответствие между нашими дискуссиями и действительностью было вопиющим. Я занялся обследованием исправительных заведений, приютов, ночлежек, где ютились беспризорные. Мне пришлось составлять доклады, речь шла уже не о ритмической гимнастике, а о хлебе и ситце. Мальчишки убегали к различным «батькам», девочки зазывали военнопленных, возвращавшихся из Германии.

В секции работал молодой художник Паня Пастухов, человек крайне застенчивый. Однажды я его направил в приют для девочек-беженок, организованный в 1915 году. Пастухов пришел потрясенный. Оказывается, девочки успели вырасти и, при смене различных правительств брошенные на произвол судьбы, стали добывать себе хлеб; у некоторых уже были грудные дети. Когда Пастухов начал говорить о том, что ученье — свет, одна из девиц ему игриво сказала: «Мужчина, лучше угостите папирисой...»

Помещалось наше учреждение в особняке на Липках. Помню в большом зале амбирный секретер с наляпанным при описи большим ярлыком. Как-то на секретере я обнаружил грудного младенца — его подкинули ночью. В соседнем особняке помещалась губчека; туда то и дело подъезжали машины. В саду быстро все зазеленело; я слушал споры о методе Далькроза и глядел в окно: цвела акация.

В те времена люди работали зачастую в нескольких учреждениях. Помимо «мофективной секции», я делал много другого, например заседал в «секции прикладного искусства». Время, казалось, было для искусства неблагоприятным: то и дело на улицах постреливали; мосье Энно не терял времени, и Киев был окружен всевозможными бандами; «стратегии» спорили, кто раньше ворвется в город — петлюровцы или денкинцы. Но «секция прикладного искусства» сделала многое. Говорю не о себе, я и в этом деле был если не профаном, то дилетантом, а в секции работали хорошие специалисты, киевские художники — В. Меллер, Прибыльская, Маргарита Генке, Спасская. Мы устраивали выставки народного искусства, мастерские вышивок и керамики. Я познакомился с талантливой крестьянкой Гапой Собачка: у нее было удивительное чувство цвета. На Крещатике появились огромные декоративные панно с украинским орнаментом.

Я увидел глиняных зверей, вылепленных Гончаром. Иван Тарасович был одним из последних художников, представлявших традиционное народное творчество. В те годы его звери не были ни баранами, ни собаками, ни львами — они принадлежали к неизвестной зоологам породе, каждый был неповторим. (Народное творчество вдохновляется природой, но никогда ее не копирует; и если вологодские кружевницы изучали заиндевевшее окно, то именно потому, что узоры иная похожи на джунгли, на звездное небо, на буквы несуществующего алфавита.)

В Киеве я познакомился с писательницей С. З. Федорченко, автором интересной книги «Народ на войне»: она работала сестрой милосердия в военном лазарете и записывала разговоры солдат между собой. Я перепи-

сал тогда размышления одного солдата об искусстве: «Вот у нас один вольноопределяющийся рисует, так так похоже все, будто на самом деле, даже скучно глядеть...» Устарели различные литературные манифесты, всяческие художественные «измы», а вот слова солдата, оброненные в 1915 году, мне кажутся теперь не только живыми, но и злободневными.

Работал я также в «литературной студии»: учил начинающих стихосложению. (Хотя я в то время писал расхлябанным «свободным стихом», ямб от хорея отличить я все же мог.) Брюсов мне долго доказывал, что можно научить мало-мальски способного человека писать хорошие стихи; Гумилев, разделяя это мнение, говорил, что он даже из Оцупа сделал поэта. А я в обучение поэзии не верил и не верю: в школе, как бы она ни называлась — студией, курсами, институтом или академией, — можно только научить читать стихи, то есть поднять эстетическую культуру учащихся.

Среди учеников студии был вежливый, застенчивый юноша Н. Н. Ушаков. Я рад, что недолгая эпопея моего учительства в киевской студии не помешала ему стать поэтом. Я с ним потом встречался и убедился, что он на меня не в обиде.

В доме на Николаевской помещались и Союз писателей, и рабис, и литературная студия, и многое другое; там спорили о футуризме, распределяли художников для украшения улиц, читали лекции о марксизме, выдавали охранные грамоты и всевозможные удостоверения.

Внизу, в подвале, помещался «Хлам», он же бывший «Клак». Там я встречал киевского поэта Владимира Маккавейского. Незадолго перед этим он издал сборник сонетов «Стилос Александрии». Он великолепно знал греческую мифологию, цитировал Лукиана и Асклепиада, Малларме и Рильке, словом, был местным Вячеславом Ивановым. Заглянув теперь в его книгу, я нашел всего две понятные строки — о том, «что мумией легла Эллада в александрийский саркофаг». Маккавейскому очень хотелось быть александрийцем, но время для этого было неподходящее.

Другим киевским поэтом — правда, не домоседом — был Бенедикт Лившиц. Я помнил его неистовые выступления в сборниках первых футуристов. К моему удивлению, я увидал весьма культурного, спокойного человека; никого он не ругал и, видимо, успел остыть к увлечениям ранней молодости. Он любил живопись, понимал ее, и мы с ним беседовали предпочтительно о живописи. Он мало писал, много думал: вероятно, как я, как многие другие, хотел понять значение происходящего.

Среди «северян» в «Хламе» выделялся О. Э. Мандельштам — он уже был известен по книге «Камень». О нем я напишу дальше — особенно хорошо я его узнал в 1920 году в Коктебеле. Помню, как в «Хламе» Осип Эмильевич прочитал чудесные стихи «Я изучил науку расставанья...»

Метеором промелькнул В. Б. Шкловский; прочитал доклад в студии Экстер, блистательный и путаный, лукаво улыбался и ласково ругал решительно всех.

В «Хламе» я познакомился с мечтательным, кудреватым Л. В. Никулиным; он как-то прочитал нам стихи, очень меланхоличные — про гроб.

Натан Венгров писал стихи для детей. Он устроил «день детской книги» — на Крещатике поставили огромные панно, и улицу заполнили медвежата, слоны, крокодилы. Венгров мне доказывал, что я детский поэт и случайно занимаюсь не своим делом. (Я в жизни многое перепробовал, но для детей никогда не писал.)

Приходила в «Хлам» известная актриса Вера Юренева; часто ее сопровождал юноша, почти подросток, с неизменно насмешливым выражением лица; когда нас познакомили, он буркнул: «Миша Кольцов».

Среди украинских поэтов самым шумным был футурист Семенко; он был невысокого роста, но голос у него был сильный, он отвергал все азгоритеты и уважал только Маяковского. Встречал я П. Г. Тычину, молчаливого, мечтательного; казалось, что он все время к чему-то прислушивается; была в нем мягкость, доходящая до смущения. Поглядев на него, я как-то сразу поверил, что он настоящий поэт.

В секции еврейских писателей шла лихорадочная работа: нужно было в короткий период между петлюровцами и деникинцами успеть подумать, написать, напечатать. В Киеве тогда находились Бергельсон, Квитко, Добрушин, Маркиш. Если мне удастся написать последующие части этой книги, я постараюсь воссоздать образ Переца Маркиша, с которым впоследствии встречался и в Париже и в Москве. А тогда, в Киеве, он выглядел красивым юношей, с копной волос, неизменно вздыбленных, с насмешливыми и печальными глазами. Все его называли «бунтарем», говорили, что он покушается на классиков, низвергает кумиры, а мне он при первом знакомстве напомнил бродячего еврейского скрипача, который на чужих свадьбах играет печальные песни.

В Киеве я познакомился со многими художниками. Александра Александровна Экстер немало времени провела в Париже, дружила с Леже, числилась кубисткой. Однако ее работы были бесконечно далеки от урбанистических видений Леже; больше всего увлекал Экстер театр (она работала в московском Камерном театре, в киевских театрах). Не знаю, почему так получилось, но и среди учеников Александры Александровны и среди молодых художников, с нею встречавшихся, можно было тоже обнаружить страсть к театру, к зрелищу. Почти все художники, которых я тогда встречал в Киеве, стали художниками театра: Тышлер, Рабинович, Шифрин, Меллер, Петрицкий.

«Страсть к театру»... Я написал эти слова и невольно подумал об одном из учеников Экстер — о двадцатилетнем Саше Тышлере. Его дальнейшая судьба лучше всего подтверждает ту страсть к театру, которая характеризует художников Киева. Дело, конечно, не в том, работал ли Икс или Игрек для театра: этим занимались почти все советские художники хотя бы потому, что были периоды, когда красочность, фантазия, мастерство допускались скорее на сцене, нежели в выставочном зале. А. А. Тышлера москвичи знают именно по театральным постановкам. Его декорации к «Королю Лиру» условны и реальны, как стих Шекспира. Но поразительно другое: Тышлер и в станковой живописи сохраняет театральное восприятие мира. Помню его картину, изображавшую расстрел солдатами почтового голубя; он написал ее лет за двадцать до пикассовской голубки. Только художник, способный воспринять пир небожителей, о котором писал Тютчев, как феерическую трагедию, мог в тридцатые годы двадцатого века взяться за подобную тему.

Первые годы революции были годами не только взлета сценического искусства, но и повального увлечения театром. В маленьких городах Украины бродячие актеры, мечтавшие наконец-то поесть досыта, потрясали зал, заставляя зрителей забыть о недодаанных пайках, о непопленных квартирах, о ночных перестрелках. А Киеву повезло: он получил Константина Александровича Марджанова. Это был человек взволнованный, полный смелых замыслов, мягкий и, однако, непримиримый. Помню, как он горячился (мы сидели в буфете, пили поганый чай, и я ему рассказывал об Испании — он готовил пьесу Лопе де Вега): «Театр — это театр! Я сказал в горисполкоме, что горисполком — это горисполком. Им хочется, чтобы актеры на сцене пили чай взаправду. А что они скажут, если люди, которые пьют чай в буфете горисполкома, начнут произносить монологи, заламывать руки и говорить о восстановлении городского хозяйства гексаметром?..» Киев увидел «Фуэнте овеху-

на», и в зал старого соловцовского театра ворвался ветер. Мы долго не расходились, стояли и аплодировали.

Марджанову понравилась пьеса «Рубашка Бланш», которую я написал с А. Н. Толстым, и он решил ее поставить. Декорации писал Н. А. Шифрин. Кажется, после второй или третьей репетиции в город ворвались деникинцы.

Я часто встречал двух поклонников Марджанова, неразлучных приятелей, малолетних (но не «мофективных») — брата Любы Гришу Козинцова и Сережу Юткевича. Они пригласили меня в помещение, где прежде был «Кривой Джимми»: устроили «народный балаган», то есть один из тех эксцентричных спектаклей, которые в голодные и холодные годы тешили зрителей.

На Софийской улице, возле Думской площади, было маленькое грязное кафе; держал его худущий грек с длинным и страстным лицом моделей Эль Греко. В окне была вывеска: «Настоящий свежий простокваш». Грек готовил душистый турецкий кофе, и мы к нему часто ходили — поэты, художники, актеры. Для меня это кафе связано с моей дальнейшей судьбой. Там я иногда рассказывал Любе, молоденькой студентке педагогического института Ядвиге, Наде Хазиной, которая потом стала женой О. Э. Мандельштама, о моих зарубежных похождениях. Я фантазировал; что делал бы добрый французский буржуа или римский ладзарони, оказавшись в революционной России? Так рождались персонажи романа «Хулио Хуренито», который я написал два года спустя.

Я продолжал писать стихи; лучшими они не становились, но тон изменился. Я еще не понимал всего значения событий, но, несмотря на различные беды того времени, мне было весело. «Наши внуки будут удивляться, перелистывая страницы учебника: «Четырнадцатый... семнадцатый... девятнадцатый... Как они жили? Бедные... бедные... Дети нового века прочтут про битвы, заучат имена вождей и ораторов, цифры убитых и даты. Они не узнают, как сладко пахли на поле брани розы, как между голосами пушек стрекотали стрижи, как была прекрасна в те годы жизнь».

Если задуматься над далеким прошлым, многое открывается. Внешне все выглядело странно. Вокруг города рыскали банды; каждый день рассказывали о погромах, убийствах. Тревожно вскрикивали машины. Деникинцы и петлюровцы состязались, кто первый дойдет до Киева. Не раз я слышал злой шепот: «Недолго им царствовать...» А мы сидели над проектами, обсуждали, когда сдадут в печать третий том сочинений Чехова или Коцюбинского, где лучше поставить памятник Революции... Мы читали стихи, смотрели картины, и то внутреннее веселье, о котором я говорил, светилось в глазах не только четырнадцатилетнего Гриши Козинцова, но и Константина Александровича Марджанова, а ему тогда было под пятьдесят. Дело не в возрасте — или, если угодно, в возрасте революции: ей было по московскому исчислению два года, а по местному — несколько месяцев...

11

Есть воспоминания, которые радуют, приподымают, видишь порывы, доброту, доблесть. Есть и другие... Напрасно говорят, что время все исцеляет; конечно, раны зарубцовываются, но вдруг эти старые раны начинают ныть, и умирают они только с человеком.

Мне предстоит рассказать о нехорошем. Мы часто говорим о морали того общества, которое построено на корысти, на борьбе за кусок пирога: «Человек человеку — волк». За два века до нашей эры Плавт веселил римлян своими комедиями; от них в памяти остались четыре слова

«homo homini lupus est». Плавт напрасно приплел к делу волков. Л. А. Мантейфель, изучавший жизнь этих животных, мне говорил, что волки редко дерутся друг с другом, да и на людей нападают только доведенные голодом до безумия. А я в моей жизни не раз видал, как человек травил, мучил, убивал других безо всякой к тому нужды. Если бы звери могли размышлять и сочинять афоризмы, то, наверно, какой-нибудь седой волк, у которого его сосед вырвал клок шерсти, пролаял бы: «Волк волку — человек».

Что мне сказать о киевском погроме? Теперь никого ничем не удивишь. В черных домах всю ночь напролет кричали женщины, старики, дети; казалось, это кричат дома, улицы, город.

Перец Маркиш написал в те годы поэму о погроме в Городище; там убили пятьсот человек. В Бабьем Яру убили свыше семидесяти тысяч, в Европе — шесть миллионов... Я себя ловлю на этом сопоставлении. Недавно я слышал машину, которая сама сочиняет музыку. Так вот мне кажется, что вместо сердца отстукивает цифры мыслящая машина. Да, в 1919 году палачи еще не додумались до газовых камер; зверства были кустарными: вырезать на лбу пятиконечную звезду, изнасиловать девочку, выбросить в окно грудного младенца.

Во дворе лежал навзничь старик и пустыми глазами глядел на пустое осеннее небо. Может быть, это был молочник Тевье или его зять, старожил обреченного Егупеца? Рядом была лужица: не молока — крови. А ветер беспокойно теребил бороду старика.

Как во всякой трагедии, были и фарсовые сцены. В квартиру моего тестя, доктора М. И. Козинцова, вбежал рослый парень в офицерской форме и крикнул: «Христа распяли, Россию продали!..» Потом он увидел на столе портсигар и спокойно, деловито спросил: «Серебряный?..»

Я решил пробраться в Коктебель, к Волошину; его дом казался мне убежищем. Мы ехали неделю до Харькова. На станциях в вагоны врывались офицеры или казаки: «Жида, коммунисты, комиссары, выходи!..» На одной станции из нашей теплушки выбросили художника И. Рабиновича.

Харьков, потом Ростов, потом Мариуполь, Керчь, Феодосия... Мы ехали добрый (нет, недобрый) месяц, зарывались в темные углы теплушек, валялись в трюме пароходов, среди больных сыпняком, которые бредили и умирали; мы лежали, густо обсыпанные вшами. Снова и снова раздавался монотонный крик: «А кто здесь пархатый?..» Вши и кровь, кровь и вши...

На замызганных заборах красовались портреты Деникина, Колчака, Кутепова, Май-Маевского, Шкуро. На улицах подвыпившие кубанцы проверяли документы. Кто-то вопил: «Держи комиссара!..» В харьковской гостинице «Палас» помещалась контрразведка; прохожие обходили этот дом. В кафе за одним столиком сидели французские офицеры, за другим — спекулянты; они пили кофе по-варшавски. Повсюду пестрели плакаты «освага»: «Вперед, на Москву!» — конь Георгия Победоносца попирал копытами носатого еврея.

Метались из города в город московские адвокаты, питерские литераторы, аристократки, повязанные пятью платками, с шляпными коробками, куда они клали еду, актеры, гувернантки, беспризорные. Какой-то шутник декламировал в разбитой, загаженной гостинице: «Бежать? Но куда же? На время — не стоит труда, а вечно бежать невозможно...» Сумасшедшая старуха в солдатской шинели, в шляпе с фиолетовыми перьями шептала: «Нет, Клемансо нас не оставит на произвол судьбы...» Из почного кабака гурьбой выходили пьяные офицеры, они пели: «Генерал у нас Шкуро, чхать нам на Европу, мы поставим ей перо...» Дальше шло непечатное.

(В 1925 году я увидел на парижских стенах афишу: цирк «Буффало» показывает публике новый аттракцион — джигитовку казаков под руководством «знаменитого генерала Шкуро». Бывший погромщик закончил свою карьеру на цирковой арене.)

Обыватели, выходя утром на базар, прислушивались, не стреляют ли. Все были стреляными, и никто ничему не верил. В людях смелых, понимавших, за что они борются, гражданская война рождала ненависть, стойкость, доблесть. А в падышанских, насиженных домишках копошились перепуганные людишки; эти не хотели спасать ни революцию, ни старую Россию, они хотели спасти себя. Из страха они доносили то чекистам, то контрразведчикам, что у соседки племянник в продотряде или что сосед выдал свою дочку за белого офицера. Они боялись шагов на лестнице, скрипа дверей, шепота в подворотне. Самые хитроумные прятали под половицей «пятаконки» и портреты Маркса, готовясь через неделю или через месяц положить под ту же половицу портрет Май-Маевского, царские деньги, даже Николу Чудотворца.

На вокзалах приходилось прыгать через тела: лежали тифозные, беженцы, мешочники.

Вот этот кудрявый паренек еще вчера пел «Смело мы в бой пойдем за власть Советов...». Теперь он горланит «Смело мы в бой пойдем за Русь святую и всех жидов побьем напропалую». Ни в какой бой он не собирался и не собирается; он торгует валенками, украденными на складе.

Казаки были лютыми; здесь сказались и традиции, и злоба за развороченную, разрубленную жизнь, и смятение.

В белой армии были черносотенцы, бывшие охранники, жандармы, вешатели. Они занимали крупные посты в администрации, в контрразведке, в «осваге». Они уверяли (а может быть, сами верили), что русский народ обманут коммунистами, евреями, латышами; его следует хорошенько выпороть, а потом посадить на цепь.

Много лет спустя я купил в Париже сборник стихов некоего Посажного, который называл себя «черным гусаром». Он работал на заводе Рено, проклинал «лягушатников-французов» и сокрушался о прошлом великолепии, вспоминая боевого коня: «Пегас в столовую вступил и кахетинского попил, букет покушал белых роз, покакал чинно на поднос. Была не хамская пора, кричала публика «ура», играли громко зурначи. Воспоминанье, замолчи!» Свои идеалы он выразил так: «Погибнут те, что нынче алы. Давно им к дьяволу пора! И вновь запенятся бокалы у тех, кто были юнкера». Читая эти заклинания в 1929 году, я смеялся, а в 1919 году этакий Посажной врывался в теплушки, бил наотмашь по лицу, расстреливал.

Но больше всего среди белых было людей, потерявших голову, с телом, расчесанным от вшей, с сердцем, расчесанным от настоящих и предполагаемых обид, от резни, арестов, расстрелов, от плача городов, переходивших из рук в руки, от сознания, что завтра их приставят к той же грязной стенке, к которой сейчас они тащат очередную партию «подозрительных».

Леонгард Франк назвал одну из своих книг «Человек добр». А человек не добр и не зол; он может быть добрым, может быть и очень злым. Конечно, среди белых были не только садисты, было много обыкновенных людей, по природе скорее добродушных и прежде никого не обижавших; но доброту им пришлось оставить дома вместе с уютом и семейными безделками. Злоба диктовалась отчаянием. Даже осенью 1919 года, когда белые захватили Орел, они не чувствовали себя победителями. Они неслись вперед, как по чужой стране, повсюду видели врагов. В кабаках белые офицеры требовали, чтобы дежурный певец спел им модный романс: «Ты будешь первый. Не сядь на мель! Чем

крепче нервы, тем ближе цель». Попойки часто кончались стрельбой то в посетителей, то в зеркала, то в воздух — офицерам мерещились партизаны, подпольщики, большевики. Чем больше они кричали о своих крепких нервах, тем вернее эти нервы сдавали; цель расплывалась в тумане спирта, ненависти, страха, крови.

Попадались среди «добровольцев» люди случайные, наивные романтики или слабовольные, поддавшиеся уговорам товарищей, загнипотизированные разговорами о «верности», о «чести», о «присяге». Таким был Сережа Эфрон, муж Марины Цветаевой.

Встретил и я одного из растерявшихся; это был прапорщик, который любил стихи Блока. Бог знает, какими судьбами он оказался в белой армии. Он спас мне жизнь, и мне горько признаться, что я не запомнил его имени. Было это между Мариуполем и Феодосией. На пароходе мы ехали долго: сначала был пожар; потом суденышко оказалось в Азовском море, скованное льдами. Не было хлеба. Больные сыпняком ползли по льду. В одну из последних ночей огромный детина в папахе вытащил меня на обледеневшую палубу. Все спали. Офицер был куда сильнее меня, но он перепил. Мы боролись. Он тупо повторял: «Сейчас я тебя буду крестить...» Он толкал меня к борту. Помню, я подумал: хорошо, что в воду мы скатимся вместе...

Ядвига, которая ехала с нами, услышав крики, кинулась в кубрик к прапорщику, тому самому, фамилию которого я запомнил. Он поднялся на палубу: «Стоять! Стрелять буду!..» Увидев револьвер, мой «крестный отец» разжал объятия.

В Феодосии висели те же портреты, и генерал Шкуро лихо улыбался. Я увидел чистых, аккуратно выбритых англичан. Возле их походной кухни толпились голодные детишки: белые насильно эвакуировали железнодорожников (не помню, из Орла или Курска). Эвакуированные ютились в жалких хибарках в Карантинной слободке. Англичане глядели уныло на голодных, ободранных людей — они были вне игры; их послали сюда, как могли послать в Найроби или в Карачи; они выполняли приказ. Конечно, они ничего не знали ни о нефтяных акциях, ни о распоротых животах, ни о судьбе детей, которые жадно нюхали воздух — пахло мясом...

Волошин меня ласково встретил; я сбивчиво рассказал о путевых приключениях. Глаза у Макса были, как всегда, приветливые и далекие. Он заговорил о судьбе России, о предсказаниях пророка Иезекииля. Пришла мать Волошина, которую все называли Пра, и его оборвала: «Макс, хватит! Они голодные, им не до твоих историй...» Она принесла сковородку с картошкой.

12

Моя дочь иногда проводит отпуск в Коктебеле, загорает на пляже, где много красивых камешков, купается, лазит по горам. Когда она мне рассказывает об этом, я вспоминаю далекое прошлое: мне трудно себе представить, что в Коктебеле можно отдыхать. Я там тоже бродил по берегу и собирал не камешки, а куски дерева, выброшенные морем; ими я топил жаровню, или, как говорят в Крыму, мангалку. Раз на берегу я нашел дохлую чайку, выпотрошил ее, сварил; она пахла протухшей рыбой, но мы ее съели.

Вскоре после нашего приезда я обменял рваный парижский пиджак на дрова; зима была суровая, все время дул ледяной норд-ост. Я топил печь, и в комнате мы не мерзли. Но никогда, кажется, я не знал такого постоянного, неумного голода, как в Коктебеле. Часто я варил суп на стручках перца.

Мы прожили там девять месяцев, мне теперь кажется, что это были долгие годы. Сначала было очень холодно, потом очень жарко. Мать Любы давала ей свои кольца, брошки. Мы их продавали. Потом нечего стало продавать. О литературном заработке было глупо мечтать. Весной я надумал устроить детскую площадку для крестьянских детей; очевидно, киевские фребелички меня убедили в моих педагогических способностях.

В деревне жили болгары, по большей части кулаки. Они не очень-то одобряли белых, которые реквизировали продовольствие, а иногда и без расписки забирали свинью или бочку вина, но больше всего боялись прихода большевиков. Правда, я нашел болгарскую семью, которая помогала подпольщикам и ненавидела белогвардейцев,— это были Стамовы. Они пользовались уважением других крестьян, считались честными, трудолюбивыми, но, когда заходил разговор о политике, их не слушали. Жил еще в деревне портной, русский, он тоже ждал прихода Красной Армии, иронически комментировал военные сводки белых: «Возле Умани «заняли более выгодные позиции», это значит — пятки мелькали, не иначе...» Но портной был пришлым и справедливо боялся, как бы на него не донесли.

Крестьяне хотели, чтобы я обучил их детей хорошим городским манерам, а я читал ребятам «Крокодила» Чуковского; дома они повторяли. «И какой-то малыш показал ему шиш»; родителям это не нравилось. Я хотел приобщить детей к искусству, развить в них фантазию, рассказал им про соловья Андерсена; мы решили устроить спектакль; написанных ролей не было. Мальчик, исполнявший роль соловья, сам должен был придумать, чем он восхищал богдыхана. В конце представления старый богдыхан лежал на смертном ложе, и его окружали воспоминания — хорошие и дурные поступки. Одни ребята повторяли то, что слышали дома: «А ты помнишь, как ты украл у старухи гуся?» или «А ты помнишь, как ты дал на свадьбу мандарину двадцать рублей золотом?..» Другие дети придумывали более сложные истории; некоторые я записывал; помню девочку, которая сурово спрашивала: «Скажи, богдыхан, ты помнишь, как ты позвал в Китай актрису? Она пела почти как соловей, ты ей дал большую медаль, ты ее кормил золотыми рыбками. А потом она спела одну песенку, и ты рассердился. А почему ты рассердился, богдыхан? Она полюбила чужого солдата. Разве это плохо? У солдата устроили обыск и нашли одну книжку, ты сказал, что книжка нехорошая, и ее заперли в сарае, допрашивали с утра до ночи, ничего не давали есть и били китайскими палками, и она умерла, очень молодая. А теперь ты хочешь, чтобы соловей к тебе вернулся? Нет, богдыхан, он никогда не вернется, потому что у него крылья, ты его не посадишь в сарай, он когда улетит, его не поймать...» Пьесу мы долго репетировали; наконец назначили спектакль, пригласили родителей. После этого по деревне пошли толки, что я «красный». Некоторые крестьяне запретили детям ходить на площадку.

Роковыми, однако, оказались занятия лепкой. Я и в этом не хотел стеснять фантазию детей; они притащили домой загадочных зверей, людей с огромными головами, а один мальчишка вылепил рогатого черта. Вот тогда-то вмешался поп; он обходил дворы, говорил: «Это жид и большевик, он хочет перегнуть детей в дьявольскую веру...» Площадку пришлось закрыть; просуществовала она три или четыре месяца. Не знаю, дала ли она что-нибудь детям, но я иногда приносил домой бутылку молока или несколько яиц. Платить полагалось натурой, сколько и как, обусловлено не было. Некоторые родители ничего не давали. Дети приходили на площадку с едой, и мне трудно было смотреть, как они

ели,— я боялся выдать голод. Один малыш, уплетая хлеб с салом и ватрушки, сказал мне: «Отец говорил, чтобы тебе ничего не давать...»

Было уже тепло. Я ходил в пижаме, привезенной из Парижа, босиком. Один раз я пошел в деревню — хотел купить молоко или каймак. Зашел во двор кулака. На меня спустили собаку, которая схватила меня за икру. Дело было не в укусе, но она разорвала штанину в клочья. Пришлось обрезать и другую. Теперь я ходил в коротких штанишках. Может быть, это меня молодило, не знаю (судя по фотографии, вид у меня был страшноватый — я очень отощал). Я прыгал с детишками в костюме, которому мог бы позавидовать любитель античной простоты Раймонд Дункан. А в общем, чего только человеку не приходится делать, особенно в эпохи, которые называют историческими!..

Иногда я убегал на час-другой в горы. Окрестности Коктебеля красивы трудной для человека красотой, они сродни Арагону или Старой Кастилии — то лиловатые, то рыжие склоны гор, ни дома, ни дерева, макет жестокого мира, некогда вдохновлявшего Эль Греко. Впрочем, может быть, таким мне казался Коктебель от всего, что происходило кругом.

Войдя впервые в мастерскую Волошина, я вспомнил Париж: та же царевна Тайах, полки, на них книги, предпочтительно французские. Макс был скорее мрачен, исчезло прежнее легкомыслие; и все же он часто дурачился, мистифицировал; получалось смешно, но я не смеялся. Иногда мы подолгу беседовали — это было как будто продлением разговоров в мастерской Риверы или в «Ротонде»; но говорили мы не потому, что темы, волновавшие нас пять лет назад, казались нам живыми, а потому, что нам хотелось на несколько часов уйти в прошлое.

В доме Волошина жила Майя Кудашева с матерью-француженкой. Отец Майи был русским, и родилась она в России, но картавила, как парижанка, и стихи писала по-французски. Волошин описал ее внешность: «Волною прямых лоснящихся волос прикрыт твой лоб, над головою сиянье вихрем завилось. Твой детский взгляд улыбкой сужен, не детской грустью сужен рот, и цепью маленьких жемчужин над бровью выступает пот». В Москве, откуда Майя приехала, она вращалась в литературной среде, знала В. Иванова, Андрея Белого, дружила с Цветаевой. Ее мать была подавлена событиями, которые никак не вязались ни с ее понятиями о порядочности, ни с пьесами Ростана. А Майя, несмотря на холод, голод и прочие беды, жила своей жизнью... Дальнейшая ее судьба такова: начав переписываться с Роменом Ролланом, она поехала к нему в Швейцарию и стала его женой. Несколько лет назад мы встретились в Париже. Мария Павловна была занята организацией музея Роллана, просила меня помочь ей русскими экспонатами. О Коктебеле мы не поговорили, хотя было что вспомнить...

В. В. Вересаев так писал про три года, проведенные им в Коктебеле: «За это время Крым несколько раз переходил из рук в руки, пришлось пережить много тяжелого; шесть раз был обворован; больной, с температурой в 40 градусов, полчаса лежал под револьвером пьяного красноармейца, через два дня расстрелянного; арестовывался белыми; болел цингой». В начале 1920 года Викентию Викентьевичу было трудно; несколько поддерживала его врачебная практика. Смеясь, он рассказывал мне, что сначала крестьяне не верили, что он врач, — кто-то рассказал им, что он писатель. В окрестных деревнях свирепствовал сыпняк. Вересаев как-то осмотрел больного и подсчитал, когда должен наступить кризис; в указанный срок температура упала, и крестьяне поверили, что Вересаев действительно доктор. Платили ему яйцами или салом. Был у него велосипед, а вот одежда сносилась. У меня оказался странный

предмет — почная рубашка доктора Козинцова, подаренная мне еще в Киеве. Мы ее поднесли Викентию Викентьевичу, в ней на велосипеде он объезжал больных.

Когда Люба заболела сыпняком, Вересаев к нам часто приходил, и я с ним подолгу беседовал. Прежде я знал некоторые его книги и думал, что он человек рассудочный, прямолинейный; а он обожал искусство, переводил древнегреческих поэтов, страдал от грубости и примитивизма. Конечно, в борьбе против белогвардейцев все его симпатии были на стороне Москвы, но многого он не понимал и не принимал. Потом я прочитал его роман «В тупике», где он рассказывает о жизни русской интеллигенции в первые годы революции. Я нашел мысли Викентия Викентьевича, вложенные в уста то ученого-демократа, то его дочки-большевички. Вересаев был на семь лет моложе Чехова, но, конечно, его следует отнести к тому же поколению; да и по природе он чем-то напоминал Антона Павловича: были в нем снисходительность к чужим слабостям, культ добра и спокойная, постоянная печаль, порождаемая не столько обстоятельствами, сколько глубоким знанием людей. В романе Вересаева Катя с горечью говорит своему отцу, старому русскому интеллигенту: «Милый мой, любимый!.. Честность твоя, благородство твое, любовь твоя к народу, — ничего, ничего это никому не нужно...» Так рассуждали многие юноши в 1920 году. В 1960 году их дети и внуки поняли, что им нужны до зарезу честность, благородство, любовь к народу, которые когда-то вдохновляли Антона Павловича и его духовных друзей.

Об Осипе Эмильевиче Мандельштаме я расскажу в следующей главе. С ним приехал его брат Александр Эмильевич, человек добрый, вполне реальный, который не раз помогал и своему брату и нам. Жили в Коктебеле литературовед Д. Д. Благой и его жена — врач. Жена писателя Андрея Соболя, Рахиль Сауловна, тоже была врачом; она нянчила годовалого сына Марка. (В 1949 году поэт Марк Соболев подарил мне мою книжку, на которой стояла подпись Андрея Соболя, и написал стихи, кончавшиеся так: «Сын вписывает через четверть века слова любви под подписью отца».)

Сыпняк вообще скверная болезнь, а в тогдашних условиях выходить больного было трудно. Ухаживать за Любой мне помогала Ядвига; но она сама была хрупкой двадцатилетней девушкой. Болезнь проходила тяжело. Врач хотел впрыснуть камфару, а не было шприца. Александр Эмильевич поехал верхом в Феодосию, с трудом достал шприц, торопился и по дороге его разбил; ему пришлось вторично поехать в город. Потом понадобился спирт. Я обходил дома, где жили родители моих учеников, просил водку; мне отвечали, что белые все выпили. В одном доме справляли свадьбу; увидев на столе большие бутылки, я обрадовался, но хозяева сказали: «Хочешь пить, садись, нальем, а навывнос нет...»

Вересаев приказал мне все время проверять, какой пульс у Любы. Ночью пульс исчез. Вересаев на беду уехал в другую деревню. Я побежал к Благой и Соболю; они нервничали, говорили, что положение безнадежное, незачем мучить больную; все же я их заставил впрыснуть стрихнин.

После того как температура спала, у Любы оказалось осложнение — она была убеждена, что умерла и мы зачем-то устраиваем ей посмертную жизнь. С великим трудом я доставал для нее продукты, готовил, глотал слюнки, а она говорила: «Зачем мне есть? Я ведь умерла». Легко себе представить, как это на меня действовало, а тут нужно было идти на площадку и прыгать с детишками в хороводе.

Потом мы достали машинку для стрижки овец; ею Вересаев обкорнал Любу. К счастью, в наш флигелек начал заглядывать Волошин, он обожал заумные разговоры. Люба говорила, что она видит все сквозь

стены, это Макс у нравилось. Осип Эмильевич любил передразнивать разговоры поэтов-символистов. «Как поживаете, Иван Иванович?» — «Да ничего, Петр Петрович, предсмертно живу». Несмотря на трагизм положения, Макс не мог расстаться с любовью ко всему потустороннему. Он искренне увлекался беседами с Любой, а я гадал, что со мной приключится: сойду ли я с ума, заболею тифом или наперекор всему выживу? Тоненькая смуглая Ядвига, похожая на героиню итальянских неореалистических фильмов, с утра до ночи стирала белье.

Я говорил, что у меня были собеседники — и Вересаев, и Волошин, и Мандельштам. Но со дня моего приезда в Коктебель меня ждал главный собеседник — тот Сфинкс, что задал мне в Москве загадки и не получил ответа. Зимние ночи были длинными. Люба спала. Под окном шумело рассерженное море. А я сидел и думал. Я начинал понимать многое; это оказалось нелегким — у меня ведь позади были и стихи, и вера, и безверье, мне нужно было связать розовый отсвет Флоренции, неистовые проповеди Леона Блуа, пророчества Модильяни со всем, что я увидел.

Самое главное было понять значение страстей и страданий людей в том, что мы называем «историей», убедиться, что происходящее не страшный, кровавый бунт, не гигантская пугачевщина, а рождение нового мира с другими понятиями человеческих ценностей, то есть перешагнуть из XIX века, в котором, сам того не сознавая, я продолжал жить, в темные сени иной эпохи. Я понял, что старый мир, который я обличал в «Стихах о канунах», нельзя изменить ни древними заклинаниями, ни ультра-новым искусством. Конечно, я оставался самим собой: меня пугали и бессмысленные жертвы, и свирепость расправ, и упрощение сложного мира эмоций; но я понял, что мои оценки спорны: «Рожденный вчера, люблю я вчерашнюю мудрость...»

Я написал книжницу «Раздумья» и хочу привести несколько строф из одного стихотворения, помеченного январем 1920 года; стихи, пожалуй, слабые, но они выражают мои мысли не только той зимы, а и последующих лет: «Распухла с голоду, сочится кровь из ран отверстых, и к матери-земле в тоске припала ты. Россия, твой родильный бред они сочли за смертный, гнушаются тобой, и сыты и чисты. Бесплодно чрево их, и груди каменеют. Кто древнее наследие возьмет? Кто разожжет и дальше понесет полуголосный факел Прометея? Суровы роды. Час высок и страшен. Не в пене моря, не в небесной синеве, на темном гноище, омытый кровью нашей, рождается иной, великий век... На краткий срок народ бывает призван своею кровью напоить земные борозды. Гонители к тебе придут, Отчизна, целуя на снегу кровавые следы». Меня теперь коробит от нарочито книжного языка — «гноище», «чрево», «борозды». Удивительно, как после «Стихов о канунах» и восхищения кубизмом я вдруг сбился на словарь символистов! Впрочем, новый словарь звучал не лучше: выражаясь на нем, я должен был бы объявить, что становлюсь на советскую платформу. А какая у меня могла быть «платформа»? Детская площадка, да и ту вскоре прикрыли...

Жили мы в Коктебеле отнюдь не спокойно: то и дело из Феодосии приезжали военные или охранники — искали подпольщиков, партизан, «смутьянов». Арестовали Мандельштама. Его вскоре выпустили, но это было лотереей — могли расстрелять. Однажды устроили обыск в доме Волошина. Я поглядывал на дорогу с опаской. Много раз в жизни мне приходилось чувствовать себя дичью — прислушиваться к шагам на лестнице или к лифту; это очень противное ощущение — унижительное; но я себя утешал тем, что я по природе не охотник — никого не выслеживал и не арестовывал.

Иногда по ночам мне мерещились герои «Хуренито»: они как будто стучались в двери ненаписанной книги; но у меня не было мысли сесть за роман (можно для шутки добавить, что не было даже бумаги, стихий я записывал на обороте старых конторских счетов). Я думал тогда о другом: как добраться до Москвы? Войне, казалось, не будет конца; разбили Колчака, но в поход двинулись поляки. Как-то я нашел в Феодосии несколько номеров парижских газет. Я узнал, что на выборах во Франции победили правые, что союзники никогда не отдадут плацдармов в России, что они защищают «свободный мир». (Формулы куда долговечнее правительств.) Действительно, в Феодосии я видел много иностранных офицеров. В порту царило оживление: выгружали пушки, боеприпасы.

В Феодосию я ездил редко: нелегко было найти крестьянина, который согласился бы за весьма скромную плату подвезти человека на своей телеге (на четырех бревнах, все время расплывавшихся), да и не стоило искушать судьбу и охранников. Город был красивым, он напоминал мне Италию, может быть аркадами или ярусами домов на горе; но в городе шла нехорошая жизнь: никто просто не шел по улице — одни покрикивали, другие поеживались.

У Осипа Эмильевича было в Феодосии много знакомых: либеральные адвокаты, еврейские купцы, любители литературы, начинающие поэты, портовые служащие. С некоторыми он меня познакомил; были среди них люди симпатичные, но мне казалось, что они побаиваются с нами встречаться.

Мандельштамы уехали: им помог, насколько я помню, начальник порта. Я докучал и Волошину и моим феодосийским знакомым, чтобы они помогли нам выбраться. Наконец Макс сказал: «Кажется, выходит»... Кончалась затянущаяся глава: не книги — жизни.

Я говорил, что, когда врангелевцы арестовали Осипа Эмильевича Мандельштама, Волошин тотчас отправился в Феодосию. Вернулся он мрачный, рассказал, что белые считают Мандельштама опасным преступником, уверяют, будто он симулирует сумасшествие: когда его заперли в одиночку, он начал стучать в дверь, а на вопрос надзирателя, что ему нужно, ответил: «Вы должны меня выпустить — я не создан для тюрьмы»... На допросе Осип Эмильевич прервал следователя: «Скажите лучше, невинных вы выпускаете или нет?..» Я понимаю, что в 1919 году в контрразведке такие слова звучали фантастически и что белый офицер мог принять их за симуляцию душевного заболевания; но если задуматься, забыть о тактике, даже о стратегии, то разве не было в поведении Мандельштама глубоко человеческой правды? Он не пытался доказать палачу свою невиновность, откровенно спросил — стоит ли ему вообще разговаривать; он сказал тюремщику, что «не создан для тюрьмы», это ребячливо и в то же время мудро. «Не по времени», — печально заметила Пра. Конечно. У Мандельштама есть стихи про время: «Мне на плечи кидается век-волкодав, но не волк я по крови своей, запихай меня лучше, как шапку, в рукав жаркой шубы сибирских степей...»

Познакомился я с Осипом Эмильевичем в Москве; потом мы часто встречались в Киеве — в греческой кофейне на Софийской; там он прочитал мне свои стихи о революции: «Восходишь ты в глухие годы, о солнце, судия-народ». Видел я его в тот день, когда Красная Армия оставляла Киев. (Потом он об этом рассказал: «Не гадают цыганочки кралям, не играют в Купеческом скрипки, на Крещатике лошади пали, пахнут смертью господские Липки. Уходили с последним трамваем пря-

мо за город красноармейцы, и шинель прокричала сырая: — Мы вернемся еще, разумеете!..») Вместе с ним пережили ночь погрома. Вместе хлебнули горя в Коктебеле. Вместе пробирались из Тбилиси в Москву. Летом 1934 года я искал его в Воронеже («Пусти меня, отдай меня, Воронеж, уронишь ты меня или проворонишь, ты выронишь меня или вернешь — Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож»). В последний раз я его видел весной 1938 года в Москве.

Мы родились в том же 1891 году; Осип Эмильевич был старше меня на две недели. Часто, слушая его стихи, я думал, что он старше, мудрее меня на много лет. А в жизни он мне казался ребенком, капризным, обидчивым, суетливым. До чего несносный, минутами думал я и сейчас же добавлял: до чего милый! Под зыбкой внешностью скрывались доброта, человечность, вдохновение.

Был он маленьким, шуплым; голову с хохолком закидывал назад. Он любил образ петуха, который разрывает своим пением ночь у стен Акрополя; и сам он, когда запевал баском свои торжественные оды, походил на молоденького петушка.

Он сидел на кончике стула, вдруг куда-то убежал, мечтал о хорошем обеде, строил фантастические планы, заговаривал издателей. В Феодосии он как-то собрал богатых «либералов», строго сказал им: «На Страшном суде вас спросят, понимали ли вы поэта Мандельштама, вы ответите «нет». Вас спросят, кормили ли вы его, и, если вы ответите «да», вам многое простится». В самые трагические минуты он смешил нас газеллами: «Почему ты все дуешь в трубу, молодой человек? Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек».

Тому, кто впервые встречал Мандельштама в приемной издательства или в кафе, казалось, что перед ним легкомысленнейший человек, неспособный даже призадуматься. А Мандельштам умел работать. Он сочинял стихи не у стола — на улицах Москвы или Ленинграда, в степи, в горах Крыма, Грузии, Армении. Он говорил о Данте: «Сколько подметок, сколько воловьих подошв, сколько сандалий износил Алигьери за время своей поэтической работы, путешествуя по козым тропам Италии». Эти слова прежде всего относятся к Мандельштаму. Его стихи рождались от строки, от слова; он сотни раз менял все; порой ясное вначале стихотворение усложнялось, становилось почти невнятным, порой, наоборот, прояснялось. Он вынашивал восьмистишие долго, иногда месяцами, и всегда бывал изумлен рождением стихотворения.

В первые годы революции его словарь, классический стих многими воспринимались как нечто архаическое: «Я изучил науку расставанья в простоволосых жалобах ночных...» Мне эти строки теперь кажутся вполне современными, а стихи Бурлюка — данью давно сгнувшейся моде. Мандельштам говорил: «Идеал совершенной мужественности подготовлен стилем и практическими требованиями нашей эпохи. Все стало тяжелее и громаднее». Это не было канонами, направлением: «Не стоит создавать никаких школ. Не стоит выдумывать своей поэтики». Стих Мандельштама потом раскрепостился, стал легче, прозрачнее.

Одним поэтам присуще звуковое восприятие мира, другим — зрительное. Блок слышал, Маяковский видел. Мандельштам жил в различных стихиях. Вспоминая свои детские годы, он писал: «Чайковского об эту пору я полюбил болезненным нервным напряжением, напоминавшим желание Неточки Незвановой у Достоевского услышать скрипичный концерт за красным полымем шелковых занавесок. Широкие, плавные, чисто скрипичные места Чайковского я ловил из-за колючей изгороди и не раз изорвал свое платье и расцарапал руки, пробираясь бесплатно к раковине оркестра...» О его чувстве живописи можно судить хотя бы по нескольким строфам, посвященным натюрморту (вспоминаешь хол-

сты Кончаловского): «Художник нам изобразил глубокий обморок сирени и красок звучные ступени на холст, как струнья, положил... Угадывается качель, недомалеваны вуали, и в этом сумрачном развале уже хозяйничает шмель». Мы с ним часто разговаривали о живописи; в двадцатые годы его больше всего привлекали старые венецианцы — Тинторетто, Тициан.

Он хорошо знал французскую, итальянскую, немецкую поэзию; видел страны, где никогда не был. «Я прошу, как жалости и милости, Франция, твоей земли и жимолости, правды горлинок твоих и кривды карликовых виноградарей в их разгородках марлевых. В легком декабре твой воздух стриженный индевет денежный, обиженный...» Я много лет прожил во Франции, лучше, точнее этого не скажешь... Размышления о прекрасной «детскости» итальянской фонетики поражали итальянцев, которым я переводил строки из «Разговора о Данте».

Однако самой большой страстью Осипа Эмильевича были русский язык, русская поэзия. «По целому ряду исторических условий живые силы эллинической культуры, уступив Запад латинским влияниям и ненадолго загащиваясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи, сообщив ей самобытную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и горячей плотью...» Он отвергал символизм как чуждое русской поэзии явление. «Бальмонт, самый нерусский из поэтов, чужестранный переводчик... иностранное представительство от несуществующей фонетической державы...» Андрей Белый, например, — «болезненное и отрицательное явление в жизни русского языка...» (Мандельштам почитал и любил Андрея Белого; после его смерти написал несколько чудесных стихотворений. «На тебя надевали тиару — юрода колпак, бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак... Как снежок на Москве заводил кавардак гоголек непонятен — понятеи, невнятен, запутан, легóк. Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец, сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец...») Писал он с нежностью и о поэтах пушкинской плеяды, и о Блоке, и о своих современниках, о Капе, о степи, о сухой, горячеей Армении, о родном Ленинграде. Я помню множество его строк, твержу их, как заклинания, и, оглядываясь назад, радуюсь, что жил с ним рядом...

Я говорил о противоречии между легкомыслием в быту и серьезностью в искусстве. А может быть, и не было никакого противоречия. Когда Осипу Эмильевичу было девятнадцать лет, он написал статью о Франсуа Вийоне, он находил оправдание для смутной биографии поэта жестокого века: «бедный школяр» по-своему отстаивал достоинство поэта. Мандельштам писал о Данте: «То, что для нас безукоризненный капюшон и так называемый орлиный профиль, то изнутри было мучительно преодолеваемой неловкостью, чисто пушкинской, камер-юнкерской борьбой за социальное достоинство и общественное положение поэта». Опять-таки эти слова применимы к самому Мандельштаму: множество нелепых, порой смешных поступков диктовалось «мучительно преодолеваемой неловкостью».

Некоторые критики считали его несовременным, музейным. Раздавались и худшие обвинения; передо мной том «Литературной энциклопедии», изданный в 1932 году; там сказано: «Творчество Мандельштама представляет собой художественное выражение сознания крупной буржуазии в эпоху между двумя революциями... Для мирозерцания Мандельштама характерен крайний фатализм и холод внутреннего равнодушия ко всему происходящему... Это лишь чрезвычайно «сублимированное» и зашифрованное идеологическое увековечение капитализма и его культуры...» (Статья написана была молодым критиком, который не

раз прибегал ко мне, восторженно показывал неопубликованные стихотворения Мандельштама, переписывал его стихи, переплетал, дарил друзьям.) Трудно сказать большую нелепость о стихах Мандельштама. Вот уж воистину кто менее всего выражал сознание буржуазии, и крупной, и средней, и мелкой! Я уже говорил, как в 1918 году он меня поразила глубоким пониманием грандиозности событий: стихи о корабле времени, который меняет курс. Никогда он не отворачивался от своего века, даже когда волкодав принимал его за другого. «Пора вам знать, я тоже современник, я человек эпохи Москвошвея. Смотрите, как на мне топорщится пиджак, как я ступать и говорить умею! Попробуйте меня от века оторвать! — Ручаюсь вам, себе свернете шею». О сущности эпохи: «За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей...» О Ленинграде: «Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда — так глотай же скорей рыбий жир ленинградских речных фонарей... Петербург, я еще не хочу умирать: у тебя телефонов моих номера. Петербург, у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса...» Это стихотворение было напечатано в «Литературной газете» в 1932 году. А в 1945-м я слышал, как его повторяла ленинградка, вернувшаяся в родной город.

Мандельштама не в чем упрекнуть. Разве в том, что и слабость и сила любого человека — в любви к жизни. «Я все отдам за жизнь — мне так нужна забота — и спичка серная меня б согреть могла». «Колют ресницы, в груди прикипела слеза. Чую без страха, что будет и будет гроза. Кто-то чудной меня что-то торопит забыть. Душно, и все-таки до смерти хочется жить».

Кому мог помешать этот поэт с хилым телом и с той музыкой стиха, которая заселяет ночи? В начале 1952 года ко мне пришел брянский агроном В. Меркулов, рассказал о том, как в 1940 году Осип Эмильевич умер за десять тысяч километров от родного города; больной, у костра он читал сонеты Петрарки. Да, Осип Эмильевич боялся выпить стакан некипяченой воды, но в нем жило настоящее мужество, прошло через всю его жизнь — до сонетов у костра...

В 1936 году он писал: «Не мучнистой бабочкою белой в землю я заемный прах верну — я хочу, чтоб мыслящее тело превратилось в улицу, в страну — позвоночное, обугленное тело, осознавшее свою длину». Его стихи остались, я их слышу, слышат их другие; мы идем по улице, на которой играют дети. Вероятно, это и есть то, что в торжественные минуты мы именуем «бессмертием».

А в моей памяти живой Осип Эмильевич, милый беспокойный хлопотун. Мы трижды обнялись, когда он прибежал, чтобы проститься: наконец-то он уезжает из Коктебеля! Про себя я подумал: «Кто может знать при слове «расставанье», какая нам разлука предстоит...»

В соляных озерах северной части Крыма добывается поваренная соль; добывалась она и до революции. Наверно, я об этом узнал в третьем или четвертом классе гимназии, но школьные познания быстро забываются. Притом я никогда не интересовался происхождением соли, которая стояла на столе. И вот соль, притом крымская, сыграла важную роль в моей жизни.

Путь из Феодосии в Москву лежал тогда через меньшевистскую Грузию, которая торговала с белым Крымом и где было советское посольство. Из Феодосии в Грузию отправлялся ценный товар — поваренная

соль. Я говорю о его ценности, отнюдь не шутя: в то время соль продавалась на рынках стаканами, как потом сахар.

Один предприимчивый феодосиец решил доставить в Потю соль; ею нагрузили большую дряхлую баржу. На буксире должен был отправиться владелец соли. После длительных и сложных переговоров, в которых мои покровители говорили и о поэзии и о рублях, капитан буксира и владелец соли согласились взять на баржу меня, Любу и Ядвигу. Белые, разумеется, осматривали уходящие суда, и мы должны были прибыть на баржу накануне, а до того, как выйдем в открытое море, сидеть тихо в душном трюме, где лежала драгоценная соль. Это не было самым приятным местом, но нам дали хлеб и помидоры, а соли было сколько угодно, и мы не роптали.

Пришлось пережить несколько неприятных минут: над нами прогрохотали сапоги офицеров, проверявших, нет ли на барже пассажиров. Я вспомнил строчку Волошина: «Застыть, как соль», — и, кажется, застыл. Шаги стали приглушенными, как уходящая гроза.

Буксир взял курс на юг, будто мы шли к берегам Турции. Объяснялось это тем, что в Новороссийске была Советская власть, и владелец соли боялся, как бы большевики не захватили его товара. А баржа была предназначена только для небольших рейсов вдоль берега; притом, как я сказал, у нее был возраст, мало подходящий для авантюры.

Был конец сентября, то есть время, когда на Черном море часто бывают штормы. Мы проплыли несколько часов среди идиллии: сияло солнце, белели барашки волн, и баржу лениво покачивало. Мы радовались, что вырвались из Крыма, и ели хлеб с солью. Шторм начался внезапно; мы не поняли, что происходит, когда высокая волна переплеснула палубу. Мы легли в самом защищенном месте и покрылись брезентом. Шторм крепчал; навалилась быстрая южная ночь.

На барже было три или четыре матроса. Они нам сказали, что дела плохи: мы находимся далеко от берега, вода попала в трюм и груз теперь чересчур тяжелый. Они ругали капитана буксира, владельца соли, белых, красных, грузин и вообще все на свете.

Мы пробовали уснуть, но это было невозможно — несмотря на брезент, нас заливало; хотя баржа, по словам матросов, была перегружена, ее швыряло, как крохотную лодку. А волны росли. Я старался припомнить различные смешные истории, и мы не унывали.

Самое неприятное было, однако, впереди. Капитан буксира решил бросить баржу: боялся, что она может разбить буксир. Нам это прокричали в рупор и предложили по канату добираться до буксира. Мы были, однако, не спортсменами, а людьми, сильно отошавшими от супа на перце (Люба незадолго до путешествия перенесла сыпняк); перейти на буксир среди сильных волн мы, разумеется, не могли и решили остаться — будь что будет.

Я не раз в жизни замечал, что страх — капризное чувство, зачастую не связанное с рассудком. Мой друг, писатель О. Г. Савич, в Испании совершенно спокойно беседовал о поэзии под нестерпимыми бомбежками, но я помню, что, когда мы с ним ехали из Бельгии во Францию, он смертельно боялся таможенного осмотра, хотя не вез никакой контрабанды. Я был в Толедо с испанским художником Фернандо Хераси; он был тогда офицером и не раз удивлял товарищей храбростью. В толедском Алькасаре сидели фашисты и время от времени лениво, для приличия, стреливали в анархистов. Фернандо мне признался, что не хочет лезть со мной на крышу дома — боится фронт — это фронт, а в Толедо он поехал со мной за компанию, и здесь ему страшно. Что касается меня, то я испытывал страх не на фронтах, не в Испании, не при бомбежках, а в мирной обстановке, когда ждал звонка или стука в

дверь, но об этом я уже писал. Ни я, ни мои молоденькие попутчицы не испугались мысли, что мы останемся в разъяренном море на дырявой барже и пойдем ко дну вместе с драгоценной солью. Мы разговаривали, шутили и если дрожали, то не от страха, а от холода: промокли насквозь.

Капитан все же не бросил баржу. Когда мы благополучно причалили к Сухуми, он сказал Любе, что пожалел ее. По-моему, это было восточным комплиментом. На буксире находился владелец соли, и он отстоял свой товар.

Сухуми нам показался невыразимо прекрасным; это действительно красивый город, но дело было не только в его живописности — в то яркое, солнечное утро мы восхищались возвращенной жизнью. Нам казалось, что все трудности не только путешествия в Москву, но и жизненного пути позади. Какой-то грузин предложил нам обменять деньги, и вот мы сели в кафе прямо на улице, пили турецкий кофе, кейфовали. Крикливые усатые люди улыбались нам. Продавали золотистый теплый виноград. Было жарко, как летом, и мы не думали ни о цене соли, ни о цене человеческой жизни. Мы развлекались — нам троим вместе было меньше лет, чем теперь мне одному.

Потом мы снова спали на барже, но это была обыкновенная, спокойная ночь: вдоль берега мы шли на Поти. Оттуда поездом добрались до Тбилиси. Куда идти? Где посольство? И где Москва?.. Мы несколько растерялись в чужом городе, без документов, без денег.

Бывают все-таки в жизни те счастливые случайности, на которые иногда ссылаются писатели, приклеивая к безвыходной истории благополучнейшую развязку. Навстречу нам по Головинскому проспекту шел Осип Эмильевич Мандельштам. Мы обрадовались ему, он — нам. Он уже чувствовал под ногами почву и деловито сказал: «Сейчас мы пойдем к Тициану Табидзе, и он нас поведет в замечательный духан...»

15

Мандельштам рассказал нам о своих злоключениях. В Батуми опасались эпидемии чумы, и квартал, в котором нашли комнату Осип Эмильевич и его брат, был оцеплен. Мандельштам гадал, от чего он умрет: от романтической чумы или от вульгарного голода. Его размышления были прерваны меньшевистскими охранниками, которые отвели Осипа Эмильевича в тюрьму. Напрасно он пытался еще раз объяснить, что не создан для тюремного образа жизни, — это не произвело никакого впечатления. Он говорил, что он Осип Мандельштам, автор книги «Камень», а ему отвечали, что он агент генерала Врангеля и большевиков. Достаточно было взглянуть на Осипа Эмильевича, чтобы понять, насколько он мало походил на агента — не только двойного, но и обыкновенного. Однако у охранников не было времени для размышлений: они выполняли, может быть перевыполняли, план. (Автор даже самого вздорного приключенческого романа и тот заботится о некоторой правдоподобности, а полнейшие не ломают себе головы — предпочитают проламывать чужие головы.) Случайно в Батуми приехали грузинские поэты и прочитали в газете, что «двойной агент Осип Мандельштам» выдает себя за поэта. Они добились освобождения Осипа Эмильевича.

Рассказав все это, Мандельштам не стал философствовать над особенностями эпохи, а повел нас к Тициану Табидзе, который восторженно вскрикивал, обнимал всех, читал стихи, а потом побегал за своим другом Паоло Яшвили. Мы обомлели, увидав на столе духана различные яства, о существовании которых успели давно забыть.

С Паоло Яшвили я познакомился в Париже, в «Ротонде»; было это

в 1914 году. Паоло тогда был худым и порывистым юношей (ему было двадцать лет). Он расспрашивал меня: «А в каком кафе сидел Верлен? Когда сюда придет Пикассо? Правда, что вы пишите в кафе? Я не мог бы... Посмотрите, как они целуются! Возмутительно! Меня это чересчур вдохновляет...» Увидев Паоло в Тбилиси, я ему обрадовался, как однополчанину, хотя наша встреча в Париже была случайной и беглой.

Не успели мы сесть за стол, как Паоло и Тициан объяснили нам, что они основатели поэтического ордена «Голубые рога». Я подумал, что это не имеет никакого отношения к обеду: есть ведь журнал «Голубой всадник», выставки «Голубой розы». Но духанщик притащил огромные рога (правда, не голубые). В рог, который Паоло поднес мне, он налил кварту вина. Рог не стакан, на стол его не поставишь, я подержал его несколько минут, а потом в отчаянии выпил вино залпом. Если вспомнить, что в Коктебеле я сильно отощал, то легко догадаться, чем это для меня кончилось. Грузинские друзья зачем-то поволокли меня на концерт знаменитого виртуоза. Смутно помню, как я валялся в одной из комнат консерватории среди арф и лент от венков.

На следующее утро я пошел с Мандельштамом в советское посольство. Нас ласково приняли, обещали преправить в Россию; придется, однако, подождать неделю-другую.

Паоло устроил нас в старой, замызганной гостинице. Свободных комнат в городе не было, и нам пришлось поместиться в одном номере: братья Мандельштамы, Люба, Ядвига и я. Осип Эмильевич от кровати отказался — боялся клопов и микробов; спал он на высоком столе. Когда рассветало, я видел над собой его профиль; спал он на спине, и спал торжественно.

Мы прожили в Тбилиси две недели; они показались мне лирическим отступлением.

Каждый день мы обедали, — более того, каждый вечер ужинали. У Паоло и Тициана денег не было, но они нас принимали с роскошью средневековых князей, выбирали самые знаменитые духаны, потчевали изысканными блюдами. Порой мы шли из одного духана в другой — обед переходил в ужин. Названия грузинских яств звучали, как строки стихов: сулгуни, соцхали, сациви, лоби. Мы ели форель, наперченные супы, горячий сыр, соуса ореховый и барбарисовый, куриные печенки и свиные пупки на вертеле, не говоря уж о разноликих шашлыках. В персидских харчевнях нам подавали плов и баранину, запеченную в горшочках. Мы проверяли, какое вино лучше — телиани или кварели.

Никогда дотоле я не бывал на Востоке, и старый Тбилиси мне казался городом из «Тысячи и одной ночи». Мы бродили по нескончаемому Майдану; там продавали бирюзу в смоле и горячие лепешки, английские пиджаки и кинжалы, кальяны и граммофоны, пахучие травы и винтовки, портреты царицы Тамары и доллары, древние рукописи и подштанники. Торговцы зазывали, торговались, расточали цветистые комплименты, клялись жизнью многочисленных домочадцев.

Мы побывали в серных банях; на меня взобрался огромный банщик и облепил меня чудодейственной грязью, которая уничтожала растительность; Паоло пресерьезно уверял, что я похож на Нарцисса.

Мы попивали вино в Верийских садах; внизу нетерпеливая Кура играла с красными и желтыми огоньками, а на столе благоухали тархун и киндза.

В древних храмах мы глядели на каменных цариц, к которым ласкались барсы. Мы восхищались в духанах картинами Пиросманишвили, грузинского Руссо, художника-самоучки, который за шашлыки и вино распивал стены погребков. Он был прост, патетичен, поражал умелой композицией и полнотой цвета.

Тбилиси был случайным полустанком, на котором остановился поезд времени. Глава меньшевистского правительства Ной Жордания, в прошлом сотрудник различных марксистских журналов, ссылаясь то на Каутского, то на царицу Тамару. Каутский писал, что меньшевистская Грузия — государство с будущим, а петербуржцы и москвичи, застрявшие на полустанке, торопливо упаковывали чемоданы: одни спешили на север, другие за границу. Некоторых из них я встретил. Артист Н. Н. Ходотов собирался домой, в Петроград. Поэты Агнивцев и Рафалович ждали французских виз. Жители Тбилиси ругали меньшевиков, говорили, что их песенка спета.

Различные века сосуществовали в этом удивительном городе. Я увидел праздник мусульман-шиитов — «шахсей-вахсей». На носилках, изукрашенных цветистыми коврами, несли безликих персиянок. Вокруг сповали молодые люди; костюмированные всадники нещадно хлестали их кнутами. За ними следовали сотни полуголых мужчин, ударявших себя в спину железными цепями. Гремела музыка. Главными актерами были люди в белых халатах; раскачиваясь, они выкрикивали «шахсей-вахсей!» и били себя саблями по лицу. На ярком солнце кровь казалась краской. Самоистязание было поминками по сыну халифа Хусейну, который погиб в битве тысячу четыреста лет назад...

А на соседней улице мастеровые читали листовку: «Красное знамя Советской власти реет над Баку. Не сегодня-завтра оно взвоется над Тифлисом...»

Мне подарили «Сборник тифлиского цеха поэтов». Эта книжка случайно у меня сохранилась. Среди авторов много поэтесс с поэтичными фамилиями: Нина Грацианская, Бел-Конь-Любомирская, Магдалина Де-Капрелевич. Поэты «тифлиского цеха» писали сонеты о Свароге, Эросе, Суламите, Санаваллате, Монфоре и о других, столь же близких персонажах.

Впрочем, я не заглянул тогда в сборник: все время я был с новыми друзьями, которых сразу полюбил, — с Паоло Яшвили и Тицианом Табидзе.

Они были связаны между собой не только общими поэтическими воззрениями, но и крепкой дружбой; эта дружба оказалась долговечней литературных школ; и погибли они вместе. А до чего они не походили один на другого! Паоло был высоким, страстным, чрезвычайно энергичным, умел все организовать — и декларацию «Голубых рогов» и обед в духане. Стихи у него были живые, умные, крепкие. А Тициан поражал мягкостью, мечтательностью. Он был красив, всегда носил в петлице красную гвоздику; стихи читал нараспев, и глаза у него были синие, как горные озера. Трудно понять поэзию в переводах. Я слушал стихи и по-грузински. Тициан, помню, сказал мне, что поэзия — обвал. Много лет спустя я прочитал в переводе его стихотворение, где были строки: «Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут меня, и жизни ход сопровождает их. Что стих? Обвал снегов. Дохнет — и с места сдвинется, и живо схоронит. Вот что стих». Кажется, в этих словах раскрытие Тициана, его чистоты, приподнятости; был он прежде всего поэтом.

Яшвили и Табидзе прекрасно знали, любили русскую и французскую поэзию, Пушкина и Бодлера, Блока и Верлена, Некрасова и Рембо, Маяковского и Аполлинера. Они сломали старые формы грузинской версификации. Но трудно, кажется, найти поэтов, которые так бы любили свою родину, как они. Их можно было глубоко порадовать, сказав, что то или иное грузинское слово выразительно, заметив горный цветок или улыбку девочки на проспекте Руставели. О том, что они были прекрасными поэтами, можно теперь прочитать в любом справочнике. Мне хочется добавить, что они были настоящими людьми. Я приехал снова

в Тбилиси в 1926 году, приехал к Тициану и Паоло. Потом я встречался с ними в Москве: дружба выдержала испытание временем.

В конце 1937 года я приехал из Испании, прямо из-под Теруэля, в Тбилиси на юбилей Руставели. Паоло и Тициана не было. О том, что с ними случилось, скажу словами Гурама Асатиани, автора книги о Тициане Табидзе: «Табидзе, как и его замечательные сверстники, известные советские писатели П. Яшвили, М. Джавахишвили, Н. Мицишвили и другие, стали жертвами преступной руки заядлых врагов народа». В Тбилиси я нашел только поэта Г. Леонидзе, с которым познакомился в 1926 году. Он позвал меня к себе под Новый год. Вдруг тосты оборвались: мы подняли стаканы и ничего не сказали — перед нами были Тициан и Паоло... Я часто думаю о стихах Яшвили, написанных за несколько лет до трагической развязки: «Не бойся сплетен. Хуже — тишина, когда, украдкой пробираясь с улиц, она страшит, как близкая война и близость про меня сужденной пули».

Тициана и Паоло любили многие русские поэты — и Есенин, и Пастернак, и Тихонов, и Заболоцкий, и Антокольский. А мы были первыми советскими поэтами, которые нашли в Тбилиси не только душевный отдых, но романтику, ощущение высоты, толику кислорода — я говорю и о горах и о людях, нельзя ведь отделить Паоло и Тициана от окружавшего их пейзажа. Я писал после поездки в Грузию в 1926 году: «Условимся: горы не только астма альпиниста, не только семейные охи любителей каникулярной красоты. Это еще некоторое беспокойство природы, ее требовательность, которая глубоко соответствует человеческому естеству... Звери и лозы Ананурского монастыря режутся, зреют, живут. На них любовно смотрят пастухи и звезды. В Верийских садах зурна плачет, как любимая женщина, голос которой нельзя не узнать и через тысячу лет. Пусть поэты «Голубых рогов» любят Рембо и Лотреамона; неискушенные души повторяют их стихи доверчивым девушкам возле могилы Грибоедова, когда в одно сливаются созвездия астрономов, огни Солоник и взволнованные зрачки. А на стенах духанов истекают кровью арбузы, написанные Нико Пиросманишвили...»

Альпы во Франции — спорт, туризм, санатории, лыжи, гостиницы, рюкзаки, открытки. А без Кавказа трудно себе представить русскую поэзию: там она отходила душой, там была ее стартовая площадка.

Но я сейчас пишу всего-навсего о двух коротких неделях осени 1920 года, когда грузинские друзья приютили, пригрели нас. Друзей этих уже нет, остается поклониться горам Грузии. Яшвили и Табидзе проводили нас по Военно-Грузинской дороге до первого привала, и сейчас еще в моих ушах звучит высокий, пронзительный голос Тициана: «На холмах Грузии лежит ночная мгла; шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко; печаль моя светла; печаль моя полна тобою...»

Я уже говорил, что у меня в жизни было немало разнообразных и неожиданных профессий; теперь мне предстоит рассказать о самой неправдоподобной; она была кратковременной, но бурной — посол сказал мне, что я поеду из Тбилиси в Москву как дипломатический курьер. Это не было ни почетной синекурой, ни маскировкой, чтобы пересечь границу, нет, я должен был отвезти пакет с почтой и три огромных тюка, снабженных множеством печатей.

Мне часто приходилось и приходится ездить за границу; если со мной едут другие товарищи, среди них обязательно имеется «руководитель делегации». А вот из Тбилиси я отправился с семью лицами; одни из них в документе именовались «сопровождающими» (Люба, Яд-

вига, братья Мандельштамы и весьма серьезный товарищ, возвращавшийся, кажется, из Англии); другие числились моей «охраной» — краснофлотец и молодой актер Художественного театра. Таким образом, на новом поприще я сразу сделал карьеру.

Теперь я часто встречаю в самолетах дипкурьеров; это спокойные, солидные люди, привыкшие к своей работе; в далекий путь они отправляются вдвоем — когда один спит, другой присматривает за почтой. Поглядывая на них, я вспоминаю далекое прошлое: небось не догадываются, что я тоже вез такие мешки, только не в самолете, где проводницы угощают пассажиров конфетами, а в разбитом вагоне, прицепленном к бронепаровозу...

Осенью 1920 года советские дипломаты были новичками. Дипломатические отношения тогда поддерживались только с Афганистаном, с новоиспеченными государствами Прибалтики да с меньшевистской Грузией. Все было внове и не проверено. Большевики хорошо помнили жаркие дискуссии с меньшевиками на нелегальных собраниях; иногда приходила полиция и забирала всех. Теперь картина была иной: меньшевистский публицист А. Костров, он же Ной Жордания, стал главой грузинского правительства, и его полиция начала сажать недавних оппонентов в Метехскую тюрьму. Конечно, дипкурьер пользуется неприкосновенностью, никто не вправе посягнуть на груз, который он везет. Посол об этом хорошо знал, но он не знал, знают ли об этом меньшевики, и мне строго наказал, чтобы на границе я ни в коем случае не позволил вскрыть пакет, завернутый в коричневую оберточную бумагу и запечатанный десятком сургучных печатей. Я держал этот пакет в руках и не расставался с ним восемь дней, пока не сдал его в Москве в Наркоминдел.

Сначала дорога была идиллической. Мы ужинали в духане и заночевали в пути; все мои попутчики, как «сопровождающие», так и «охрана», спокойно спали, а я бодрствовал, прижимая к себе заветный пакет. Утром мы поехали дальше; сверкали снега, внизу шумели горные реки; паслись отары овец.

Мы приближались к границе, и я стал обдумывать, что мне делать, если грузинские пограничники вздумают вскрыть пакет. У краснофлотца был наган, но, когда я с ним заговорил о предстоящей угрозе, он равнодушно ответил, что пакет везу я, а он везет фрукты. Товарищ, приехавший из Англии, был гладко выбрит, пах лавандой и беспечно глядел в бинокль на вечные снега. Осип Эмильевич читал стихи нашим попутчикам.

Грузинский офицер, командир пограничного отряда, оказался милейшим человеком. Узнав, что моя жена — художница, он начал ее спрашивать, что делают теперь русские живописцы. Он хочет перебраться в Москву и поступить во Вхутемас. Может быть, Люба за него ходатайствует?..

Мы долго перетаскивали тюки через «нейтральную полосу». Советские пограничники были заняты: поймали трех контрабандистов. Нам обещали машины к вечеру. Я запротестовал: «Почта срочная, нельзя терять ни часа...» (Именно так сказал мне посол.)

Ночью мы въехали во Владикавказ; нас отвезли в гостиницу, где полгода назад помещались денкиницы; все было загажено, поломано; стекол в окнах не было, и нас обдувал холодный ветер. Город напоминал фронт. Обыватели шли на службу озабоченные, настороженные; они не понимали, что гражданская война идет к концу, и по привычке гадали, кто завтра ворвется в город.

Я начал обсуждать с представителями горсовета и с военным ко-

мандованцем, как нам добраться до Минеральных Вод: поезда не ходили, по дороге шли стычки с небольшими отрядами белых. Мы съели борщ в столовой, где обедали руководящие товарищи; нам даже выдали три буханки хлеба. Под вечер было решено отправить до Минеральных Вод бронепоезд. Однако бронепоезда не оказалось, и к бронепаровозу прицепили два обыкновенных вагона. Охрана на этот раз была посерьезнее: красноармейцы с пулеметами.

В вагоне я увидел нового пассажира, который, улыбаясь, говорил всем, что он грузинский дипломат. Один из чекистов объяснил мне, что в чемодане дипломата нашли около тысячи брошек, браслетов и колец с бриллиантами и ценными камнями. Москва приказала доставить задержанного в Наркоминдел. Обращались с грузином учтиво, как с настоящим дипломатом, и я себя почувствовал дилетантом, но не спускал глаз с тюков.

Когда мы отъехали сорок или пятьдесят километров, поезд остановился. Мы слышали выстрелы. Затараторил пулемет. Военные сказали, что белые разобрали путь и собираются напасть на поезд; мы должны взять винтовки и стрелять. Все это вывело из себя Осипа Эмильевича, который чувствовал к любому виду оружия непреодолимое отвращение. В его голове созрел фантастический план: он с Любой уйдет в горы... Люба не поддавалась его увещаниям, а белых скоро отогнали.

На станции Минеральные Воды люди неделями ждали посадки. Красноармейцы помогли мне пробиться к вагону; кто-то кричал: «Дипломатический курьер!», но это не действовало. Можно было с таким же успехом кричать «римский папа» или «Шалапин»... Не помню, как мы все же очутились в набитом до отказа вагоне. Здесь-то начались мои главные мучения: тюки занимали очень много места, и на них все поровили сесть; а я понимал, что от сургучных печатей ничего не останется, и неистово кричал: «Прочь от диппочты!..» Действовали не столько слова, сколько мой голос, преисполненный отчаяния.

Вначале краснофлотец помогал мне отбивать атаки; но вскоре случилось несчастье: на какой-то станции он купил два большущих мешка соли. Проклятая соль снова вмешивалась в мою жизнь. Краснофлотец теперь оберегал не диппочту, а соль и цинично отгонял всех от мешков: «Это диппочта». Я выглядел самозванцем.

На четвертый или на пятый день нас ожидали новые неприятности: где-то между Ростовом и Харьковом к поезду подошли махновцы. Я уже знал по опыту, что это значит. Но теперь у меня почта, заветный пакет... Что мне делать? Товарищ, возвращавшийся из Англии, вез в термосе горячий чай, а в дорожной фляжке коньяк; он мне говорил: «Выпейте, и все обойдется...»

Все действительно обошлось. Мы доехали до Москвы. Я прижимал пакет к груди, как младенца. Пассажиры постепенно разошлись, а я стоял над тюками. Под вечер Александру Эмильевичу и краснофлотцу удалось нанять телегу, на которую мы положили багаж (пакет с почтой я нес в руке). Мы шли вслед за телегой; больше всего это напомнило деревенские похороны.

Осип Эмильевич уже успел с кем-то поговорить по телефону, нашел ночевку для себя и брата и объявил нам, что вечером мы должны прийти в Дом печати на Никитском бульваре — там дают бутерброды.

Наркоминдел помещался в здании «Метрополя», вход был позади, с небольшой площади. Дежурный принял у меня почту. К маленькому пакету он отнесся уважительно, и я снова вырос в своих глазах; но тюки пренебрежительно оттащил в кладовку. Я ему пытался объяснить, что прогивная бабенка, несмотря на всю мою бдительность, повредила

одну из многочисленных печатей, но он равнодушно сказал: «А там только газеты...»

Случилось чудо: это ведь были первые годы революции, романтика... Узнав, что мне некуда деться, дежурный пожалел меня, объявил кому-то по телефону, что приехал дипкурьер из Тбилиси, и начал обзванивать различные общежития. Я получил бумажку о том, что в Третьем общежитии Наркоминдела должны приютить Эренбурга с женой. Третье общежитие оказалось бывшими меблированными комнатами «Княжий двор», где я когда-то жил с отцом. Там было тепло, и я понял, что я в раю...

Вечером мы пошли в Дом печати; я видел многих знакомых. В буфете действительно давали крохотные ломтики черного хлеба с красной икрой и воблой; кроме того, там можно было получить чай, который благоухал не то яблоками, не то мятой, разумеется, без сахара. Все это было восхитительным, и я сразу погрузился в литературный спор, кто больше соответствует действительности — футуристы или имажинисты.

Несколько огорчил нас инцидент с Мандельштамом. Он сидел в другом углу комнаты. Вдруг вскочил Блюмкин и завопил: «Я тебя сейчас застрелю!» Он направил револьвер на Мандельштама. Осип Эмильевич вскрикнул. Револьвер удалось вышибить из руки, и все кончилось благополучно.

Мы шли по Арбатской площади, мимо церквушки Бориса и Глеба. Было очень темно, но в окнах копошились слабые огоньки. Вот и Москва, город, на который смотрит весь мир! Здесь нет хлеба, нет угля, людям трудно, но они упрямы, и войну они уже выиграли, пробили путь в историю...

Так я думал по дороге в Третье общежитие. Мне хотелось что-то делать, писать, а главное — ломать прежнее, ломать с душой: теперь я знал, чем оно пахнет.

(Окончание следует)



КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

★

УТРО В ДОНБАССЕ

:

Уже входило утро в русло,
Туманом даль заволокло,
И озеро светилось тускло,
Как запотевшее стекло.

Туман рассеивался мерно.
Вдруг вспыхнул цинковый карниз
На Гидроруднике, наверно,
А может быть, на «пятой-бис».

Так освещались перелески,
Что неожиданно они
То представляли в ярком блеске,
То гасли медленно в тени.

А надо всем пейзажем гордо
Вздymались трубы, высоки,
И дружно прочищали горло
Вдали рабочие гудки.

Звучала песня их большая
Под слабою голубизной
И в мир плыла, не нарушая
Всей соразмерности земной.

:

На угле отпечатана листва,
Стеблей обрывки, веток сочлененья,
Как будто лишь отдельные слова
Погибшего когда-то сочиненья.

Как будто фантастический мороз,
Когда уже все сникло и поблекло,
Узоры эти резкие нанес
На черные зияющие стекла.

Не тысячи, а миллионы лет!
И вдруг под наше небо голубое
Такой простой, понятный сердцу след
Проходчики выносят из забоя.

Выносят это на всеобщий суд,
Обследуя великую планету,—
Торжественно и бережно несут,
Как статую, как редкую монету.

Толпится заступающий наряд,
Хоть люди видят это не впервые.
Рассматривают, спорят, говорят:
«Смотри, смотри, прожилки, как живые!..»

Идет работа, аж земля дрожит,
Садится солнце в степь, за терриконом.
А на столе начальника лежит
Обломок угля рядом с телефоном.



Ф. ИСКАНДЕР

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

В СВАНЕТИИ

* * *

Никогда не позабуду
Этот сванский хуторок.
Он возник, подобно чуду,
Среди каменных дорог.

Здесь эпоха на эпоху
Навалилась впопыхах.
Здесь российскую картоху
Сван сажает на полях.

Край форели и фазана
В пене с головы до пят.
Во дворе любого свана
Свой домашний водопад.

У дороги в диком крене
Хишно замерла скала.
На лугу схлестнулись тени
Самолета и орла.

Океан травы и света
Впятером проходим вброд.
...Домик сванского поэта.
Стой! Хозяин у ворот.

Вмиг откуда-то из чаши
Доставляет мальчуган
Два ведра воды кипящей —
Злой, пузырчатый нарзан.

Ощущают, словно голод,
Жаждой выжженные рты
Сладостно томящий холод,
Холод цинка и воды.

Нанились. Глядим на башни,
Жаркий пот стирая с лиц.
Это сванский день вчерашний
Смотрит из кривых бойниц.

Вот он, дух средневековья,
Романтические сны.
Гордой кровью, глупой кровью
Эти камни скреплены.

А хозяин — дело чести —
Шуткой потчует друзей,
Сдав оружие кровной мести
В исторический музей.

Развалившись на кушетке,
Выбираем тамаду.
Стол ломится, словно ветка
У садовника в саду.

Сколько лиц! Восток и Запад
Льнут к хозяйскому теплу.
Запах трав и дружбы запах —
Лучшей из приправ к столу!

Вместо слов пустых, но зычных
Говорю я напрямик:
— Нас собрал, разноязычных,
Русский ленинский язык.

Наша молодость в зените.
На пиру среди друзей
Вместо скатерти стелите
Карту Родины моей.

Поднимая гост за дружбу,
Как венчальную свечу,
Чокнуться хочу я с Ушбой,
С Ушбой чокнуться хочу!

Потому что чище дружбы
Ничего не знали мы,
Потому что выше Ушбы
Только Ушба, черт возьми!

Между тем на пир из сада,
На слова мои в окно
Ломится горы громада
Вместе с небом, заодно.

Кончил я. Свежеет воздух.
Зябко зыблется туман.
Светляки, а может, звезды
Гаснут, падая в стакан.

ХАШНАЯ

В рассветный час люблю хашную.
Здесь без особенных затей
Нам подают похлебку злую
И острую, как сто чертей.

В земной веселой преисподней,
В демократической хашной
Вчера, вовеки и сегодня
Здесь все равны между собой.

Вот, полон самоотречения,
Сидит, в нирвану погружен,
Провидец местного значенья,
Мудрец и лекарь Соломон.

К буфетчице, к веселой Марфе,
Поглядывая на часы,
Склоняется в пижонском шарфе
Шофер дежурного такси.

В углу намаявшийся с ночи,
Слегка распаренный в тепле,
Окончив смену, ест рабочий,
Дымится миска на столе.

Он ест, спины не разгибая,
Сосредоточенно, молчком,
Как бы лопатой загребая,
Как бы пригнувшись под мешком.

Он густо перчит, густо солит.
Он держит нож, как держат нож.
По грозной сдержанности, что ли,
Его повсюду узнаешь.

Вон рыбаки с ночного лова,
Срывая жесткие плащи,
Ладони трут, кричат громово:
— Тащи горячего, тащи!

Они гудят, смеясь и споря,
Могучей свежести полны,
Дыханьем или духом моря,
Как облаком, окружены.

Сквозь этот грохот непролазный,
Сквозь влажный и густой туман
Плывет поднос лунообразный,
Как изобилия вулкан.

Дымится жирная похлебка,
Сытна бычачья требуха,
Прохладна утренняя стопка.
Но стоп! Подальше от греха.

Горбушка теплая, ржаная,
Надушенная ровно в шесть...
Друзья, да здоровствует хашная!
Поскольку жизнь кипит и здесь.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

И. ЗАБЕЛИН

★

О КУЛЬТУРЕ МЫШЛЕНИЯ

1

Трудно сейчас представить себе, сколько человек знало о законе тяготения Ньютона, скажем, лет через десять после опубликования его знаменитой книги «Математические начала натуральной философии» (она вышла в свет в 1687 году). Бесспорно лишь, что их было очень мало — несколько сотен в лучшем случае. В начале нынешнего века двух слов, начертанных на конверте, — «Европа, Эйнштейну» — было достаточно, чтобы письмо, отправленное из Америки, нашло автора теории относительности.

Глубокое проникновение науки в сознание людей произошло, в сущности, только в течение последнего столетия и особенно усилилось в наше время. Произошло — и удивило, причем удивило настолько, что даже возникли разговоры о неадекватности искусства в век науки и техники, об отставании «лириков» от «физиков»... Я не знаю, кого больше поразила постановка подобной проблемы — представителей искусства или представителей науки. Для меня лично начало споров совпало с окончанием десятилетней работы над монографией, посвященной теоретическим проблемам естествознания, и, честно говоря, самые споры повергли в недоумение. Что искусство, как и наука, играет свою постоянную роль в судьбах человечества — это казалось азбучной истиной.

В свое время Леонардо да Винчи писал, что «живопись есть наука и законная дочь природы», — великому итальянцу была свойственна удивительная цельность мышления, — но и для него, разумеется, были очевидны различия между искусством и наукой, и он понимал, что заменить искусство наукой так же невозможно, как и науку искусством. На этом можно было бы и поставить точку, если бы не появлялись время от времени чересчур категорически настроенные инженеры, готовые с узкоколевой точки зрения отвести искусству место на задворках, и противостоящие им милье девушки, с их красивым, но — увы! — беспомощным лозунгом о ветке сирени в космосе... Ощущение фальши, пронизывающей все эти споры, побудило меня в конце концов попытаться понять, какое значение имело и имеет искусство для науки. Некоторыми соображениями, основанными отчасти на личном опыте, я и хочу поделиться.

Немецкий философ семнадцатого века, пастух и сапожник Якоб Бёме, определил движение как «мучение материи». С таким же основанием слово «мучение» можно отнести к движению мысли, к движению науки, отражающей саморазвитие материи. Люди, активно работающие в науке, по себе чувствуют, что сложность научного творчества отнюдь не уменьшается со временем. Самодвижение, саморазвитие науки как бы изнутри создает все новые трудности. Вот одно из основных противоречий — «мучений», если хотите, — современной науки: при все возрастающей дифференциации знаний все отчетливее становится понимание той истины, что в наше время важнейшие открытия совершаются на стыке разных наук. Как никогда ранее, науке необходимы мыслители типа и масштаба В. И. Вернадского, создателя геохимии и биогеохимии. Но высшая школа готовит, как правило, только узких специалистов «Вернадским». становятся лишь те из них, кто, обладая высокой культурой мышления, сам находит

пути в смежные науки, выдвигает, ставит новые проблемы. Мы вправе гордиться достижениями отечественной науки, но у нас есть все основания ждать от нее новых взлетов.

Имеет ли ко всему этому отношение искусство?

Имеет, и самое непосредственное. Искусство активно влияет на прогресс науки — и об этом необходимо сказать во весь голос, — потому что без искусства не может быть и речи о высокой культуре мышления, а без нее немислима успешная работа в науке.

Чтобы доказать этот тезис, мне придется коротко остановиться на других — более очевидных — признаках культуры мышления.

Как ни парадоксально прозвучит это, но первым и очень важным признаком культуры мышления является умение сознательно ограничивать свои знания. В наш век, когда знания множатся буквально на глазах, ничем не ограничиваемый процесс узнавания может повести лишь к творческому бесплодию ученого, к «эрудиции», за которой не сыщешь и грани самостоятельности в мышлении. Истина эта не нова. Более двух тысячелетий назад великий философ древности Гераклит говорил, что «многознание не научает уму», и противопоставлял многознанию — поэзию, проникновение в скрытую суть вещей, то есть активное творчество. Между тем и в наши дни среди ученых встречается немало людей, владеющих огромным фактическим материалом и не умеющих остановиться, не способных уловить ту грань, за которой следует переходить от сбора материала к его изучению, к проникновению в его суть. Коэффициент полезного действия таких ученых очень невысок — ведь важны не самые знания, а умение использовать их для дальнейшего развития науки.

Ученые редко оставляют свидетельство о трудностях, с которыми им приходилось сталкиваться в процессе тех или иных научных поисков, и мы практически ничего не знаем о «мучениях», пережитых, скажем, немецким ученым Гельмгольцем, одним из создателей биофизики, или нашим ученым Г. А. Тиховым, заложившим основы астроботаники. Но опыт более молодых представителей современной науки свидетельствует, что ученый, вышедший на рубежи двух наук, попадает в сложное положение, и открытия вовсе не сыплются сами собой к нему. Химику, например, «проникающему» в биологию, приходится начинать с азов, учить биологию, и тут совсем просто увлечься узнаванием в ущерб познанию.

Но гораздо серьезнее две глубоко скрытые опасности, поджидающие ученого в сфере «чужой» науки. Первая из них — утрата чувства материала, свойства, приобретаемого постепенно и чрезвычайно облегчающего работу по своей специальности. Вторая опасность — заведомая неспособность критически оценивать материал чужой науки, что может привести к субъективному, тенденциозному отбору фактов и мыслей, то есть к невольному искажению научных идей, дискредитации собственного замысла в глазах представителей «чужой» науки (кстати, очень не любящих подобных вторжений).

Культура мышления предполагает понимание этих сложностей, тем более что они вполне преодолимы. В этой связи следует коротко сказать еще об одном признаке высокой культуры мышления. Я имею в виду сознательное самоограничение в выборе объектов исследования.

Интересного в мире бесконечно много, и каждый новый шаг по лестнице познания открывает все больше и больше любопытного, увлекательного. Разбросанность — давний грех многих ученых. Но под самоограничением я понимаю нечто большее, чем просто последовательность. Самоограничение — это не искусственное отсечение тех или иных проблем, а умение выделить большую сквозную идею и ей подчинить процесс познания, сбор материала. Именно такие большие идеи и выводят чаще всего ученых на рубежи с соседними науками, расширяя тем самым кругозор ученого. Они же, эти идеи, помогут ученому сориентироваться в чужой науке, выбрать лишь тот материал, который так или иначе «работает» на общий замысел: в этом случае материал будет усвоен творчески, то есть речь пойдет не только об узнавании, а об активном познании, переосмыслении материала. Большая, с широкой перспективой идея, рожденная из знакомого ученому материала и выверенная на этом материале, помо-

жет обрести чувство материала чужой науки. поможет обрести способность к его критической оценке.

Чтобы понятнее стала мысль, приведу пример.

Представим себе, скажем, психолога, решившего заняться проблемами исторической психологии, пожелавшего изучить психологическую эволюцию жизни на Земле, приведшую в конце юозов к появлению современного высокоразвитого человеческого интеллекта.

Очевидно, прежде всего ученому потребуется знание современной зоологии, чтобы представить себе особенности нервной системы у разных групп животных, проявление той или иной психической деятельности (от раздражимости до сложных инстинктов и разума) у различных представителей животного царства — от амобы до приматов. Далее ему придется ознакомиться с эволюцией жизни на Земле, то есть заняться палеонтологией. Но эволюцию жизни на Земле невозможно представить вне тех конкретных природных условий, в которых она протекала; они же в историческом аспекте изучаются палеогеографией, исторической геологией, и без использования материалов этих наук ученый не сможет представить себе приспособительную по своему характеру психологическую эволюцию организмов. Наконец, эволюция жизни на Земле имела пространственные фазы, в частности морскую и материковую, ландшафтную. Именно на суше, в суровых и разнообразных условиях, получила первоначальное завершение психологическая эволюция у животных, но эти природные условия на суше изучаются молодой географической наукой — ландшафтоведением. И последнее. Если психолог пожелает проследить, как развивался интеллект человека, ему придется использовать данные археологии, и социологических наук. И уж, конечно, он не сможет обойтись без философии, разрабатывающей методы познания.

В середине двадцатого века невозможно представить себе ученого, который в одинаковой степени был бы специалистом в области психологии, зоологии, палеонтологии, палеогеографии, исторической геологии, ландшафтоведения, археологии, социальных наук, философии. Но использование достижений всего этого комплекса наук при решении большой сквозной проблемы — вещь вполне выполнимая.

Следовательно, при высокой культуре мышления самоограничение в выборе объектов исследования вовсе не сводится к узости, односторонности. Наоборот, односторонность — признак низкой культуры мышления. Самоограничение в научном творчестве допускает сколь угодно широкий охват материала, но необходимость, целесообразность охвата должна диктоваться той проблемой, которую решает ученый.

Большая сквозная идея, на разработку которой уходят многие годы, а то и вся жизнь, естественно, предполагает владение такими элементарными атрибутами научного мышления, как логичность, анализ, синтез. Чрезвычайно важно понимание роли подсознания в творчестве. Высокая культура мышления характеризуется, в частности, экономностью в расходовании нервной энергии, и достигается это главным образом за счет умелого использования подсознания. В несколько упрощенной трактовке взаимодействия сознания и подсознания выглядит так: встретившись с проблемой, которую не удастся сразу решить, ученый до поры до времени волевым актом передает ее в сферу подсознания и переходит к разработке других проблем; через то или иное время подсознание как бы выносит на поверхность готовый ответ, после чего вновь в работу включается сознание — ответ обдумывается ученым, выверяется, шлифуется и т. п. Без разумного использования подсознания невозможно заниматься сразу несколькими проблемами или решать те последовательно возникающие вопросы, которые выдвигаются большой, широкой идеей.

Как ни важны перечисленные выше признаки высокой культуры мышления, но все они, словно в фокусе, сходятся в главном и труднейшем. А главным и труднейшим в научном творчестве является постановка новых проблем.

В одном из стихотворений Гёте утверждает:

Что на свете всего труднее?
Видеть своими глазами
То, что лежит перед ними...

И лишь на первый взгляд слова эти, в которых скрыт глубокий смысл, могут показаться странными. Суть научного творчества сводится к поиску нового, к постоянному усиленно выделить, вычленив, увидеть это новое в окружающем мире. Лишь новые идеи превращаются в те большие научные проблемы, которые способствуют расширению горизонтов науки... Мы привыкли к мысли, что наша современная наука — дело не одиночек, что она коллективна. Это верно, но следует помнить, что коллективно разрешаются уже поставленные проблемы, а постановка новой проблемы хотя и подготавливается общим ходом развития науки, но осуществляется не коллективами в прямом смысле этого слова, а отдельными учеными... Как бы ни была грандиозна и трудна выдвинутая проблема, она будет разрешена, потому что привлечет внимание многих ученых и совместные усилия их непременно дадут положительный результат... Но попробуйте задать природе такой вопрос, какого за все время существования науки никто не задавал ей!

Постановка новых проблем в науке, иначе говоря, выделение новых объектов исследования, требует от ученого некоторых особых свойств, а именно: обостренной зоркости, развитой способности к образному мышлению, умения видеть,— требует «самого трудного на свете», по словам Гёте. Но образное мышление — это преимущественно сфера искусства. Здесь, в самой глубине творческого научного процесса, искусство воссоединяется с наукой, восстанавливается цельность, единство мышления, и искусство оказывает на науку постоянное, все более усиливающееся влияние.

Чтобы шире раскрыть эту вовсе не простую проблему, придется сначала обратиться к языку науки, в котором запечатлена специфика научного мышления.

2

Когда мы пишем или говорим о языке науки, то обычно имеем в виду на редкость тяжеловесный, бесцветный язык научных трудов. Между тем от языка науки необходимо отличать вот этот самый книжный язык, на котором обычно объясняются научные работницы. Язык науки — это язык, на котором наука говорит непосредственно с природой, язык, обращенный к природе, констатирующий в ней те или иные явления. Обычно принято считать, что наука имеет дело только с понятиями, но в основе понятий, если обнажить их корни, как правило, оказывается образ. И язык науки, так же как и язык искусства, образный и подчас очень яркий язык.

Вот примеры некоторых строго научных терминов, почерпнутых из близких мне естественных дисциплин:

Снежный заряд. Пустынный загар (темная корка на поверхности скал). Солнечная корона. Вечная мерзлота. Роза разломов. Бараньи лбы. Курчавые скалы (результат деятельности ледников). Профиль ветра. Солнечный ветер (поток протонов, идущий от Солнца). Дождевая тень. Ленточные глины. Зеркало скольжения. Звездный дождь. Живое сечение (реки). Ледниковый щит. Угольные мешки (темные участки звездного неба). Висячая долина. Поющие пески. Мертвая зыбь. Роза ветров. Вулканические бомбы. Ветровой поток. Шепот звезд. Атмосферный фронт. Останец. Млечный Путь. Предгорный шлейф. Конус выноса. Медальонные пятна (обнаженные участки группы в тундре). Флаговые деревья. Блокированные дельты. Запертый горизонт (подземная вода). Гольцы. Крылья складок. «Кающиеся грешники» (формы выветривания на поверхности ледников). Вулканическая пробка. Барьерный риф. Ледниковые мельницы. Озоновый экран. Живое вещество. Вересковая пустошь. Водосбор. Струйчатые потоки (в атмосфере). Перистые облака. Прилавки (формы предгорий в Средней Азии). Столовые горы. Седловина. Кулисы. Цирк. Терраса. И т. п.

В терминах этих мир запечатлен в образной форме, таким, каким увидели его ученые. Наука и начинается с видения, но содержание ее составляет истолкование и виденного. При истолковании образы начинают либо расчленяться (возникают частные понятия), либо, наоборот, подводиться под более общие категории. Язык науки при этом усложняется, и новые понятия в некоторых случаях сохраняют образную основу, в некоторых — утрачивают ее. Например, при описании солнечной короны можно встретить такие термины, как «полярные щеточки», «корональные линии» (об-

разная основа их очевидна), и такие, как «фраунгоферовы линии», «эффект Доплера» (эти понятия восходят к истории науки). И бараньи лбы, и курчавые скалы, и всячая долина, и столовые горы, и кулисы — это все рельеф. В общем понятии этом, заимствованном из французского языка, образная основа скрыта очень глубоко и с первого взгляда незаметна.

Наибольшие языкотворческие трудности встают перед учеными как раз в тех случаях, когда нужно дать всеохватывающий термин для какой-то группы увиденных предметов, назвать общее понятие. К «спасительным» словам из чужих языков, чаще всего греческого или латинского, прибегают, как правило, в процессе вот таких «родовых мук». Слова эти сушат, темнят язык науки, скрывают туманом его образную основу. И в то же время обойтись без них подчас невозможно. Как это ни грустно, но точный, всем понятный смысл слова из родного языка часто мешает ученому использовать его для обозначения нового понятия. Другое дело слова, за которыми нет никаких разговорно-бытовых традиций... Рельеф в дословном переводе означает «выпуклость». Но формы рельефа могут быть вогнутыми («отрицательными»). Представьте, что вы отказались от термина «рельеф» и пишете о «вогнутых выпуклостях»... Бессмыслица, но о «вогнутых выпуклостях» в геоморфологической литературе пишут все время, только выпуклости там названы «рельефом», и ни у кого не возникает никаких сомнений... Термин «Галактика» (по отношению к нашей звездной системе) переведен на русский и заменен термином «Млечный Путь». Но в астрономии есть такое, например, понятие — «внегалактические туманности». В дословном переводе это означает «внемолочные туманности», то есть бессмысленно с семантической точки зрения. В чужезычном звучании это не мешает, но перевести нельзя...

Подвергается изменениям, к сожалению, и первичный образный язык науки. Объяняется это, в общем, просто. Кочуя из книги в книгу, понятие постепенно теряет первоначальную зрительную свежесть, термин становится лишь символом, обозначающим достаточно сложное явление, и тогда педантичные умы обнаруживают несоответствие между символом и его содержанием и стараются заменить термин более подходящим. В наши дни усиленно изживается, например, прекрасный, емкий, созданный народом термин «вечная мерзлота» — его заменяют нудной «многолетней мерзлотой» (ничто, так сказать, не вечно под луной). «Угольные мешки» — это уже «устаревший» термин...

Итак, язык науки сложен, разнообразны пути его формирования, далеко не просто обнаруживаются первоэлементы научного языка. Его эволюция сопровождается не только приобретениями, но и потерями. Но закономерный переход от образного видения к логическим категориям достаточно хорошо прослеживается на языковом материале. Наука может начинаться и с образа, а способность ученого ставить новые проблемы прямо зависит от его умения видеть, от его зоркости. Но чем воспитывается умение видеть?

3

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо хотя бы коротко сказать о важнейшей общественной функции искусства.

Мы много говорим о значении искусства, о том, что искусство должно воспитывать народ, создавать нравственные, моральные законы общества, учить прекрасному. Все это верно — за искусством навсегда сохранится роль нравственного и эстетического воспитателя народа. Но есть у искусства еще одна чрезвычайно важная функция.

Если бы искусство занималось только воспитанием нравственности, морали, едва ли возникла бы еще в древности проблема «искусство и власть», проблема, имеющая столь трагическую историю в отечественной, русской литературе. Вспомним Радищева, Пушкина, Лермонтова, Полежаева (я уж не говорю о писателях, непосредственно связанных с революционным движением, — Рылееве, Бестужева-Марлинском, Чернышевском, Михайлове)... Ни один самый отъявленный Людовик, ни один абсолютный монарх никогда не стал бы протестовать против того, чтобы поэты проповедовали нравственность среди приближенных, воспитывали их, прививали им хороший вкус.

Дело, стало быть, в ином. Да, искусство воспитывает. Более того, оно сыграло

и продолжает играть выдающуюся роль в психологической эволюции человечества. Но главное в искусстве то, что оно учит людей видеть, развивает зоркость и прежде всего социальную зоркость.

Однако развитие и обострение социальной зоркости как раз и не устраивало властителей. Они требовали от искусства, от поэтов обратного: социального тумана песнопений, золотистой мишуры, блеск которой помешал бы народу разглядеть подлинное лицо владыки. И придворное «искусство» (если его позволительно называть искусством) всегда специализировалось на притуплении социальной зоркости, то есть оно всегда было враждебно настоящему искусству.

Способность видеть, умение видеть — вообще категория историческая, изменяющаяся, совершенствующаяся по мере развития человечества; это и понятно, поскольку видение — процесс мыслительный, непосредственно зависящий от уровня мышления. «Орел видит значительно дальше, чем человек, — писал Ф. Энгельс, — но человеческий глаз замечает в вещах значительно больше, чем глаз орла», и это прямо зависит от степени развития центральной нервной системы, мозга. С иным диапазоном различий, но то же самое можно сказать о зрении первобытного человека и современных людей.

Вот тому несколько примеров, касающихся последовательности освоения людьми цветовой гаммы. А. Е. Ферсман писал по этому поводу: «Исторические исследования привели к выводу, что освоение цветов человеком шло в такой последовательности: желтый, красный, зеленый и синий. Первыми цветами, которые осваиваются ребенком и малокультурными народами, являются желтый и красный. Синий цвет воспринимается значительно позднее». Так, по исследованиям лингвистов, древние евреи и китайцы не знали синего цвета (нет соответствующих понятий в языке).

Отсутствует синий цвет и в поэмах Гомера. В «Одиссее» сказано, например: «Остров есть Крит посреди виноцветного моря, прекрасный...» То есть современники Гомера видели море желтовато-золотистым, хотя именно для Средиземного моря, омывающего Крит, характерны чистые синие и голубые тона. Но уже несколько веков спустя, в конце архаического периода (шестой век до н. э.), греческие скульпторы использовали при раскраске статуй ярко-синий цвет. По наблюдениям Н. Н. Миклухо-Маклая, папуасы, живущие среди зеленого тропического леса, не умеют различать зеленого цвета. Еще сравнительно в недавнем прошлом в туркменском языке зеленый и синий цвета обозначались одним словом...

Но в процессе исторического развития обострялась не только способность людей различать цвета, а вообще — видеть, выделять из окружающего мира предметы и запоминать их. Последнее важно подчеркнуть, потому что при обострении зоркости развивается не только способность непосредственно видеть, расчленять мир на предметы, явления, но и способность сохранять в памяти образ увиденного. В целом человечество становится все более зорким, а зрение людей — все более «микроскопическим»; в окружающей нас действительности мы видим, осознаем гораздо больше предметов, красок, чем наши предки двести или триста лет назад.

Естественно, что решающее влияние на зоркость человечества оказывает его трудовая, производственная деятельность, но в сфере мышления именно искусство целенаправленно воспитывает зоркость, умение видеть и сохранять в памяти увиденное в форме образов... Будучи человековедением, искусство, в особенности литература, нацеливает глаз человека прежде всего на общественные явления, на самих людей.

Эта общественная функция искусства — воспитание зоркости, в том числе социальной зоркости, — сохранится за ним навсегда. В наши дни в социалистических странах на искусстве лежит ответственность за воспитание зоркости по отношению и к едва проклюнувшимся росткам будущего и к скрытым плотной корой, внешне незаметным червоточинам прошлого. В коммунистическом обществе роль искусства в этом смысле непременно возрастет: в обществе, лишенном социальных контрастов, от людей потребуются еще более высокая степень зоркости, чтобы своевременно заметить и поддерживать новое, заметить и безболезненно устранить элементы старого, уходящего.

Стало бы, инженерам, выступающим против искусства, можно ответить: воспитание зоркости, и прежде всего социальной зоркости, — вот основная и постоянная функция искусства, уменьшить значение которой не смогут никакие достижения науки.

Искусство и наука занимают свои определенные места на переднем крае человеческого прогресса, и самая постановка вопроса об отставании искусства от науки неправомерна по существу.

Продолжая же разговор о значении искусства собственно для научного прогресса, без особого труда можно прийти и к более радикальным выводам.

4

Если постараться в широком историческом аспекте проследить взаимоотношения искусства и науки, если постараться хотя бы приблизительно представить себе, какое место занимали в общем процессе познания художники и ученые, то окажется, что художники, как правило, были зорче современников-ученых, но следующие поколения ученых, вбиравшие и опыт художников, создавали более глубокие и цельные концепции, чем оказывалось это по силам художникам — разведчикам будущего.

Эпоха первоначального капиталистического накопления в Англии имела двух ярких выразителей — поэта Вильяма Шекспира и философа Френсиса Бэкона. Посмертное недоразумение, выразившееся в приписывании Бэкону трагедий его современника Шекспира, помимо классовых предрассудков некоторых фанатиков, имело и ту «подоснову», что в мировоззрении поэта и философа было много общего, сходного. Шекспир с гениальной силой изобразил эпоху, а Бэкон попытался объяснить ее. В данном случае образ и логика шли, так сказать, рука об руку; теперь, столетия спустя, философию той эпохи можно изучать по сочинениям и Шекспира и Бэкона, но в целом первые дают больше, потому что зоркость поэта превосходила зоркость философа.

Ф. Энгельс писал, что из «Человеческой комедии» Бальзака он «даже в смысле экономических деталей узнал больше... чем из книг всех специалистов — историков, экономистов, статистиков этого периода, вместе взятых». Да, молодой европейский капитализм был разносторонне и глубоко просвечен необычайно зорким глазом Бальзака. Но сущность капитализма, законы капиталистической экономики были вскрыты несколько позднее Марксом и Энгельсом... Недавно на одном искусствоведческом совещании советский ученый Э. Ильенков высказал примечательную мысль: известно, что у марксизма было три теоретических источника — французский материализм, английская политическая экономия, классическая немецкая философия; но был, можно сказать, у марксизма, сказал Ильенков, и еще один — эстетический — источник: предшествующее искусство, античные авторы, Шекспир, Данте, Мильтон, Гёте, Бальзак. Для того чтобы в хаосе капиталистической экономики увидеть ее закономерные основные черты, от основоположников марксизма потребовалась колоссальная зоркость, высокая способность к образному мышлению, воспитанные в них искусством.

В. И. Ленин называл Льва Толстого «зеркалом русской революции». Социальная художническая зоркость Толстого позволила ему раньше других увидеть и запечатлеть ее черты. Но аналитиком и теоретиком русской революции стал сам Ленин. Разумеется, взаимоотношения художника и мыслителя в этом случае, как и во всех других, нельзя толковать прямолинейно, упрощенно. Ленин в своих выводах основывался на изучении, анализе действительности прежде всего. Но среди источников ленинизма, называя в первую голову марксизм, мы не имеем права забывать и о русском искусстве, десятилетия бившем в «колокол на башне вечевой», не имеем права забывать, что Толстой все-таки был «зеркалом революции», и указал на это сам Ленин.

Стало быть, мировоззрение эпохи, а тем более мировоззрение выдающихся деятелей науки или искусства, формируется наряду с другими факторами и искусством; оно не только выражает или отражает те или иные философские и научные концепции, но и подготавливает их, формируя, воспитывая и обостряя умение видеть.

Наконец, тесный союз, взаимовлияние образности и логики отчетливо прослеживаются и в сфере индивидуального творчества.

Гераклит в основу своей философии положил тезис: «Огонь — первооснова всего, все из огня». Все из огня! Что это, образ или мысль, искусство или наука? Вдумайтесь, сколько яркой фантазии, экспрессии в этом изначальном тезисе Гераклитовой фило-

софии! Лишь поэт и ученый мог выдвинуть его, и наука здесь неразрывно слита с искусством.

Разве не художническая зоркость помогла Гёте увидеть в цветке измененные листья?.. Но это открытие поэта положило начало сугубо научной дисциплине — морфологии растений.

Французский естествоиспытатель Ж. Кювье говорил: дайте мне зуб ископаемого животного, и я восстановлю по нему облик животного,— говорил и неоднократно доказывал это. Да, в основе таких экспериментов Кювье лежал блестяще разработанный им же сравнительно-анатомический метод, но не менее очевидно, что Кювье в высокой степени было присуще образное мышление, что облик ископаемых животных мог быть восстановлен лишь при неразрывном союзе образности и логики.

Я убежден, что для А. Эйнштейна, говорившего, что Достоевский дает ему больше, чем любой научный мыслитель, скрипка была не только любимым музыкальным инструментом, но и в какой-то степени инструментом познания. Музыка — наиболее отвлеченная форма образного мышления — развивала, формировала исключительную способность Эйнштейна к отвлеченному мышлению. Представление о времени, зависящем от скорости движущегося тела, от скоплений материи,— все это родилось не только с помощью научного анализа.

Осознается ли это учеными или не осознается, но без всего предшествующего нашим дням искусства невозможна была бы современная наука. Да, если на секунду представить невероятное — что в истории человечества никогда не было поэзии,— то можно смело утверждать, что сегодня у нас не было бы и тех блестящих научных достижений, которыми мы по праву гордимся. Не потому, разумеется, что ученый А. не может жить без стихов поэта Б., а потому, что современная наука не может развиваться без высокой способности ученых к образному мышлению; воспитывается же образное мышление поэзией, искусством. Чем дальше проникает ум человека в космос, чем глубже погружается в атом, тем выше становятся требования к культуре мышления, основу которой составляет умение видеть, мыслить образами.

Сейчас наука подошла к постановке проблем, вероятно самых сложных за всю ее историю. Я имею в виду природу времени и пространства. Мы все давно признаем, что время и пространство суть формы существования материи, но форма всегда активна, и, следовательно, правомерна постановка вопроса об особой активной роли времени и пространства в судьбах вселенной. Невозможно сейчас сказать, кем и как будет разрешена эта проблема, но совершенно очевидно, что даже приблизиться к ее решению не сможет тот, у кого не будет за плечами всего тысячелетнего опыта искусства, кто не будет в совершенстве владеть и образным мышлением.

Потенциал искусства в жизни человечества уже настолько велик, что возможное временное «отставание» тех или иных его областей не сказывается в прямой форме на развитии науки — оно компенсируется уже накопленными духовными ценностями.

Но советской литературе вообще нет нужды прибегать к образному мышлению происходит не только с помощью великих образов.

Можно сколько угодно спорить о наличии или отсутствии бессмертных творений в нашей литературе, в нашем искусстве, но и те, кто сегодня штурмует космос, и те, кто проникает в глубины атома, обязаны своими успехами не только общим достижениям науки, но и той литературе, тому искусству, которое незаметно, исподволь воспитывало их образное мышление с детских лет.



ЖУБАИЩИСТИКА

Д. ДАНИН

★

МАТЕРИАЛ И СТИЛЬ

Никто не удивляется, когда читатель разговаривает о литературе: она для него создается. Но как назвать «потребителя» архитектуры? Зрителем? Мало. Жильцом? Смешно. Современником?.. Слишком торжественно и неточно. Может быть, в том, что тут нельзя найти верного ограничивающего определения, есть свой глубокий смысл. Общение с архитектурой дается людям даром: она не требует ни времени для чтения, как книги, ни посещения выставок, как живопись, ни молчаливого присутствия в концертных залах, как музыка. Нужно лишь быть — существовать на земле и двигаться по ней, чтобы волей-неволей стать живым потребителем этого самого демократического искусства, Живым и заинтересованным. И право говорить об архитектуре или по крайней мере думать о ней дается человеку так же естественно, как право видеть; она создается для живущих.

Хочется воспользоваться этим правом.

Суховато звучит техническое выражение «сборный железобетон». От него не веет домашним уютом и человеческим теплом. Между тем скрыто за этим выражением уже столько отшумевших новоселий и столько будущих, что оно должно бы звучать для нас воодушевляюще радостно.

Впрочем, надо сказать об этом нечто большее.

Наш век по справедливости называется веком атома и космонавтики, хотя полное овладение ядерной энергией и полеты к другим мирам — дело завтрашнего дня. Города будущего — тоже дело будущего. Но возникают они сегодня. И потому уже сегодня стоит присоединить к блистательным определениям нашей эпохи еще и скромное, вполне земное, прозаическое — «век индустриального домостроения». С заводским изготовлением домов, со сборным железобетоном, с новыми конструктивными материалами связаны судьбы нынешнего великого градостроительства.

Ныне и вправду счет идет не на дома, а на города. Мы строим теперь ежегодно больше квартир, чем Соединенные Штаты и Англия, Франция и Западная Германия, Швеция и Голландия, Бельгия и Швейцария, вместе взятые. У нас осуществляется небывалая по грандиозности цель — создать полноценное жилье для всех. Полноценное и для всех! — вот что беспримерно. И право же, возведение любых дворцов, сооружение самого необыкновенного Версаля по чертежам самого талантливого Ленотра — дело ничтожное не только для экономики государства, но и для искусства архитектуры по сравнению с претворением в жизнь этой благороднейшей и труднейшей программы: дать миллионам людей пережить «великое и сладостное событие» долгожданного новоселья. (Великим и сладостным однажды назвал это событие П. Павленко, когда рассказывал о возрождении жизни на искалеченной войной земле.)

Каким быть дому? Каким быть городу?

Эти вопросы так или иначе волнуют всех. Одних — больше, других — меньше, но равнодушных тут не найти. Уже не надо объяснять почему.

Запомнилось, как в году тридцатом, когда перспективы будущей Большой Москвы

широко обсуждались на клубных собраниях, один москвич — рабочий с «Динамо» — высказал, казалось бы, ни с чем не сообразную мысль: «Я настаиваю на вынесении жилища за город». Никто не посмеялся над этой странной градостроительной идеей, хотя была она так же наивна, как детское недоумение: «Почему города не строят за городом, там столько зелени?» Дело было не в том, что предложение динамовского рабочего не могло быть реализовано. В его энергичных словах «Я настаиваю!» звучала законная требовательность человека, осознавшего себя в новом обществе мерой всех вещей. Его выступление было напечатано. «Мы ведь боролись за лучшую жизнь, за социализм, надо строить так, — говорил он, — чтобы не забывать о человеке, который создает все».

В сущности, к этому всегда сводились и сегодня сводятся все размышления современников о нашей архитектуре и нашем градостроительстве. Не забывать о человеке! — вот и все. Но это «вот и все» так же неисчерпаемо, как человеческие потребности. А среди них есть одна, о которой говорить всего труднее, потому что ее не выразить в цифрах и не расчленишь на простые составные части; извечная и изменчивая потребность человека в красоте.

Вообще-то говоря, может показаться, что будущий новосел не так уж серьезно озабочен удовлетворением своих эстетических чувств. Вообразите москвича, поставленного перед выбором: вот вам две совершенно одинаковые квартиры, одна — в замечательно красивом доме, однако без мусоропровода, а другая — в доме уныло уродливом, но с мусоропроводом великолепного устройства... Что выберет московский старожил, уставший от перенаселенности и неудобств старого логова, которое он наконец покидает! Наверняка мусоропровод он предпочтет гармонии прекрасных пропорций. Отчего же? Оттого, что красота ему безразлична? Просто все остальное, очевидно, насущно необходимее, раз уж приходится выбирать. Красотою можно утешиться и на стороне, созерцая соседние дома, улицы и площади города, а созерцание чужого мусоропровода не заменяет этого бытового удобства.

Так, может быть, справедливее и вернее не ставить людей перед таким выбором? Тем более, что красота дома, живописность квартала, прекрасное в облике города — это предмет не только личного потребления. Это общественное достояние. Оно равно принадлежит и тем, кто поселится в этом доме, в этом квартале, в этом городе, и тем, кто вовсе там не живет. Не надо быть жителем Еревана для того, чтобы радоваться его новым зданиям из многоцветного туфа. И не надо быть прописанным на Крещатике для того, чтобы не испытывать удовольствия при виде многоэтажных каменных тортов, выставленных совсем как на витрине на одной стороне знаменитого киевского проспекта. Больше того — красоты городов принадлежит и нам, современникам, и тем, кто придет после нас.

«Город рождает радость или отчаяние, гордость или возмущение, безразличие, отвращение, бодрость или усталость. Это зависит от выбора форм». Так некогда писал Корбюзье, который вопреки предубеждению, когда-то прочно установившемуся у нас, говорил гораздо больше бесспорно правильных вещей, чем это кажется. Можно ли не согласиться с только что приведенной его мыслью?

Эстетическая сторона заботы о человеке волнует тем больше, чем шире сама эта забота. А в дни поточного строительства, в дни заводского домостроения как быть с этой эстетической стороной? Красота, по общему убеждению, неповторима, а продукция строителей сегодня так массова, как никогда. Нет ли тут безвыходного противоречия? Не обречен ли «век индустриального домостроения» стать эпохой утраченного архитектурного своеобразия?

1

Сначала о главном в индустриальности — о сборном железобетоне...

Мне случилось писать об этом предмете тогда, когда внедрение сборности в наше жилое строительство только еще начиналось. Хотелось без скучных технических доводов рассказать о естественности и неизбежности появления этого громоздкого строительного материала. Хотелось без утомительных экономических показателей дать

почувствовать его прогрессивность, его благо для домостроения. И мне пришло в голову, что все это станет ясно само собой, если хоть на минуту задуматься над происхождением размеров тех вещей, которые окружают нас в обыденной обстановке.

Стол, стул, шкаф, молоток и книга, стакан и карандаш... Человек задумывает и создает неодушевленный мир сопутствующих ему вещей «себе по росту». Этот человеческий масштаб, который открывается на каждом шагу, долго — веками! — властвовал и над техникой. И люди остро осознавали ограниченность этого масштаба только тогда, когда он резко нарушался.

Так было с египетскими пирамидами. Так было с циклопическими стенами греческих городов времен «микенской культуры». Сложенные за полторы тысячи лет до нашей эры из громадных каменных глыб, эти стены поражали все последующие поколения строителей именно непонятностью своего масштаба: нельзя было поверить, что их могли сложить обыкновенные люди. И долго не удавалось технически расшифровать этот масштаб. Преодоление человеком своей физической ограниченности было такой поразительной редкостью в ту пору, что легенда приписала сооружение стен Тиринфа и Микен одноглазому великанам-циклопам, пришедшим откуда-то из-за моря...

Для технической расшифровки даже грандиозных построек из кирпича придумывать легенд никогда не надо было — человеческий масштаб тут обнаруживался и обнаруживается сразу.

Самое удивительное — устойчивость размеров этого искусственного, человеком изобретенного камня. Из сырцового кирпича складывались стены домов уже во времена Гомера. Из обожженного кирпича уже тысячу лет назад строили на Руси церкви и палаты. Миллиарды штук кирпича идут в строительное дело еще и сегодня. А размеры его оставались и остаются почти неизменными. «Государев кирпич» XVII века немалым длиннее и толще нашего современного, а по ширине они и вовсе не различимы. Отчего же? Ведь как решительно менялись на протяжении веков самые типы кирпичных зданий!

Все дело в том, что о размерах кирпича нельзя говорить — малы они или велики. Они удобны: человек создал этот камень «себе по руке». Большомерный кирпич XV столетия недаром назывался кирпичом «большой руки». Большой, но все-таки — руки! И неспроста именно ширина оказалась самым консервативным из трех измерений в этих брусках обожженной глины: ладонь каменщика из века в век оставалась все той же человеческой ладонью.

Но никогда не оставалась «все той же» человеческая мысль. Она всегда искала пути преодоления того ограниченного масштаба, который задала человеку природа. И может быть, самая замечательная черта научной и технической революции нашего времени — это окончательное расставание человека, расставание во всем и навсегда, с извечным масштабом собственных мнимых малых возможностей.

Теория относительности и механика микромира сообща преодолели ограниченность человеческого воображения и, как прекрасно сказал академик Л. Ландау, позволили познающему разуму свободно работать там, где воображение уже бессильно помочь ищущей мысли ученого.

Создания кибернетики и электроники — современные счетные машины — сделали смешным незбылемое убеждение, что нет на свете ничего быстрее физиологического процесса мысли.

Радиолокация и радиотелескопия наделили человека «вторым зрением», несравненно более могущественным, чем первое.

Такое перечисление можно продолжать без конца. И в каждой его строке будет жить удивленная душа современного человека, сознающего, что ему, малому и физически такому ограниченному, оказывается и вправду все по плечу. Сказки не обманули человечество. И пусть не покажется преувеличением, что в этом перечне найдется место и для такой прозы, как сборный железобетон.

На просторной асфальтовой площадке высится пролет домово́й лестницы. Рядом — стена высотой в этаж. В стене — вырез незастекленного окна. Чуть поодаль — гладкая бетонная плита, готовая стать основанием комнатно́го пола.

Лестница поднимается вверх. Стена стоит. Пол, как должно, покоится горизонтально. Но двенадцать каменных ступеней лестничного марша пока никуда не ведут. Заглядывать снаружи в оконный проем стеновой панели бесцельно — за ним нет еще комнаты. А над плитой будущего пола нет потолка... Но это вовсе не руины, а нечто прямо противоположное — части еще не рожденного дома.

Эта не защищенная от дождя и снега демонстрационная площадка Постоянной Всесоюзной строительной выставки отлично демонстрирует, что такое современный строительный материал.

В ее экспонатах живет дух современности, не замутненный ничем стародавним, дедовским, убогим, что еще в таком обилии встречается на реальных строительных площадках.

Человеческим масштабом, конечно, и сегодня не может не обладать жилия комната. Но разве это верно и по отношению к материалу ее стен? В эпоху высочайшей техники малая и слабая человеческая рука, по которой некогда был создан кирпич, уже не должна своей слабостью и малостью диктовать никаких условий строительной индустрии. У современного человека-строителя есть теперь другая — сказочно сильная — рука!

Подсчитано: мощность человека средней физической силы — примерно одна двадцать седьмая киловатта. А общая мощность электродвигателей скромного, самого распространенного башенного крана — примерно тридцать киловатт. Это то, чем владеют почти девятьсот пар рабочих рук. А «ширина ладони» у стальной руки такого крана вообще не может быть определена даже таким сравнением: эта ладонь ухватит и положит на нужное место на нужной высоте деталь любого размера. Стоит ли подсчитывать возможности стальной руки других — многотонных — кранов?

Сборный железобетон — искусственный камень, создаваемый по этакой небывало могучей, циклопической руке современного человека-строителя. Заводские глыбы, в которых нет ничего легендарного! Нынче это будни бесчисленных строек. Дом делается на заводе, на строительной площадке он только монтируется. Надо ли доказывать то, что уже доказала жизнь: в этих двух словах — «сборный железобетон» и шире — «индустриальное домостроение» — действительно заключена судьба нынешнего великого градостроительства, его размах, его темпы, его экономичность...

А его эстетика?

От индустриальности архитектору-домостроителю уже никуда не уйти. И чем дальше, тем власть новой техники и нового материала будет становиться все деспотичнее. Между тем кажется, что подчиняться ей трудно, потому что она навязывает стандарт. Но настоящей радостью для всякого ищущего архитектора было всегда — работать в самых прогрессивных материалах своего времени и самыми прогрессивными методами. И, подчиняясь их требованиям, выявлять скрытые в них возможности.

Русское слово «зодчий» происходит от древнеславянского «зед» или «зод», что означало — «глина». Не следует ли отсюда, что искусство строителя впервые проявилось наиболее ярко, когда глина стала главным строительным материалом? Стены глинобитных домов возводились простейшим способом: люди ставили «щит» (это мог быть плотный плетень или тесанные топором доски), потом, отступая на заданную толщину стены, — другой «щит», а пространство между ними закидывали глиной. Затем принимались трамбовать ее ногами, пока она не начинала держать человека. Тогда ей давали время окрепнуть, потом щиты поднимали выше и набивали новый слой. Постепенно вырастала монолитная стена... Много веков спустя бетон повторил судьбу глины. По тому же принципу возводились на нашей памяти монолитные железобетонные сооружения. В старых кинохрониках можно увидеть, как и бетон трамбовали ногами. Но и позже, при высокой технике строительства, принцип работы был совершенно тот же: заданная форма заполнялась пластическим материалом, и он принимал ее очертания. Сооружение из монолитного бетона отливалось, как статуя из гипса. Говоря грубо, но довольно точно, каждое строение воздвигалось при этом как бы дважды и оба раза в натуре: сперва — в материале опалубки, потом — в самом бетоне, когда он заполнял эту приготовленную для него деревянную или иную форму.

Так в нужных случаях — а пока еще не все можно соорудить из сборных деталей — поступают и сейчас: иначе не сделать текучий пластический бетон послушным.

Природа такого расточительства не знает. Она не тратит времени и сил на двойную работу: она не создает сначала полый макет дерева, а потом само дерево, сначала русло, а затем реку. Внешнюю форму она не творит отдельно, и потому-то форма в ней всегда необходима и содержательна.

Человек-строитель давно догадался, что и он может избежать двойной работы в натуре. В незапамятные времена его осенила простая догадка, что глину можно утрамбовать заранее, разрезать на равные куски и складывать стену из таких кусков равно-великого искусственного камня. И зодчий, который начал с того, что возился с «зодом», разве не испытал он великой радости оттого, что в руках у него появился новый, несравненно более прогрессивный материал — кирпич? И сколько прекрасного создал он из этого материала!

В наши дни бетон снова повторяет судьбу глины. Глина стала сперва кирпичом-сырцом, потом — кирпичом обожженным. Бетон стал сперва монолитным железобетоном, потом железобетоном сборным. Так не суждено ли и нынешним зодчим испытать новую радость оттого, что наше время дает им в руки новый материал, какого не знали их предшественники?

2

У архитектуры и завидный и опасный удел: ее удачи и ее провалы в равной степени у всех на виду. Дурную книгу можно не читать, скверную картину можно убрать с глаз долой, но уродливое здание возникает на твоём пути с неумолимой обязательностью — его не сдвинуть и не обойти...

Так остаются и сегодня у всех на виду подвергнутые шесть лет назад жесточайшей критике, к сожалению, уже воплощенные в камне и ставшие принудительно бессмертными нелепые заблуждения многих наших архитекторов. Вместо того чтобы искать язык современности, они на протяжении почти четверти века изъяснялись то по-церковнославянски (и это нередко называлось «продолжением национальных традиций»), то на старых итальянских наречиях и ложноклассическом жаргоне (и это часто называлось «овладением классическим наследством»), то на каком-то приторном кондитерском диалекте (и это все называлось «жизнеутверждающим началом»).

Самое печальное, что так понимали свою задачу отнюдь не новички, а многие прославленные мастера нашей архитектуры. Конечно, они могли бы возразить, что именно таков был «заказ» или «спрос». Об этом явлении прекрасно, с очевидным знанием дела сказал первый секретарь Астраханского обкома партии И. Ганенко в статье, опубликованной журналом «Октябрь» весной 1960 года: «Стремясь потрафить потребителю, то есть тому или тем, кто имеет право определять, «что такое хорошо и что такое плохо», архитектурный ремесленник лепил, где нужно, а чаще, где не нужно, колонны, портики, эркеры и прочие атрибуты архитектурной классики, сдабривал все это возможно большим количеством мелких архитектурных деталей — и фасад готов».

— Нас легко теперь обвинять,—могли бы ответить многие мастера, ставшие ремесленниками,—по ведь то была не столько наша вина, сколько наша беда!

Может быть, это и верно... Вспоминается 1934 год. Я был тогда студентом Московского университета и каждый день дважды проходил мимо лесов, закрывавших фасад жилого дома на Моховой, между гостиницей «Националь» и университетским зданием. Когда леса были сняты, все увидели нечто вроде итальянского палаццо времен Возрождения. Правда, палаццо неестественной высоты, явно нуждавшееся в электрических лифтах, чего во времена Возрождения люди делать еще не умели.

Фасад этого жилого дома мастерски сработал знаменитый академик И. В. Жолтовский. А один критик архитектуры назвал тогда странный дом на Моховой «высеченным из камня памятником политике партии». Журнал «Строительство Москвы» согласился с этой оценкой. Да и вообще никто не опроверг такую ни с чем не связную похвалу. Напротив, реставраторская идея И. В. Жолтовского с самого начала

была подкреплена могучей сметой, утвержденной кем-то, кто, по приведенному выше выражению, «имел право определять, «что такое хорошо и что такое плохо». Ведь это строилось на государственные деньги! И не было ничего удивительного в том, что на долгие годы всяческая стилизация «под классику» (под любую классику!), освященная громадным авторитетом заслуженного академика, который сам был совершенно искренен в своем классицизме, оказалась окруженной видимостью общественного признания.

Между тем тот же архитектурно-строительный журнал в той же статье сетовал, что «абстрактная идея фасада» вовсе не отвечала скромному назначению жилья. Автор сам уверял, что фасад «задушил планировку дома». И никто не скрывал, что ручная штучная работа занимала при возведении этого здания такое большое место, что не могли быть применены ни передовая строительная техника, ни прогрессивные материалы того времени... Словом, дом на Моховой мог бы служить только крайне запоздалым памятником старине, а объявлен был памятником нашей эпохи!

Я уже упоминал по необходимости, что несколько лет назад мне случилось писать «заметки» о сборном железобетоне, а следовало бы сказать — по счастью — вилось. Было это в 1954 году, как раз в ту пору, когда с трибуны первого Всесоюзного совещания строителей в Кремле прозвучал призыв к борьбе с излишествами в архитектуре. На любой московской стройке, в конструкторских бюро, в архитектурных мастерских, на строительной выставке, в цехах Краснопресненского гиганта железобетонных изделий, даже на утомительных заседаниях в Моспроекте — всюду ощущался тогда дух обновления. И быть свидетелем начала многообещающего поворота в нашей архитектуре и градостроительстве было удивительно радостно. То ощущение было столь глубоким, что не выветрилось и даже не ослабело с годами... Многие, что тогда приходило в голову, повторяется, естественно, и в этой статье. Но кое в чем существенном хочется уже и спорить с самим собой.

В том очерке я написал все те слова о доме на Моховой, что сказаны и здесь. Однако тогда думалось всерьез, что выдающиеся наши архитекторы и вправду могли сослаться в свое самооправдание на «заказ» и «спрос», что их грехи и вправду были только их бедой, а не виной. Казалось, что любой из мастеров с чувством облегчения сбросит груз былых «вынужденных ошибок» и смело выйдет на открывшийся перед ним простор для истинных исканий. Чудилось, что все с наслаждением перестанут заниматься архитектурными цитатами из прошлых веков, обрадованные правом писать свой собственный текст...

Не верилось, что известному академику архитектуры Л. Полякову может искренне нравиться построенная им на Каланчевке гостиница «Ленинградская». Неужели самому архитектору не казалось странным зрелище, которое предстало перед москвичами, когда они смогли заглянуть в открывшиеся двери гостиницы? В вестибюле они увидели золотые врата (не ворота, а именно врата!). Сквозь их ажур проступали в глубине парадного холла очертания алтаря. А белые стены, выложенные мрамором на всю высоту, рождали нелепую иллюзию, будто непонятный алтарь находится в столь же неуместном бассейне. И думалось, что сам архитектор должен был наверняка испытывать смущение от сознания, что это он сделал алтарь украшением площадки, с которой начинают стремительный путь вверх современные скоростные лифты. И еще я думал: неужели он может считать своим творческим достижением это здание, в котором стоимость квадратного метра полезной площади почти в десять раз превышала стоимость квадратного метра в самом благоустроенном нормальном доме?! Словом, я допускал нечто ни с чем не сообразное и, в сущности, глубоко оскорбительное: получалось, что архитектор сознательно работал против своего пошлания красоты и целесообразности, против своего вкуса и своих убеждений. С этой точки зрения следовало предположить, что академик Л. Поляков должен был втайне приветствовать постановление о лишении его звания лауреата Сталинской премии, которого он в свое время удостоился за чуждый его собственным взглядам проект высотной гостиницы.

Теперь я думаю, что дело обстояло и сложнее и проще. Была и беда и вина. Была беда заказа на пышное украшательство, столь свойственное временам культа лич-

ности Сталина. Но была и вина собственного внутреннего консерватизма многих архитекторов — вина их тайного пристрастия к старым канонам, к испытанным образцам красоты. «Заказ» упал на благодатную почву. И теперь, когда прошло уже немалое время с тех пор, как объявлена была решительная война расточительному украшательству, видно, что далеко не все наши мастера обрадовались новым возможностям. Иные даже огорчились.

Если вы видели проект Дворца Советов, представленный на конкурс академиком Л. Поляковым, вы могли убедиться, что решительно ничего не изменилось в его понимании архитектурного стиля, достойного нашей современности. Право, ничего! Все тот же сборник архитектурных цитат.

А знаете ли вы, что иные архитекторы постарались увидеть в борьбе с излишествами проблему чисто экономическую — и только экономическую? «Надо, чтобы архитекторы научились считать народные деньги», — сказано было на совещании строителей в Кремле. И вот обнаружилось, что защищающийся консерватизм бывает изобретательнее самого смелого новаторства.

3

Казалось бы, как тут защититься? Ведь цена украшения была во всеуслышание подсчитана в рублях.

В облицовке стен торжественно-прекрасного Василия Блаженного были применены строителями XVI века восемнадцать типов фигурного кирпича. В жилом доме академика архитектуры XX века Д. Чечулина были использованы для заведомо более скромного задания восемьсот типов облицовочной плитки. А по соседству, там же, на Можайском шоссе, в доме архитектора С. Вольфензона для столь же ординарной цели понадобилась тысяча типов облицовки! Но суть еще и в том, что строители XVI века делали фигурный кирпич вручную — набивали деревянную форму глиной и уплотняли глину деревянным молотком-чекмарем; изготовление восемнадцати типов кирпича стоило наверняка ненамного дороже, чем одного: нужно было только смастерить набор разных форм. А в нашем веке каждый новый вариант изделия осложняет мудреный технологический процесс, и ради малой задачи мешать конвейеру, потоку, индустриальному производству материалов — это не только расточительно, но и безнравственно (это слово здесь вполне уместно!).

На одном из домов Велозаводской улицы двухметровый выносной карниз напоминал непомерный козырек у фуражки, которую словно бы напялил тощий плоскогрудый гигант. Этот карниз, который в отличие от козырька никому не нужен, конечно, тотчас превратил жилое здание в уникальное сооружение, но обошелся он в девяносто тысяч рублей. (Это стоимость почти девятиста квадратных метров жилплощади!)

Ренессансные карнизы, ампириные фронтоны, древнеклассические колоннады, тяжелая лепнина в духе барокко, башни и башенки, готические шпили, церковные шпили в стиле Трезини, восточные шпили и всякие иные... Домостроение, напоминавшее постановку пышных исторических фильмов, стало столь же дорого стоить. И естественно, что первый неотразимый удар по этой антисовременной, разгульной архитектуре нанесли требования народной экономики. Обойти такие требования, когда они законодательно провозглашены, всего труднее. Какие же ухищрения мог придумать изобретательный консерватизм?

А очень просто: вы хотите, чтобы мы научились считать народные деньги, — пожалуйста, мы уже научились, спасибо за урок... Дорогие штучные колонны, штучные капители, штучная лепнина — так давайте переведем их на поток, давайте наладим дешевое, массовое, конвейерное, вполне современное, социалистическое производство колонн, капителей, лепнины! Появились статьи с рационализаторскими предложениями «унифицировать классические ордера» — перейти на сборные колоннады и фронтоны из крупных железобетонных блоков. Великие тени Витрувия, Альберти, Виньолы содрогнулись бы, услышав, что их предлагают перевести «на поток». Но ничего не поделаешь — требования экономики!

Впрочем, напрасно было выше сказано, будто так уж изобретателен консерватизм. Даже хитроумно защищая свое право на жизнь, консерватизм не может выдумать пороха: все это уже было — еще до 1954 года среди новейших экспонатов Строительной выставки можно было увидеть бетонные детали не очень шикарных карнизов для домов подешевле. Это была цитатная пошлость вполне заводского изготовления. В нынешних предложениях тех, кто ничего не забыл и мало чему научился, нов только размах.

Но, кроме предложений, есть и дела.

Архитектор А. Образцов недавно рассказал на страницах журнала «Архитектура СССР» о своей беседе с тамбовским начальником областного отдела строительства и архитектуры В. Самородовым. Случилось это не десять и даже не шесть лет назад, а в 1959 году! В. Самородов, уверенный в своем праве определять, «что такое хорошо и что такое плохо», отклонил в проекте нового клуба современные формы. Современные и экономные, потому что проект был основан на использовании заводских деталей. Эти формы В. Самородову не понравились. Он объяснил свою позицию поразительно просто и убедительно — ему желательно построить в Тамбове «красивое здание». А что такое «красота»? Конечно, классический фасад. И В. Самородов своею властью поставил посреди фасада портик с шестью колоннами коринфского ордера.

— Я возразил, — рассказывает А. Образцов, — что весь облик здания не соответствует духу современности. На это последовал ответ: «Разве колонны кто-нибудь запретил? Нужно только убрать излишества...»

Вот и все! Вот понимание «духа современности».

Когда-то купец у Достоевского заказывал архитектуру стиль: «Дожевское окно ты мне, братец, поставь неотменно, потому — чем я хуже какого-нибудь ихнего голостанного дожа; ну, а пять этажей ты мне все-таки выведи — жильцов пускать. Окно окном, а этажи, чтоб этажами, не могу же я из-за игрушек всего нашего капиталу решиться». Уже в нашем веке Эренбург рассказал об испанском богаче Гонзалесе, нашедшем простейший способ увековечить свое имя в новом архитектурном стиле — «стиле Гонзалес». Он попросил архитектора сделать смесь готики и конструктивизма, классицизма и барокко, мавританской воздушности и романской тяжеловесности. Капитал ему все позволял...

Товарищу Самородову ныне народ запрещает «всего капиталу решиться», но недорогую смесь классики и сборного железобетона советский архитектор века атома и космонавтики должен ему подать — сначала в проекте, потом в натуре. Без этого томится его душа, жаждущая красоты на площадях родного города, но понимающая эту красоту все на тот же старый, цитатный лад.

А кроме рационализаторских предложений по промышленной унификации классических деталей и кроме подрисовывания коринфских колонн к современным проектам, встречается еще и теоретическое обоснование консерватизма. Нагляднейший пример — та самая статья И. Ганенко, из которой выше были приведены такие разумные слова об архитектурном ремесленничестве.

Там есть и другие, столь же справедливые утверждения, но весь-то смысл статьи сводится не к поощрению ищущих новое, а к защите тех, кто мыслит в архитектуре по-старому. Для автора статьи единственный надежный идеал прекрасного в зодчестве — классические формы, все, что завещано вековыми традициями. Слова «новая архитектура» он неизменно заключает в пренебрежительные кавычки. Он подвергает осмеянию стандартные «плюскости из стекла и бетона» как нечто аскетическое, утилитарное, безвкусное, формалистическое, буржуазное и даже причастное к космополитизму. Ни одного доброго слова о современных элементах архитектурных форм! Ни одной похвалы, а только хула в адрес тех, кто, отходя от классических канонов, ищет новую красоту в новых материалах и новых возможностях строительной индустрии! Разумеется, И. Ганенко говорит, что «нельзя рабски копировать классические образцы», «нельзя заниматься украшательством». Но единственный положительный совет, который он дает архитекторам, заключается в том, чтобы они не отказывались «от найденных пропорций и красоты, созданной трудами и талантами многих поколений». Вся положительная программа И. Ганенко состоит в призыве осваивать «культуру»

ное наследие прошлого». В этом, с его точки зрения, верный залог успеха, точно творчество можно заменить ученичеством, а уже найденной некогда красоты достаточно для нашей архитектуры эпохи коммунистического строительства.

Легко вообразить себе молодого архитектора, который мучится поисками новых форм и вдруг наталкивается на такую статью. «Нет, в Астрахань я не поеду! — скажет себе ищущий новатор. — Мне там тоже обязательно пририсуют что-нибудь вроде портика из коринфских колонн!»

Эта статья появилась в апреле 1960 года, за два месяца до второго совещания строителей в Кремле. Трудно было бы найти менее удачное время для подобного выступления!

И естественно, что статья не прошла незамеченной. В докладе с кремлевской трибуны о ней сказал веские критические слова вице-президент Академии строительства и архитектуры СССР А. Власов: «...Ряду местных руководителей еще свойственны прежние представления о путях развития советской архитектуры, особенно о формировании ее эстетических качеств. Это, бесспорно, служит одной из существенных причин, которые сдерживают перестройку в архитектуре, а порой и откровенно тормозят ее. Именно об этом свидетельствует статья тов. Ганенко в журнале «Октябрь».

Есть и другая беда. Архитектор А. Образцов, рассказавший о случае в Тамбове, обратил внимание еще на одно явление, может быть не столь очевидное в своей недопустимости, но, пожалуй, еще более печальное:

«...Даже такой орган, как Архитектурно-строительный совет г. Москвы, часто уходит от вопросов стиливого направления утверждаемых проектов. Его решения обычно сводятся к экономической стороне или качеству и обоснованности планировочных решений».

Это будничная правда. И вот один из ее невеселых итогов: о московском Юго-Западе было сказано недавно в печати, что там «в подавляющем большинстве архитектура зданий неинтересна и однообразна». Понимаете, это было сказано не о каком-нибудь микрорайоне, а о четвертьмиллионном, самом современном отсеке столицы, о ее всемирно известном Юго-Западе, масштабами и современной новизной которого мы по праву гордимся. И этот вывод сделало не частное лицо с капризным вкусом и ворчливым характером, а специальная комиссия Академии строительства и архитектуры! (Подробному рассказу о заключениях этой комиссии посвящена статья В. Шкварикова, В. Лаврова и Л. Кулагги в майском номере «Архитектуры СССР» за 1960 год.)

Довольно безрадостная вырисовывается картина, не так ли? Консерваторы вовсе не так уж приуныли — «разве колонны кто-нибудь запретил?». Иные из руководителей, которые имеют право определять, «что такое хорошо и что такое плохо», консерваторов одобряют. Иные архитектурные органы, утверждающие проекты, по-видимому, мало беспокоятся об эстетической стороне заботы о человеке. А домостроение развивается тем временем небывальными темпами, и каждый дом, совершенно независимо от того, хорош он или плох, на долгие десятилетия вносит свою нестираемую черту в облик нового квартала, новый квартал — в облик микрорайона, новый район — в облик города. А город? Архитектурный облик республики или края, может быть, уже и не дается нам в непосредственном ощущении, но на него накладывает свой отпечаток все воздвигаемое и мастерами и ремесленниками зодчества. Так на всех этапах этой цепной реакции создается архитектурный облик эпохи!

И сразу видно: это — разветвленная цепная реакция. Она нарастает лавиной. (Так на нашей памяти лавиной нарастали колоннады и шпили.) Что же обещают ближайшие годы? Надо ведь измерять будущее нашего домостроения и градостроительства не только миллионами квадратных метров новых жилых площадей и не только верстами новых проспектов. Надо верить в цепную кристаллизацию архитектурного стиля, несущего печать современности.

Но где же почва для оптимизма, если так безрадостно только что рассказанное? Вот она, тут же!

Во-первых, для будущего имеет значение не запоздалая защита прежних заблуждений даже на страницах широко распространенного литературного журнала, а то, что подобные взгляды встречают решительный отпор с высокой трибуны

Всесоюзного совещания градостроителей. Во-вторых, для завтрашнего дня нашей архитектуры существенна не коринфская колониада, пририсованная равнодушным карандашом В. Самородова к чужому проекту, а самый этот проект, сумевший своей хотя бы относительной новизной и современностью доставить В. Самородову искреннее огорчение. Прекрасный или только еще сносный, но этот проект есть. И, в-третьих, что всего важнее, уже есть осуществленные и осуществляемые проекты, в которых отчетливо звучит голос современности.

В центре Москвы, на Цветном бульваре, уже есть построенное совсем недавно здание панорамного кинотеатра «Мир». Стесненное старыми домами, возникшее на месте прокопченных руин бывшего манежа «Общества любителей верховой езды», оно не стало приспособляться к застарелой архитектурной безликости этих доходных кварталов былой Москвы, а сразу выделилось на их сером фоне ярким пятном живой современности. Светлые открытые плоскости многогранного фасада, вольно распластанная стеклянная стена, которая довольствуется собственной красотой без прилепленных суетных украшений. Этот широкий пояс стекла как бы приглашает гостеприимно: «Загляни сюда, прохожий, и войди, нам нечего от тебя прятать, здесь все для тебя!» В ясных геометрических формах чувствуется необходимость, а не каприз: «Я не хочу притворяться храмом или ампириным дворцом, я кино середины XX века и вовсе не скрываю этого!» Не знаю, как утверждался проект панорамы (архитектор В. А. Бутузов), но знаю, как ее строили: хотя на строительной площадке было тесно и мучила спешка отчаянной штурмовщины, многим бывалым строителям было востановительно приятно, что они работают над сооружением, «пахнущим современностью». (Это ведь очень важно — чувствовать, что дело твоих рук достойно труда и усталости!)

...Уже возводится вблизи от Лужников привлекательное в своей простоте и легкой современной конструктивности здание туристской спортивной гостиницы (архитектор Юрий Арндт). Глядя на нее, не нужно будет спрашивать, когда она построена: дух современности в ее облике ничем не замаскирован.

Реальные признаки нового уже у всех на виду. Это и есть самая надежная почва для оптимизма. Она — в работах и исканиях наших архитекторов и конструкторов, не идолопоклонников старины, а современников современности.

4

И вот — об исканиях.

Есть точка зрения, очень последовательная и очень ясная в своей простоте: прекрасно то, что оправдано функцией здания.

Можно ли против этого хоть что-нибудь возразить? Только одно: ведь таков один из главных принципов конструктивизма. Многим это возражение кажется достаточным для того, чтобы поставить под сомнение и самый принцип. Но прежде всего далеко не все, что было создано конструктивистами, дурно и заслуживает отрицания. Как и всякая эпоха в архитектуре, когда строитель-художник в новом материале и новых технических возможностях искал пути к новой красоте, конструктивизм оставил на земле немало прекрасных памятников человеческой одаренности и смелости. Когда умирает конструктивист, создавший на своем веку много не только спорного, но и бесспорного, ему посвящают наконец в некрологе слова, какие он редко слышал при жизни. Последний по времени пример — недавняя статья-некролог в «Архитектуре СССР» о знаменитом Фрэнке Райте...

Кроме того, вовсе не конструктивизм открыл этот принцип: прекрасно то, что оправдано функцией здания. И не конструктивизм провозгласил его впервые.

Сотни раз цитировался теоретик Возрождения, прославленный Альберти: «Прелесть формы никогда не бывает отделена или отчуждена от требуемой пользы...» Это было сказано в XV веке! А могло быть сказано с такой же отчетливостью гораздо раньше. И наверняка говорилось. Этот принцип родился вместе с самой архитектурой. Он ее «врожденная идея», потому что вначале было дело, и только дело. В давние времена, когда архитектор, инженер-конструктор и строитель были поневоле объединены в одном лице, прекрасное могло появиться лишь с согласия всех троих.

Но все можно довести до абсурда. В крайностях конструктивизма такая судьба постигла древний принцип, так замечательно просто выраженный Альберти.

«Форма есть следствие функции»,— утверждал в конце XIX века Люис Сэлливэн, один из основоположников чистого функционализма в архитектуре. И пояснял: территория, отведенная под здание, должна целиком определять его контуры в плане, а требуемая доходность — высоту... Так была теоретически оправдана архитектура старых небоскребов, возникших на фантастически дорогой земле Чикаго и Нью-Йорка. С годами конструктивисты в Америке пришли к полному отрицанию пластической формы. Пластика стала предрассудком, восторжествовала пластинка. Это не игра слов: когда перед второй мировой войной в Нью-Йорке было закончено строительство семидесятиэтажного Рокфеллер-Сентра, появился термин — «пластинчатая архитектура».

Это даже не была метафора: очень узкое здание, непомерно вытянутое вверх, действительно являло собою пластинку. Так было выстроено после войны здание Секретариата ООН: его высота в восемь раз больше «толщины». Три спичечные коробки, поставленные узкими ребрами одна на другую, дают ясное представление о пропорциях в пластинчатой архитектуре. Здания, разумеется, не грозят падением, но созерцание их, по крайней мере на фотографиях, вызывает чувство беспокойства от странного ощущения болезненной легкости этих технически совершенных сооружений. Строители, разумеется, думали о легкости. И они не ошиблись, потому что хилость, как слабость, физически волей-неволей «легла». Но та ли это легкость, о которой им мечталось? Они, художники, не очень виноваты: совершенно ясно, что вовсе не «поиски новых архитектурных форм»; а нечто другое, гораздо более прозаическое, продиктовало им эту форму дома-пластинки.

«Я никогда не получал лишнего доллара дохода от площади, находящейся на расстоянии более 30 футов (9 метров) от оконных проемов»,— сказал генеральный подрядчик строительства Рокфеллер-Сентра Р. Тодд-старший. Вот откуда «толщина» пластинки Секретариата ООН — 22 метра: два ряда контор — окна на одну сторону и окна на другую, посредине четырехметровый коридор. Простейшая арифметика: $9+9+4=22$. А высота пластинки — 166 метров: 39 этажей по заданному количеству контор.

Где же новаторство архитектора? С начала и до конца он решал задачу с готовым ответом. «Новатором» был подрядчик, исповедующий веру в единственную функцию здания — его доходность.

В поисках такой «красоты целесообразности» или, точнее, красоты такой целесообразности конструктивисты-догматики давно пришли к логическому выводу, что, в сущности, зодчие больше вообще не нужны. Их может сполна заменить инженер-конструктор. Один из немецких теоретиков конструктивизма так и писал: железобетон «сделал архитектора, как героя романтических эскизов, излишним!» И этого нельзя оспаривать, если полагать, что красота рождается из технической целесообразности сама собой. Хочется заметить, что об этом уместно напоминает автор статьи в «Октябре». Но беда в том, что заблуждения догматиков он не отделяет от подлинного искусства в конструктивизме. Он полагает, что искусство там вообще не ночевало.

Но вот любопытнейший штрих из истории.

Когда в конце восьмидесятых годов прошлого века инженер Александр Густав Эйфель строил на Марсовом поле в Париже свою всесветно прославленную башню, он однажды остро почувствовал, что должен стать и художником... Контурные Эйфелевой башни помнятся каждому хотя бы по несчетным снимкам и рисункам: о землю опирается четырьмя наклонными стальными устоями ажурная сквозная пирамида, чьи грани в стремительном изгибе возносятся к небу на трехсотметровую высоту. Где-то на уровне пятнадцати этажей крутые устои опорных лап перерезаются горизонтальной платформой и образуют с нею тупые углы. Переход от этих устоев к этой платформе был так очевидно груб, что делил башню как бы надвое и разрушал всю пластичность ее очертаний. И вот, только для того, чтобы сохранить и даже усилить эту пластичность, инженер Эйфель вписал между устоями и платформой со всех четырех сторон башни плавные дуги легких ажурных арок. Никакие расчетные соображения не требовали введения этих элементов в конструкцию. Их требовали только пластика, только

глаз художника! Правда, говорят, что и для этих арок была найдена конструктивная «работа», но возникли они не по велению арифметики.

Люис Сэлливэн требовал, чтобы в архитектурных формах зданий не было «ничего лишнего». В такой общей форме он был, конечно, прав. Прав, но не оригинален. За много веков до него древние сделали на Дельфийском храме Аполлона надпись: «Ничего слишком». Разумеется, это не совсем одно и то же, но там, где «ничего слишком», там наверняка и «ничего лишнего». Тут та же история, что с принципом красоты целесообразности: вечные истины переключаются через века! Но отчего же при таком сходстве идей такая удивительная разница на деле? В одном случае — афинский Акрополь, в другом — пластинки на берегу Гудзона?

Очевидно, тот, кто писал вечные слова на храме в Дельфах, понимал под «лишним» не совсем то, что родоначальник функционализма. Очевидно, в понятие пользы Альберти вкладывал не только тот смысл, что строители Рокфеллер-Сентра.

Разве не становится все на свое место, разве права архитектора-художника не сохраняются в прежней силе даже в наш век высочайшей техники, если к обязательным функциям зданий, кварталов и городов присоединяется функция быть человеком в радости?

Не думайте, что классики это понимали, а конструктивисты нет. Те из них, которые не только теоретизировали, но и много строили, отлично знали, что красота сама собой — автоматически! — не возникает из одной технической целесообразности. Предназначение здания они понимали шире, чем заказчик, подрядчик, инженер и, наконец, потребитель готового сооружения. Они сознавали, что у них есть еще эстетическая сверхзадача. Здесь хочется заметить, что вряд ли законно наше современное выражение «дома системы инженера Лагутенко». Дома — это не коммунальные машины. И в создании крупнопанельных форм, как и всего облика лагутенковских домов, принимала участие не только инженерная, но и архитектурная мысль. В этих зданиях, кроме расчетливой экономичности, чувствуется еще и эстетическая экономность. Слов «система инженера» тут мало... Кстати, выдающийся голландский конструктивист Ауд в минуту раздумья признался: «Все же я считаю, что дом — нечто большее, чем машина для жилья». А Корбюзье, признанный глава непризнанного конструктивизма, писавший об архитектуре, как поэт, ставил в тупик своими размышлениями и собственных слишком правоверных последователей и критиков конструктивистских исканий. Вспомните его слова о городе, который может рождать радость или отчаяние, гордость или безразличие, бодрость или усталость в зависимости от выбора форм.

Выбор форм! Так, значит, он возможен и даже необходим? Значит, не только функция и конструкция, не только техника и материал деспотически диктуют архитектурные формы, а есть еще и личность, делающая выбор? Значит, даже с точки зрения конструктивиста, когда он настоящий художник, искусство архитектуры идейно! Идеино потому, что «выбор форм» зависит от эстетических взглядов художника, от его понимания современности, от строя его души. Словом, оно идейно потому, что оно искусство. Выбор форм создает образ, и только потому вдруг оживают мертвый кирпич, унылый бетон, бессердечное железо и холодное стекло, оживают, чтобы не оставить нас равнодушными к облику даже самого утилитарного здания и самого делового городского квартала.

В конструктивизме было столько же внутренней несвободы, столько же идолопоклонства, как и в архаизме. Только там были другие предрассудки и вера в другого идола — не в классический ордер, а в обнаженный техницизм, не в витиеватое украшательство, а в чистую геометрию... Лет десять назад американский архитектор Скидмор построил из стальных конструкций и стекла небоскреб-параллелепипед — безупречный голый кристалл. В нем, почти не искажаясь, отражаются облака. И форма его растворяется в пространстве. Он так же безличен, как аквариум. Он тоже цитата, но не из Альберти или Виньолы, а из школьного задачника по стереометрии. Конечно, есть своя гипнотизирующая красота в отточенной ясности кристалла. И как вкрапление в живую плоть архитектуры города (хоть и в каменную, но живую плоть!) такой кристалл может по праву найти себе место. Но зрелище «кристаллического города» (или даже квартала) должно замораживать чувство и мысль. Глядя на изображение скидморского

небоскреба, можно решить, что современная индустрия требует от архитектора только грамотности и еще — безволия, полного подчинения материалу.

«Выбор форм» — выражение неосторожное. Оно дает повод к кривотолкам. Оно звучит как вариант другого выражения, которое у нас, к сожалению, узаконено: «архитектурное оформление здания». Но не узаконена ли в этих словах бессмыслица? Что сказали бы мы, услышав о музыкальном оформлении сонаты или поэтическом оформлении поэмы?

Долгие годы в этом выражении звучала нота оправдания для каждого, кто вольно или невольно позволял себе рассматривать архитектурные формы как нечто внешнее по отношению к функции здания. Этим выражением оправдывалось отчуждение красоты от требуемой пользы. (Так, в новых домах годами бывают закрыты пышные парадные подъезды, а новоселы, успевшие стать старожилами, пробираются в свои этажи со стороны неприятельных, вполне «функциональных» и «неоформленных» дворов. Так, если на Моховой пройти под торжественной аркой в узкий двор палатцо Жолтовского, можно увидеть оборотную сторону медали — унылую стену заунывного доходного дома предреволюционных лет. И вы вочью с неприязнью убедитесь, что этот «памятник нашей эпохи» даже не статуя, а всего только барельеф, маска, а не лицо.)

Архитектурное оформление зданий разрешало зодчему становиться костюмером и гримером. Это оно разрешило академику Л. Полякову погрузить Арбатскую станцию метро в дворянско-мещанский павильон неизвестно какого века, так же как оно позволило ему загнать современные скоростные лифты в пресловутый алтарь. Между тем давно было замечено: «Красота, как нечто прирожденное телу, разлита по всему телу... а украшение скорее имеет природу присоединяемого, чем прирожденного». И замечательно, что это сказал все тот же Альберти, которого в пору учения проходят и сдают все архитекторы, которого так высоко чтит академик И. Жолтовский и несомненно чтит академик Л. Поляков.

«Выбор форм» подозрительно напоминает «архитектурное оформление». Уж не того ли самого требует он? Если бы не Корбюзье говорил об этом выборе, подозрение было бы основательным. Но Корбюзье остается и сегодня, в старости, создателем форм, а не завсегдаем склада готовых архитектурных изделий. Выбор для него — поиск

Но это — для него! А конструктивизм как течение, как целая эпоха, разумеется, успел составить для своих идолопоклонников и каталоги образцов и прейскуранты готовой красоты. Новаторство умеет обростать эпигонством с паразитической быстротой. Тут тоже цепная реакция. Конечно, конструктивисты создали свой «конструкторский ящик» с набором испытанных кубиков для желающих поиграть в современную архитектуру. В этом ящике тоже есть колонны, которые ничего не несут. Только колонны без каннелюр и капителей — голые столбы. Там тоже есть свои башни и башенки с выдуманной функцией. Только башенки без крепостных зубцов и ренессансных карнизов — голые кубы или цилиндры. Там тоже есть ненужные шпили. Только шпили не церковные — голые стрелы без оперения... Присоединяемых украшений, а не прирожденной красоты и в этом ящике сколько угодно.

Защищать каталоги конструктивизма так же бессмысленно, как и каталоги архаики. Но разве классическая рутинка это сама классика? И разве формалистическая рутинка это все, чем богат конструктивизм?

Века восхищенного признания искусства классиков оградили от подозрений в формализме даже бессмысленное эпигонство современных архаиков. (Хотя можно ли найти примеры более обнаженного формализма, чем приделывание старомодных колоннад и шпилей к высотным зданиям, каковые технически не могли быть даже и замыслены в эпохи, когда человечество придумало колонны и шпили?!) Время, которое безошибочно отцеживает дурное от хорошего, может быть, просто еще не успело защитить высочайшее искусство в конструктивизме. Десятилетия всяческого непризнания сыграли свою роль. И формализмом на этом плацдарме до сих пор и очень часто считается все — даже талантливые искания. А это просто неправда! Стоит заметить, что даже тогда, когда воздвигалась такая невинная и такая беспорочная Эйфелева башня, французские писатели, художники, архитекторы, называвшие себя «страстными любителями красоты Парижа, до того времени безупречной», целой группой устроили обструкцию

Эйфелю: они заявили, что он «позорит город». Это ли не урок истории? Впрочем, Шоу однажды сказал, что главный урок истории состоит в том, что люди не извлекают из нее уроков.

Конструктивисты братья Веснины создали архитектуру Днепрогэса. Они построили хорошо знакомый москвичам клуб автозаводцев. Некогда близкий к конструктивизму Л. Руднев — автор архитектурного памятника Жертвам революции на Марсовом поле в Ленинграде. Он воздвиг в Москве грандиозное здание Академии имени Фрунзе. В конце двадцатых годов талантливый новатор Г. Бархин построил на Пушкинской площади редакцию и типографию «Известий» — здание, в котором и сегодня больше ощущается дух современности, чем в сотнях домов, построенных позже. Это же можно сказать о громадном министерском здании бывшего Наркомзема на углу Садовой и Орликова переулка, воздвигнутом на рубеже двадцатых и тридцатых годов таким классиком по родословной, как академик А. Щусев. Он построил это современное по духу здание в пору своего увлечения конструктивизмом.

Сколько превосходных сооружений оставили на нашей земле архитекторы, чья молодость или зрелость прошла под знаком конструктивистских исканий, — начни только перечислять! И как далеки они были от бессодержательности формализма... Конечно, для всего настоящего, что сделали Бархин, Буров, братья Веснины, Гинзбург, Леонидов и другие, можно найти оправдательную формулу перехода — «преодоленный конструктивизм». Пусть так. Это снимает с их творческих биографий формалистическое клеймо. Но творческую биографию нельзя укоротить ни снизу, ни сверху и нельзя из нее вырезать середину: в ней все имеет свой смысл. И конструктивистские искания были для многих наших мастеров вовсе не блужданием в потемках. Они были благом.

Благом? Несомненно.

Эти искания заставили их работать с новыми материалами, или, как говорится в архитектурных статьях, «мыслить в новых материалах». В этих исканиях они привязались — искренне, всей душой! — к индустриальной технике современности. Эти искания ввели их в мир железобетона и стальных конструкций как неизбежных материальных элементов будущей красоты. А красоты вне материала в зодчестве не существует. И «преодоление конструктивизма», как и «преодоление классики», заключается и заключается вовсе не в том, чтобы зачеркнуть и забыть все, чему научили людей такие искания. Нет, надо было, как это нужно и сегодня, только (!) подчинить «выбор форм» своему революционному миропониманию, историческому оптимизму времени. Надо было выйти из-под равнодушной власти материала и конструкции, чтобы в свой черед властвовать над ними, одухотворяя камень, бетон, металл и стекло не воспоминанием о прошлом, а мыслями о современности и революционными надеждами эпохи — «воспоминаниями о будущем», как кто-то прекрасно сказал о надеждах. Блестящего мастера стилизации академика Жолтовского, хоть он и строил до революции даже фабрики, невозможно вообразить в роли одного из создателей архитектуры Днепрогэса, а для Веснинных эта роль была естественной!

Мы бываем удивительно небрежны к собственному богатству. У нас есть свои драгоценные традиции передового современного зодчества. Но почему-то как только заходит речь о благих традициях в архитектуре, о ее национальных чертах, так сейчас же возникают на иллюстрациях почти одни лишь церкви XVII века, колоннады усадеб и дворцов XVIII, ампир XIX, и всё!.. А он, наш XX век, тоже имеет уже свою богатую историю, мировую и национальную историю. И он хоть сложен и противоречив, но полон прекрасных свершений! И в нынешних архитектурных исканиях уже продолжают его собственные плодотворнейшие традиции. Это им обязаны своей современной красотой спортивный ансамбль Лужников, кинопанорама «Мир», вертикальный зигзаг стеклянно-бетонных кубов наземного эскалатора и сама станция метро «Ленинские горы» и все лучшее в облике Юго-Запада...

Дух этих традиций как нельзя более отвечает духу сегодняшнего великого градостроительства — «веку индустриального домостроения».

Я говорю о духе этих традиций, а не о «возвращении к конструктивизму», потому что возникающая сегодня архитектура нашего завтра не может довольствоваться чертами былого «конструктивистского стиля». Повторение пройденного — всегда только

повторение, только оглядка назад. Наш конструктивизм был связан с исторической эпохой, которая прошла,— с начальной романтической эпохой наших строительных планов. Конструктивизм не знал сборного железобетона — он имел дело с железобетоном монолитным, с другой техникой. И ему был неведом нынешний размах наших градостроительных дел. Но романтика его исканий сегодня так же современна, как вчера.

5

Когда шесть лет назад была объявлена война излишествам в архитектуре, ее экономический смысл сразу дошел до всех. А идейно-эстетический? Нет, не сразу и не до всех. За шесть лет мало или вовсе не изменились люди, которые с самого начала решили, что к их идеалам красоты все это не имеет существенного отношения. Тысячи раз цитировалось древнее изречение: «Художник не мог сделать красиво, и поэтому сделал богато». Борьба с излишествами — проблема идейная, а не просто техническая или бухгалтерская.

Но прекрасно, когда экономика и индустрия становятся на сторону эстетики! Сборный железобетон не позволяет «делать богато». Так, может быть, он заставит «делать красиво»?

Разве не благо уже одно то, что сборный железобетон вряд ли может подчиниться власти костюмера и гримера? Это противоречит его природе — его крупнотелой индустриальности и серийной массовости. Хотя в сборных конструкциях железобетон как бы повторил судьбу глины, ставшей некогда кирпичом, тут есть громадная разница.

С самого начала кирпич был удобен не только руке каменщика, он был удобен архитектору — его воображению, его мысли. Он почти не ограничивал свободы «выбора форм». Так, по малости своих размеров кирпич ни в малейшей степени не определял заранее формы стены: ее можно было выкладывать из этих равновеликих атомов как угодно. (Потому и атомы стали называть «кирпичиками мироздания» — их малость сама собою объясняла гибкую изменчивость и разнообразие внешних форм в природе.) Но этой податливостью кирпича архитекторы пользовались по-разному, снова и снова доказывая, что красоту или уродство создает не самый материал, а только человек-строитель. Без всякого чувства меры эстетически эксплуатировали малость и, если можно так выразиться, техническую податливость кирпича стилизаторы времен Александра III — вспомните массивные, тяжеловесно-вычурные здания восьмидесятых и девяностых годов прошлого века вроде Исторического музея В. Шервуда. На поверхности стен этих зданий, эстетической ценности которых справедливо не признают наши историки архитектуры, кирпич был призван имитировать даже деревянную резьбу старинных мастеров.

Сборный железобетон для стилизаторских архитектурных игр не годится. Для этого он просто слишком велик по размерам. Блоки, стеновые панели, плиты перекрытий — это уже не атомы: их собственная величина и форма не безразлична для облика будущего сооружения. Хотя они только составные части, но в них уже заложены существенные черты целого! И этого нельзя изменить. С этим нужно мириться.

Сборный железобетон удобен новой стальной руке современного строителя. Но он крайне не удобен архитектору-оформителю — его бутафорскому воображению и архаической мысли. Неудобен потому, что крупноразмерная деталь, повторяясь на любом фасаде ограниченное и заранее заданное число раз, создает свой ритм по горизонтали и по вертикали, и этот ритм как бы выталкивает все чуждое ему, все постороннее, все ненужное для целого... Еще в начале пятидесятых годов архитектор Б. Журавлев, строя один из первых крупноплощных домов в Ленинграде, рискнул украсить их фасады одеждами с чужого плеча. Какими? Разумеется, колоннами и прочими испытанными деталями со склада готовых изделий классики. Дома стоят, и колонны стоят, но любому глазу тотчас видно, что они стоят раздельно. В сборном железобетонном присоединенному невозможно замаскироваться под прирожденное! Даже многоопытнейший классик академик И. В. Жолтовский не сумел подчинить своим принципам неподатливый новый материал. В последние годы его жизни из руководимой им мастерской вышел проект десятиэтажного крупнопанельного дома. Совершенно глад-

кая стена фасада собрана из совершенно одинаковых панелей с широким вырезом окна. И этот простейший ритм на огромной чистой поверхности производит сильное впечатление. В нем не нашлось места для «присоединяемой красоты». Ей, этой красоте, отчужденной от требуемой пользы, пришлось довольствоваться карнизом дома — только карнизом. (Впрочем, слишком пышно-богатым, чтобы выглядеть уместно и действительно красиво на жилом здании.)

Да, сборный железобетон ограничивает свободу архитектора. Но не более, чем автомобиль ограничивает свободу путешественника: конечно, на нем не проедешь всюду, где проковыляешь пешком, — нужна дорога. Однако всем очевидны возможности и преимущества этого способа овладевать пространством.

Шесть лет назад любопытствующие инженеры, строители, журналисты неизменно получали один и тот же адрес, когда спрашивали, где бы им посмотреть в Москве крупнопанельное строительство. Их отсылали в район Сокола, на одну из улиц Октябрьского поля, где из облицованных керамикой крупных панелей высотой в этаж монтировался громадный дом архитекторов М. Посохина и А. Мдоянца. В ту пору это было редким зрелищем. Но еще и два года назад крупнопанельное домостроение было по преимуществу экспериментальным. Сегодня оно уже широко разворачивается повсеместно. Летом, на совещании в Кремле, инженер из Ангарска рассказал, что сейчас все дома в этом с иголочки новом городе возводятся из крупных панелей. Там делают теперь газозобетонные (каково слово!) панели громадного размера — сразу на две комнаты. В 1964 году больше половины всего грандиозного государственного плана жилищного строительства (56 процентов) покроют дома из крупных панелей. В течение трех лет возникнет около пятисот заводов по производству крупных панелей разных конструкций.

На наших глазах индустриальное домостроение становится главным способом «овладевать пространством» в новых и старых городах. И надо ли доказывать преимущества этого способа? В 1964 году он, этот способ, даст экономию в три миллиарда рублей и позволит сократить армию строителей на сто пятьдесят—двести тысяч человек. В Москве к 1965 году благодаря сборности трудоемкость строительства уменьшится наполовину.

Архитекторам, ищущим новую красоту в новом материале, надо спешить! А свобода архитектора, как и всякая свобода, — это осознанная необходимость. Здесь необходимость заявляет о себе с такой силой, что можно ли ее не осознавать?

Но, кроме того, разве не была иллюзорной та свобода «выбора форм», которую давал архитектору малый кирпич? Во все времена, когда создавалось что-то ценное, зодчим руководили требования стиля. Будучи сыном своего времени, он, однако, осознавал их необходимость. И подчинялся этим требованиям добровольно, вдохновенно, даже восторженно. А стиль как организующее начало оперировал вовсе не малым бруском глины или камня. Он создавал крупные элементы архитектурных форм. И архитектор мыслил этими элементами — он в воображении своем тоже собирал и монтировал здание из больших деталей, а отнюдь не складывал его по кирпичику!

Так, мастера эпохи русского ампира думали фронгонами, колоннами, пилонами, парадными лестницами, высотой этажей, длиной крыльев дома... Так, мастера церковной архитектуры прошлого думали шатрами, шпилями, барабанами, шлемами и луковницами, галереями и контрфорсами... Так, конструктивисты думали объемами, плоскостями, конструкциями... В сущности, всегда и всюду главное заключалось в поисках пропорций и ритма, которым подчиняли зодчие эти свои стилистические крупные элементы архитектурных форм. Разумеется, не все в их исканиях сводилось к этому, далеко не все. Но пропорции и ритмы главенствовали в их заботах о красоте. А повторяющиеся формы в любом стиле бывали удивительно однообразны. Впрочем, удивительно ли это? Оттого ведь это и были стили!

Эпохи, оставившие непреходящие ценности в архитектуре, все тот же Корбюзье называл счастливыми с точки зрения зодчего и говорил: «В эти счастливые эпохи имели привычку строить однообразно...» Это звучит неожиданно, но как поразительно точно!

Громадное значение великих традиций мировой классики и русской национальной архитектуры, вероятно, прежде всего в том и состоит, что они учат мастерству работы в стиле. Не подражанию старым формам учат они, а принципам гармонической организации новых форм. Если бы зодчие прошлых веков подражали отцам, а отцы — дедам, архитектура топталась бы на месте и не имела бы своей великой истории, а наши современные архитекторы — образцов для заимствования.

Сборный железобетон, так непохожий на малый кирпич, очень похож на крупные элементы архитектурных форм, какие вырабатывал каждый стиль. Так еще шаг, и можно увидеть в нем естественно рождающиеся материальные элементы современного стиля в домостроении.

В нем все отвечает духу эпохи: и сама индустриальность его происхождения, и прекрасная человечность целей, ради которых он создается в массовых масштабах, и мужественная весомая простота в рисунке и облике каждой конструкции. Все дело в пропорциях и ритмах, отличающих целое, — воздвигнутый из сборного железобетона дом. Они не заданы и не могут быть заданы самим материалом. Тут начинается власть художника. Вот что сказал в июне 1960 года на Всесоюзном совещании по градостроительству — на втором совещании строителей в Кремле — академик А. Власов: «...Сборный железобетон — основа современного строительства — непосредственно вторгается в сферу архитектуры, в типовое проектирование, в архитектурную композицию. На смену тяжелым каменным формам, мешающим доступу света в помещения, приходит сочетание легких, тонкостенных конструкций и деталей, позволяющих создавать удобные для жизни и выразительные пространства».

Уже в древнем Риме строились большие жилые дома — пятиэтажные доходные инсулы. Но не они создавали красоту Вечного города — они ей наносили ущерб. Во все века жилые дома простых людей гордились не собственной, а одолженной красотой. «Я живу в красивом квартале!» Это означало: там есть дворец или храм, театр или стадион, баня или мост, парк или водоем. Потом прибавились институты, кино, министерства, клубы, универсальные магазины... А самим домам в их подавляющем большинстве откуда было взять цельность и красоту? Конгломераты жилых ячеек — комнат и квартир — всегда представляли собою нечто столь множественное и дробное, что трудно было находить для них единую, объединяющую форму. И архитектор, мечтавший построить красивый дом, маскировал эту вынужденную множественность и дробность: он заимствовал украшающие формы у храмов и дворцов, театров и башен. Так красота стала расходной статьей строительной сметы. «Хочешь, чтоб было красиво, — давай денег!»

Не поможет ли сборный железобетон в поисках настоящей, прирожденной, а не присоединяемой красоты жилых кварталов? Это предположение может показаться фантастическим, но для него есть основания. Впервые материал сам заставляет не скрывать, а подчеркивать дробное однообразие жилого дома. (Крупные панели отображают размеры комнат.) Впервые сам материал зовет архитектора к поискам организующего начала в этом однообразии — все того же ритма, все той же гармонии пропорций, о которых шла уже речь. Впервые материал действительно несовместим с украшениями... Строителям Парфенона в Афинах или Дмитриевского собора во Владимире прелесть пропорций и простота ритма, говоря быденным языком, право же, не стоили ни гроша. (Именно прелесть пропорций и простота ритма — минус лепные детали.) Может быть, и в домостроении нашего века новая красота должна даваться бесплатно?

6

И все-таки как же быть с однообразием? Этот упрек, адресованный архитектуре Юго-Запада, так просто не отвести. Он справедлив.

Шесть лет назад, когда начиналась пора обновления, думалось: «Пусть хоть однообразие — лишь бы не это кичливое, мещанское, самодовольное украшательство, томящее душу и ум своей бессмысленной декоративностью!» А теперь приходится спорить с самим собой и опровергать себя. Теперь уже не годится — «пусть хоть однообразие».

Тогда казалось: боязнь однообразия — предрассудок. В больших городах наслаи-

ваются одна на другую многие эпохи, и мы встречаем разом архитектуру многих стилей. Это само собой рождает в нас чувство удовлетворенности: смотрите, какое обилие форм вокруг! Тогда думалось, что Корбюзье прав: в счастливые эпохи зодчества строили и должны строить, однообразия не боясь. Довод в защиту однообразия был единственный — оно всегда будет побеждено многослойностью города во времени и пространстве.

Но если один стиль воплощается не в доме, не в квартале, а в гигантском городе — что тогда? Если строители не то чтобы одной эпохи, а одного семилетия воздвигают сразу, потоком, сотнями и тысячами рядом стоящих зданий — на что надеяться глазу и сердцу? Так за годы, прошедшие между двумя совещаниями строителей в Кремле, вопрос об однообразии архитектуры стал наглядно тревожным.

Однако неужели он стал тревожным именно потому, что стиль уже определился и окостенел, раскрыв возможности нового материала? Очевидно, не поэтому, если до прошлого года крупнопанельное домостроение было еще главным образом экспериментальным. Получается, что в нынешнем однообразии Юго-Запада виноват пока старый, ничьей свободы не ограничивающий, такой добрый кирпич. Нет, будем точнее: не кирпич, а те, кто не сумел воспользоваться его «добротой», — архитекторы. Виноват не сложившийся стиль, а безличие и бесстилие. Вспомните: в невеселом заключении академической комиссии об архитектуре Юго-Запада, кроме слова «однообразная», фигурировало и другое слово — неинтересная. Вот в чем беда — неинтересная архитектура!

Неинтересное — это бедное и бессодержательное. А стиль не может быть ни бедным, ни бессодержательным: он выражает эпоху. Его однообразие предполагает внутреннее богатство. Но все это солидные, многозначительные слова. А что же будет на деле? Что будет на деле, когда станут выстраиваться в ряд или даже прихотливо соседствовать друг с другом равно содержательные по своей архитектуре, но все-таки одинаковые дома? Неужели массовое одновременное строительство должно неизбежно порождать однообразие? Вот откуда тревога.

Не мы одни обеспокоены этим. И не только наши друзья в странах народной демократии, где размах строительства становится подобен нашему.

Крупнопанельное домостроение начинает развиваться всюду. Правда, так медленно, так нерешительно, что из числа буржуазных стран, кажется, только Франция может поделиться с нами некоторым опытом. Там фирмы двух инженеров — Камю и Куанье — ежегодно выпускают дома на десять тысяч квартир. В Эльзас-Лотарингии есть селение из крупнопанельных домов. В архитектурном журнале на панорамном снимке — совершенно одинаковые трехэтажные дома. На заднем плане этот жилой комплекс ограничен, как кулисами, линией таких же одинаковых, но пятиэтажных зданий. Единственное, что нашли французы, это хорошо продуманный беспорядок, в котором разбросаны трехэтажные дома поселка. Однообразие смягчено, но не преодолено.

Камю и Куанье решили разнообразить внешний облик панелей. Они облицовывают их на заводе ковровой керамикой. У них есть двенадцать различных расцветок. Они обрабатывают цветной слой цемента пескоструйным аппаратом — «под шубу». Они присыпают гравий или щебенку на поверхность сырого бетона, и панели приобретают разнообразную естественную окраску, так как для присыпки берется камень разных пород. Наконец, они окрашивают панели устойчивыми полихлорвиниловыми красками.

Многое из всего этого известно и нашим строителям. Это как раз то, что и называется поисками, но поисками частных. (Один инженер-строитель сказал об окраске домов так: «Когда на улице стоят два человека в костюмах, совершенно одинакового покроя, но разного цвета, вы думаете, что они одеты по-разному. Такова сила цвета». Тут спорить нечего, но во всем объемном покрое все-таки важнее цвета, недаром перекраска домов — проблема ремонта, а их покроей — проблема стиля.)

Несравненно существование другое: ансамбль домов!

Века завещали и эту традицию. Ансамбль всегда преодолевал прирожденное однообразие стиля. Он позволял рассматривать каждое здание как некий крупный элемент новой целостной красоты. Весь Ленинград — в ансамблях XVIII и XIX веков,

и в этом его единственность. XX век там отстал от своих предшественников и в этом смысле мало что прибавил к прежней красоте города. Что-то, видимо, утратилось в «мысленни ансамблями». Наверное, в этом же главная беда необъятного московского Юго-Запада...

Понятие ансамбля, между прочим, есть в статистической физике: попросту говоря, это совокупность большого числа одинаковых физических систем. Вот такими статистически ми ансамблями, к сожалению, часто оказывались и оказываются новые районы в наших старых и новых городах. И не только наших. Фотопанорама новых, сплошь одноэтажных районов Лос-Анжелоса поразительно напоминает сего, забитую равновеликой мелкой рыбешкой.

Сейчас слова «архитектурный ансамбль» заменяются, как правило, другими—«жилой комплекс» или «микрорайон». У этих терминов происхождение техническое, а не эстетическое. Жаль! Как было бы приятно услышать от новосела: «Я живу возле Ленинского проспекта в ансамбле Свиридова!»

Неужели нынешние новые и завтрашние сверхновые кварталы смогут заимствовать красоту, как это прежде бывало, только у общественных зданий—кинотеатров, громадных магазинов, детских садов? Конечно, они будут одалживаться и этой красотой, но пора обладать им и своей собственной—красотой жилой ансамбля. В пору гигантского планового домостроительства практически нет ничего естественнее, как «мыслить ансамблями», возводимыми одновременно. Недаром на градостроительном совещании было сказано: «...В условиях индустриализации строительства и все возрастающего объема крупнопанельного домостроения главным направлением творческой работы архитектора становится создание комплексных проектов застройки...» (В. Кучеренко). Вынужденные мыслить ансамблями, архитекторы это делают. Но итоги их исканий пока мало утешительны. И здесь слово за будущим.

К летнему совещанию по градостроительству была развернута архитектурная выставка. Там можно было увидеть проекты застройки новых районов в самых различных городах нашей страны. Всюду поражающий размах! И естественное ощущение беспримерных градостроительных возможностей. Но использованы ли они?

...Вот план и макет застройки большого пространства на юге Москвы, возле Варшавского шоссе, Волхонка-ЗИЛ. Четыреста семьдесят гектаров—почти пять квадратных километров земли—будут покрыты новыми улицами из пятиэтажных домов. Только пятиэтажных!

Вот четыре микрорайона в Кунцево, которое уже стало частью столицы. Та же картина.

Вот кварталы 32—35 на Юго-Западе. Здесь будут жить тридцать тысяч человек. И вся площадь—сто тридцать два гектара—будет занята пятиэтажными домами Лагутенко и пятиэтажными домами из керамзитобетона.

Никакими украшениями тут не преодолеть однообразия. Настанет день, когда очередная высокоавторитетная комиссия Академии строительства и архитектуры признает это как совершившийся факт. Но разве нельзя предвидеть это уже сегодня? Предвидеть и предотвратить? Архитекторы скажут, что дело тут в экономике: сплошная пятиэтажная застройка—самая экономичная. А перед святой задачей—дать возможно большему числу людей в возможно более короткие сроки испытать радость новоселья—должны отступить на задний план все другие соображения. С этим не поспоришь! Но верно ли, что сплошная пятиэтажная застройка больших площадей самая выгодная? Строго ли это доказано градостроителями?

В журнале «Архитектура СССР» можно встретить материалы, опровергающие это убеждение. Есть подсчеты и опыт, показывающие, что даже чистая экономика градостроительства встает на сторону не «статистического ансамбля» одинаковых домов, а на сторону внутреннего разнообразия квартала. Если эти подсчеты верны, то вот что обнаруживается: смешанная застройка микрорайона жилыми зданиями резко различной высоты—от двухэтажных коттеджей до тринадцатипятиэтажных башен—экономически более выгодна, чем сплошная однообразная застройка домами в пять этажей! Выгода, правда, не слишком велика—полпроцента, процент, полтора,—но все-таки выгода, не расточительство! А в масштабе нашей страны и это весьма ощутимые цифры.

Значит, снова сплетение эстетики и экономики на благо той и другой? Да.

Есть опыт смешанной застройки у англичан. И зрелище такого многоступенчатого, внутренне очень разнообразного жилого ансамбля в пригородах Лондона гораздо отраднее бедной папорамы одинаковых трехэтажных домов в Эльзас-Лотарингии. Правда, у англичан это не крупнопанельные здания. Но вообразить себе смешанный микрорайон из сборного железобетона столь же легко — даже легче. И у нас ведь строятся из панелей не только пятиэтажные — кстати, внешне очень привлекательные — дома Лагутенко. Есть и проекты и готовые сборные здания различной этажности. И несмотря на одинаковость материала, они, естественно, очень не похожи друг на друга — для ансамбля они представляют собой разные «крупные элементы».

Есть опыт смешанной застройки и у нас — собственный, многообещающий опыт. Таков широкоизвестный 9-й квартал на Юго-Западе — лучший тамошний квартал. Впрочем, не в одной Москве есть подобный опыт. На градостроительной выставке очень хорошее впечатление произвел жилой район Ташкента — «Чиланзар». В проекте архитекторов А. Бушуева, И. Гордеева, О. Гаазенкофа, И. Демчинской и других — разноэтажная застройка и живописная планировка.

Стиль нельзя предсказать ни в облике отдельного дома, ни в облике ансамбля. Он выкристаллизовывается в опыте, в натуре. Для этого нужны эксперименты — широкие, щедрые эксперименты, конкурсы, дискуссии... Когда счет идет не на дома, а на города, не на квадратные метры жилых площадей, а на квадратные километры новых районов, залог успеха — во всестороннем и великодушном поощрении смелых исканий нового, современного, еще не изведенного.

То, что сегодня — эксперимент, завтра — жизнь. И то, что сегодня — замыслы, завтра — свершение.

В статье-некрологе о Фрэнке Ллоиде Райте я прочитал слова выдающегося архитектора: «Россия — это великая надежда». Он говорил о нашей исторической миссии вообще. Но, может быть, он думал и о зодчестве — о его путях и о его будущем? Если так, то он не ошибся, и родившийся у нас «век индустриального домостроения» имеет все основания стать со временем великой надеждой мирового градостроительства.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

С. УТЧЕНКО

★

РИМ — ЛОНДОН — ПАРИЖ

(Заметки и размышления историка)

1

Сго́нт, очень сто́ит проплутать чуть ли не полдня по узким, часто дурно пахнущим улицам — как это и было со мной, — чтобы потом, выйдя из-под какой-то арки или из-за угла, неожиданно для самого себя очутиться на площади святого Марка. Стоит потому, что она на самом деле хороша, пожалуй, слишком — до неправдоподобия — хороша, эта площадь, в которую даже не веришь.

Я впервые попал сюда в час «sorbetto», то есть когда отдыхающая или просто праздная публика слоняется под аркадами Прокураций, сидит за разноцветными столиками кафе «Флориан» и ест фруктовое мороженое (оно-то и называется «sorbetto»). Это — послеобеденный час, жара в это время уже спадает.

Сытой и ленивой толпой бредут через площадь туристы: они небрежно щелкают фотоаппаратами всех существующих в мире марок и стрекочут своими кинокамерами. Перед ними сам Сан-Марко — византийски приземистый, варварски великолепный. Для них же, конечно, и знаменитые голуби — их здесь тысячи и тысячи, вся площадь усыпана ими, — самым венецианцам, я думаю, они надоели до смерти. А направо (если встать лицом к собору) начинается Пьяццетта, и там уже своя вечная и какая-то радостная суета — блеск лагуны, Дворец дождей и крылатый лев святого Марка на византийской колонне.

Много раз потом, вспоминая, я пытался понять, в чем необъяснимая прелесть этих двух площадей — вообще говоря, перегруженных, заставленных, как иногда комнаты, лишней мебелью, — и решил, что все дело в удивительно найденных пропорциях состояний, в какой-то предельной наполненности воздухом, пространством, светом. Вот почему любые снимки и воспроизведения — даже в кино, которое продолжает оставаться плоскостным, — не в состоянии передать, хотя бы приблизительно, всего очарования этих мест.

Ну, а затем, конечно, Большой канал. Но он произвел на меня какое-то двойственное впечатление. Канал, по обеим своим сторонам, уставлен бесконечным рядом дворцов. Они великолепны, спору нет, но все же эти дворцы с их чрезмерно звучными названиями — Ка д'Оро, палаццо Вендрамини, палаццо Корнер делла Ка Гранде и еще около сотни таких же звучных палаццо, — что они такое? Только пыльные надгробья, только памятники былого величия, или есть в них какая-то жизнь и теперь? Кто в них живет, обитаемы ли они вообще? И что там внутри — современный комфорт, мебель стиля модерн или романтическая паутина, сгнившие полы, мерзость запустения? Я не знаю этого, да и не особенно интересовался знать, но, когда проезжаешь эту часть канала, возникает странное и даже тягостное ощущение: словно ты уже здесь был, словно ты в городе из виденного тобой сна, городе, который, быть может, вовсе и не существует. И только когда заедешь далеко за Ринальто (по направлению к вокзалу), где уже какие-то склады, дома, уже ходят люди, видишь, как

постепенно возвращается жизнь на его берега. Кстати, по Большому каналу я проезжал — и неоднократно, — но не в гондоле, как то может представить себе иной читатель (потому что здесь в гондолах, как в Риме на извозчиках, катаются преимущественно американские туристы), а на речном трамвайчике — мотоскафе, как обычно ездят сами венецианцы.

Кроме площади святого Марка, Пьяццетты и Большого канала, в Венеции, пожалуй, ничего особенного нет. Но и этого достаточно, чтобы сделать ее единственной, не сравнимой ни с одним другим городом в мире. Вместе с тем — и такой вопрос впервые встал передо мной именно в Венеции — разве это город, в котором можно жить?

Как ни странно, но подобного рода сомнения одолевали меня еще не раз и не только в Венеции. Останавливаясь во время моих разъездов по стране в том или ином городе, осматривая его, часто даже восхищаясь им, я вдруг ловил себя на мысли: а мог бы я здесь, в этом городе, жить? И ответ всегда был отрицательным. В чем же дело?

Небольшие итальянские города — причем, на мой взгляд, не южные, а те, что расположены севернее Рима, — очаровательны. Вот, к примеру, Перуджа, где все созданное Италией видишь перед собой почти в камерных масштабах: нетяжелая пышность дворцов, старый Университет, сбигающие под гору путаные улочки, ступенчатые переходы, полуобвалившиеся арки, увитые плющом и розами. А Сиена с ее мягким пейзажем, с изумительной Пьяцца дель Кампо, покатою площадью, и надписью на городских воротах: «*Cog magis tibi Sena pandit*» — «Сиена открывает тебе всё свое сердце». А строгая Равенна, где еще длится вековой спор Византии и варварства: прославленные на весь мир мозаики, дворец Теодориха, мавзолей Галлы Плакидии, куда свет — воистину мистический *lumen coeli* — проникает не сквозь стекла или слюду, а сквозь прозрачный алебастр. И, наконец, сама Флоренция в короне окрестных холмов, всегда в гончайшей дымке — «умбрийская гарь», — видимая так из садов Боббли или с Пьяццале Микеланджело, где так любят фотографироваться новобрачные, или — всего лучше — с высот Фьезоле; здесь к тому же прелестная маленькая церковь Сан-Франческо: тишина внутреннего дворика, цветущие деревья, плеск воды.

Все это на самом деле и прелестно, и очаровательно, и еще все что угодно, но если несколько отвлечься от восторженных эпитетов и сделать попытку спокойно разобраться в своих ощущениях, то в чем, собственно говоря, прелесть этих городов? Не в том ли, что осталось в них от прошлого, не в памятниках ли бывшей здесь когда-то жизни, то есть в минувшем, а не в настоящем или, другими словами, в том, что ныне интересно лишь «просвещенному» туристу, в лучшем случае историку. Вот, скажем, так: «Перед вами, синьоры, Ponte dei Sospiri — Мост Вздохов, по которому проводили в свинцовые камеры осужденных Советом Десяти, — и: «Эта каменная плита на площади Синьории указывает место, где 23 мая 1498 года был сожжен Савонарола», — и еще: «А вот Forum Romanum — средоточие политической жизни древнего Рима, где некогда гремели речи Цицерона, где было предано огню тело убитого Цезаря».

Но ведь это действительно только прошлое, иногда величественное, почти всегда — если говорить об Италии — пластически прекрасное, но — прошлое, а все-таки жить — жить и действовать — как будто можно лишь в настоящем. И потому невольно встает еще вопрос: каково же это настоящее? Так ли оно красочно и так ли величественно, как выглядит ныне прошлое этой страны?

Ответ на подобный вопрос — целенаправленный, «зрительный» ответ — дают опять-таки сами итальянские города. Вот, к примеру, Неаполь.

Есть, вообще говоря, два Неаполя. Один из них...

— Ага, — скажет в этом месте догадливый читатель, — два Неаполя? Знаем, слышали! Это значит: Неаполь — город миллионеров и Неаполь — город бедняков. Социальные контрасты, язвы капиталистического быта. С одной стороны, роскошные набережные, отели, витрины, с другой — жалкие хижины, сколоченные из фанеры. Не только слышали, но и видали! В кино. В неореалистических фильмах.

Дорогой читатель, ты прав! Ты прав вдвойне, ибо все так и есть, причем не только в фильмах, но и на самом деле. Однако, говоря о «зрительном» ответе, то есть чисто зрительном впечатлении, которое до сих пор остается для меня наиболее ярким, а по-

тому и наиболее достоверным, я имел в виду нечто иное. А следовательно, и разграничительная линия должна быть проведена по-иному.

Итак, есть два Неаполя. Один из них — это Кастьель-Нуово, вид с Позийлиппо — все тот же вечный, избитый и все же неотразимый вид на залив и на Везувий, — дворец донны Анны и, наконец, знаменитая гавань Санта-Лючия, про которую в моем путеводителе сказано: «Место, наиболее охотно посещаемое влюбленными и нищими» (!). Это — Неаполь открыток, Неаполь туристов.

Но есть, конечно, и второй Неаполь — улочки, где трудно разехаться двум велосипедистам, где мусор и отбросы свалены прямо на мостовую, где пресловутое белое на веревках, протянутых через всю улицу, от дома к дому, где ничем не прикрытая вопиющая нищета, где нередко вместо завтрака, обеда и ужина — пицца, сухая горячая лепешка, слегка намазанная сверху томатным соусом. Но, как ни удивительно, именно к этому Неаполю я бы отнес и роскошные отели, и знаменитые эспланады Виа Карачолло и Ривьера ди Княйя, и все магазины, кафе и рестораны, ибо только этот Неаполь есть живой современный город, со всеми свойственными нашей современной жизни контрастами и противоречиями. А вышепоименованные Кастьель-Нуово, палаццо донны Анны и даже сама Санта-Лючия — это прошлое, это, собственно говоря, музейные экспонаты, если еще как-то поддерживаемые, то лишь в интересах той своеобразной индустрии, которая при отсутствии на юге Италии серьезной промышленности, пожалуй, одна только и процветает, — индустрии туризма.

Кстати, Неаполь — далеко не самый удачный пример. Все, о чем сейчас было сказано применительно к Неаполю, можно отнести — и даже с большим основанием — ко многим другим городам Италии. Почти в каждом городе, не исключая Рима, есть два города: один из них — для туристов и открыток, другой — для самих жителей. Один — город величественного прошлого, другой — иногда довольно неприглядного настоящего. Вот, скажем, некий городок Пульяно: вас потрясает величие мертвого Геркуланума (ибо Пульяно — это и есть Геркуланум, его нынешнее название), но пройдитесь хотя бы до вокзала — в самом центре современного городка не менее потрясающая по своей нищете и красочности «барахолка», где торгуют такой рванью, что только диву даешься, как и кто способен покупать подобный «товар». Независимо от этого торговля идет бойко, с итальянским галдежом, давкой, ссорами и даже пением.

Нигде я не видел таких жалких нищих, такой бедноты и грязи, как на юге Италии, и вместе с тем нигде не встречал более живого, страстного и располагающего к себе народа.

Вообще итальянцы — милый народ. Существует старый рассказ о том, что некто, впервые собираясь в Италию, осведомился у более опытного путешественника, каким образом следует ему держать себя в этой стране в соответствии с ее нравами и обычаями. «Вам приходилось бывать в Германии?» — был встречный вопрос. «Да, конечно». — «Ну, если вы бывали в Германии и знаете, как там следует себя держать, в Италии поступайте как раз наоборот!»

И действительно, нет, пожалуй, в Европе двух более несхожих в своем быту народов, чем немцы и итальянцы. Все, что в этом смысле свято для каждого немца, в Италии легкомысленно попирается ногами. Если, к примеру, итальянец видит на железнодорожном переезде опущенный шлагбаум, это его никак не остановит: он пролезет под ним или даже перелезет через него, но ждать не станет. На улице, в кино, в вагоне все, что хотят бросить, тут же бросают на пол или на землю. Однажды я не без спортивного интереса наблюдал, как на вокзале в Неаполе, пока поезд еще не отошел, пассажиры, сидевшие в вагоне, бросали апельсиновые корки в открытое окно, нимало не заботясь о том, что они могут попасть в проходящих по перрону. Кое-где на улицах — даже в Риме — вас могут облить с балкона вчерашним супом, если не чем-нибудь похуже. В Германии все это, конечно, немисливо. Итальянские дети — они особенно хороши, — растрепанные, часто грязные, тоже совсем не похожи на известных своей благопристойностью немецких детей. Мальчишки, как все мальчишки мира, играют в футбол, но здесь почему-то в самых неподходящих местах: под стенами Колизея в Риме или, как в Равенне, в «зоне молчания» вокруг могилы Данте.

Итальянцы радушни и словоохотливы. Они, по-моему, почти всегда искренни, даже когда говорят неправду. Это получается вот почему: у итальянца движение души в каждый данный момент настолько импульсивно, что оно начисто вытесняет все, что этому движению мешает или противоречит. Это не уловка, не сознательный прием, это — темперамент.

Как-то раз в купе поезда пожилой уже человек — как выяснилось из разговора, шофер автобуса, — слегка подвыпивший, но не пьяный (он ехал со свадьбы), узнав, что я русский, советский, бросился меня обнимать. Мы расцеловались, и он, безусловно, желая от всей души сказать и сделать мне приятное, с'ял убеждать меня в том, что они, итальянцы, всегда ненавидели гитлеровцев (это — допускаю) и что они всегда вместе с нами, русскими, их били (это, очевидно, можно допустить лишь с существенными оговорками). Он не был неискренен — в этом я уверен, — но темперамент, да еще подогретый соответствующей дозой кьянти, увлекал его в этот момент в одну определенную сторону.

Кстати сказать, с проявлениями — и даже довольно бурными — симпатии к советским людям я сталкивался не раз. Помню, не то в Падуе, не то в Ферраре я спросил у человека, стоявшего на углу улицы и раздававшего какие-то рекламные афишки, как мне пройти к вокзалу. Мы немного разговорились. Поняв без особого труда по моему итальянскому языку, что я иностранец, он спросил меня, откуда я приехал. И он даже не сразу поверил моему ответу. «Как, из России? Когда же вы оттуда? Всего месяц? Из Советской России?» Тут он вдруг швырнул наземь всю охапку своих афиш и, протягивая мне обе руки, закричал: «Товарич!» Да, славный, приятный народ — итальянцы!

Из всех городов, которые мне довелось повидать в Италии, самым неинтересным оказался Рим. Во-первых, он неинтересен и даже неприятен в архитектурном отношении. На весь город наложил свой отпечаток архитектурный модерн конца девятнадцатого — начала двадцатого века, стиль — если только он вообще заслуживает этого названия, — убивший развитие архитектуры по меньшей мере на полстолетия.

Не могу до сих пор без чувства искреннего огорчения вспомнить свою первую прогулку по городу, хотя маршрут был избран мною совершенно случайно. Я шел по Виа Национале, одной из центральных улиц Рима. Дома на ней тяжелы и претенциозны. Дойдя до конца улицы, я повернул направо и вышел к площади Венеции. Но тут меня ожидало, в полном смысле слова, тяжелое моральное потрясение.

Прямо передо мной, господствуя над окрестным городом, вздымалось нечто совершенно неопишемое в смысле своих форм и пышности, нечто похожее на огромный, затейливо украшенный торт; это — монумент Виктора Эммануэла. Он ужасен. Правда, подобного безобразия не встретишь, пожалуй, больше нигде во всей Италии, зато улиц в таком духе, как Виа Национале, вполне достаточно и в самом Риме и в других городах. И хотя в иных путеводителях по Риму говорится, что триумфальные арки времен империи, средневековые храмы и современные здания взаимно и органически дополняют друг друга, это совершенно неверно, и барочный храм рядом с Корбюзье, конечно, друг друга лишь взаимно поргят. Папский Рим пышен и тяжел, античный — представляет скорее археологический, чем архитектурный интерес, а современный Рим, на мой взгляд, безвкусный город.

Быть может, покажется странным, что я начал разговор о Риме в сугубо «архитектурном аспекте». Но это не случайно. Я поступаю так вполне сознательно и даже намеренно, ибо для меня это вовсе не «искусствоведческий» аспект. Рим, как-никак, прежде всего исторический город, а в чем еще может выразить себя «зрительнее» и ярче та или иная историческая эпоха, как не в зодчестве? Из всех «изящных искусств» зодчество, архитектура, пожалуй, единственное, что перерастает рамки искусства в прямом (и потому — узком) значении слова: замысел архитектора не может быть воплощен в жизнь без труда каменщика.

Но камень, как мы знаем, был первым материалом, которого коснулась и рука и творческая мысль человека. За те несколько сот тысяч лет, что истекли с этого момента, человечество все же приобрело известный опыт в обращении со своим исконным материалом и — куда в меньшей степени! — со своими собственными мыслями. Вот

почему материальные памятники, а среди них творения зодчества, и теперь говорят с нами нередко более достоверным языком, чем иные книги. Это знает каждый историк. Об эпохах позволительно судить по их строительному материалу, о вкусах и духовных запросах поколений — по аркам, перекрытиям, контрфорсам. Но если так, то, скажем, путь, пройденный западноевропейским искусством, а пожалуй, и шире — цивилизацией, что это такое? Быть может, истолкованный пластически и «зрительно», он всего-навсего лишь повторение, лишь некий итог развития классических ордоров: от мудрой простоты дорического ствола до бесплодной и ненужной изощренности коринфской капители?

Во-вторых, мне Рим не понравился потому — и это уже совсем из другой оперы, — что здесь слишком сильно пахнет католической церковью. Конечно, ею попахивает — и изрядно — по всей Италии, но в Риме это просто бьет в нос. Начать хотя бы с того, что здесь немверное количество монахов. Чуть ли не каждый пятый встречный на улице — монах; они едут в автобусах, трамваях, они мчатся с бешеной скоростью на мотоциклах, они стоят в очереди за экстренными выпусками газет, на них натыкаешься в общественных уборных. Они черные, коричневые, синие, красные; одни, несмотря на жару, в наглухо застегнутых одеждах и в сапогах, другие — в элегантных рубищах, подпоясанных подобием веревок, в сандалиях на босу ногу. Здесь, видимо, представлены все существующие монашеские ордена. Отвратительное впечатление производит церковь ордена капуцинов S. Maria della Concezione, где в подвалах можно любоваться «панорамными картинами», сложенными из костей, черепов и скелетов.

В первый день пасхи я пошел на площадь святого Петра послушать торжественную мессу. Перед главным порталом собора был выстроен длинный деревянный помост. Сначала на нем состоялся парад ватиканской гвардии; форма — черное с белым, черные треуголки с красными султанами. Затем помост сплошь заполнило духовенство. Все это — под колокольный звон и военные марши попеременно. Самая месса продолжалась около часу, служил ее какой-то важный кардинал. Гвардия по команде стала на колени и так простояла всю службу. Игра органа транслировалась на площадь из собора.

Ровно в двенадцать часов в центральной лоджии собора появился папа в сопровождении четырех кардиналов. Они в алом облачении, папа — в белом. Его встретили, к моему удивлению, криками и аплодисментами, как тенора в опере.

Папа произнес небольшую, так минут на пятнадцать, речь, в которой он высказался за мир между народами и отрицательно отозвался об атомной бомбе. После окончания речи (говорил он, конечно, по-итальянски) папа обратился — и это было самое любопытное — с краткими приветствиями к католикам различных стран. Причем эти приветствия (варьируя их содержание) он произнес на французском, английском, немецком, испанском, португальском и голландском языках. После этого папа прочел латинскую молитву, которой — если только я правильно понял — он давал отпущение грехов всем присутствующим, в том числе, значит, и мне. В заключение в центре площади, у обелиска, была выпущена на воздух большая стая белых голубей, чем весь спектакль и закончился.

К сожалению, это не просто спектакль в пышных декорациях. За всем этим стоит огромный — недаром Ватикан продолжает оставаться самостоятельным государством — разветвленный аппарат со своей многоопытной администрацией и дипломатией, со своей глубоко продуманной системой образования, с огромными средствами, с веками накопленным опытом лжи, обмана, интриг, провокаций. Вот уж где понистие мертвый хватает живого! Вот когда невольно вспоминается одно подходящее определение из Гольбахова «Карманного богословия»: «В а м п и р ы. Так называют мертвецов, которые забавляются высасыванием крови из живых. Быть может, вольнодумцы усомнятся в существовании такой нечисти, пусть же они откроют глаза, и они увидят труп, высасывающий кровь из живого организма общества. См. М о н а х и, С в я щ е н н и к и, Д у х о в е н с т в о».

Не приходится, конечно, преуменьшать авторитет и влияние католической церкви даже в наше время. Но, с другой стороны, не стоит, пожалуй, его и преувеличивать. «Средний» итальянец — как вообще всякий «средний католик» — безусловно верующий.

Но во что? Я далеко не убежден, что этот «средний» итальянец верит в бога, но он, несомненно, верит в то, что в бога ему следует верить, что ему следует ходить в церковь — если не всегда, то хоть по большим праздникам, — следует выполнять некоторые обряды — к примеру, крестить детей; следует признавать — если нельзя уважать — духовенство. Кроме того, он верит во всякие чудотворные иконы, мощи, предсказания и приметы, пожалуй, больше и искреннее, чем во все остальное.

Ну что ж, это факт, и с ним нельзя не считаться. Интересно, однако, что наряду с подобными твердо установившимися взглядами и привычками в широких кругах населения (в том числе и среди правоверных католиков) идут какие-то глубинные процессы, которые иногда выплескиваются наружу в довольно своеобразной форме. Так, например, на выборах по тому избирательному округу Рима, куда входит Ватикан и который в остальной своей части имеет смешанный состав населения, баллотировался, наряду с другими, депутат от коммунистической партии. Когда мне об этом говорили в Риме, я был удивлен и не мог понять, зачем выдвигать кандидатуру на верный провал. Но знающие люди сказали, чтобы я не торопился с выводами насчет этого кандидата. Как я узнал позже, именно он и был избран в Сенат.

По-моему, это интересный пример. Он, очевидно, подтверждает тот, гораздо более широкого значения факт, что в итальянском народе есть живые силы, стремящиеся к прогрессу, обращенные к будущему против прошлого. Об этом мне хотелось бы сказать хоть несколько слов.

Из всего того, что уже говорилось выше, читатель может вывести заключение, что Италия — «антиквизированная» страна, страна, живущая воспоминаниями о своем великом прошлом, даже эксплуатирующая это великое прошлое, но в наше время — страна малых дел и провинциальных масштабов. Не скрою, именно так и было мое первоначальное впечатление. Более того, в определенном аспекте мне говорили об этом сами итальянцы, причем говорили люди передовые, прогрессивно мыслящие и прогрессивно настроенные.

Но это так и совсем не так. На самом деле за ветхими декорациями античности или средневековья, за зримой для туриста повседневной суетой идут, как было уже сказано, более глубокие, не всегда видимые сразу, но тем не менее крайне важные, может быть определяющие все дальнейшее развитие страны, процессы.

Очевидно, главным фактором следует считать широкое демократическое обновление страны после свержения фашистского режима. Говоря об этом, я имею в виду не только и не столько относительную демократизацию государственного аппарата или политической жизни страны в целом, сколько те явления, которые Пальмиро Тольятти определил как великое пробуждение политического сознания народных масс.

Это «пробуждение» сказалось прежде всего в неуклонном росте авторитета Итальянской компартии. И в смысле влияния и в смысле численности она — огромная политическая сила в стране. По данным на 1 сентября 1960 года, она насчитывает в своих рядах 1 790 558 человек.

О росте авторитета Итальянской компартии и ее влияния на массы убедительно свидетельствуют итоги последних выборов. Как известно, несмотря на отказ лидеров социалистической партии от сотрудничества с КПИ и даже прямое участие этих лидеров в антикоммунистической кампании, компартия добилась крупных успехов — и на парламентских и на недавних муниципальных выборах.

О «пробуждении», о росте прогрессивных сил страны свидетельствует и широкий размах забастовочной борьбы, в которой принимают участие самые различные слои населения: рабочие строительной, химической и пищевой промышленности, железнодорожники, сельскохозяйственный пролетариат (особенно массовой была двадцатичетырехчасовая забастовка в августе 1958 года, когда бастовало два миллиона исполнителей и сельскохозяйственных рабочих Тосканы, Умбрии и Эмилии), журналисты, учителя. У всех еще свежи в памяти события минувшего года, когда огромная волна народного возмущения прокатилась по всей стране и смысла реакционное правительство Тамброни, которое шло на недвусмысленный сговор с неофашистскими элементами.

Тем не менее в Италии, где была и остается значительной силой мелкобуржуазная стихия, очень велико значение так называемых «средних слоев». Вопрос об этих «средних слоях» — сложный вопрос. Эти слои населения — и в смысле своего социального положения и в отношении своих политических симпатий — пестрый конгломерат, своеобразный сплав, который в политической жизни и борьбе часто выполняет роль некоего амортизатора. Вот почему через эту огромную — в основном мелкобуржуазную — толщу не так легко пробиться наружу прогрессивным идеям, силам, движению.

И вот почему, бродя по Риму, который мне так не нравился, я все же не мог полностью отделаться от первоначального впечатления, что еще многое в этой стране в настоящем — ненастоящее, а настоящее и стоящее — в прошлом. Вдоль улицы Via dei Fori в стену Форума вделаны четыре выбитые на меди карты: Рим — маленький городок на Тибре, Рим — после Пунических войн, Рим — в эпоху Августа и, наконец, Римская империя в период своего наивысшего территориального расширения, то есть во времена Траяна. Возможно, что незадачливый дуче, который, кажется, и проложил эту улицу, мечтал, как он со временем вделает в стену Форума пятую карту — карту его империи, — но ведь слишком хорошо известно, что из всего этого получилось. Поэтому история Рима завершается здесь вторым веком нашей эры, а самый Forum Romanum — особенно если смотреть на него с обрыва Капитолия, когда он виден весь, вплоть до Колизея, и весь лежит внизу, в своих величественных и жалких развалинах, — достаточно убедительное свидетельство того, что осталось к нашему времени и от этого истинного величия. Кстати, когда смотришь на такие всем известные памятники, то в голову приходят всем известные фразы, и оттого, глядя на Форум, обязательно хочется сказать: «Sic transit gloria mundi»¹.

— Sic transit! — сказал мне один мой знакомый, итальянский историк, человек далеко не обычной судьбы и разносторонних дарований.

Между прочим он неоднократно бывал в нашей стране и даже жил в ней. Разговор у нас вышел как раз насчет прошлого и всяких там памятников старины. Мой знакомый сказал, что, когда он был в нашей стране в первый раз и много ездил по старым русским городам, он был удивлен нашим не очень заботливым, а иногда просто небрежным отношением к памятникам прошлого. Он сказал также, что наши Владимир и Суздаль или Ростов Великий при должном к ним отношении могли быть не менее знамениты, чем Равенна, Падуя и другие знаменитые итальянские города.

— Сначала, — сказал он, — меня, как историка, все это даже огорчало. Но потом я понял, что был неправ. Во-первых, памятники старины, памятники искусства в вашей стране не являются, как, скажем, у нас в Италии, своеобразной и вместе с тем весьма прибыльной статьей национального дохода. Затем — и это, по-моему, главное — я убедился, что ваш народ ничуть не меньше, чем любой другой, чтит свое историческое прошлое, но зато у вас начисто отсутствует столь типичное для Запада эстетское, слезливо-восторженное умиление прошлым ради самого прошлого. И вот почему. Основной импульс, доминанта вашего общественного бытия, воли и чаяний всего вашего народа — отнюдь не обращенность к прошлому и любованье им, а, наоборот, небывалое и, увы, недоступное для нас устремление в будущее.

— У нас же, — продолжал он, — поклонение прошлому — причем я имею в виду не только Италию, но и некоторые другие европейские страны — все больше и больше возродится в подлинный культ. Отсюда преимущественный интерес к древней или средневековой истории. Отсюда же несравненно более бережливое и более заботливое отношение к руинам любого захудалого замка, чем к жилым домам... Как знать, быть может, именно в этом одно из коренных отличий вашей страны от дряхлеющего европейского мира. Знаменит века! История величия западных держав, эпоха их расцвета, увы, позади. Если быть строго объективным — а, очевидно, такова обязанность каждого добросовестного историка, — то придется признать, что Италия в так называемое новое время вообще не имела своей истории. Ее история, эпоха ее общенационального значения

¹ «Так проходит земная слава» (лат.).

кончается в лучшем случае временем Венецианской и Генуэзской республик, то есть пятнадцатым-шестнадцатым веками. Нельзя же в самом деле брать всерьез те печальной памяти попытки возродить «великую империю», которые предпринимались фашистскими правителями и которые выглядели бы просто смехотворно, если бы не было во имя этого пролито столько крови. Что касается других «великих держав», то в этом же смысле история Франции кончилась еще под Седаном. Не говоря о позоре 1940 года, совершенно ясно, что и в первую мировую войну Франция проявила полную беспомощность и была спасена своими союзниками, в том числе — Россией. История «величия» Британской империи, как я полагаю, кончается позднее — во время следней мировой войны. Она кончается в наше время и на наших глазах. Sic transit!

Вот о чем говорил мой собеседник. Может быть, он и прав был, говоря о причинах подмеченного им у нас пренебрежения к памятникам старины. Но я бы не хотел соглашаться на оправдания. Пока я не собираюсь с ним полемизировать или уточнять наши разногласия — оставим это на другое время, — однако я должен сказать, что в дальнейшем мне не раз приходили на ум его слова, и прежде всего во время моего пребывания в Англии.

2

От Италии у меня впечатления главным образом зрительные, от Англии — умозрительные. Впрочем, в отношении Англии следует сразу же сделать оговорку: страну я видел плохо и мало, был в основном только в Лондоне. Но думаю, что Лондон — город, в котором живет чуть ли не пятая часть всего населения Британских островов, — может все же дать представление и о стране в целом.

Во всяком случае, мои общие впечатления от Англии вполне определены. Это страна основательная и солидная. Пожалуй, именно и прежде всего — солидная, лучшего определения не подыщешь. Англия, конечно, и сейчас крупнейшее западноевропейское государство, с первоклассной промышленностью и высокоразвитой экономикой. Влияние Англии на целый ряд стран, в том числе и на те, которые были еще совсем недавно ее колониями, а ныне добились независимости, отнюдь не прекратилось, и его нельзя недооценивать. В силу всех этих причин в самой Англии очень устроенная жизнь — неторопливая, устойчивая и даже как будто вполне благополучная.

Но вместе с тем нигде с такой гнетущей отчетливостью — стоит только внимательнее присмотреться к своеобразному механизму повседневной жизни англичан — я не ощущал того внутреннего омертвления, той странной оцепенелости, которая постепенно, но, на мой взгляд, со все возрастающей силой охватывает английское общество. Как будто этот веками налаженный, до сих пор хорошо и заботливо смазываемый механизм работает — все больше и больше — вхолостую. Конечно, я далек (как, впрочем, и мой итальянский собеседник) от вульгарного намерения предрекать окончательный развал Британской империи в ближайшие месяцы или даже годы — я знаю, что минуты истории — это долгие десятилетия в жизни поколений, но я знаю и другое: нет и не может быть ничего важнее — как в жизни отдельного человека, так и в исторической жизни страны, — чем ощущение перспектив, возможностей поступательного движения.

Имеются ли ныне такие возможности в Британской империи? И прежде всего, что такое ныне Британская империя, что она собой представляет?

Сами англичане отвечают на этот вопрос по-разному. Я очень часто слышал в Англии фразы вроде: «во время империи» или «когда мы были империей» и т. п. Англичане, которые так говорят, очевидно, считают, что Британской империи более не существует, но, признавая это, все же не хотят и не могут с этим примириться и переживают крах империи, как национальную трагедию. Их позиция, во всяком случае, ясна. Другие же (и таких, пожалуй, большинство) страстно уверяют всех, в том числе и самих себя, что по существу ничего не изменилось и Британское Содружество Наций — та же империя. Найдены лишь — в зависимости от условий и времени — новые, более гибкие формы. Сторонники подобной точки зрения ссылаются — не замечая при этом, что они впадают в явное противоречие, — именно на гибкость своей дипломатии и на мудрость своих правителей, которые якобы своевременно поняли, что Англия уже не занимает и не в состоянии занимать то место в мире, которое принадлежало ей «по

праву» до обеих мировых войн, и что было бы неразумно претендовать теперь на это место, и потому, мол, и избран новый путь. Кстати, «новый путь» — добавим уже от себя — в настоящий момент, видимо, понимается так: сохраняя ведущее положение в Европе, вместе с тем не упустить возможности выступить в роли арбитра между «Западом» и «Востоком», читай между США и СССР, лишь бы они, не дай бог, не договорились между собой без старой доброй Англии.

Что касается меня, то я рассматриваю Британское Содружество Наций как своеобразную попытку или форму сохранения британского империализма, даже без наличия Британской империи как таковой. Пожалуй, следует признать определенную «гибкость» этой формы, поскольку известно, что большинство бывших английских колоний вошло в «содружество», а в последнее время мы наблюдаем, как на подобный же путь стремится встать (правда, сталкиваясь с гораздо более серьезными осложнениями) и французский империализм.

Не будем сейчас обсуждать вопрос о судьбах Британского Содружества Наций в плане исторических прогнозов. Насколько найденная форма действительно «удачна» для самого британского империализма — покажет будущее. Но зато уже сейчас достаточно ясно вырисовывается другое любопытное обстоятельство: в какой мере оказался активен в поисках «новых форм» британский империализм, в той же мере оказывается пассивна, я бы даже сказал, негативна традиционная английская демократия. И действительно, во всем, что так или иначе касается этой демократии как определенного политического строя, как строя английской жизни, нельзя усмотреть ни малейшего стремления к поискам каких бы то ни было новых форм. Наоборот, все, что я видел в Англии и что характерно для этой страны, может лишь подтвердить подобный вывод.

Говоря об этом, я имею в виду не только всем известную особенность англичан — любовь к историческим традициям. Она в конце концов проявляется по-разному. Оперные парады конной гвардии или смена караула у Букингемского дворца — развлечение довольно невинное, оно никому и никак не мешает. Но существует другое проявление названной выше особенности, осязаемое уже повседневно, — это, признаться, и поразило меня более всего в Англии — необычайная старомодность английской жизни сейчас, в настоящее время.

Эта старомодность — во всем: в архитектуре домов, каминах (тем более электрических!), розах в петлице у мужчин на улицах, конструкции лондонских автобусов, оформлении витрин магазинов. В номерах гостиниц, где я останавливался, — не в самых шикарных, конечно, а в средних, рядовых, — везде стояла старая мебель, не старинная в смысле стиля, а просто старая и, надо сказать, очень неудобная. Мне не часто случалось бывать у англичан дома, но в тех домах, где я бывал, мне прежде всего бросалась в глаза старомодность обстановки.

В том же духе, по-моему, и пресловутое своеобразие английского быта, которым сами англичане весьма гордятся и, неизвестно зачем, тщательно охраняют. К примеру, левостороннее движение. Во всем мире ездят по правой стороне, только в Англии (а следовательно, и в бывших английских колониях, да еще в Японии и, кажется, в скандинавских странах) почему-то должны ездить по левой. Из-за этого в Лондоне очень трудно переходить улицу. Переходя, по привычке поворачиваешь голову налево, а в это время справа на тебя кто-нибудь уже наезжает. Англичане меня уверяли, что обычай левостороннего движения перенят ими от древних римлян: те, как известно, ездили верхом, а садиться на лошадь с левой стороны удобнее, чем с правой; вот, мол, откуда езда по левой стороне.

Англичане не признают также метрических мер. Вместо километра у них мили, вместо килограмма и грамма — фунты и унции, причем соотношение между этими двумя последними мерами постигнуть, по-моему, невозможно. Но, пожалуй, самое забавное — это монетная система: вам говорят — такая-то вещь стоит два с половиной шиллинга; вы невольно даёте два шиллинга и пять пенсов — неверно, ибо в шиллинге не десять, а двенадцать пенсов. Существует монета в полкроны, но кроны не существует. Совсем странная денежная единица — гинея, она равна одному фунту и одному шиллингу; непонятно, зачем она нужна, тем более что такой монеты вовсе и нет,

но как денежная единица гиней весьма употребительна, и цены в магазинах — особенно в шикарных — указываются именно в гинеях.

Все это, может быть, и пустяки, даже милые, забавные пустяки, но дело в том, что не менее старомодной и не менее обветшалой выглядит ныне и сама английская демократия. В чем она фактически выражается для рядового английского гражданина? В том, что он раз в пять лет может отдать свой голос за лейбориста или консерватора? А в остальное время? В остальное время он лишь может удостовериться, что спикер в парламенте по-прежнему сидит на мешке с шерстью, или может пойти в воскресенье в Гайд-парк, где какие-то жалкие, чудаковатые личности ораторствуют, главным образом, на религиозные темы и где, конечно, никогда ничего серьезного не происходит. Но мешок с шерстью спикера или «вольные» митинги в Гайд-парке — это ведь традиционные и всемирно известные основы английской демократии!

Ну что ж, вероятно, когда-нибудь так и было (еще при Герцене, что ли!), но в наше время далеко не каждый рядовой англичанин — мелкий служащий, клерк — интересуется политикой вообще и демократией в частности. Он интересуется тем, чтобы у него был дом, уют, некоторая обеспеченность. Те, у кого это есть, считают, что они довольны жизнью. Те, у кого этого нет, стремятся именно к этому. Ничего удивительного: рядовому англичанину сызмальства внушаются подобные устремления — в семье, школе, прессой, «общественностью», то есть по существу самой английской демократией, которая поистине каким-то чудом сумела превратить почти все политические проблемы в «своеобразие быта» или «традиции». Что такое в наше время традиционные основы английской демократии? Это те же, непонятно зачем сохраняемые, детали «своеобразного» быта, как гиней, камин, левостороннее движение. Вот поди и разберись, где кончается этот самый быт и где начинаются «основы»!

Что можно еще сказать про англичан? Англичане — народ деловой, основательный, с чувством собственного достоинства. Это приятная черта, и ее с удовольствием отмечаешь. Пожалуй, ни в одной европейской стране так называемый обслуживающий персонал — кондукторы автобусов, лифтеры, коридорные в гостиницах — не держится с таким достоинством и так независимо, как в Англии. Другая приятная черта — чувство юмора. Англичане действительно ценят и понимают шутку. Почти ни одно выступление, даже в самом серьезном собрании, ни одна лекция или доклад на научном конгрессе не обходятся без того, что принято называть «веселым оживлением в зале». Пресловутая английская чопорность — это миф, англичане везде и всюду ведут себя крайне непринужденно; в центральных скверах Лондона часто можно наблюдать такую картину: вполне приличные дамы — иногда далеко уже не первой молодости — сидят, сняв туфли и положив ноги в чулках на скамейку, и это никого не шокирует. Во всех парках, которые, кстати сказать, в Англии очень хороши, сидят и лежат на траве в позах, часто более чем «свободных». В Оксфорде я видел в центре города ярмарку — и молодежь и взрослые веселились здесь непринужденно и с увлечением.

Кстати, об Оксфорде. До того как я побывал в этом милом городке, я никак не мог разобраться в структуре английских университетов. Она действительно настолько отличается от нашей и опять-таки настолько своеобразна, что стоит сказать об этом несколько слов.

Что представляет собой Оксфордский университет? Это, по существу, федерация нескольких десятков университетов, или колледжей, как называют их сами англичане. Каждый колледж — совершенно самостоятельное или, лучше сказать, автономное учебное заведение. В масштабе всего университета они объединены централизованным руководством Совета университета, который, насколько я мог понять, осуществляет лишь координационные функции, но во внутренние дела колледжей не вмешивается.

Каждый колледж имеет собственное руководство, собственную профессию, собственный контингент студентов и, наконец, собственные традиции. Каждый колледж представляет собой комплекс строений — учебные и административные здания, библиотеки, жилые помещения, спортивные площадки, сады. Каждый колледж — и это, на наш взгляд, самое удивительное — в смысле своей структуры до известной степени, а то и полностью, повторяет все другие; то есть если на одной стороне улицы находится некий колледж, где имеются юридический, филологический и прочие факультеты, то

наискось от него может располагаться другой колледж, но с такими же факультетами, а через несколько улиц — третий, опять с филологическим и юридическим факультетами и т. д.

На вопрос о том, чем объясняется столь странная, громоздкая и, очевидно, мало-рентабельная во всех отношениях структура и как она сложилась, ответ один — традиция. Колледжи возникали одновременно (самый старый из них был основан в XII веке, самый молодой — года четыре тому назад), возникали по разным поводам и причинам (вплоть до пожертвований меценатов), и университет, таким образом, рос и «размножался» почкованием.

В настоящее время в Оксфорде двадцать два мужских колледжа, пять женских и четыре еще не конституированных (они не утверждены официально королевой), где в общей сложности обучается десять тысяч студентов (восемь тысяч мужчин и две тысячи женщин). Неженатые студенты (опять-таки традиция) обязаны жить в самом колледже, женатым, наоборот, это запрещено, и они должны селиться в городе. То же самое правило — может быть, только с меньшей категоричностью — распространяется и на преподавателей.

Уж где-где, но в Оксфорде традиций хоть отбавляй! Как сказано, каждый колледж обладает собственными традициями. Чем они древнее и непонятнее, тем больше ими гордятся. Мне, кстати, удалось выяснить происхождение одного странного обычая в колледже Corpus Christi. Здесь принято перед началом обеда стучать несколько секунд ложками по столу. Студенты добросовестно стучат, но зачем это делается, никто не знает. Оказалось, что обычай возник еще в средние века. Объясняют его так: перед обедом, как тогда и полагалось, кто-нибудь из преподавателей читал по-латыни молитву. Так как это обычно поручали молодым преподавателям, то они нередко путали и перевирали латинский текст. Оксфордские студенты, которые уже тогда, видимо, были образцовыми английскими джентльменами, дабы не ставить преподавателя в неловкое положение и не давать повода для насмешек из-за его ошибок в латинском языке, заглушали его голос и чтение молитвы стуком ложек. Конечно, естественнее предположить, что студенты просто бывали голодны, а молитва тянулась долго, и потому стуком ложек они выражали свое нетерпение и желание перейти от слов к делу. Но тогда получается не столь галантно, а для английских традиций это имеет не последнее значение. Как бы то ни было, обычай сохранился до наших дней — молитв по-латыни никто уже, конечно, не читает, а ложками все-таки стучат.

Но вернемся к Лондону. Что же, однако, такое Лондон, это железобетонное сердце Англии? Лондон — самое большое и самое скучное в мире скопление домов. В центре города дома черно-белые; копоть и туман, въевшиеся в камень, придают им такой фантастический, полуобгорелый вид. Но в центре Лондона люди, как правило, не живут. Все эти здания — конторы, оффисы, банки, магазины. Пройдитесь в воскресенье по улицам Сити — полное впечатление вымершего города, города, который спешно покинуло все население, спасаясь от чумы или иного стихийного бедствия. Улицы не подметены, дома пусты — это ощущаешь почти физически, — прохожие крайне редки, да и те скользят, подобно сконфуженным привидениям, стремясь как можно скорее проскочить эту зачумленную часть города.

Жилые улицы Лондона — улицы стандартных домов. Англичане, как известно, имеют обычай жить не в квартирах, а в отдельных домах. Вот и строят им их муниципалитеты целые улицы совершенно одинаковых, стена в стену примыкающих друг к другу домов, а потом заселяют эти дома лондонцами, продавая их, как правило, в рассрочку. Очень тоскливо, однако, выглядят такие улицы.

Официальная, «правительственная», часть Лондона — это треугольник между Темзой, Букингемским дворцом и Трафальгарской площадью. Здесь почти все: и здание Парламента, и Вестминстерское аббатство, и шикарная улица Мэл, которая из-под адмиралтейской арки ведет к дворцу, и параллельная ей Пел-Мэл, улица аристократических клубов, и Уайтхолл, и Даунинг-стрит, где в скромном доме № 10 с 1735 года и по сей день помещается резиденция премьер-министра Великобритании. Все это выглядит солидно, даже, пожалуй, величественно — нечто вроде музея величия Британской империи под открытым небом, — но вместе с тем безжизненно и пусто, именно

внутренне пусто, как пуст кенотаф — памятник жертвам двух мировых войн, воздвигнутый на улице Уайтхолл, надгробный памятник, под которым никто не похоронен.

И вот еще последнее, быть может несколько странное, но тем не менее памятное и яркое впечатление от Лондона. Я имею в виду Музей мадам Тюссо — музей восковых фигур.

Этот музей отвратителен. Восковая фигура отнюдь не манекен, не то, что мы привыкли видеть в витринах магазинов, ибо манекен всегда абстракция; он не имеет портретного сходства ни с кем, он выполняет чисто служебное назначение, а восковые фигуры Музея мадам Тюссо тем и отвратительны, что они на самом деле похожи на так или иначе знакомых вам людей — по газетным портретам, по кинохронике или даже виденных вами в жизни. Но только все они здесь не живые — не живые и не мертвые, — а в каком-то противоестественном, я бы сказал, промежуточном между жизнью и смертью состоянии, вроде анабиоза. Представьте себе ряд комнат, особенно в так называемой портретной галерее, битком набитых этими обряженными, торчком поставленными, до жути знакомыми вам полумертвецами, и вы поймете, какое это может произвести впечатление. Кстати сказать, в Музее мадам Тюссо есть еще «комната ужасов», куда надо спускаться, как в подземелье, по узкой винтовой лестнице и за посещение которой берут даже дополнительную плату (Музей мадам Тюссо вообще единственный платный музей в Лондоне, и он всегда полон — не то что Национальная галерея или Британский музей). Однако в этой комнате, где очень добросовестно представлены различные средневековые пытки или натуралистически изображено гильотинирование, ничего «ужасного», на мой взгляд, нет, а по-настоящему ужасна та верхняя галерея, где вы обречены блуждать среди знакомых вам полумертвецов. Я ничего не могу поделать, к сожалению, но крайне неприятное воспоминание об этом заведении мадам Тюссо для меня до сих пор неразрывно связано с моими общими впечатлениями от Лондона.

3

И совсем, конечно, другое дело — Париж. Это совсем другой город. Это наиболее городской город из всех городов на свете. Нигде так явно не выражена, нигде так не ощущается самая субстанция города, как в Париже. Это, очевидно, многовековая городская культура, ставшая уже обиходом.

Я не знаю, стоит ли пытаться «описать» Париж. И не потому только, что это трудная и неблагодарная задача, но потому, что едва ли в данном случае можно говорить о непосредственности восприятия. Почти все мы так или иначе, больше чем какой-либо другой город, знаем Париж еще до того, как побывали в нем. Из-за этого наши личные впечатления неизбежно опосредствованы, они отягощены всякими — и главным образом литературными — реминисценциями. От них не так просто отделаться, да мы обычно и не стремимся к этому, принимая их за выражение нашей собственной высокой утонченности. Так же, наверное, и со мной. Но как бы то ни было, разве можно устоять перед искушением и не сказать хотя бы несколько слов о Париже?

Итак, Париж. Прежде всего это — город великолепно найденных уличных мизансцен. Бесчисленные кафе, быстро, столики прямо на тротуаре, тенты; все мизансцены — фронтальные, все посетители сидят только лицом к улице. Магазины, лавки, в особенности где торгуют овощами или всякими «fruits de terre», — горы ящиков с капустой, морковью, криветками, омарами, ракушками — тоже прямо на улице. Запахи, краски, шум голосов, веселая толкотня. Жаровни с каштанами на бульварах. Букинисты и продавцы птиц на набережных Сены. Веселая Place du Tertre на Монмартре, вся уставленная разноцветными зонтиками кафе и мольбертами художников.

Париж — город ансамблей. По-настоящему величествен ансамбль Лувра. Очаровательна своими пропорциями Вандомская площадь. Незабываемо хороша площадь Согласия, особенно к вечеру, когда над деревьями Тюильрийского сада начинают проступать смутные и нежные цвета невидного за домами заката.

Да, Париж — город ансамблей. Но если бы он — не дай бог! — состоял из одних только ансамблей, он бы не был Парижем. Поэтому и ночная Place Pigalle и предместье

Сен-Дени или почти сельские улицы окраин, чахоточные бульвары, одноэтажные домики с пыльными газонами за решеткой, подслеповатые лавчонки, заборы, заборы, заборы, торчащая проволока, груды строительного мусора — это тоже Париж.

Это Париж, и он восхитителен. Он всегда и всюду живой, трепещущий, постоянно ощутимый. Он в высшей степени обладает качеством, которое присуще лишь немногим городам на свете: к нему быстро привыкаешь и в него легко вживаешься. Когда-то мне пришлось прожить около года в Берлине. После этого я бывал в Берлине еще не раз, знаю его лучше любого другого европейского города. Но я так и не привык к нему, всегда и во всем я ощущаю его как не свой город. Совсем другое дело — Париж. Чуть ли не на третий день у меня уже возникло чувство, что город мне не чужой, что он не только рядом со мной, но и во мне и что я сам в какой-то мере начинаю жить его жизнью и дышать его дыханием.

Но насколько хорош сам город, настолько же неинтересны и даже разочаровывают его «достопримечательности». В Лувре действительно интересны лишь немногие шедевры (их без труда можно пересчитать на пальцах). Версальский парк тесен, мал и запущен. Пантеон с фресками Пюви де Шаванна или капелла Дома Инвалидов с претенциозной глыбой гробницы Наполеона, на мой взгляд, перехвалены путеводителями не в меру. Нет, в Парнже надо ходить по городу, толкаться в его толпе, а вовсе не осматривать «достопримечательности».

Кстати, об этих самых «достопримечательностях» в более общем смысле. Они, я думаю, повсюду невыносимы. Представьте себе на минуту, что вы без определенной цели и плана, без какого бы то ни было путеводителя бродите по городу, в который вы попали впервые. Что может быть увлекательнее такого занятия! Какие открытия, какие очаровательные неожиданности подстерегают вас почти на каждом шагу! Вот вы набредаете на маленькую улочку — как и было со мной во Флоренции, — она совершенно прелестна, и вдруг вы, к своему удивлению, читаете на дощечке, что она называется Via Alighieri, а вот и дом, где жили его родные и, кажется, он сам, и тут же, совсем неподалеку, маленькая часовня с воздушными фресками неизвестного вам, но изумительного художника. Если на все это вы натолкнулись случайно, неожиданно, в этом всегда есть какая-то радость первооткрытия, это запоминается, оставляет свежий след в памяти и чувствах.

А теперь представьте, что вы должны осмотреть данную «достопримечательность». Это уже совсем другое дело. Во-первых, вас доставляют на место в автобусе да еще кратчайшим путем, и вы ничего толком не видите. Во-вторых, вам все объясняют: и который год (что вы тут же забываете), и про гвельфов и гибеллинов (что вам ни к чему), и, наконец, что фрески в часовне принадлежат, оказывается, не кому-нибудь, а самому Гирландайо. Не знаю отчего, но в таких случаях я смотрю на все с какой-то уже тоской, мне, в общем, уже ничего не интересно. Я думаю иногда, что многое для меня в Италии просто погибло, и погибло потому, что входило в «обязательный минимум». Обязательность — вещь ужасная; она убивает всякую свежесть и непосредственность восприятия.

То же самое и в Париже. Вполне вероятно, что, скажем, Сен-Шапель с ее замечательными витражами или треугольная площадь Дофин запомнились бы мне более ярко, если бы меня не возили их осматривать в «обязательном порядке». Как знать, пожалуй, и Версаль и парк — если побродить в нем одному, не торопясь и не с целью «осмотра» — предстали бы в ином свете, оставили бы совсем иное воспоминание.

Кроме Парижа, мне довелось еще побывать на юге Франции. От Лазурного берега я, в общем, не в восторге. По-моему, все курортные места на юге Европы более или менее одинаковы. Они как-то все на одно лицо, они банальны и космополитичны в самом дурном смысле этого слова. Всюду те же виллы, эспланады, отели, яхты. В этом смысле что Ницца, что Канн, что Сорренто — все едино.

Занятно, конечно, съездить в Монако — опереточное государство, где население, как об этом дружно сообщают все путеводители, не платит налогов (доходы от рулетки), а принц женат на американской кинозвезде. Но, собственно говоря, ни принц, ни его кинозвезда не являются хозяевами Монако, а подлинный хозяин — мультимиллионер грек Оназис, главный держатель акций рулеточного предприятия. Был я, разу-

меется, и в Казино — шикарное заведение, ничего не скажешь. Вроде наших Сандуновских бань. С лепными украшениями и даже с амурчиками.

Играть я не играл, но, каюсь, смотрел (и не без интереса!), как играют. Это, безусловно, производит впечатление. Во-первых, тишина, как в церкви. Слышны лишь бесстрастные, повторяемые через правильные промежутки возгласы крупье, больше никто не произносит вслух ни слова. Перед каждым игроком лежит лист бумаги, а то и блокнот, где он отмечает вышедшие номера, — у каждого своя «система», разработанная до мельчайших деталей. Среди этой благоговейной тишины и сосредоточенности игроки имеют вид не столько игроков, сколько научных сотрудников, занятых лабораторным исследованием какого-то сложного процесса. Кстати, правила поведения в Казино — строгие; если кто из игроков допустил «нетактичность», к примеру, поспорил с крупье или соседями из-за ставки, повысил голос, — сразу попросят выйти из-за стола, и в следующий раз швейцар у входа даже не пропустит в помещение.

Заглянул в глаза нескольким игрокам — страшно. Совершенно пустые, неподвижные глаза, взгляд не то что безразличный, а как бы от всего отрешенный. Тебя они не видят — они никого и ничего не видят, — зрачок глаза фиксирует лишь одно: выражение шарика.

Я пробыл у игорных столов около часа. При мне никто не сорвал многотысячного куша, никто не проигрался в пух и прах, одним словом, не произошло никаких трагедий. Даже наоборот — все было по-прежнему более чем пристойно. Но что, собственно говоря, понимать под трагедией? Каких-либо эффектных душераздирающих сцен я действительно не видел, но разве не страшнее то, что я видел в глазах игроков? И разве не страшен скрытый под безукоризненной оболочкой европейской «цивилизации» темный, первобытный инстинкт — скорее животный, чем человеческий, — инстинкт игры, охоты, погони, добычи?

Куда, однако, более интересными, чем все эти курортные места, оказались маленькие городки юга Франции — Валорис, Экс (в Провансе), Арль, Авиньон. Каждый из них имеет свою особую физиономию и особый колорит. В Валорисе — часовня тринадцатого века, внутри расписанная Пикассо, знаменитая фреска «Война и мир». В Арле — прелестная маленькая площадь с памятником Минстралю и остатками римской колоннады. В Авиньоне — папский дворец, парк Роше, где некогда гуляли Петрарка с Лаурой, вид на противоположный берег Роны; когда-то лишь на том берегу и начиналась Франция. Во всех этих городах много старины, почти все они ведут свою родословную от римских времен, но по крайней мере в одном отношении они приятнее итальянских городов. Здесь всяческая старина — арены, цирки, термы, акведуки — не выпирает столь от дельно и столь независимо от современности, а главное, здесь не испытываешь того ощущения ненастоящести настоящего, от которого я никак не мог освободиться в Италии.

Я был во Франции в пору зрелой осени. Погода стояла великолепная. Поэтому я так хорошо и благодарно помню щедрое солнце Прованса, расплавленное серебро средиземноморского побережья, фиолетовую дымку над мостами Сены, почти душевные вечера в ослепительной суете и грохоте парижских бульваров.

Какова же, однако, в настоящее время жизнь во Франции, как живут так называемые «средние» или «рядовые» французы?

Если об этом позволительно судить на основании чисто внешних и мимолетных впечатлений, я бы сказал так: французы живут веселее англичан, но озабоченнее, чем итальянцы. В их жизни заметна какая-то нервозность, какая-то даже неуверенность. Скорее всего это неуверенность в будущем. Не чувствуется также довольства своей жизнью и своим положением. Отсюда, как мне кажется, несколько более значительный интерес рядового француза к вопросам политики. Но политическая обстановка в стране сложна и мало благоприятна для простых людей Франции. Тем не менее или именно благодаря этому здесь как-то сильнее ощущается внутреннее движение, внутренняя жизнь общества и нет той оцепенелости, что так неприятно поражает в Англии. Конечно, французское «веселье» и английская «скука» скорее лишь различие национальных темпераментов, но ведь и это кое-что значит, когда речь идет не о темпераменте отдельного человека, а целого народа.

Материальные условия жизни во Франции не легки. Кто-то из английских консервативных лидеров, чуть ли не сам Макмиллан, позволил себе такую фразу: «Если раньше в Англии население делилось на тех, кто имеет и кто не имеет, то теперь англичане делятся на тех, кто имеет, и тех, кто хочет иметь еще больше». Конечно, это только фраза, цену которой хорошо знают и в самой Англии. Возможно также, что она была произнесена в состоянии некоего головокружения после успеха на выборах. Но бесспорно и то, что во Франции или в той же Италии ни один политический деятель не рискнул бы в настоящее время на подобную фразу.

Как-то на одной из дорог Прованса мы попросили нашего шофера остановить автобус. Шел сбор винограда. Нас интересовало, сколько получают в день за свой труд эти крестьяне, то есть, по-нашему, батраки, нанятые владельцем виноградника на сезонную работу по уборке. Оказалось, во-первых, что женщины и мужчины получают неодинаково. Женщины получали 1 200 франков (старых) в день и литр вина (столовое вино во Франции дешевле лимонада), мужчины — 1 600 франков и два литра вина.

Между прочим, несправедливая оплата женского труда или труда молодежи — явление довольно обычное. Во французских газетах я видел такие цифры: 66 процентов женщин-работниц и 34 процента женщин-служащих получают менее 25 тысяч франков в месяц. Наряду с этим приводился такой пример: некая покупательница одного из парижских модных магазинов, погашая свои счета, уплатила за месяц 450 тысяч франков, то есть такую сумму, заработать которую женщина-работница может лишь в течение полутора лет. Один делегат, выступая на конгрессе молодежи, говорил: «Я бы никогда не поверил, если б не видал своими глазами расчетной книжки, что на предприятии Альстома за пятьдесят два часа работы платят менее 6 тысяч франков только потому, что рабочий «слишком молод».

Чего же ждут и на что надеются «рядовые» французы? Я думаю, что это все очень простые и ясные вещи: снижение цен на предметы первой необходимости, прекращение тягостной, особенно для молодежи, войны в Алжире. Чего не хотят и боятся? Тоже ясно: всяческих экспериментов с атомной бомбой, а еще больше — усиления «ультра».

Когда я был во Франции, мне приходилось довольно часто встречаться с членами общества «Франция — СССР». Удивительно сильна, почти трогательна стихийная тяга к нам, интерес ко всему, что делается в нашей стране. Нигде, по-моему, наши космические достижения не произвели такого глубокого впечатления, даже переворота в сознании многих тысяч людей, как во Франции. Слова «лунник», «лунная эра» были у всех на языке в дни полета нашей ракеты к Луне. О «лунной эре» и сейчас говорит французская молодежь. Не знаю, насколько я прав, но в этом интересе к наиболее прогрессивным явлениям современной жизни мне слышится биение большого сердца французского народа; я и сейчас ощущаю это биение, я верю в не угасшую еще галльскую живость, в еще далеко не исчерпанные духовные и материальные силы нации, верю в ее способность к обновлению.

4

А теперь некоторые общие соображения. Они, кстати сказать, отнюдь не являются результатом моих личных впечатлений. Я не рискнул бы из этих весьма поверхностных впечатлений — а какой еще след могут оставить кратковременные поездки! — извлекать те или иные обобщающие выводы. Но я историк, а потому прошлое и будущее, исторические судьбы тех стран, с которыми мне довелось познакомиться, занимают меня сегодня не впервые; личные же впечатления — всего лишь живые иллюстрации, подтверждающие (или, наоборот, опровергающие) то, что было продумано и до некоторой степени изучено раньше. Так что высказываемые мной соображения — плод раздумий историка, но раздумий, подкрепленных личными наблюдениями.

Однако следует сразу же оговориться. Пусть читатель в этих моих соображениях не ищет всестороннего анализа современного положения европейских стран, ученых экскурсов в область экономики и статистики или хотя бы — что у нас особенно ценят — неуязвимых по своей точности формулировок. Ничего этого здесь нет и быть не может, ибо я не претендую ни на какое исследование, не пишу научной статьи, но лишь хочу,

причем — если позволительно так сказать — в самой непритязательной форме, поделиться с читателем некоторыми своими мыслями и соображениями.

Соображение первое. Мне хотелось бы с самого начала подчеркнуть возросшую роль и значение в классовой структуре европейского общества так называемых «средних слоев», то есть огромной, многомиллионной толщи (и средостения) между господствующей верхушкой и эксплуатируемыми. Я думаю, что положение, а следовательно, и роль этих слоев еще не всегда оцениваются нами в должной мере, особенно в условиях современного капитализма.

Но что такое «современный капитализм»? В чем его отличие от старого, так сказать, «классического капитализма»? Идеологи этого якобы нового капитализма, его провозвестники и трубадуры довольно много распространяются на эту тему. По их речам и писаниям получается, что в капиталистической системе произошли огромной важности внутренние изменения, изменения принципиальные, что в силу этих изменений нынешний капитализм вовсе и не капитализм, а нечто совсем иное и нечто совсем замечательное; однако что именно и как это назвать — пока, насколько мне известно, удачного определения не найдено. То есть были, конечно, всякие идеи и по части названий, вроде «народный капитализм» или «свободное предпринимательство» и т. п., но эти названия как-то не очень привились и, кажется, не всегда удовлетворяют даже самих авторов.

И все же подобное понятие существует. И не только существует, но всячески подерживается и «внушается». Может быть, и на самом деле капитализм как строй, как система претерпел какие-то внутренние и принципиальные изменения?

Конечно, это не так. Не так, если речь идет об изменениях по существу. Мы все еще с детских лет хорошо знаем, что волк, в какую бы шкуру он ни рядился, все равно волк. Капитализм, какие бы ни прилагать к нему эпитеты — «свободный», «демократический», «народный», — все тот же капитализм, то есть исторически самая мощная и самая гибкая система эксплуатации человека человеком.

Но, с другой стороны, было бы смешно и нелепо отрицать определенные изменения в капиталистической системе, скажем, за последние пятьдесят лет. Эта система, как и всё на свете, не оставалась неподвижной; она либо совершенствовалась, либо загнивала, но, во всяком случае, как-то изменялась. Однако те изменения, которые характеризуют «современный капитализм», отнюдь не изменения по существу, то есть такие, которые в корне меняли бы самую природу явления, но всего лишь переход к новым формам, методам, тактике.

Тем не менее это очень важно. Одним из таких новых методов или тактических приемов следует считать борьбу, которая ведется ныне за «средние слои», за превращение их в резерв господствующей верхушки. Приемы этой борьбы весьма разнообразны. Наиболее эффективным, хотя, конечно, и не новым, является метод экономический, то есть своеобразное «подкармливание» — участие в прибылях предприятий, распределение пакетов акций, самые различные и часто на первый взгляд весьма «выгодные» формы кредита. Но я на этом не собираюсь останавливаться. Это предмет специального изучения. Меня сейчас интересует другое: наряду с перечисленными экономическими методами и в качестве дополнения к ним существуют еще приемы идеологической обработки.

Их тоже немало, но главный из них — один: пропаганда идеи личного благополучия. Прямо или косвенно, специально или «ненароком», но эта пропаганда ведется ежедневно и ежечасно: кинокартины, восхваляющие пресловутый «американский образ жизни», печать, реклама, вплоть до самых изощренных или, наоборот, самых примитивных лозунгов, которые с топорной прямолинейностью выражают заветную мечту обывателя — «Копить, значит купить» или «Кто копит, тот жизнь не торопит» — и которые прямо-таки в устрашающем количестве попадались мне, скажем, на улицах Цюриха (вот, кстати, городок — образец мещанского представления о рае, да еще в немецком издании!).

Личное благополучие! Это альфа и омега, «святая святых» каждого «среднего» обывателя на Западе. Личное благополучие! Это то, к чему стремится, как к земле обетованной, западноевропейский мещанин, мелкий буржуа, до смерти напуганный

двумя мировыми войнами, революционными переворотами и вообще всякими потрясениями основ. Личное благополучие! Но речь идет не просто о достатке или уюте семейной жизни, а с тем, чтобы отъединиться от «внешнего мира», от общества — замкнуться бы на всю жизнь, как моллюску, в семейной скорлупе: «Мой дом — моя крепость».

Все это, конечно, тоже не ново, и новое заключается лишь в том, что попутно (правда, это делается в довольно осторожной форме) внушается мысль о некоей страшной угрозе и дому-раковине, и уюту, и всему безоблачному существованию, единственной угрозе, которая исходит, мол, всем понятно откуда и всем известно от кого. И как ни удивительно, европейский мещанин до сих пор еще клюет на эту наживку.

В результате — крайнее измельчание, дробление, я бы даже сказал, атомизация общественной жизни, отсутствие объединенных и согласованных усилий. Где общенациональное дело? Какова общенациональная идея? Ничего этого нет, и народ остается разобщенным, и все остается по-старому: большие политические вопросы — дело правительств, профессиональных политиков и дипломатов, экономика — дело предпринимателей, хозяев, а вопросы социального страхования — «насущное дело» профсоюзной организации.

И вот миллионные массы людей — это и есть так называемые «средние слои» — живут как будто вполне устроенной и благополучной, а по-моему, страшной жизнью. Это выхолощенная, оглушенная жизнь, где политика заменена газетными сенсациями и светскими сплетнями, литература — низкопробным, машинной выработки чтивом, театр — глупейшими ревью с обязательным strip teas'ом (а в Париже, на Place Pigalle, преимущественно strip teas'ами в чистом виде, без всякого «принудительного ассортимента») и где за последнее время даже кинематограф — хорошо бы совсем не вылезать из раковины! — все больше и больше вытесняется телевизором.

Но, может быть, ничего особенно страшного в этом нет? Может быть, и не следует, не должно требовать от народа — как, впрочем, и от каждого человека в отдельности — стремления к какой-то особой, необычайной судьбе, к «высокой» идее, тем более что борьба за осуществление подобных идей нередко чревата всякими лишениями в настоящем, во имя не столь уже близкого и не всегда ясного будущего. Не согласны ли на самом деле миллионы и миллионы простых людей на земле довольствоваться более скромной участью — уютом, достатком, тихой жизнью?

Нет, этого не может, не должно быть! Общая воля — и тому неоднократно подтверждением служит история — далеко не всегда совпадает с повседневными нуждами и стремлениями отдельных людей, но только в общей воле и совместных усилиях, в том едином дыхании, которое обретает народ, когда он одушевлен общенациональной идеей, — залог прогресса и исторического развития. Вот почему всеми своими помыслами и чувствами, всеми силами души я — против веками накопленной мудрости человека-одиночки: «Живи для себя, живи незаметно».

Нет, живи заметно, живи, если можешь, очень заметно, но не только для себя! Будь слагаемым общей воли и устремлений! Стремись к общей цели, и твоя жизнь не будет бесплодным существованием! Когда я говорю это, я испытываю подлинную гордость — я горд тем, что принадлежу стране и народу, где жизнь строится именно на этих началах, где эти задачи решены раз и навсегда, решены в многомиллионном, всечеловеческом масштабе.

И еще одно соображение. Мне думается, что невольным пособником, а значит, в какой-то мере и виновником идеологического развращения «средних слоев», является интеллигенция. Это ей, несомненно, зачтется историей. Дело не в том, что интеллигенция принимает участие во всей этой гнусной пропагандистской кампании — скорее наоборот, — но вина и одновременно беда западноевропейской интеллигенции в другом — и она во много раз тяжелее — в утере связей со своим народом.

Однако здесь следует оговориться. Я далек от огульного обвинения всей интеллигенции. Это было бы недопустимым извращением действительности.

Западноевропейская интеллигенция — явление сложное и неоднородное. Она неоднородна по своему социальному происхождению, по своей политической принадлежности и даже в смысле своей «специализации». Есть слои, которые следует отнести к интеллигенции буржуазной в прямом значении слова, и есть интеллигенция, вышедшая из

народа, есть круги интеллигенции, революционно или, во всяком случае, прогрессивно настроенные, и есть форменные мракобесы. Все это, конечно, вещи разные. Но как ни удивительно, не менее разнится между собой по своим интересам и уму настроению интеллигенция бюрократическая, техническая и гуманитарная.

То, о чем будет сказано дальше, относится к интеллигенции буржуазной, а если иметь в виду специализацию, то главным образом к «гуманитарной» интеллигенции. (Кстати, я отнюдь не настаиваю на этом определении и даже не считаю его удачным, но не знаю, как можно еще определить более точно те круги — впрочем, достаточно широкие — западноевропейской интеллигенции, с которыми мне больше всего приходилось сталкиваться.)

Именно эти круги я и обвиняю в отрыве от народа. Их судьба трагична. В современном буржуазном обществе они занимают межеумочное положение — и к правящим классам не пристали и от народа оторвались, не живя его нуждами и интересами. Они пребывают в состоянии некой общественной изоляции.

Это очень опасное состояние. Это состояние поезда, ошибочно направленного стрелкой не на тот путь, на путь, ведущий под откос. Пассажиры рассчитывали на приятное путешествие. Но вот что-то неумолимо изменилось. Возникает тревога, сначала неясная, постепенно она растет и оформляется. В какой-то момент все становится известным. Большинство мужчин, как им и полагается, ведет себя, в общем, молодцами. Женщинам и детям ничего не говорят. Положение все равно безнадежное.

Но с этого момента у каждого пассажира (если он знает, в чем дело) начинается то, что, за неимением лучшего термина, мы называем процессом распада сознания. У каждого это происходит по-своему, но вместе с тем есть и нечто общее. Главным образом всем хочется напоследок сделать что-нибудь этакое совсем невероятное, чего еще никто и никогда не делал, хочется, как сказал мне один французский режиссер, «вывернуть ноги из живота». И делают, и стараются, и выворачивают, и тем, кто поглощен этим занятием, очевидно, представляется, что они таким образом выражают нечто едва ли и выразимое, нечто исторгнутое из таких глубин духа, которые никем еще и не изведаны. Но на взгляд стороннего человека, обладающего нормальной психикой и не находящегося в поезде, который бешено мчится под откос, эти откровения выглядят более чем странно: как сон, как лепет ребенка, как бред параноика.

Новейшая литература и искусство Запада в изобилии дают устрашающие примеры такого распада сознания. В литературе сплошь и рядом какая-то даже, я бы сказал, подпочвенная патология: Кафка, в последнее время Бекетт и многие другие... Утверждают, что все они в полном вооружении, как Афина из головы Зевса, вышли из нашего Достоевского. Не знаю, так ли это, во всяком случае они постоянно размахивают им как своим знаменем. Мне же после знакомства с творчеством этих писателей и в особенности после одного длительного разговора с уже упомянутым французским режиссером пришла в голову несколько странная и даже крамольная мысль — а что, собственно говоря, понял и что взял Запад от Достоевского?

— Как что? — вскричат и ополчатся на меня все западные почитатели Достоевского. — И это еще спрашиваете вы, русский человек! Да прежде всего представление о самой России, о загадочной русской душе! Кто еще, как не Достоевский, впервые раскрыл перед пораженным миром неисчерпаемые богатства русской души, всю ее безграничную ширь, все ее взлеты и падения, кто сделал ее поистине всесветным достоянием и предметом всеобщего восторженного удивления?

Ну что ж, может быть, и так, но во всем этом есть по крайней мере одно роковое недоразумение. Загадочная русская душа, *l'âme russe énigmatique* Достоевского, на поверку вовсе не русская душа. То есть, вернее, это русская душа лишь в представлении иностранца, кого-нибудь вроде Шпенглера, который еще совсем недавно и совсем всерьез писал, что в России, в засыпанных снегом кабаках, сидят бледные молодые люди, пьют русскую водку, и бьют себя в грудь, и самоанализируются, и со слезами на глазах спорят о боге.

Уж если говорить о пресловутой «русской душе» или о национальных особенностях творчества и мироощущения Достоевского, следует в первую очередь говорить о том

что всегда было его главной жизненной (и творческой) задачей, что составляет самую суть его мироощущения, то есть о проблеме личности и ее взаимоотношений с обществом. Следует говорить о его неприятии, более того — его ужасе перед «крайним индивидуализмом», его «коллективистичности», стихийной тяге к обществу. Это подлинно национальные черты, свойственные каждому русскому человеку и в высокой степени самому Достоевскому.

Что такое «крайний индивидуализм», его наиболее полное выражение? Это выход за пределы, нарушение всех норм — как человеческих, так и «божеских», — то есть в прямом значении слова преступление. Но если так, то понятно, почему подобная проблема — преступление как переход за дозволенные человеку границы — всегда влекла к себе Достоевского, была для него основной жизненной и философской задачей.

Конечно, проблема преступления ставилась — и неоднократно — в мировой литературе. Но каково ее решение? Не говоря уже о почти современном нам герое драйзеровского романа, для которого, в сущности, вся сложность «проблемы» сводится к одному: как бы концы в воду! — но и в «лучшем» случае, к примеру, в случае с Растиньяком, проблема преступления решается всего лишь как сугубо личный вопрос, как дело индивидуальной человеческой совести. И это не случайно. Растиньяк и иже с ним — типичные герои того общества, той эпохи, которую Карлейль назвал «эрой личного суждения» и в которую Европа вступила, по его мнению, со времен Реформации.

Совсем иначе выглядит концепция преступления у Достоевского. Во-первых, для него нет преступления без наказания, ибо наказание для него не вне преступления, а в нем самом. Оно — уже в самом отрыве, в выходе за крайние пределы, в преступлении границ, чего «русская душа» — личность, герой Достоевского — вынести не может. Не может именно потому, что это отнюдь не дело только личной совести или личной ответственности, но всечеловеческий непреложный закон, общий закон бытия. Проблема преступления для Достоевского — в сущности онтологическая проблема.

Раскольников никто не уличил, он сам изнемог наедине со своим преступлением. Иван Карамазов надломился от одной только «принципиальной возможности», от одной духовной готовности (и зрелости) к преступлению. Смердяков повесился. Рогожин, зарезав Настасью Филипповну, не смог остаться один, он ждал Мышкина и звал его. Смысл тот, что «русской душе», русскому человеку выход «в индивидуализм» заказан, он не может вне коллектива, вне общения с себе подобными. «Ну как же, как же без человека-то прожить!» — восклицает Соня, когда она убеждает Раскольникова вынести его страшную тайну «на люди», вернуться к людям из его непосильного одиночества. В этом, и только в этом, для нее, для Раскольникова — а также для самого Достоевского — единственный выход, единственная возможность искупления.

В этом и весь пафос решения главной жизненной и философской задачи Достоевского. Еще в древности было сказано, что человек вне общества — либо зверь, либо бог. Мыслители и деятели «эры личного суждения» (ярче, но и вульгарнее всех Ницше) пытались решить эту дилемму в определенном направлении и создали понятие «сверхчеловека», однако для русского общества — и это с потрясающей силой выразил Достоевский — такое решение всегда было органически неприемлемым, ему всегда были одинаково чужды понятия как «над», так и «недочеловека», но только — «человека среди человеков». И в этом, наконец, страстный протест против того мира, того строя, при котором человек человеку — волк, при котором один против всех и все против одного.

Итак, что же взял и унаследовал Запад от Достоевского? Кое-что все же унаследовал. Самое главное осталось, на мой взгляд, непонятым, а ухватились за его упорное, иногда даже болезненное стремление проникнуть в самые тайные тайники, в подполье человеческого сознания. Как и следовало ожидать, дело не обошлось без Фрейда; недаром кушетка психоаналитика, по выражению одного наблюдательного журналиста, стала излюбленной трибуной драматического героя. Но тут уж пошла такая патология и такая пошлость, что дальше некуда. Начиная с Цвейга, который в свое время довольно ловко аранжировал Достоевского для европейских дам средней интеллигентности, и вплоть до нынешних ловкачей, ухитряющихся на пять актов эпилептический припадок Мышкина, — все это, может быть, и выглядит снаружи как продление и даже

развитие «унаследованных традиций», но по существу — прямое предательство. Здесь тоже остается непонятым главное: упорное и страстное стремление Достоевского проникнуть в самые темные закоулки души человеческой, стремление перетряхнуть и вытащить на свет божий все, что там таится, — не самоцель, не жестокая и беспредметная игра, но результат поистине великой его любви и великой жалости к человеку. К стати говоря, конфликт несоответствия между Достоевским и его «продолжателями» на Западе как раз и состоит в том, что они, эти «продолжатели», набив себе руку на модном деле анатомирования человеческих душ, к самому «объекту исследования» — к человеку — относятся либо с явным безразличием, либо с презрением. Но если так, то все, чем они занимаются, — кощунство и надругательство, и этого нельзя ни понять, ни, тем более, простить.

Отнюдь не в меньшей степени — скорее наоборот — такими же кризисными явлениями характеризуется и современное изобразительное искусство. Вот, скажем, живопись. Я думаю, что ни в какой другой области творческой деятельности расчлененность сознания не декларируется ныне столь прямо и откровенно, как в живописи. И не просто декларируется, но возводится в принцип. На самом деле, путь от Кандинского до «живописи действия» — последнего слова абстракционизма — разве это не крестный путь на голгофу духовного обнищания? Разве это не «восторг самоуничтожения» или — что, пожалуй, еще отвратительнее — сознательно организованный самообман? Но — будем говорить о нынешних абстракционистах, «живописцах действия» — имя им легион; в значительной части это — ловкачи, дельцы и спекуляторы, даже не столько от искусства, сколько от моды и коммерческого спроса. Но если иметь в виду последние крупные явления и тех мастеров, которые еще с предельной честностью стремились выразить себя и свое мироощущение, — что нас ожидает здесь? Что это за видение мира?

Вот «мир Пауля Клее», про которого в Америке даже написана симфония именно под таким названием. Это мир «магических» цветных квадратиков, геометрических узоров на морозном стекле, иногда — и здесь чуть ли уже не выход в «сюжетность» — мир человечка с руками и ногами, как палки, и домика с трубой, — так рисовал каждый из нас в шестилетнем возрасте. Дело не в нарочитости — во всяком случае, если речь идет о Пауле Клее, — дело в другом: это мучительно распавшийся мир, мир, разъятый беспощадным в своей последовательности, но и беспомощным видением художника. Это доведенный до каких-то самых крайних, самых пограничных для человеческого сознания пределов анализ, разложение мира на простейшие, уже неделимые элементы. Но ведь анализ всегда «отрицателен», а следовательно, бессилён; он способен в лучшем случае дать исходный строительный материал, но никогда не даст самого здания. Вот почему художник не имеет права на этом останавливаться. Разве в этом его дело перед людьми и перед самим собой? Разве не подрывается таким образом в самой своей основе понятие творчества? Необходима дальнейшая работа — работа по группированию, соединению, сочетанию найденных элементов, то есть восстановление мира и возвращение в него, возвращение к жизни, со всеми ее красками, образами и даже «сюжетностью».

Но именно в неумении и невозможности найти удовлетворительный ответ на наиболее жгучие вопросы, выдвигаемые современной жизнью, состоит трагедия западного искусства. Она закономерна. И потому столь же закономерны — у нас не хотят и даже как-то боятся это признать — такие, казалось бы, нелепые и уродливые явления, как «конкретная музыка», «живопись действия» и т. п. В этом смысле произведения абстрактного искусства имеют свою логику и — более того — хорошо вписываются в окружающую их «действительность». Когда в Париже я стоял перед ультрасовременным зданием Юнеско и созерцал одну из скульптурных групп, которая, как мне объяснили, должна была изображать отдых Человека (причем, Человека вообще, Человека с большой буквы), я хоть и видел перед собой нечто похожее на огромный, неправильной формы бублик с дыркой посередине, однако, вместе с тем, понимал: перед таким зданием ни Венеры Милосской, ни Микеланджелова Давида не поставишь!

И, наконец, несколько слов о кризисных явлениях в области науки. Я не берусь судить о состоянии точных наук, тем более техники, где, может быть, дело обстоит

иначе, не рискну говорить и о новейших философских течениях — для этого я слишком поверхностно знаком с ними, — но о состоянии исторической науки имею вполне определенное мнение. Конечно, в данном случае явления распада сознания не выступают, да и едва ли могут выступить в столь неприкрытой форме — этого не допускает самая фактура материала. Тем не менее и здесь налицо явные признаки кризиса.

Общая картина примерно такова. В современной европейской историографии почти нет авторитетных школ или направлений. Подавляющее большинство историков и филологов занято разработкой частных, сугубо специальных вопросов. Существует явная боязнь обобщений. К теории, к методологическим проблемам вкус утерян на-чисто.

Мне приходилось принимать участие в международных конгрессах, иногда очень широкого, по существу всемирного масштаба (к примеру, III International Congress of Classical Studies в Лондоне). Ни полемики, ни дискуссий принципиального характера. Доклады — чисто информационные или на крайне узкие темы. Нередко — и это особенно любят — отчеты о новейших раскопках, причем без каких-либо исторических обобщений. Если на подобный конгресс даже и пробьют себе дорогу доклад с явно выраженными методологическими установками (а такие случаи бывают — скажем, выступления марксистских историков), то остальные участники конгресса — пусть они в корне не согласны с этими установками — все равно вежливо промолчат, не станут затевать дискуссии.

Все это довольно типично. Но подобное отношение и манера держать себя вовсе не объясняются «европейской вежливостью» или, наоборот, «равнодушием», как то склонны были считать некоторые из моих коллег, участники этих конгрессов. Причина, на мой взгляд, более глубока. Утеряны общие критерии, почти утерян общий язык. и это объясняется в первую очередь тем, что многие западноевропейские исследователи все более и более открыто переходят на позиции своеобразного исторического агностицизма.

Пожалуй, наиболее ярко, может быть даже парадоксально, подобную точку зрения выразил в разговоре со мной один известный историк — я не буду называть его имени, разговор был неофициальный — во время уже упоминавшегося конгресса в Лондоне. Кратко излагаю суть его воззрений.

— Не говорите мне ничего об исторических закономерностях. Мы их не знаем, они для нас не существуют, поскольку не существует самого исторического факта. Исторический факт как таковой — фикция. Вернее, он непознаваем. Наивно претендовать на знание того, что происходило сто, триста, тысячу лет тому назад, когда мы не знаем, во всяком случае не способны всесторонне объять событий недавнего прошлого или даже событий, происходивших на наших глазах. Историк никогда не имеет дела с самими историческими фактами, но лишь с их искаженным отражением в источниках. Никакой источник и никакая сумма источников не способны восстановить исторический факт во всем его многообразии, а тем более во всей его «девственной чистоте». Поэтому предельно наивен был Ранке, когда он ставил перед историком задачу выяснить, «как это было на самом деле». Подобная задача вообще неосуществима, ибо историк, повторяю, никогда не касается самого факта, но в лучшем случае может оперировать источником. Следовательно, задача формулируется так: отнюдь не стремясь к тому, чтобы восстановить историческую «истину», исторические «факты», поскольку это все равно бессмысленно, историк должен на высоком, современном уровне исследовательской техники препарировать источник с целью дать наиболее, я бы сказал, остроумное его толкование.

Не знаю, есть ли смысл и необходимость всерьез полемизировать с подобными высказываниями, тем более что они отнюдь не новы и имеют в свою очередь своим источником некоторые полузабытые ныне «откровения». Я не пытался переубедить и своего собеседника, понимая всю безнадежность такого предприятия, но сказал ему лишь одно: «Как может любой уважающий себя историк отстаивать изложенную вами точку зрения, ибо в этом случае история — никакая не наука, даже не искусство, как считалось когда-то, в древности, а так, только игра, куда более бессельная и ненужная, чем, скажем, игра в гольф».

Признаться, я опасался, что мой собеседник обидится, так как я говорил довольно резко, без обиняков, но, к моему крайнему удивлению, он быстро и даже с какой-то нигилистической готовностью согласился со мной. Он отвечал, что да, действительно, игра ума и ничего больше...

Но, пожалуй, хватит об этом. Я уже достаточно говорил о различных проявлениях кризиса в сфере интеллектуальной жизни Запада, а следовательно, и о кризисе западноевропейской интеллигенции. Думаю, что приведенными примерами можно ограничиться. Но остается еще один вопрос: каково значение этого кризиса?

Ответ на подобный вопрос, по-моему, предельно ясен. Значение современного кризиса интеллигенции в том, что по существу решается судьба самой интеллигенции. В отличие от дореволюционной России, где интеллигенция не так уж часто входила в состав правящих кругов и правительственного аппарата, в странах Западной Европы, прежде всего во Франции, дело обстоит иначе. Поэтому сейчас на Западе от интеллигенции, больше чем когда-либо, зависят судьбы демократии. Это вопрос большого исторического значения. Интеллигенция стоит перед последней альтернативой: либо коренной, решительный поворот к народу, либо сохранение изоляции и как результат — окончательная «утера лица», растворение в мешанской, мелкобуржуазной стихии.

Таковы, на мой взгляд, некоторые характерные явления и процессы в общественной жизни современной Европы. Они, безусловно, не исчерпывают всего многообразия этой жизни, но тем не менее придают ей вполне определенное направление и окраску. Без учета этих процессов нельзя, по-моему, правильно расценить перспективы дальнейшего развития.

Вот почему, даже с риском заслужить упрек в том, что нарисованная мной картина слишком мрачна, я считал нужным привлечь внимание к некоторым опасным симптомам, к внутренним слабостям и порокам, наличие которых может помешать развитию прогрессивных начал или даже стать для них прямой угрозой. По моему разумению, именно в этом — а отнюдь не в стандартных восторгах и не в дежурном умилении — единственный смысл и та скромная польза, которую могут принести выводы и соображения объективного, искреннего и неравнодушного наблюдателя.

И, наконец, последнее. Очевидно, уже давно подошло время — я как-то не сумел выбрать его раньше — возразить по существу моему итальянскому другу и собеседнику, который, как было сказано, утверждал, что история европейских стран «кончилась».

С этим, конечно, никоим образом нельзя согласиться. Во-первых, мой собеседник много говорил о «величии» европейских держав. Но что он подразумевал под этим словом? Боюсь, что в его понимании величие оказывается равнозначным великодержавности, хотя это совершенно различные и, строго говоря, даже враждебные понятия. Во всяком случае истинное величие страны и народа не может, не должно «реализоваться» его великодержавной — а следовательно, агрессивной — политикой.

Во-вторых, и это, конечно, главное — как может кончиться история страны, если жив ее народ? Кто может это утверждать? Ведь история любой страны и величие любой страны — в ее народе. Люди живут и умирают, поколения вытесняют друг друга, народ — остается. Сменяются эпохи, земля и песок заволакивают опустевшие города, гибнут цивилизации, море поглощает берега, но в животворной памяти людской сохраняются какие-то непреходящие ценности, и иной раз в ничтожном глиняном черепке ичи в одной строке безвестного поэта для нас оживает душа целого народа.

Народ — бессмертен. Вот почему, когда я думаю о прошлом и будущем европейских стран, я твердо знаю, я уверен, что их история не «кончилась», что дальнейший путь, путь исторического прогресса, по существу, уже определен и найден. Но еще более твердо я уверен в том, что при избрании этого пути решающее слово окажется за теми, кто творит подлинную историю, кто создает подлинные и непреходящие ценности, — за самими народами.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Академик И. М. МАЙСКИЙ

★

БЕРНАРД ШОУ

(Встречи и разговоры)

В противоположность Герберту Уэллсу, имя которого бурно и стремительно ворвалось в мое сознание еще на гимназической скамье, когда я прочитал его известный роман «Борьба миров», Бернард Шоу стал одним из моих постоянных духовных спутников сравнительно поздно. Это случилось в начале первой мировой войны. Я жил тогда в Лондоне как эмигрант из царской России. Настроения мои были антивоенные. Я страстно искал единомышленников среди знакомых, друзей, политических и общественных деятелей, которых не захлестнула мутная волна шовинизма, затоплявшая тогда Англию. И вдруг в мои руки попала только что опубликованная книжка Шоу «Common Sense about the War» («Здравый смысл о войне»). В ней, как и во всем, что когда-либо выходило из-под пера Шоу, было много спорного и даже парадоксального, но одно было ясно: Шоу сохраняет независимость мысли, Шоу критически относится к войне и даже обвиняет в ее развязывании не только германских, но и британских империалистов. Он говорит, что германский, британский, французский национализм это только игрушки, которыми потешают народы, а что истинные их интересы лежат в победе социализма над капитализмом. Я с жадностью читал и перечитывал книгу Шоу, пропагандировал ее среди товарищей. Естественно, меня сильно заинтересовал автор.

Я начал читать все его произведения, смотреть на сцене его вновь появляющиеся пьесы, прислушиваться к его выступлениям, с улыбкой наблюдать за его нередко экстравагантными действиями. Короче, Бернард Шоу прочно вошел в мой духовный мир.

Летом 1931 года Бернард Шоу посетил СССР и беседовал со Сталиным. В Москве он отпраздновал свое семидесятипятилетие. Осенью 1932 года, когда я ехал в Лондон в качестве вновь назначенного посла СССР, я заранее решил сделать один из первых моих визитов знаменитому писателю. Шоу, однако, опередил меня. Вскоре после вручения мной верительных грамот мы с женой получили от супругов Шоу любезное приглашение пожаловать к ним на завтрак, и в первых числах декабря 1932 года состоялось наше личное знакомство.

Супруги Шоу встретили нас на пороге своей городской квартиры (у них был еще загородный дом в Айоте под Лондоном), помещавшейся в одном из верхних этажей большого отеля (4, Whitehall Court) в самом центре столицы, в двух шагах от резиденции премьер-министра. Я с интересом взглянул на хозяина, рассчитывая увидеть старика: ведь Бернарду Шоу в то время исполнилось уже семьдесят шесть лет. Но в стоявшем предо мной человеке нельзя было заметить никаких признаков дряхлости. Миссис Шоу — невысокая, слегка расплывшая женщина, с головой, чуть-чуть склоненной набок, — выглядела значительно старше. Хозяева дружески приветствовали нас с женой и тут же познакомили с другими гостями. Больше всех из них мне запомнился

министр земледелия Вальтер Эллиот, консерватор, с которым в дальнейшем у меня установились добрые отношения. Эллиот был умный шотландец, очень некрасивый, но обаятельный, и относился он к той группе консерваторов, которая тогда отстаивала политику англо-советского сближения.

Я все время внимательно наблюдал за знаменитым драматургом. Он был очень высок, костист, и казалось, что тело у него складное: если уметь, то можно спрятать его, как ножик, в небольшой футляр. Шоу находился в непрерывном движении. Он не мог долго сидеть на одном месте, часто вскакивал со стула и пересаживался на другой или начинал торопливо шагать из угла в угол. Особенно беспокойны были его руки. В такт словам Шоу то выбрасывал их вперед, то подымал вверх, то раздвигал в стороны, но больше всего он любил звонко хлопать кистью правой руки по ладони левой, точно заколачивая свои мысли в голову собеседнику, как гвоздь заколачивают в стену. Это был любимый жест английских ораторов на небольших уличных митингах. Впоследствии я узнал, что тут не было никакой случайности: в молодые годы Шоу часто выступал на рабочих собраниях, в клубах, в Гайд-парке. На красном лице писателя с густыми нависшими бровями сверкали — именно сверкали! — колючие, насмешливые глаза. Большая седая борода свешивалась на грудь. Вся фигура Шоу была необычная, оригинальная. Позднее я заметил, что на улице он сразу привлекал к себе всеобщее внимание, тем более что Шоу всегда ходил стремительно, широко размахивая руками, точно боялся опоздать на какое-то важное свидание.

За столом Шоу главенствовал. Все время завтрака он все время говорил, говорил со своим мягким дублинским акцентом, говорил ярко, быстро, интересно. Это был настоящий фейерверк остроумия. Шоу сыпал парадоксами и шутками. Ругал министров, высмеивал политические партии, издевался над писателями, артистами и художниками. Поносил Гувера и американцев (Соединенные Штаты он особенно не любил). Язвил англичан и демонстративно подчеркивал, что он не англичанин, а ирландец. Миссис Шоу говорила мало и лишь ласково поглядывала на мужа, как мать смотрит на расшалившегося ребенка.

Не в пример другим английским домам, завтрак у Шоу был очень вкусный, хотя и несколько необычный. Супруги Шоу были строгими вегетарианцами; для гостей готовились мясные блюда, но сами хозяева за столом щипали какие-то травы и шелкали орешки.

Когда завтрак кончился и мы с женой стали прощаться, Бернард Шоу сказал:

— На днях мы с миссис Шоу отправляемся в длительное морское путешествие. Это для нас обоих лучший отдых. Проплываем месяца три. Надеюсь за это время написать новую пьесу. Но когда мы вернемся, то должны обязательно снова встретиться.

И мы действительно встретились с супругами Шоу после их возвращения в Англию. Мы часто встречались с ними и в последующие годы. Мы бывали в гостях у них, они бывали у нас, в советском посольстве. Мы стали друзьями. Шоу присылал нам свои новые произведения с авторскими надписями. Мы отдавали его интересными новинками советской литературы. Время от времени по разным поводам мы обменивались письмами.

Передо мной лежат стопка открыток, специальных открыток с напечатанными типографским способом адресом и телефоном супругов Шоу. Они исписаны крупным, твердым, прямым почерком Бернарда Шоу или менее твердым, несколько наклонным, но очень похожим на его собственный почерком Шарлотты Фрэнсис Шоу (оба супруга любили писать на открытках). Приведу несколько выдержек из них.

«1 ноября 1936 г. Дорогая мадам Майская, как Вы поживаете? Надеюсь, хорошо. Боюсь, что у Вас слишком много тревог и беспокойства¹. Мы очень хотели бы видеть Вас обоих и побеседовать с Вами. ДБШ пишет кое-что, о чем он хотел бы погово-

¹ Миссис Шоу имела в виду волнения и тревоги, связанные с начавшейся незадолго перед тем войной в Испании и заседаниями лондонского Комитета по невмешательству в испанские дела. Я был представителем СССР в этом комитете, и мне приходилось там одному против двадцати шести буржуазных его членов вести упорную борьбу, защищая интересы СССР и Испанской Республики.

речь с Вашим мужем. ДБШ был не совсем здоров, но, к счастью, нашлось лечение, которое, как я думаю и надеюсь, ему поможет. Не свободны ли Вы, скажем, в ближайший четверг или пятницу, чтобы позавтракать с нами?.. Ш. Ф. Шоу».

«31 марта 1940 г. Дорогая мадам Майская, я отвечаю на письмо Вашего мужа ДБШ моим письмом к Вам. Мы с радостью принимаем Ваше приглашение на завтрак с Вами в пятницу, 5 апреля, в 1.15. Мы много думали о Вас в эти тревожные дни и давно хотели Вас повидать. Но мы оба болели — сначала ДБШ, а затем я — и были прикованы к дому. Теперь мы поправились, и визит к Вам будет нашим первым визитом. Так хочется о многом поговорить. Ш. Ф. Шоу».

«22 апреля 1941 г. Мой дорогой Майский, мы будем очень рады видеть Вас и мадам Майскую 1 мая или в любой день, удобный для Вас. Чай в 4 часа Вам, вероятно, больше всего подходит. Но, если Вы предпочитаете, мы легко можем устроить и «рационированный» завтрак¹. Мы держимся вдали от Лондона. Моя жена все еще полуинвалид, у нее была очень тяжелая зима. Однако она будет очень рада Вас видеть. Всегда Ваш Д. Бернард Шоу».

Таких и им подобных писем было много. Кроме того, была переписка и по более серьезным вопросам, но о ней речь будет ниже.

Добрые отношения с супругами Шоу сохранились у нас в течение всех одиннадцати лет моего пребывания в Лондоне на посту советского посла. И чем дальше, тем больше личность знаменитого драматурга нравилась мне, притягивала к себе.

Когда сейчас, много лет спустя, я пытаюсь определить, что же именно так сильно привлекало меня к Бернарду Шоу, я без колебания говорю: необычайная сила жизни, кипевшая в нем. Конечно, талант, остроумие, блеск играли свою роль, но главное было в том, что в этом физически слабом теле жил могучий жизнелюбивый дух, оптимистический, любознательный, воинствующий, твердо уверенный в том, что, несмотря на все глупости, мерзости, преступления, которые творятся в окружающем его капиталистическом мире, человечество все-таки идет вперед по пути прогресса.

Я не случайно упомянул о физически слабом теле Шоу. Дело не только в том, что он отличался феноменальной худобой и что костюм болтался на нем, как на вешалке. Серьезнее было то, что родители вообще не наградили его крепким здоровьем. Шоу много и тяжело болел. В середине восьмидесятых годов, когда материальное положение писателя было очень плохим, его поразил такой страшный недуг, как белокровие. К счастью, молодость взяла свое, и Шоу все-таки справился с болезнью. В конце девяностых годов Шоу едва не умер от тяжелого истощения организма, в чрезвычайной степени усугубленного колоссальным переутомлением (тогда на протяжении шести лет он написал около десяти пьес), а также театральными неудачами и острыми финансовыми затруднениями. Врачи считали положение Шоу безнадежным. Его спасла жена.

Беатриса Вебб² как-то рассказала нам с женой историю воскресения Бернарда Шоу почти от смерти.

¹ Бернард Шоу намекает здесь на то, что с начала второй мировой войны в Англии была введена карточная система на выдачу продовольствия населению.

² В 1884 году в Англии было основано «Фабианское общество». Инициатором его являлась группа буржуазных интеллигентов левого толка, среди которых особенно большую роль играл Сидней Вебб, один из младших работников министерства колоний. В начале девяностых годов он женился на Беатрисе Поттер, дочери крупного дельца, также разделявшей левые взгляды. Супруги Вебб стали главными деятелями новой организации. Бернард Шоу, вовлеченный Сиднеем Веббом, в 1884 году также вступил в состав «Фабианского общества». Много позднее, уже в начале XX столетия, его членом стал также Герберт Уэллс. На первых порах идеологические концепции этого общества были довольно смутны и неопределенны, но постепенно они выкристаллизовались в программу и тактику правосоциалистического реформизма. Свое название общество почерпнуло из истории древнего Рима, где в эпоху Пунических войн известный полководец Фабий Кунктатор (то есть медлитель) в борьбе с карфагенянами, избегая открытых битв, стремился одержать победу путем изматывания врага с помощью мелких стычек, засад, нападений на обозы и т. д.

— Сидней и я были большими друзьями с Шоу,— говорила миссис Вебб,— и нас очень тревожило его состояние. Он был сильно болен и очень беден. Ему также не хватало постоянной женской заботы о нем, о его здоровье... В молодости у Шоу были, конечно, связи с женщинами, даже много связей, но они не носили серьезного характера. Может быть, потому, что по натуре он был малоэмоционален. Шоу увлекали идеи, а не женщины...

— Вы хотите сказать,— прервал я миссис Вебб,— что Шоу был человеком не сердечных, а головных страстей?

— Вот именно! Это удачно сказано,— откликнулась миссис Вебб и рассказала, что незадолго до женитьбы у Шоу был трехлетний роман в письмах с известной актрисой Эллен Терри. Переписка была очень интересной, но роман этот так ничем и не кончился...

Затем она продолжала:

— Я считала, что Шоу надо жениться — тем более что ему было уже за сорок. Имелась и подходящая невеста — тоже наш друг, мисс Шарлотта Фрэнсис Пэйн Таунсенд. В ней было что-то возвышенное и романтическое. Она располагала средствами, но не удовлетворялась светской жизнью богатых людей и хотела приносить пользу народу. Это привело ее в «Фабианское общество», где мы с ней и познакомились. Политические взгляды Шарлотты были довольно неопределенны, но настроения благородны и демократичны. Шарлотта была страстной поклонницей Шоу как писателя и даже питала к нему более нежные чувства. Мне казалось, что Бернард и Шарлотта были бы хорошей парой, к тому же она обладала деньгами, могла бы освободить его от всяких финансовых забот и, самое главное, увезти его в Швейцарию, Италию и другие страны, где он мог бы отдышаться и поправиться. Я решила стать свахой, но это оказалось нелегко...

— Почему? — вырвалось у моей жены.

— Видите ли,— объяснила миссис Вебб,— Шоу — очень гордый человек. Он был беден, а Шарлотта богата. Шоу считал невозможным жениться на Шарлотте, пока его материальные дела не улучшатся. Пьесы же Шоу, которые ставились тогда в Англии, не приносили никакого дохода. Летом 1896 года я предложила нанять загородный дом, где Сидней и я могли бы пожить вместе с некоторыми нашими друзьями по «Фабианскому обществу». Стремясь поближе свести Бернарда и Шарлотту, мы пригласили к себе их обоих, а также Грэм Уоллеса, известного биографа Шелли. И хотя отношения между Бернардом и Шарлоттой установились очень хорошие, о женитьбе еще не было и речи. Только в 1897 году Шоу впервые много заработал на постановке пьесы «Ученик дьявола» в Америке. Это развязало ему руки. Летом 1898 года, когда Шоу почти умирал, Шарлотта вышла за него замуж. Она немедленно увезла его из Лондона, и около года они прожили в Италии. Климат, лечение, спокойная обстановка, а главное, забота жены, в любви которой как-то причудливо смешивались любовь женщины к мужчине и любовь матери к ребенку, вернули Бернарда Шоу к жизни и творчеству. С тех пор Бернард и Шарлотта не разлучались. Они оказались на редкость подходящей парой, и я рада, что мне пришлось сыграть в этой истории маленькую роль.

Да, семейная жизнь Шоу сложилась удачно, и это, между прочим, благотворно отразилось на состоянии здоровья Шоу. Но все-таки от болезней он не смог совсем освободиться. В 1926 году Шоу поразила тяжелая болезнь почек. Он долго лежал с высокой температурой и временно потерял интерес ко всему окружающему. С большим трудом врачи поставили его на ноги.

В 1938 году Шоу снова долго и тяжело болел. Лето этого года мы с женой провели на родине. Когда в августе мы вернулись в Лондон, то узнали, что во время нашего отсутствия Шоу было очень плохо. Беатриса Вебб прислала нам его открытку, адресованную ей. Открытка являлась ответом на письмо Беатрисы Бернарду Шоу, в котором она сообщала о болезни своего мужа. Шоу писал:

«6/6—38. Теперь моя очередь. Я не могу ходить. Два патолога, которых Шарлотта обрушила на меня, поставили диагноз: анемия. Но они утверждают, что могут меня вылечить. Истина состоит в том, что я устал как собака и сейчас, после того как я

окончил пьесу для Молверна¹, послал к черту все, кроме отдыха. Я лежу в Уайтхолле² и провожу семь восьмых дня на спине за чтением. Я в силах сам одеваться и ползать из комнаты в комнату. Моя голова в порядке, однако остатки моей энергии должны быть сконцентрированы на том, чтобы в течение примерно ближайших шести недель абсолютно ничего не делать — за исключением отправки Вам этой открытки. ДБШ».

Было очевидно, что с Шоу случилось что-то серьезное, ибо приведенная открытка была датирована 6 июня, а два месяца спустя, в августе, газеты все еще писали о болезни Шоу. 22 августа я отправил ему письмо, в котором, извещая Шоу о нашем возвращении из отпуска, просил сообщить, как он себя чувствует, и желал ему скорейшего выздоровления. 28 августа моя жена получила ответ от миссис Шоу. Шарлотта писала:

«ДБШ был сильно тронут любезным письмом Вашего мужа — спасибо Вам и ему за сочувствие! Да, мы пережили тяжелое время, были моменты, когда ДБШ сильно болел и находился в большой опасности, но, к счастью, было найдено хорошее лекарство, и сейчас он фактически опять здоров. Это настоящее чудо! Он снова чувствует себя самим собой с той лишь оговоркой, что ему — увы! — уже 82 года. Мы поселились в этом тихом отеле (в Молверне. — *И. М.*) дней десять назад для того, чтобы присутствовать на последней неделе фестиваля в Молверне. Здесь ставится его новая пьеса «Женева», а также его прежняя пьеса «Святая Иоанна» с немецкой актрисой Элизабет Бергнер в главной роли. Постановка не очень удачна, но публика принимает ее дружелюбно.

Мы очень надеемся вскоре встретиться с Вами. Приятно слышать, что Ваш отпуск прошел хорошо. Мы рады, что Вы чувствуете себя здоровыми. Я сообщу Вам, когда мы вернемся в Лондон, — вероятно, это будет в конце сентября. С наилучшими воспоминаниями. Ш. Ф. Шоу».

Бернард Шоу снова ушел от смерти и, хотя время от времени продолжал прихвoryвать, прожил еще двенадцать лет. В 1943 году на него обрушился страшный удар: умерла его жена. Но даже и после этого потрясения он продержался еще семь лет, продержался бы, возможно, и дольше, если бы случайно не сломал себе ногу. Только в девяносто четыре года Бернарда Шоу не стало.

И когда я стараюсь объяснить себе изумительное долголетие этого физически слабого и болезненного человека, я невольно думаю, что такое чудо стало возможным только потому, что в нем жил могучий жизнеутверждающий дух.

Ярче всего этот дух проявлялся в области литературы. Здесь Шоу выступил и до конца своих дней остался бунтарем, но бунтарем-одиночкой (ведь он не создал никакой школы)... Конечно, бунтарем по-английски — впрочем, об этом подробнее ниже.

Мне вспоминается один большой разговор с Шоу по вопросам его художественного творчества. Произошло это так. В 1934 году в Москве состоялся Первый съезд советских писателей с Горьким во главе. На съезд в качестве гостей был приглашен ряд прогрессивных писателей из-за рубежа. В их числе находился и Бернард Шоу. Приглашение было прислано в наше советское посольство с просьбой переслать его адресу. Я это сделал, сопроводив приглашение небольшим письмом от себя лично. Я ожидал, что Шоу живо откликнется на призыв советских писателей. Он действительно живо откликнулся, но — и это было так в духе Шоу — самым неожиданным образом. Спустя несколько дней я получил от него ответ, в котором Шоу писал, что благодарит за любезное приглашение, но в Москву не поедет, ибо вообще не сочувствует подобного рода съездам. Почему? Вот собственные слова Шоу: «Писатели склочны, как старые свиньи. Не могу понять, зачем советскому правительству понадобилось выставлять напоказ всему миру это безобразие» (Шоу считал, что в Советской стране все, что делается, делается правительством). Так Шоу и не поехал в Москву.

Вскоре после того мы встретились с ним на завтраке, и разговор, естественно, коснулся вопросов литературы. Я спросил Шоу:

¹ Молверн — небольшой городок в западной Англии, где ежегодно устраиваются театральные фестивали. Речь идет о пьесе «Женева».

² То есть на городской квартире.

— Как вы стали драматургом?¹

Шоу лукаво сверкнул своими голубыми глазами и с усмешкой ответил:

— В этом повинны два «И» — Ирландия и Ибсен.

— Что вы хотите сказать?

— Каждый ирландец, — начал объяснять Шоу, — потенциальный бунтарь против всего английского. Когда в конце семидесятых годов прошлого столетия я попал в Лондон, то сначала стал писать романы. Писал я, затянув потуже пояс, настойчиво, упорно. Писал каждый день ровно по пяти страниц — не больше и не меньше. Написал пять романов в течение пяти лет, но не получил за них ни пенни. Их никто не хотел печатать. Тогда я перешел к другому жанру. Пробовал писать политические статьи в газете «Стар» — куда там!.. Редактор отказался их печатать, заявив, что они обогнали время по крайней мере на целое столетие. Пришлось перейти на роль критика — сначала музыкального, а потом драматического. Вот тут-то и заговорил во мне ирландский бунтарь. Да к тому же в это время я стал социалистом...

Шоу порывистым жестом погладил свою классическую бороду и, ударив рукой о руку, с оживлением продолжил:

— Английская сцена конца прошлого века была тошнотворна... Пустые и бездарные пьесы о пустых и бездарных людях. Мелкие любовные интриги, ревность, измены и раскаяния в измене. Обязательный happy end (счастливый конец). Ни серьезной мысли, ни действительно глубокого чувства. Беспросветное засилие настроений сытого, самодовольного, ни о чем не думающего английского среднего класса². Это было отвратительно! У меня руки чесались побить стекла в театральной цитадели богатого викторианского мещанства, но как? Здесь мне на помощь пришел Ибсен.

Шоу нетерпеливо мотнул головой, точно отмахиваясь от назойливых мух, и несколько вызывающе воскликнул:

— Ибсен истинно великий драматург! Он выше Шекспира.

Мне стал понятен жест Шоу (ему, видимо, не раз приходилось отбиваться от возражений по этому поводу), но я все-таки сказал:

— Не преувеличиваете ли вы, мистер Шоу? Я тоже очень высокого мнения об Ибсене, он оказал большое влияние на мое духовное развитие, когда я был студентом, но все-таки... Шекспир есть Шекспир!

Но Шоу ни за что не хотел согласиться.

— В пьесах Шекспира даже через лупу вы не откроете ни цели, ни философии! — кипел он. — Для чего они написаны? Только для развлечения!.. Театр должен воспитывать людей. Пьесы должны затрагивать большие социальные и политические вопросы, которые волнуют людей. Ничего этого нет у Шекспира!.. Совсем иначе у Ибсена. В 1889 году Чарльз Каррингтон и Джинни Арчер впервые поставили в Лондоне «Кукольный домик»³. Это было настоящее открытие. Я сказал себе: вот что нам надо! И я решил писать пьесы, но пьесы нового стиля — пьесы, посвященные серьезным проблемам. Моя первая пьеса «Дома вдовца», где я показал, как английская «респектабельность» вырастает на базе эксплуатации лондонских трущоб, буквально огорошила тогдашнюю английскую сцену. Ее не хотели ставить. Однако нашелся один смелый театр во главе с мистером Грейном, который сыграл мою пьесу. Ее обругали в прессе, но зато около нее был создан шум, а это имело большое значение. Так родилась «новая драма»... Потом я написал пьесу «Профессия миссис Уоррен», в которой поставил вопрос о проституции и публичных домах. Она долго не могла появиться на сцене из-за театральной цензуры, но шум около моих пьес еще больше увеличился... Дальше я написал пьесы «Майор Барбара» — сатиру на наших дельцов, наживающихся на производстве орудий смерти, и «Дилемма доктора», в которой я доказывал необходимость муниципализации врачебной профессии. Потом родился «Пигмалион» — эта насмешка над поклонниками «голубой крови». Каждая моя пьеса была камнем, кото-

¹ Здесь и в дальнейшем я привожу слова Шоу, конечно, не со стенографической точностью, но ручаюсь за правильность общего смысла его высказываний. Тем более что после многих встреч с Шоу я делал для памяти краткие записи разговоров с ним.

² Под именем «среднего класса» англичане обычно понимают буржуазию и буржуазную интеллигенцию.

³ В России эта пьеса шла под названием «Нора».

рый я бросал в окна викторианского «благополучия»... Меня ругали, надо мной смеялись, обо мне сочиняли всякие небылицы, но все-таки «новая драма» постепенно пробивала себе дорогу.

— Но как вам все-таки удалось преодолеть сопротивление сцены, публики, общественного мнения викторианцев?

Шоу громко рассмеялся и, точно перебирая приятные воспоминания, стал рассказывать:

— Для того чтобы повлиять на людей, их прежде всего надо поразить. Да, да, именно поразить чем-либо новым, необычным, оригинальным. Пусть даже неприятным, но чем-то таким, чего они до того не видели. Я так и делал. В девяностых годах, например, я создал вместе с несколькими такими же атеистами, как я, «Общество по отмене рождества». Это был «шокинг», страшный «шокинг» для викторианской Англии, но зато мое имя стало склоняться во всех падежах. Обо мне заговорили, как об *enfant terrible*. Создавали всевозможные трудности для постановки моих пьес на сцене — тогда я начал их публиковать и даже сопровождать специальными предисловиями, в которых подробно разъяснял смысл пьес и преследуемую мной цель. Это тоже было необычно, и шум вокруг моего имени еще усилился.

Я мысленно пробежал вереницу известных мне пьес Бернарда Шоу и вспомнил, что у некоторых из них действительно имеются предисловия, всегда публицистически острые, а иногда длинные, даже очень длинные. Так, предисловие к «Дилемме доктора», несомненно одной из лучших пьес Шоу, к сожалению, до сих пор не знакомой советской публике, по размерам едва ли меньше самой пьесы.

— До того,— продолжал Шоу,— ремарки в пьесах были чрезвычайно кратки и адресованы только режиссеру; я стал превращать их в подробные описания ландшафта, комнаты, обстановки и так далее с расчетом заинтересовать зрителя или читателя. Списка действующих лиц я не печатал в начале пьесы, как то было принято, а давал их имена постепенно, по мере появления соответствующих персонажей на сцене, да еще сопровождая их острыми характеристиками... Вообще я стремился сблизить драму с повестью, так, чтобы ее интересно было не только смотреть, но и читать. Все это противоречило установившимся в театре канонам, вызывало протесты, критику, нападки. Шум увеличивался, а мне этого только и было нужно. В течение многих лет я терпел материальный убыток, но зато к началу нынешнего столетия создал себе репутацию. Многие считали меня «сганк № 1» («чудаком № 1»), но я не обижался. Мне удалось «поразить» воображение публики, и она стала меня слушать, хотя большей частью и не соглашалась со мной. Это меня, однако, не смущало. Я получил возможность выполнять свою миссию: я всегда писал и пишу свои пьесы с вполне определенной целью — привлечь на сторону своих взглядов народ.

— Выходит,— со смехом заметил я,— что для привлечения публики на свою сторону ее надо крепко ударить по голове.

Шоу тоже рассмеялся и ответил:

— Да, да, крепко ударить по голове...— Он задумался на мгновение и затем закончил:— Но не до бесчувствия. Иначе публика перестанет вас слушать.

Первая мировая война оказала сильное влияние на творчество Бернарда Шоу. Все противоречия, свойственные капиталистическому обществу, чрезвычайно обострились, ход событий во время и после войны сорвал со многих явлений действительности пеструю мишуру, раньше скрывавшую их сущность, холодный остог звериной борьбы — внутренней и внешней,— на которой стоит империализм, грубо обнажился. Все это не могло не отразиться на взглядах и настроениях писателя. Из его пьес почти совсем исчезают социально-бытовые мотивы, которые доминировали до 1914 года, и начинают громко звучать мотивы остро политические. Меняется и форма построения пьес. Раньше, например в таких произведениях Шоу, как «Профессия миссис Уоррен», «Майор Барбара» или «Пигмалион», автор рисовал полнокровную картину реальной жизни, сквозь ткань которой лишь просвечивала волновавшая его социальная идея. Теперь его пьесы строятся иначе. Политическая идея, которая овладевает сознанием Шоу, играет центральную роль, она бьет в лоб, откровенно и прямо, а факты реаль-

ной жизни лишь слегка прикрывают ее, нередко висят на ней, подобно ключьям, сквозь которые она выпирает наружу. Таковы, например, пьесы «Тележка с яблоками», имеющая подзаголовок «Политическая экстравагантность», — злая насмешка над английским парламентаризмом и лейбористской партией, или «Женева» — политический фарс, резко заостренный против фашистских диктаторов Бомбардоне (Муссолини), Батлера (Гитлера) и Фланко (Франко). Чаше, чем раньше, Шоу прибегает теперь к гротеску, буффонаде. Нередко его пьесы становятся острыми политическими памфлетами, лишь облеченными в форму драматического произведения. В пьесах, созданных после 1918 года, Шоу особенно ярко выступает как проповедник, учитель жизни — свойства, присущие Шоу с самого начала литературной деятельности, но окончательно созревшие только между двумя мировыми войнами. В этот период, даже обращаясь к далекому историческому прошлому — например, в «Святой Иоанне» и «В золотые дни доброго корсля Карла», — Шоу всегда старается извлечь мораль, представляющую важность для сегодняшнего дня. Не случайно в подзаголовке последней пьесы поставлено: «Урок истории». А другая пьеса — «Слишком хорошо, чтобы быть правдой» («Too Good to be True»), — написанная в 1931 году, называется «Собрание проповедей со сцены».

Я был знаком с Шоу в годы, когда он жил и работал целиком под знаком проповедническо-политического начала, и мне не раз приходилось разговаривать с ним о текущих проблемах современности. Помню, как-то в январе 1935 года Шоу прислал мне верстку своей новой пьесы «Простак с неожиданных островов» с любезной авторской надписью. Я с большим интересом прочел эту остроумную фантазию, направленную против английского лицемерия и против Британской империи. Вскоре после того я встретился с Шоу на одном приеме. Обстановка для большой беседы была неподходящая, но я все-таки успел сказать Шоу, что «Простак» мне понравился. Шоу был доволен и, сделав свой характерный жест, воскликнул:

— Разве я не прав? Разве Британская империя не пережила себя? Никакой Киплинг теперь не возродит ее! В своем «Простаке» я указываю наиболее благородный и безболезненный способ ликвидации империи: Англия объявляет, что выходит из ее состава!

И затем, весело рассмеявшись, Шоу с искоркой в глазах добавил:

— Кабинет министров уже обсуждал мой проект!

Конечно, это была шутка, но Шоу сделал вид, будто бы сообщает мне, советскому послу, самую последнюю политическую новость.

Я спросил Шоу, почему он облек свою пьесу в фантастические одежды «Страшного суда». Шоу усмехнулся:

— Почему? Разве вы не знаете, что кое-кто зовет меня архиепископом вселенной?

Примерно год спустя, в первых числах января 1936 года, я прочитал в газетах, что в Вене была поставлена новая пьеса Шоу «Миллионерша». В Англии она еще не была опубликована. Я написал Шоу, прося прислать мне пьесу хотя бы в рукописи. В ответ я получил корректуру «Миллионерши», на которой было написано:

«Мой дорогой Майский,

книга еще не готова. Все, что я могу вам сейчас послать, — это первая корректура, не выправленная мной. Прочитайте и затем бросьте ее в огонь. Когда выйдет весь том целиком, состоящий из трех пьес, вы увидите, что в нем находятся два предисловия, оба относящиеся к России. Д. Бернад Шоу».

«Миллионерша» была насквозь политическая пьеса, олицетворявшая все пороки капитализма в лице Епифании, наследницы тридцати миллионов фунтов и обладательницы бешеного, деспотического характера. Она ни с чем не считается и все и всех ломает в угоду своим капризам.

Месяца два спустя Шоу, встретив меня, сказал в виде комментария к своей пьесе:

— Капитализм — это, конечно, бумажная утопия, но капиталисты — весьма реальная вещь. И часто они бывают отвратительны. Вот это я и хотел показать в «Миллионерше».

Шоу был верен себе: его парадокс был направлен и против буржуа и отчасти против марксистов. Но пьеса была демократической, антикапиталистической по своему духу, и это было самым главным.

В начале второй мировой войны я получил от Шоу подарок: чудесное издание пьесы «В золотые дни доброго короля Карла» с иллюстрациями известного польского художника Феликса Топольского. Эта пьеса — пожалуй, последний могучий взлет творчества Шоу (ему к тому времени исполнилось восемьдесят четыре года). Она так и блещет глубокими мыслями, остроумными парадоксами. Превосходны фигуры знаменитого математика Ньютона и короля Карла II, хороши образы королевских любовниц — артистки Нелл Гвин, герцогиня Клевленд и Портсмут. Даже второстепенные персонажи невольно приковывают к себе внимание, особенно экономка Ньютона миссис Башэм. Пьеса посвящена далекому прошлому, однако вы все время чувствуете, что автор писал ее, думая о важнейшей проблеме сегодняшнего дня: как достигнуть такого общественного устройства, при котором всем людям жилось бы хорошо? В пьесе нет сколько-нибудь удовлетворительного ответа на этот вопрос. Даже больше: в ней по существу вообще нет ответа на такой вопрос. И как-то, встретившись с Шоу, я упрекнул его в этом.

Шоу невесело усмехнулся — впервые я видел его в таком настроении (правда, дело происходило во время войны) — и затем сказал:

— Я знаю только одно: закон богов — это закон изменений, но куда они ведут, не всегда ясно.

Здесь снова я почувствовал ахиллесову пятау этого бунтаря по-английски.

Большие писатели нередко бывают плохими политиками.

Известно, например, что Генрих Гейне, один из вождей «Молодой Германии», в своей деятельности допускал ряд политических бестактностей и ошибок, за которые его сурово осуждали Маркс и Энгельс. И тем не менее, окидывая взглядом всю жизнь Генриха Гейне в целом, мы прекрасно понимаем, что поэт был прав, называя себя «лихим барабанщиком» свободы, как она понималась в его время. Мы сами без всяких колебаний считаем Генриха Гейне воинствующим гуманистом и одним из лучших представителей передовой, прогрессивной мысли в истории человечества.

Бернард Шоу в этом отношении подобен Гейне. Да, ирландские традиции и собственная натура сделали из него бунтаря-одиночку. Однако, как ни любил Бернард Шоу подчеркивать, что он ирландец, как ни поносил он английское общество, несомненно все-таки, что английская жизнь и английская культура наложили на него очень большой отпечаток, гораздо больший, чем он сам хотел это признавать. Вот почему, повторяю, Бернард Шоу сделался бунтарем-одиночкой по-английски.

В чем это выражалось? Ответом могут служить некоторые характерные факты его биографии.

Когда в конце семидесятых годов прошлого века Шоу попал в Лондон, он был молодым человеком с мятущейся душой, но без всяких определенных политических взглядов. Он стал искать свой путь в жизни. Бросался туда и сюда, ходил по дискуссионным клубам, сам выступал в качестве «уличного оратора» в Гайд-парке и других местах. Потом начал заниматься в Британском музее.

— В течение нескольких лет, — рассказывал мне как-то Шоу, — я бывал в Британском музее почти ежедневно. Его читальный зал стал моим кабинетом. Я собирал там нужный мне материал.

Шоу хитро усмехнулся и прибавил:

— Из всех учреждений Британской империи я признаю только одно — Британский музей.

— Чем же именно вы занимались в Британском музее? — спросил я.

— О, разными вещами, — ответил Шоу. — Много времени я посвятил Марксу и Вагнеру.

— Марксу и Вагнеру?

— Да, да, Марксу и Вагнеру, — рассмеявшись, повторил Шоу. — На моем столе в читальном зале в течение нескольких месяцев лежали «Капитал» Маркса по-французски (тогда английского перевода еще не было) и партитуры опер Вагнера. Я изучал их попеременно... Было очень интересно!

— Но почему такое сочетание? — не успокаивался я. — Какое отношение Маркс имел к Вагнеру и Вагнер к Марксу?

— О, это легко понять! — громко рассмеявшись, сказал Шоу. — Викторианское общество не признавало ни того, ни другого, именно поэтому я решил изучить и того и другого.

— Какое же впечатление произвел на вас Маркс?

— Замечательная голова! — с энтузиазмом воскликнул Шоу. — Он ярко показал тот ад, в котором массы находятся при капитализме. Капитализм до сих пор не может оправиться, да и никогда не оправится от нанесенного этим ударом. А что касается общей философии Маркса...

Шоу задумался, а затем добавил:

— В ней много спорного... Кроме Маркса, я читал в Британском музее также Рикардо, Генри Джорджа, Вильяма Морриса. В конце концов я не стал марксистом, хотя всегда глубоко уважал Маркса и считаю, что он оказал большую услугу человечеству. Я был знаком лично также с Энгельсом. Он мне нравился, но зато я терпеть не мог Гайндмана, который в начале восьмидесятых годов основал «Социал-демократическую федерацию» и считал себя чем-то вроде марксистского архиепископа в Англии.

Итак, Шоу не принял Маркса даже в пику викторианскому обществу. Вместо этого он «приземлился» в «Фабианском обществе», о котором речь была выше.

— В одном из дискуссионных клубов, — продолжал Шоу, — я встретился с Сиднеем Веббом. Мне было тогда двадцать три года, Сиднею на год или два меньше. Он показался мне очень начитанным и интересным. Мы подружились, и Сидней ввел меня в кружок таких же, как он, молодых интеллигентных людей, которые в 1884 году образовали «Фабианское общество». Я с самого начала стал членом этого общества, потом членом его исполкома, потом редактором его памфлетов и составителем многих его важных документов — манифестов, докладов и так далее. Мы начисто отвергли баррикадные бои, о которых мечтали анархисты, и колонии праведников, которые проповедовали утописты вроде Фурье и Кабе. Мы задались целью сделать социализм, который тогда рассматривался как дьявольское наваждение, конституционным, практичным и уважаемым. И мы в этом успели.

.. Как видим, Шоу еще раз оказался бунтарем по-английски, настолько по-английски, что, например, во время англо-бурской войны он принял сторону британского империализма. Только первая мировая война заставила Шоу многое пересмотреть в своих прежних взглядах и сделала его решительным противником внешней политики английского господствующего класса.

Бунт по-английски имел следствием известную двойственность политического зрения Шоу. Он превосходно замечал все пороки капиталистического общества и резко громил их. Перебирая полсотни написанных им пьес, видишь, что внимание драматурга привлекали и городские трущобы, и проституция, и болячки буржуазной семьи, и разложение аристократического общества, и угнетение Ирландии, и кризис империи, и война, и фашизм, и многое другое. Здесь его зрение отличалось изумительной остротой, а в его колчане находились убийственные стрелы, которые он беспощадно метал по адресу хозяев жизни. Ему доставляло особое удовольствие жестоко высмеивать самые общепринятые взгляды и самые уважаемые институты капиталистического общества.

Шоу не щадил и тех, кто, не будучи буржуа по своему социальному положению, вольно или невольно служил буржуазии. Как-то в конце 1933 года супруги Шоу были у нас на завтрак, и речь зашла о лейбористской партии. Шоу сразу резко атаковал оба правительства Макдональда (1924 и 1929 — 1931 гг.). Блестя глазами, то и дело лукаво подмигивая, он гремел:

— Капитализм обанкротился, но и лейбористская партия тоже обанкротилась! Я это ясно показал в моей «Тележке с яблоками». Что должна была сделать лейбористская партия, придя к власти? Она должна была прежде всего хорошо разработать технику социальной администрации, но она этого не сделала. Вот почему оба лейбористских правительства показали себя лишь способными администраторами капиталистического государства. Да, да, капиталистического! Они управляли де-

лами буржуазии и во внешней и во внутренней политике гораздо лучше, чем консерваторы. А о своем социалистическом рабочем деле они забыли...

Шоу сердито хлопнул тыльной стороной правой руки по ладони левой и в виде окончательного вывода бросил:

— От нашей лейбористской партии можно ждать социализма с таким же успехом, как яичницы от швейной машины!

Все сидевшие за столом громко рассмеялись.

Да, Шоу прекрасно понимал, что капиталистическое общество насквозь изъедено тяжелыми недугами. Но когда дело доходило до вопроса о том, что же надо сделать для устранения этих недугов и построения действительно здорового человеческого общества, сразу же обнаруживалось, что художественное и политическое зрение Шоу весьма ограничено. Все, что было связано с этим кругом вопросов, было для него расплывчато, неясно, противоречиво.

Так, Шоу считал, что, как он выражался, во избежание гибели цивилизации необходимо уничтожить бедность, установить принцип равенства в распределении доходов и продуктов, освободить брак от всяких коммерческих расчетов, национализировать промышленность, социализировать и муниципализировать профессии (например, врачей) и так далее. Большое значение Шоу придавал воспитанию детей. Однажды в разговоре со мной он сказал:

— Детей надо воспитывать так, чтобы человека только потребляющего, но не возвращающего соответственный эквивалент обществу они считали воров.

Ну, а реальный путь к достижению всех таких целей? На этот вопрос Шоу не было определенного ответа. Классовой борьбы в марксистском понимании слова он не признавал. Как-то в ответ на мое замечание, что без признания этого принципа человек уподобляется моряку без компаса, Шоу нетерпеливо ответил:

— Мир вовсе не состоит только из пролетариев и буржуа. Среди английских рабочих, может быть, больше буржуа, чем среди капиталистов. По крайней мере меня легче понимает интеллигентный буржуа, чем потомственный пролетарий.

Это был колючий парадокс в стиле Шоу, но он только показывал, что писатель не знает прямого пути к манящему его идеалу. О том же говорила и частая апелляция драматурга к общественной совести, к моральной революции, которые должны переродить мир и привести к социализму.

Вместе с тем, чем старше становился Шоу, чем выше подымалась его звезда, тем больше укреплялся его индивидуализм, его стремление жить совершенно «на особицу». Ведь Шоу тоже был человек, и атмосфера шумного успеха и сенсационного ажиотажа вокруг его имени, окружавшая драматурга с начала XX века, не могла не оказать на него известного влияния.

Я уже рассказывал, что Шоу ставил Ибсена выше Шекспира. В Лондоне ходили слухи о том, что и самого себя Шоу тоже считает выше Шекспира. Думаю, что эти слухи несколько преувеличены, хотя зерно истины в них, видимо, имелось, ибо как иначе объяснить, что свою пьесу «Цезарь и Клеопатра» Шоу назвал «улучшенным изданием шекспировского Цезаря»? Рассуждая однажды о разнице между своими более ранними и более поздними произведениями, Шоу употребил такое выражение: «Подобно Гёте, я знал...» и так далее. Нет, скромностью Бернард Шоу совсем не грешил!

Растущий индивидуализм Шоу привел его в 1922 году к выходу из «Фабрианского общества». Его, ставшего в глазах Англии (да и не только Англии) чем-то вроде пророка-обличителя, с которым можно не соглашаться, но которого обязательно надо слушать, думается, стала стеснять даже та более чем скромная дисциплина, которую накладывало на своих членов «Фабрианское общество». В поведении Шоу порой обнаруживались большие странности и неожиданности. Приведу только один пример, о котором мне рассказала Беатриса Вебб.

— В 1927 году супруги Шоу провели месяца два в Италии и там встречались с некоторыми весьма ловкими представителями Муссолини. После этого Шоу вдруг публично заявил, что диктатура Муссолини намного превосходит демократию, как она применяется в Англии... Это вызвало страшную сенсацию. В социалистических кругах

не знали, что делать. Итальянские эмигранты заявили резкий протест. А Муссолини, разумеется, использовал выступление Шоу в своих интересах.

— Чем же можно объяснить поведение Шоу? — спросил я.

— Думаю, что тут сыграли роль две вещи, — ответила Беатриса Вебб. — Во-первых, в те годы английское общественное мнение было настроено резко против Муссолини — и, вероятно, в пик ему Шоу решил проявить «независимость». Но важнее было другое обстоятельство. В течение многих лет Шоу издевался над английским парламентаризмом, над его волокитой и традиционностью, над неумением нашей демократии быстро и решительно принимать нужные меры. Муссолини поразил Шоу своей способностью «делать дело» без проволочек — неважно, какое «дело»! Под впечатлением момента, парадоксально заостряя свое мнение — с Шоу так часто бывало, — он сразу ударил в колокола, и чем больше ему возражали, тем больше упрямылся. Конечно, Шоу скоро одумался. Он очень не любит теперь вспоминать этот кратковременный эпизод.

Да, Шоу, несомненно, одумался: в пьесе «Женева» он свирепо свел счеты с Муссолини, изобразив его там под именем диктатора Бомбардоне.

Особое отношение у Бернарда Шоу было к нашей стране и нашему народу.

Еще до Октября он очень интересовался русской литературой — Толстым, Тургеневым, Достоевским, Чеховым, Горьким. У него даже была переписка с Львом Николаевичем. Однако ближе всего Бернард Шоу был Горький. Он рассказывал, что впервые они познакомились много лет назад в Лондоне и затем возобновили личное знакомство в Москве, когда Шоу посетил Советский Союз. Между ними существовали сердечные отношения.

Помню, я встретился с Шоу вскоре после смерти Горького — он был потрясен, но выразил свои чувства так, как мог это сделать только Шоу:

— Как жаль, как жаль, что его больше нет! — И затем, качнув головой, с невеселой улыбкой продолжал: — Я страшно встревожен: мои современники по девятинадцатому столетию уходят с такой быстротой, что мне становится стыдно моего долголетия. Мне кажется, что молодежь с укоризной смотрит на нас, детей прошлого века, и думает: чего вы еще задерживаетесь? Пора, пора нам, реликвиям старины, исчезнуть!

Иное отношение у Шоу было к нашему знаменитому физиологу Павлову. Он его не любил и не раз критиковал его учение. Думаю, главным образом потому, что Шоу был не только строгим вегетарианцем, но и не менее строгим антививисекционистом. Я слышал, как однажды он доказывал, что если для научных открытий необходимо подвергать мучениям собак, то лучше отказаться от этих открытий. К тому же Шоу считал, что все открытия ученого, если они и существуют, задолго до него сделаны им, Бернардом Шоу. При этом он ссылался на ряд своих статей и предисловий к пьесам конца прошлого века, в которых он будто бы предвосхитил многое из теории Павлова, в частности его учение об условных рефлексах.

Вообще от Шоу по любому поводу можно было ждать самого неожиданного парадокса. Помню такой случай. Как-то вскоре после начала нашего знакомства, когда Шоу был еще полон впечатлений от своей поездки в СССР, мы с женой были у него в гостях. Шоу с большой экспрессией рассказывал о некоторых эпизодах этой поездки. Под конец я спросил:

— Какое же воспоминание осталось у Вас от путешествия в Советский Союз?

— О, великолепное! — откликнулся Шоу. — Меня принимали у вас, как королевскую персону...

И затем, несколько отодвинувшись от стола, чтобы легче было взмахнуть руками, Шоу продолжал:

— Ваша страна — замечательная страна. Ваша революция — это трагедия, комедия, мелодрама, все вместе, и притом поставленные на гигантской сцене... Как драматург, я чувствую это особенно остро. Ваша революция справедлива!

Адресуясь не то к Шоу, не то ко мне, один из присутствовавших на завтраке англичан спросил:

— Но если это так, почему в Советской России не допускается существование других партий, кроме коммунистической?

Прежде чем я успел что-либо ответить, Шоу с загоревшимися глазами воскликнул:

— А зачем им другие партии? Зачем им наши консерваторы или наши лейбористы? Лучше без них! Мне гораздо больше нравится, что в Советской России два миллиона коммунистов ведут за собой остальные сто двадцать миллионов... Так они скорее придут к социализму.

Вдруг лицо Шоу вспыхнуло хитрой улыбкой, всегда предвещавшей острый парадокс, и, сделав свой любимый жест ладонями рук, он точно преобразился в проповедника.

— В Советской России,— воскликнул Шоу,— сейчас царит фабианство... Ваша страна стала классической страной постепенности. Ленин и Сталин признали этот принцип! Все движение вперед у вас теперь совершается шаг за шагом, без тяжелых потрясений, без революций!

— Однако большевики,— возразил я,— обошлись не слишком по-фабиански с царем и русской буржуазией...

— И с русскими помещиками,— добавил кто-то из англичан, сидевших за столом.

Шоу нетерпеливо махнул рукой, как будто речь шла о каких-то досадных мелочах, и, повысив голос, продолжил:

— В царской России это было неизбежно, но это уже прошлое. Не стоит к нему возвращаться. Зато впереди перед вами фабианский путь, который я проповедовал еще полвека назад.

Я попытался разъяснить Шоу разницу между фабианством и марксизмом-ленинизмом, но он не хотел ничего слушать. На все мои аргументы он отвечал шутками и заверениями, что мы сами скоро признаем его правоту. Да, Шоу был тут вполне в своем репертуаре оригинала и парадоксалиста!

Вспоминается мне еще один любопытный разговор с Шоу. Когда в 1934 году разгласилась знаменитая челюскинская эпопея и мировая пресса в течение недель на все лады освещала события, происходившие в ледовом лагере, а портрет О. Ю. Шмидта не сходил со страниц газет, Шоу как-то со смехом мне сказал:

— Вы поразительная страна! Полярную катастрофу вы превратили в национальное торжество и в качестве главного героя нашли человека с бородой деда-мороза. Вы можете смеяться, но заверяю вас, что борода Шмидта завоевала вам тысячи друзей в нашей стране.

Это был еще один парадокс, но в нем было кое-что от истины. По традиции англичане привыкли представлять себе русского человека с большой бородой. Борода Отто Юльевича как бы наглядно подтверждала, что на льдине находятся русские, настоящие русские,— и вот какие они молодцы!

Полтора года спустя, в декабре 1935 года, на Конгрессе мира и дружбы с СССР в Лондоне я познакомил Шоу со Шмидтом, и Шоу не скрывал своего удовольствия от встречи с героем челюскинской эпопеи. На этом же конгрессе Шоу в ходе своего яркого выступления под бурные рукоплескания собравшихся воскликнул:

— Капитализм надоел самому себе, и чем скорее он исчезнет, тем лучше!

Да, Бернард Шоу относился с большой симпатией к СССР. Он не всегда нас хорошо понимал, не во всем был с нами согласен; однако с первых же дней Октябрьской революции стал на ее защиту. Во время гражданской войны и интервенции Шоу был с теми, кто написал на своем знамени: «Руки прочь от России!» Позднее он не раз выступал в печати, отбивая атаки реакционеров против Советской страны.

Как-то он прислал мне номер «G. K. Chesterton's Weekly» («Еженедельник Д. К. Честертон») от 3 декабря 1936 года, в котором была помещена статья Шоу «В защиту России». Шоу упрекал «Еженедельник» в том, что он занимает «зверски антирусскую» позицию, и доказывал, что «враги России являются врагами человеческого рода». Ибо, так аргументировал Шоу, спасением человечества может быть только построение общества, в котором все блага и богатства распределяются равномерно между всеми его членами, а СССР является пока единственной страной, которая идет по пути осуще-

ствления этого принципа. Тем самым она расчищает дорогу для спасения всего человечества. Статья заканчивалась словами:

«Не надо быть особо пронзительным дипломатом для понимания того, что, если Англия и Франция не бросят весь свой военный вес и всю свою моральную поддержку на чашу весов России, новый пояс фашистских государств вокруг Средней Европы, в союзе с Японией, может организовать крестовый поход для расчленения России и восстановления в ней капитализма — короче, положить конец надеждам на создание общества с равномерным распределением благ и богатств. Результатом этого было бы расчленение не только СССР, но и Британской империи».

Шоу здесь недооценивал внутренние силы СССР, но тогда подобные взгляды были широко распространены в Европе даже среди наших друзей. Во всяком случае, приведенная статья с полной ясностью говорила о том, на чьей стороне находился знаменитый драматург.

Однажды, в ноябре 1936 года, мы с женой были у супругов Шоу в их загородном доме в Айоте. За чаем зашел разговор об опубликованном незадолго перед тем проекте новой конституции СССР. Я рассказал Шоу о сущности этой конституции и о том, что проект ее теперь передается на всенародное обсуждение. Шоу очень заинтересовался моими сообщениями, и я пообещал ему прислать проект конституции в английском переводе. Я выполнил свое обещание, желая, с одной стороны, оказать Шоу любезность и вместе с тем информировать его о содержании столь важного документа. Я не ждал от него никакого ответа.

И вдруг в первых числах декабря того же 1936 года я получил от миссис Шоу маденькое письмецо следующего содержания:

«ДБШ просил меня переслать Вам это. Он надеется, что оно представит для Вас интерес. Искренне Ваша Ш. Ф. Шоу».

К письмецу миссис Шоу было приложено большое послание самого Шоу, датированное 16 ноября 1936 года. Оно занимало две с половиной страницы на машинке через один интервал и представляло собой замечания Шоу по отдельным статьям проекта конституции. Излишне говорить, что послание было выдержано вполне в стиле Шоу и изобилвало парадоксами, остротами, хлесткими словечками. Приведу несколько примеров.

По поводу ст. 98, гласившей, что Советы депутатов грядущих имеют право принимать решения и давать распоряжения в пределах полномочий, предоставленных им законами СССР и союзных республик, Шоу писал:

«Эту статью следует переработать в том смысле, что хотя решения и приказы Советов должны оставаться в пределах предоставленных им полномочий, но их «право обсуждения, рекомендации и инициативы должно быть неограниченным».

По поводу ст. 123, устанавливавшей, что равенство всех граждан СССР является непреложным законом, Шоу писал:

«В политике не может быть непреложных законов. СССР не должен цепляться за догмы».

По поводу ст. 127, гарантировавшей неприкосновенность личности, Шоу писал:

«Авторы этой статьи, очевидно, имели в виду только свободу от ареста. Но в России опасность медицинской тирании гораздо больше, чем опасность полицейской тирании. Русские безгранично доверяют всезнанию и непогрешимости таких... как Павлов».

Что имел Шоу в виду, говоря о медицинской тирании, явствует из сделанного тут же замечания, что «английский солдат фактически вынужден мириться с насилием над его личностью, осуществляемой при помощи целой серии вакцинаций и инъекций».

В пояснение должен сказать, что Шоу был не только антививисекционистом, но и антивакцинистом.

По поводу ст. ст. 135, 136 и 141, гарантировавших равное право выбирать и быть выбранным для всех граждан СССР не моложе 18 лет, Шоу писал:

«Положение, что депутат не нуждается в определенной подготовке для общественной работы, не имеет значения в капиталистическом управлении, основанном на принципе «laissez faire», ибо целью его является предупреждение всякого государственного вмешательства в область частного предпринимательства, однако в коммунистическом

управлении неподготовленный депутат может принести большой вред. В будущем, несомненно, для депутатов будут установлены испытания в знаниях и компетентности, хотя они едва ли будут напоминать нынешние академические испытания, которые более чем бесполезны».

Я ответил Шоу, что перешлю его послание в Москву, а при ближайшей встрече с ним высказал ряд возражений против сделанных им замечаний. В частности, я обращал его внимание на то, что новая конституция еще не является конституцией коммунистического государства. Пока речь идет лишь о конституции социалистического государства.

— Но погодите,— закончил я,— дайте время! Наступит день, когда мы создадим в СССР коммунизм. Тогда у нас будет стопроцентная коммунистическая конституция!

— Но ваша медицинская тирания...— начал было Шоу.

— Не беспокойтесь о ней,— возразил я.— Благодаря Павлову и другим советским ученым, врачам, всей организации нашего медицинского дела уровень здоровья советского населения год от года повышается.

Шоу не хотел со мной согласиться. Он упрямо отстаивал мысли, изложенные им в его письме. Под конец мне все-таки удалось его кое в чем убедить, но в вопросе о медицинской тирании Шоу остался при своем. Когда мы расставались, Шоу со смехом заявил:

— Советское правительство передало проект конституции на всенародное обсуждение. Вот я и принял участие в его обсуждении. Я, правда, не советский гражданин, но ведь вы интернационалисты!

Года два спустя, когда новая советская конституция уже была окончательно принята и вошла в жизнь, Шоу как-то в разговоре со мной, весело рассмеявшись, сказал:

— Я вижу, что мои поправки не приняты. Тем не менее я вполне удовлетворен нынешней Конституцией СССР.

Перебирая в памяти сейчас, много лет спустя, все мои многочисленные встречи и беседы с Бернардом Шоу, все его выступления и писания за время нашего долгого знакомства (а также до и после него), все его поведение с момента возникновения Советского государства, я с полным убеждением говорю: да, несмотря на все свои парадоксы и капризы, Бернард Шоу был и навсегда остался другом Советского Союза, другом и в хорошую и в плохую погоду.

Последняя встреча с Шоу и его женой окрашена в моей памяти в траурные цвета.

В июле 1943 года я был вызван из Лондона в Москву для консультации по вопросам послевоенного устройства. Затем меня назначили заместителем наркома иностранных дел. В конце августа я вернулся в Лондон, и дней за десять до окончательного отъезда в СССР мы с женой посетили супругов Шоу, чтобы с ними попрощаться. Они приняли нас в своей городской квартире.

Бернард Шоу, несмотря на свои семьдесят семь лет, был по-прежнему бодр, активен, остроумен. Но зато его жена стала почти полным инвалидом. Правда, она вышла к нам, как всегда, тщательно одетая и подтянутая, но она почти не могла поднимать головы. Моей жене Шарлотта рассказала, что лет тридцать назад ее выбросила из седла строптивая лошадь и она сильно ушибла позвоночник. Тогда ее лечили и как будто бы совсем вылечили. Однако к старости позвоночник стал давать знать о себе и чем дальше, тем больше. Теперь врачи оказывались бессильными. В последние недели Шарлотта все время лежала в постели. Только сегодня, чтобы проститься с нами, она встала и оделась.

Разумеется, в такой обстановке наша встреча, несмотря на все попытки Бернарда Шоу оживить ее, прошла в каких-то приглушенных тонах. Мы благодарили супругов Шоу за то дружеское отношение, которое они неизменно проявляли к нам на протяжении одиннадцати лет нашего пребывания в Лондоне, и за ту немалую помощь, которую они оказывали нам в борьбе за донесение истины о Советском Союзе до широких кругов английского общества. В ответ Бернард Шоу сказал:

— Мы считали своим долгом, поскольку это было в наших силах, разорвать ту пелену волюющей лжи и злопыхательства в отношении Советской России, которую за

минувшие четверть века так усердно создавала английская и американская печать. Мы только жалеем, что не смогли сделать больше.

С тяжелым предчувствием мы крепко пожали на прощание руки супругов Шоу.

Мы уезжали из Лондона в середине сентября 1943 года. По условиям военного времени наше путешествие было обставлено секретностью и различными строгими ограничениями. В самый день отъезда я открыл утренние газеты, и вдруг у меня сжалось сердце. Печать сообщала, что накануне умерла миссис Шоу. Первым нашим движением было отправиться к Бернарду Шоу и лично выразить ему наше глубокое соболезнование в понесенной им тяжелой утрате. Но поезд, на котором мы должны были уезжать, вот-вот уходил, а отложить поездку в тогдашней обстановке было невозможно. Я взял лист бумаги и написал:

«Мой дорогой Шоу, мы страшно потрясены печальной вестью, которая дошла до нас в самый момент нашего отъезда из Лондона. Примите наше искреннее и глубокое сочувствие в постигшем Вас тяжелом горе. Вы потеряли Вашу многолетнюю спутницу жизни, ту, которая всегда была так жизнерадостна, которая проявляла такую сердечность в своей дружбе, которая давала так много всем ее знавшим. В этом году мы потеряли двух дорогих друзей — Вашу жену и Беатрису Вебб¹. Мне так хотелось бы, если бы это было возможно, увидеть Вас, чтобы лично выразить свои чувства... Еще раз прошу Вас принять от нас обоих самую теплую и искреннюю симпатию».

Час спустя мы сидели в поезде, уносившем нас в Глазго, откуда должно было начаться наше длинное, сложное и опасное морское путешествие домой, на Родину...

Когда пишешь воспоминания, невольно подводишь итоги жизням и событиям. Мне хотелось бы в заключение сказать следующее.

Шоу был большим писателем и большим человеком. Натура у него была сложная и противоречивая. Воспитание и обстановка, в которой проходила его жизнь, наложили на Шоу свой отпечаток. В литературной и общественно-политической деятельности Шоу бывали ошибки. Однако, окидывая одним общим взглядом весь путь знаменитого драматурга в целом, мы можем смело сказать, что, подобно Генриху Гейне, он был воинствующим гуманистом и «лихим барабанщиком» свободы в нашу эпоху. Лучшим доказательством тому является отношение Бернарда Шоу к Советскому Союзу.

¹ Беатриса Вебб умерла весной 1943 года.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. МЕНЬШУТИН, А. СИНЯВСКИЙ

★

ЗА ПОЭТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ

(Заметки о поэзии молодых)

Лирика наших дней, в особенности стихи молодых авторов — при всем разнообразии тем, голосов, интонаций, — приводит в настроение, которое испытываешь обычно, отправляясь в далекую увлекательную поездку. Может быть, это чувство усиливается благодаря тому, что сами сюжеты и герои стихов часто связаны теперь с дорожными впечатлениями и дальними маршрутами, что в нашу печать последнее время в изобилии поступают стихи, написанные на Камчатке и на Алтае, в Казахстане и на Енисее и отмеченные ярко выраженным «путевым» колоритом. Иногда кажется, что все поэты куда-то разъехались и в Москве или в Ленинграде стихов теперь больше не пишут, а пишут их преимущественно в тайге и в тундре, и в русской поэзии наступил кочевой период.

Но дело, конечно, не сводится к отъезду авторов «на периферию» и возвращению их оттуда с запасом свежих впечатлений. В самом тоне нашей поэзии, в ее исканиях и устремлениях чувствуется готовность пуститься в дальний путь — не только в буквальном, но и в переносном, эстетическом смысле. Это касается в первую очередь, естественно, молодых авторов, вступающих в литературу и охваченных лихорадочным настроением.

Лечу...

И все, что не пускало,
Уже не видно вдалеке.

(В. Ахмадулина).

И снова мертвой пётлею
Несутся до рассвета

Такие же отпетые —
Шоферы и поэты

(А. Вознесенский).

«Дорожные» настроения в какой-то мере характерны для всей молодой поэзии. И вместе с тем понятно, что многое здесь еще «не пускает», что в качественном отношении она недалеко ушла, и для характеристики ее сегодняшнего состояния уместнее, пожалуй, «предотъездные» аналогии: сборы в дорогу, спешка, нетерпение, суматоха, запоздалые поиски куда-то, как нарочно, запропастившейся рифмы, наказания и наставления более опытных, но словно бы растерявшихся немного старших родственников и друзей...

Оживление, царящее в поэзии и связанное с появлением новых имен и книг, с освоением новых тем, с усилившимися поисками в области стиха, стиля и т. д., сопровождается и более активным, энергичным выражением личного, субъективного начала в современной лирике. Соответственным образом и в нашей критике замечен повышенный интерес к этой стороне дела, о чем говорит, например, статья Б. Рунина «Спор необходимо продолжить», опубликованная недавно в «Новом мире».

Разделяя основные мысли этой статьи, мы хотели бы вместе с тем к понятию «лирической активности» подойти более практически, на материале некоторых произведений сегодняшней молодой поэзии. При этом, нам кажется, нет необходимости строго придерживаться каких-то точных возрастных признаков — и потому, что они

достаточно условны, и потому, что сама проблема нуждается в более широком и свободном привлечении имен и произведений, входящих сегодня в литературу.

Требование активности постоянно предъявляется к поэзии, о своей готовности следовать ему охотно заявляют сами поэты. Но нередко это требование трактуется слишком внешне, сводясь преимущественно к актуальности тематики, к умению дать быстрый «отклик» и т. д. Между тем поэтическую активность следует понимать гораздо шире. Она охватывает очень большой круг явлений, и среди них первое место занимает, конечно, личность поэта и рождение этой личности, влекущее за собой целый мир нового индивидуального восприятия. Явления окружающей действительности поэт пропускает «через себя», и потому-то глубина и яркость поэтического «я» свидетельствует о способности к глубокому познанию жизни средствами лирики. Насколько велик, ярк и жизнеспособен этот мир, какова его общественная, нравственная и эстетическая ценность, в чем его сила, новизна и своеобразие — вот те главные вопросы творчества и биографии художника, формы и содержания, которые связаны с понятием поэтической активности.

Конечно, применительно к авторам, которые недавно начали печататься и могут показать лишь немногие чертежи и наброски своего индивидуального поэтического мира, судить об активности этого «я» порою очень трудно. И все же общее положение дел в нашей молодой лирике достаточно прояснилось и говорит о каком-то душевном подъеме, о нетерпеливой жажде нового, об активизации лирического, то есть творческого начала. В этой связи можно сослаться на вышедший в прошлом году «День поэзии». Самый тип этого издания, дающего весьма приблизительно, а иногда и случайное представление о творчестве отдельных поэтов, выступающих здесь с одним-двумя — не всегда лучшими — стихотворениями, в то же время как бы рассчитан и специально направлен на то, чтобы уловить некое общее лирическое состояние, господствующее в поэзии на сегодняшний день. И, сравнивая этот «день» с предшествующим (в данном случае с аналогичным сборником, вышедшим в 1958 году), убеждаешься, что наша лирика становится более живой, интересной, разно-

образной. Это касается, в частности, некоторых новых авторов, работающих над стихом, может быть, достаточно долго, но обнаруживших себя и привлечших к себе внимание лишь в недавнее время. Дело, однако, не в том, чтобы распределить между поэтами первые и вторые места, да и в новом «Дне поэзии» более привлекают не единичные, а, так сказать, массовые попытки подойти к лирическим темам по-новому. Это ощутили, например, и в повороте В. Солоухина к белому стиху, и в боевой интонации С. Куняева («Добро должно быть с кулаками...»), и в заявлении обычно несколько декларативного Р. Рождественского, который теперь, в стихотворении «Третье Музыкальное», утверждает, что «грохотом инструмента душу не заменить...».

Активность поэта, как бы разворачивающегося перед нами свое лирическое «я», свою лирическую «биографию», требует более пристального и замедленного внимания к стиху, чем это позволяет сделать «День поэзии», по самому жанру представляющий собою беглое литературное обозрение. В этих заметках мы не пытаемся дать исчерпывающую характеристику современных поэтических явлений. Нам хотелось бы не столько учесть «достоинства и недостатки» отдельных авторов, сколько наметить некоторые общие, интересные, на наш взгляд, тенденции в развитии молодой поэзии сегодняшнего дня, активно устремившейся по разным путям лирического выражения.

1

Среди новых авторов, пожалуй, самым напористым и голосистым выказал себя в последние два года Андрей Вознесенский — условно говоря, «крайняя левая» сегодняшней молодой поэзии. Его звонкие, «шумные» стихи сразу привлекли внимание критики, не всегда одобрительной, но неизменно отмечающей дарование и мастерство поэта. В короткий срок Вознесенский приобрел довольно широкий круг читателей среди молодежи и, что называется, вошел в моду.

Присущий Вознесенскому нескрываемый пафос самоутверждения, желание обратиться на себя взгляды публики, всячески отстоять и подчеркнуть свою «независимость» во многом понятны и оправданы. Это проистекает из самой природы его лирического характера, достаточно активного, чтобы

заявлять о себе в полный голос. Правда, Вознесенский нередко дерзит и задирается, а иногда — что несколько хуже — впадает в крикливость, кокетничает («Я — парень с Калужской, я явно не промах» и т. д.), но в конце концов все это искупается его энергией, бодростью, экспрессией, что и привлекает к нему симпатии молодых читателей.

Стихи Вознесенского обладают темпераментом, и в этом, на наш взгляд, их основное достоинство. В них бьет ключом, бурлит и напирает молодость, здоровье, весна, о которой в стихотворении «Март» сказано не без некоторого задорного вызова:

Весна рыжее кручей.
Весна берет рубеж.
Весна играет крупом
И ржет, как жеребец!

Увлечение звукописью, пристрастие к неожиданным образам, рифмам и оборотам, которые обычно и вызывают споры вокруг стихов Вознесенского, — лишь следствие этого внутреннего «напора», который здесь господствует и выступает как мотивировка всей его лирической «несдержанности» и словесной «закрученности». Его излюбленная интонация — это интонация человека экскансивного, одержимого, захваченного вихрем труда, творчества. Вознесенский обыкновенно не разворачивает образы в их широте и глубине, в смысловом и интонационном движении, а «сыплет словами» и «шпарит напролом», поддерживая в стихе примерно одинаковую напряженную атмосферу. Здесь нет нагнетания и нарастания, потому что все сразу нагнетается и отпускается полной мерой — от избытка энергии, от стремления высказаться, от нетерпения выяснить: «Кто мы — фишки или великие?.. Лилипуты или поэты?» Стихи начинаются с места в карьер, и разгон берется с первых же слов.

Бани! Бани! Двери — хлоп!
Бабы прыгают в сугроб.
(«Сибирские бани»).

Летят — носы клубникой, подола и трико.
А в центре столб клубится —
Ого-го!

(«Колесо смеха»).

Две темы, два мотива, широко представленные в стихах Вознесенского, часто сливаются и решаются автором в сходном эмоциональном ключе: это не знающая удержу работа, истощенная жажда дея-

тельности и такое же безудержное, разгульное веселье, удалая пляска, в которых раскрываются кипение и энергия молодости.

Мы как дьяволы работали, а сегодня —
пей, гуляй!

Ох, на синих, на глазурных
да на огненных снях.
Купола горят глазунями
на распахнутых снегах.

Ах! —
Только губы на губах!

Персонажи его стихов — это фанатики, одержимые, однако, не идеями, а своим «бешеным» темпераментом. В этом — «родство душ» у мастеров разных эпох, у художников всех времен, о котором так любит писать Вознесенский. Смелые сближения, неожиданные исторические сдвиги, скачки, перелеты позволяют ему (например, в «Балладе работы») связать Петра Первого с Рубенсом и с нашей современностью. При этом крайняя модернизация в изображении царя-работника —

А он только кричал,
Упруг и упрям,
Расставивши краги,
Как башенный кран,—

не вызывает недоумения, поскольку речь идет о самой страсти к труду, одинаково сильно владеющей многими людьми¹.

Итак, в темпераменте, на наш взгляд, главная сила стихов Вознесенского, многие из которых превратились бы в холодное словесное фокусничество, не будь они поддержаны изнутри этим «напором», «заплом», «размахом». Вместе с тем в этом пристрастии к «напористой» и «размашистой» интонации нельзя не заметить некоторой опасности, грозящей молодому автору. Подпадая под власть собственного голоса, он нередко повторяет один и тот же эмоциональный «ход» и — соответственно — один и тот же ритмико-интонационный рисунок, так что создается представление о какой-то инерции, владеющей его стихом, несмотря на всю неожиданность и яркость разбросанных здесь образов.

¹ В поэме «Мастера» аналогичный прием Вознесенского кажется нам менее убедительным и воспринимается как грубая натяжка: автор здесь попытался под свой излюбленный темперамент подвести «идеологию» и строителей Храма Василия Блаженного изобразил в виде этаких древнерусских революционеров-ров-мичуринцев.

В поэме «Мастера» много удачных строк. Например:

Кудри — стружки.
Руки — на рубанки.
Яростные, русские
Красные рубахи.

Строфа сжата, как пружина, насыщена страстью, силой, броскими, зрительно впечатляющими образами. Но вот в другом стихотворении — «В горах» — о своих кавказских впечатлениях Вознесенский рассказывает примерно так же, с той же «яростной» интонацией, и строки, которые сами по себе нам тоже нравятся, вдруг заставляют нас насторожиться — уж очень они похожи на «кудри-стружки»:

И девушки с черешнями
И вишнями в охапке —
Как греческие, грешные
Богини и вакханки.

А вот из третьего стихотворения, на антирелигиозную тему:

Облупленные морды.
Костер.
Ручей.
Мы молоды и голодны,
Как: сто чертей!

Примеры, как говорится, можно легко умножить. В этих стихотворениях есть строки получше и похуже, но дело не в этом. Найденный Вознесенским «ключ» подходит к слишком многим дверям. При чтении его «удалых» стихов порою закрадывается чувство, которое можно назвать недоверием к автору, чья поэзия с одинаковой быстротой и бойкостью берет любовью рубеж, выезжая, можно подумать, на одном азарте. Запальчивость и энергия, которые так подкупают в стихах Вознесенского, неожиданно оборачиваются здесь пассивным подчинением какой-то чужой воле, движущей автором, но не поддающейся его контролю и управлению. Поэт попадает в положение игрока, чья страстность и увлеченность не вызывают желания следовать за ним, но, возбуждая любопытство («Эк его метнуло!»), заставляют задуматься о судьбе этого человека, оказавшегося в плену своего темперамента, своей кипучей натуры, способной по любому поводу вдохновляться, неистовствовать, впадать в состояние очень сильной и крайне ненадежной возбужденности.

«Судьба, как ракета, летит по параболе», — провозглашает Вознесенский в своей «Параболической балладе», выражающей его кредо и послужившей декларацией к его сборнику «Парабола», выпущенному в прошлом году издательством «Советский писатель»¹. В этой балладе «параболическая» судьба поэта, сметающая каноны, трактуется как удел всего великого и оригинального, а в качестве примера взят художник Гоген:

Чтоб в Лувр королевский попасть
из Монмартра,
Он
дал кругалю
через Яву с Суматрой!
Унесся, забыв сумасшествие денег,
Кудахтанье жен, духоту академий...
И в Лувр он попал не сквозь
главный порог —
Параболой
гневно
пробив потолок!

Стихотворение это возбуждает некоторое недоумение. Прежде всего — зачем, ради чего избран «параболический» путь? Чтобы, «дав кругалю», угодить в «королевский Лувр»? Но разве к этому стремился Поль Гоген, удаляясь на острова Океании? Да и вообще достойна ли судьбы гения такая поспешная оригинальность, подогреваемая расчетами на «попадание»? Не слишком ли ординарна эта романтическая «траектория», представшая вдруг в ином измерении, с изнанки, наподобие лихого «кругалю» с наградой — в виде Лувра — за проявленную дерзость и рискованность предприятия?..

Мы бы не стали придираться к словам и задавать эти риторические вопросы, если бы некоторые двусмысленные заявления «Параболической баллады» не находили иной раз поддержки в самом творчестве Вознесенского. Здесь много блеска и движения, все летит, все несется на неслыханных скоростях, и — вслед за Гогеном — «елок крылья реактивные прошибают по-

¹ Огорчительно, что эта книга по качеству самого издания уступает сборнику А. Вознесенского «Мозаика», вышедшему в 1960 году во Владимире. Ряд стихотворений в столичной редакции подвергся неоправданной «правке». Поэтому знакомиться со стихами Вознесенского рекомендуем по владимирскому сборнику «Мозаика», изданному с большей тщательностью.

толки!». Но, странное дело, временами вся эта ракетная техника начинает смахивать на пиротехнику. В ход идут «тульские самовары» (по созвучию с «ТУ-104»), «дома из перлона», «рыжие челки», полыхающие «мандарином», и прочая мишура. В этих случаях новейшая «парабола», по которой несется автор, напоминает старинную русскую кривую из поговорки «куда кривая вывезет», и, видимо, ощущая возможность такой подмены, поэт с горькой иронией пишет:

Как мне нужна в поэзии
Святая простота!
Но мчит меня по лезвию
Куда-то не туда...

Однако дело, по-видимому, не столько в «святой простоте», да и навряд ли Вознесенскому с его поэтической хваткой, поиском, умением следует «опрошаться», как это иной раз рекомендует ему критика. В чем нуждается Вознесенский, так это, на наш взгляд, в более серьезном и глубоком чувстве, в «святой правде», которая вдохновляла бы и направляла его полеты. Боевой темперамент, на котором часто работают его напряженные, энергичные ритмы, сам по себе далеко не увезет, тем более что ритмы эти, переходя из стихотворения в стихотворение, зачастую становятся уже надоедливыми, «заводными».

Вот почему хотелось бы поддержать стремление самого поэта к более углубленной постановке нравственных и философских проблем, что ощутимо, например, в его стихотворениях «Гойя», «Последняя электричка», «Кассирша». Вместе с тем Вознесенский делает попытки выйти из интонационного однообразия своих «скоростных» размеров («Туманная улица» и другие). Здесь, нам кажется, у него есть возможности, сохраняя верность себе, двигаться дальше.

При этом «верность себе», конечно, не состоит в постоянном подчеркивании своей исключительности и оригинальности. Ведь «свой» поэт, которого ищет читатель, не просто летит по какой-то там «параболе», вызывая восторг, удивление и негодование публики (как трактует эту тему Вознесенский). Нужен поэт, на которого можно положиться, который «не выдаст», не поддастся на легкий успех и уверенно поведет читателя за собой для его, читательской, нужды и счастья...

Мы задержались на стихах Вознесенского не только потому, что это один из самых интересных поэтов младшего поколения. Некоторые черты его дарования, при всей их самобытности, присущи целому ряду авторов, вступающих сегодня в поэзию. Вознесенский выразил острее других тенденции, характерные для нынешнего развития новых поэтических сил. Это прежде всего позиция наступления, натиска, вменительства в жизнь и в литературу, позиция активного самоопределения и самоутверждения.

Еще недавно «молодые» были тихими, скромными и почтительными. Процесс взращивания новых индивидуальностей проходил медленно и скрыто. За исключением, может быть, одного Евтушенко, «начинающие» избегали говорить о собственной личности в полный голос. А теперь что ни автор — то звонкая декларация, широковещательная программа. Теперь пошли поэты громкие, задиристые, нетерпеливые.

Конечно, иные авторы, претендуя на какое-то «свое слово», с первых же строк впадают в претенциозность, напыщенность. Трудно без улыбки читать такие, например, бесстрашные заявления, исходящие из уст трех разных поэтов, чьи имена, щадя самолюбие авторов, мы решили не называть:

Есть у меня друзья на свете
Есть у меня
Своя мечта.
Мне не страшны
Ни дождь,
Ни ветер,
Ни пропасть(!)
И ни высота!

*

Да, я не скромн.
А кто же скромн
В боях, в раздумьях,
Когда вершит?
И пусть не скромн!
Хирургом скромн,
Свинцовой строчкой
Отменно шит.

*

Среди гроз,
Обжигающих свежестью,
Освежающих чем-то родным,
Я, не видевший
Ласки и нежности,
Остаюсь навсегда молодым.

...Я, ушедший
Из детской беспечности,
Я, испытанный временем злым,
Не теряющий человечности,
Остаюсь навсегда молодым.

И все же за этими наивными, смешными и зачастую безвкусными декларациями, удручающими резкой диспропорцией между размером претензий автора и его наличными средствами, можно уловить какую-то правоту. Настоящая поэзия и впрямь не может быть конфузливой и робкой (в эстетическом, разумеется, смысле), когда она «вершит» или намеревается «вершить». Но дело в том, чтобы уйти из сферы только обещаний, не ограничиваться грозным (или комическим) «яканьем», а воссоздать определенный лирический характер, самобытный, глубокий и способный с достаточной полнотой выразить наше время.

2

Основным фронтом молодая поэзия открыто обращена к темам современности. В боевом задоре «молодые» не прочь обогнать старших поэтических товарищей, охотно ссылаясь на факты своей биографии — будь то поездка на целину или другие события из жизни поколения. Современность и выступает в стихах молодых поэтов преимущественно в таком «биографическом» оформлении.

«Наше время» — так называет В. Гордейчев одно из своих стихотворений. Самым этим эпитетом «наше» подчеркивается не только общая актуальность темы, но и то, что речь идет о переживаниях, особенно близких сверстникам поэта:

Принимаю бой! Со мною вместе
встаньте здесь, сыны одной семьи,
рыцари немедленного действия,
верные товарищи мои!
Встаньте вы, слепяще белозубы,
с вами я мужал и вырастал,
станции Касторной жизнелюбы,
чьи ладони грубы, как металл.
Бас зову — в мерцании коптилок,
реве гроз и топоте саног,—
с кем потом судьба меня сводила
на вокзалах тысячи дорог.

Принимаем имя одержимых!
Нам дремать по-рыбы не дано,
кровью, ударяющей по жилам,
сердце в наши будни влюблено.

Общий пафос стихотворения, утверждаемая позиция «немедленного» вторжения в жизнь получают в фактах биографии поколения свое художественное обоснование и подтверждение. Активность поэта не просто декларируется, а как бы выводится из пе-

режитого им и теми, с кем вместе он «мужал и вырастал».

В такой конкретизации — определенное преимущество развертывания темы в автобиографическом плане. Молодые поэты охотно «представляют» за своих сверстников не только потому, что эта роль почетна, но и потому, что она творчески целесообразна. По крайней мере потенциально здесь открываются большие возможности: ведь сфера-то близкая, знакомая. И поэты спешат с заявлениями, в которых ссылка на свой жизненный опыт становится как бы гарантией художественной значительности и достоверности, причем заявления эти подчас звучат даже с некоторым вызовом:

Я знаю труд не понаслышке,
Не из кино про целину.
Учтите, что еще мальчишкой
В семье я старшим был в войну.

(В. Шкода).

Или:

Я мог надежно лошадь засупонить(!),
Метать стога, косить, пахать, плясать...
И вот сегодня
Есть о чем мне вспомнить,
И есть чем жить,
И есть о чем писать!

(Е. Фирсов).

Ну что ж: «учесть» эти декларации, конечно, надо. Но нельзя не заметить, что верная в целом-то мысль формулируется в них слишком прямолинейно (невольно приобретая нарочитость, не лишнюю комического оттенка). Поэт вправе гордиться своей трудовой биографией, но сделать ее достоянием стихов не так-то просто.

О трудности движения в этом направлении можно судить на примере сборника В. Кузнецова «Просека» (М., 1958). Автор жил в тайге, работал вместе с лесорубами, разделял их радости и невзгоды. Отсюда — темы многих стихов: молодой поэт стремится рассказать о «дремучей» красоте таежного края, о труде его суровых людей. Но в рассказе этом ощущается какая-то странная скованность: однообразен выбор сюжетов, чрезвычайно узок самый подход к теме.

Тайга наряжалась в обнову,
Чтобы встретить достойно сосну.
А Васья дал честное слово —
Без отдыха спилит сосну.

И все стихотворение строится на подробном описании пилки сосны («...все пилит и пилит, то вправо, то влево берет»), чтобы

благополучно завершиться финалом, о котором с самого начала нетрудно было догадаться: «Сосна-великанша покорно лежала у Васькиных ног». В другом случае повторяется довольно близкая ситуация: в стихах действует «Колька-электропилищик», он «пилой пудовой разделявал ствол сосновый», он же «колел для костра полено очень ловко и вдохновенно»; а в итоге авторская сентенция: «И я думал, шагая к дому: «По колено тайга такому»».

Давно замечено, что если многократно повторять «он бежит, он бежит, он бежит», то в конце концов создается впечатление топтания на месте. Нечто подобное происходит и в стихах В. Кузнецова, который сбивается на какое-то тавтологическое перечисление действий лесорубов: рубят лес, валят лес и т. д. В результате получается тот же бег на месте, то есть картина статичная, чисто бутафорская. Здесь вся беда в буквальности, в неумении вырваться из заколдованного круга: «лесоруб рубит», осветить эту рубку чем-то большим. И есть своя закономерность в неожиданных метаморфозах самого поэта, который от призывов — «надо сердце в звон пилы вложить!» — переходит (в стихотворении «Отъезд») к сентиментальным, «под Есенина», вздохам по поводу загубленных сосен:

Сосны,
сосны,
метельной зимой
Я губил вас электропилою.
Оттого-то зеленый покой
Не дает мне в дороге покоя.

В лирических излияниях, обращенных к «ней», улавливаются отголоски тех же настроений: «В тайгу уеду, буду лес пилить, дороги рыть, сколачивать настилы...» И когда после такого унылого самооговаривания встречаешь: «До чего ж невозможно этот край не любить», то бодрому заверению поэта верится что-то плохо.

Разноголосица постоянно приводит к неувязкам и самоопровержениям. О скольконибудь определенно очерченном характере, воплощенном в авторском «я», говорить, конечно, не приходится. Это «я» так же намечено внешне, как внешне взята и вся «таежная» тема. Поэтически поездка в «дремучий мир» не состоялась. И стоят вместо вековых деревьев какие-то условные колышки, по которым можно лишь догадываться, как все было «на самом деле».

Стихотворение Б. Шаховского «Жизни не хлебнувшим», во многом переключаясь с «Нашим временем» В. Гордейчева (и тоже написанное в форме разговора со сверстником), заканчивается следующими строками:

...Уложи и ты мешок походный —
Соберешь из жизни — не из книг
Самородки мудрости народной,
Окунешься в сказочный родник.

Настоящим воздухом подышишь,
Испытаешь тяготы труда.
Вот тогда и ты стихи напишешь,
Не напишешь, тоже не беда.

Лишь бы на грядущей переключке
Ты стоял, как воин, вровень всем.
Доброй биографии страничка
Нам нужней надуманных поэм.

Очевидные «перехлесты» возникают преимущественно от полемического задора, и заявления вроде: «...Не напишешь, тоже не беда» — не следует, конечно, принимать слишком всерьез. Нет, ни Б. Шаховский, ни другие его поэтические сверстники отнюдь не склонны считать свою работу каким-то пустячным, незначительным делом. Зато они не чужды, пожалуй, иллюзии, что виденное, пережитое само перейдет в стихи. Им, молодым поэтам, как бы невольно начинает казаться, что превратить страницы биографии в страницы поэтического сборника сравнительно легко: «хлебнув жизни», «окунувшись» (по выражению поэта) в ее «сказочный родник», как же не рассказать обо всем этом интересно, значительно? А на поверку сплошь и рядом обнаруживается, что в стихах это сказочное богатство мгновенно (тоже каким-то сказочным образом) исчезает и вместо «настоящего воздуха» — как, к примеру, в следующих стихах И. Григорьева — царит крайне разреженная атмосфера, в которой дышится с большим трудом, хотя автор (надо отдать ему должное) и сохраняет завидную бодрость:

За плечами лег путище:
Версты многие!
Только мы с тобой,
дружище,
Крепконогие.
Мы шагаем в ногу,
рядом,
В труд влюбленные,
Новой жизни
новым складом
Обновленные,

Когда читаешь такие ходульные строки (а они, к сожалению, встречаются нередко), хочется спросить поэта и его «крепконогого» героя: куда же вы так торопитесь, так стремительно-легковесно летите, не лучше ли будет начать все сначала и еще раз пройти эти «версты многие», но пройти тем неторопливым, «сторожким» шагом, каким ходят разведчики, следопыты?

В самом деле: не ради же простого начисления «километража» пускается столь энергично молодая поэзия по своим дальним маршрутам? Конечная цель, очевидно, другая: «обжить» эти пространства, прочно породниться с ними, как прочно вошли они в биографию поколения, стали ее неотъемлемой чертой.

Не случайно у ряда поэтов, направляющих свои усилия в эту сторону, речь заходит о новой встрече с жизнью, о необходимости многое понять и открыть заново. Этот характерный мотив звучит, например, в «северных» стихах В. Сергеева, который изображает такую «встречу», названную «долгожданной», но по смыслу скорее неожиданную: вопреки предположениям автора, Романтика явилась ему не в высоком ореоле, а сугубо земной, деловито озабоченной.

Важно уже само стремление найти свою тему, свое отношение к материалу. Так, в стихах того же В. Сергеева пейзаж и быт Севера становятся своеобразными «обстоятельствами места и времени», тесно связываясь с движением сюжета, с драматизмом ситуаций. Поэт не боится иногда говорить о своих героях немного со стороны:

...Надев малахай, иду налегке.
Но тут объяснить вам надо,
Что означает на их языке
«Пойти и проверить стадо».

Но «их язык» — это уже и «язык» автора, который все свое повествование строит на утверждении внутренней близости с мужественными людьми тундры.

Черты «местного колорита» могут быть, конечно, использованы по-разному, и не всегда упор делается на внешнюю образительность, на рассказ о нравах и людях любимого края. У Р. Казаковой, например, преобладают иные, собственно лирические устремления. Стихотворение «У Охотского мэря» очень прочно, казалось бы, прикреплено к «побережью», до предела насыщено «бытом». Но все эти за-

поминающиеся, нарочито неброские детали («Там окна в желтом целлофане почти до пояса в снегу...», «Там прямо на прибрежной гальке растет картошка, зреет лук...») подчинены более широкому плану, причем главным является не столько даже воссоздание сурового облика «артельного люда», сколько непосредственное раскрытие авторского «я».

Я знаю это побережье.
Мне выпала такая честь!

В общем контексте стихотворения эти заключительные строки приобретают большую емкость, значительность. Они являются, так сказать, итогом всей лирической темы.

Умения опереться на деталь в целом еще очень не хватает нашей молодой поэзии. Склонная вообще отмахиваться от конкретных «мелочей», она, имея эти «мелочи» под руками, нередко действует без необходимого художественного такта. К примеру, П. Руденко в поэме «Семья», рассказывая о неурядицах личной жизни, нет-нет да и сбивается почти на протокольное изложение событий. Вот один из отрывков поэмы:

Жене я мало помогал
И был всегда с ней строг,
Ее забот не понимал,
Желаний и тревог.
И лишь теперь я понял все,
Прочувствовал душой.
И я подумал за нее,
Что стал я ей чужой.
И стало мне еще больней,
И слезы щеки жгли.
Готов я был идти за ней
На самый край земли.
Мне говорили:— позабудь,
Мол, время лечит все.
Но ночью я не мог уснуть
Без сына, без нее.
Я знал, что письма не спасут,
И, не теряя дней,
Хотя и был я вызван в суд,
Поехал прямо к ней...

Этот рассказ вызывает, в сущности, сочувствие. И вместе с тем сообщаемые поэтом подробности, как, «не теряя дней», он поехал «прямо» к жене, «хотя и был вызван в суд», не вяжутся с драматическим тоном, заставляя невольно улыбнуться.

Пример этот лишний раз подчеркивает всю сложность использования наиболее близкого, «наличного» для молодых поэтов материала — собственной биографии. Ее

тоже нужно поэтически осваивать, а не механически переносить в стихи. Становясь фактом поэзии (а не только частной жизни автора), она должна приобрести известную общезначимость, более широкое нравственное содержание и, конечно же, более выразительную эстетическую форму. Только при этом условии стремление говорить от имени своего поколения будет оправданным, полноценным.

Между тем порою приходится сталкиваться с суждениями, в которых дело выглядит значительно проще. В этой связи нельзя не остановиться на статье П. Выходцева «Поэтическое поколение эпохи спутников», опубликованной в прошлом году в журнале «Молодая гвардия» (№ 7).

Название статьи звучит многообещающе. Если в нашей печати нередко раздаются жалобы, что писатели еще далеки от создания своих литературных «космических кораблей», что их перо явно не поспевает за бурными темпами времени, то П. Выходцев уже самым заголовком выражает более оптимистический взгляд. Соответственно один из выводов статьи гласит: «Таким образом, мы видим, что основной круг тем и вопросов, волнующих молодых поэтов, и, главное, направление их работы вселяют большую надежду на появление в недалеком будущем целой плеяды серьезных поэтов, которые сумеют продолжить и развить лучшие традиции классической и советской поэзии на новом этапе». Как же характеризуется сегодняшняя молодая поэзия и каков общий подход к ее явлениям? П. Выходцев считает нужным специально обосновать свою методологию, уделяя при этом особое внимание вопросу о формировании таланта. Созревание дарования, подчеркивает критик, обычно протекает длительно, тем более становится оно «трудным» и «затяжным» в наше время, «время повышенных требований». Поэтому — следует вывод — по отношению к поэтической молодежи «главным... является не столько разговор о талантах, как таковых, сколько о направлении развития этих талантов. Только при таком подходе можно найти более надежные критерии для определения творчества и будущего развития молодого поэта». Итак, не талант, а направление развития таланта... Эта диалектическая тонкость довольно двусмысленна. Конечно, в работе молодых поэтов часто необходимо учитывать черты намечающиеся

ся, находящиеся в процессе становления. Но если этот угол зрения сделать главным, то вместо обещанных «надежных критериев» мы неизбежно должны будем довольствоваться лишь догадками, приблизительными оценками, постоянно теряя грань между заявками (на которые так щедр «молодые») и действительными результатами. Хсчет того П. Выходцев или не хочет, но весь ход его рассуждений невольно оправдывает и узаконивает некий средний художественный уровень, вкус, и пафосом статьи становится своеобразный пафос «бесталанности».

Пагубные последствия намеченной программы ошутимо сказались в характеристике большой группы поэтов, связанных преимущественно с «периферией». Такое расширение круга имен, явлений можно было бы только приветствовать, если бы не одно странное обстоятельство: для того, чтобы придать, по-видимому, больший вес «иногородним», потребовалось ниспровергнуть обладателей «трех-четырёх столичных имен» (прямо называемых: А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Р. Рождественский, Б. Ахмадулина «да еще два-три имени»), так что, широко распахнув, казалось бы, двери перед самыми различными поэтическими явлениями, П. Выходцев сейчас же плотно притворяет одну из створок. Но эта полемическая односторонность — именно потому, что ее произвольный характер слишком уж очевиден, — еще полбеды. Хуже другое: и на примере выдвигаемой группы поэтов насущные вопросы поэтического развития остались незатронутыми. Следуя своей методологии, П. Выходцев ведет разговор в самом общем плане, делая преимущественный упор на комплименты. «Многие молодые поэты разносторонне и постоянно связаны с жизнью и деятельностью народных масс» — в таком тоне характеризуются «биографические данные» поэтов, о которых идет речь. То же качество легко обнаруживается и в стихах, хотя критик не обходится порой без заклинаний: «Кто же может сказать, что все эти стихи не актуальны, что они лишь перепевают традиционные темы! Это голоса наших современников, обеспокоенных серьезными жизненными вопросами, судьбами нашей Родины...» Понятно, что такие суммарные оценки мало что дают. Едва ли не главная беда молодой поэзии состоит в том, что общие, правильные предпосылки сплошь и

рядом не получают дальнейшей художественной реализации. И вот эту-то наиболее уязвимую сторону работы молодых поэтов, особенно ощутимую в их «массовой» продукции, как нарочно, игнорирует П. Выходцев. В результате нарисованная картина получилась столь же благополучной, как и далекой от реального положения вещей. Советы и рекомендации критика, связанные с сознательной ставкой на «средняка», никак не могут принести пользы; они, безусловно, должны быть отвергнуты.

И характерно: в статье не только сглажены серьезные грудности, с которыми постоянно сталкивается молодая поэзия, но и почти не раскрываются ее действительные удачи, завоевания. Стараясь в конце своего обзора выделить более интересных поэтов, П. Выходцев называет, на наш взгляд, явления разного уровня. Но дело в конце концов не в этом, а в том, что самый метод разговора «в общем и целом» не позволяет остановиться на индивидуальных поисках, хотя у ряда авторов, связанных с «периферией» (понятие, разумеется, очень условное), эти поиски достойны внимания — как своими сильными, так и слабыми сторонами.

Сошлемся на пример двух поэтов — А. Поперечного и В. Цыбина. Между ними немало общего, сходного. В первую очередь это — преклонение перед «земляной силой», своеобразное «почвенничество», которое предстает в трактовке обоих авторов как кровная связь с родным краем и отчим домом, с поэзией земледельческого труда и «казацкой вольницы».

Счастливым недугом нас жизнь одарила.
Храпят под уздой
Крепкогрудые кони.
Степная стихия, кондовая сила,
Тяжелые, словно подковы, ладони.

(А. Поперечный).

...ведь сердце,
как трава, корнями
навек связано с землей.

(В. Цыбин).

«Земля» как начало начал, «земля» как источник жизни становится здесь главным объектом поэтического воспевания, и все, что связано с землей, — труд, «пот и соль», запахи диких трав и посвист степных птиц, все тяжелое, плотное, природное, — становится постоянными «приметами» в стихах Цыбина и Поперечного. Но эта «призем-

ленность» не мешает им порою стремиться ввысь, создавать патетически-приподнятые, романтические образы, прославляя ратные подвиги прошлого — «и свист клинков, и трубный храп коней». Так, например, в «Песне отцов» Поперечного звучит клятва верности боевым традициям, которую автор произносит от имени двух поколений сразу — старшего и молодого:

Нет, руки у нас не ослабли,
Нет, есть еще сила в плечах.
И ноги, кривые как сабли,
Не дрогнут еще в стременах.

Нет, время еще не истерло
На старой ушанке звезду.
И песнь, полоскавшая горло
В двадцатом хорошем году.
Губами еще не забыта,
Она в наши судьбы вросла,
Тяжелая, словно копыто,
И звонкая, как удила.

В своих чувствах и устремлениях Поперечный и Цыбин не одиноки. Подобные мотивы можно встретить у многих молодых авторов. Но творчество названных поэтов интересно в том отношении, что здесь весьма отчетливо выявилась тенденция к созданию своей собственной эстетической «платформы», к выработке и закреплению в стихе каких-то устойчивых стиливых качеств, выражающих определенное мироощущение. Их «активность» не ограничивается декларациями, но переходит в образную ткань, достаточно плотно сплетенную и «просоленную», как та земля, о которой они пишут. Можно по-разному относиться к их вкусовым пристрастиям, но в чем нельзя отказать этим авторам, так это в последовательности, в «целенаправленности» вкуса и стиля, без чего, как известно, не может быть поэтической индивидуальности. Желая писать «по-своему», они пишут «густо», «грубо», нагнетая тяжести и запахи (у Поперечного — «Пахнет тело грузчика потом, пахнет морем соленым, рыбой...»), подчеркивая в человеке физическое начало, здоровье, плотскую силу (у Цыбина — «Парни девок при встрече глазами бодают...»), кровные, родовые евязи и признаки:

Из рода в род
Мы крыласты бровями,
Из рода в род
Клешневаты руками,
Скуласты и яры
Из рода в род.

(А. Поперечный).

Но здесь же их подстерегают и серьезные трудности. Во-первых, стремление к постоянству стиля нередко приводит и Цыбина и Поперечного к стиливому однообразию, когда «соль», «пот», «земля» и другие «черноземные» образы становятся штампом, хотя авторы еще только начали свой поэтический путь и им как будто рановато впадать в самоподражание. Но эти повторения связаны, по-видимому, и с другим обстоятельством — с узостью эстетической базы, с быстрой растратой того небольшого «запаса», который они взяли с собой в дорогу.

В широчайших понятиях «народ» и «Родина», которые Цыбин и Поперечный кладут во главу угла своего творчества, они склонны акцентировать порою лишь корень «род», то есть сравнительно узкие — родовые, кровные — связи, чем невольно ограничивают возможности своей лирики. Великие традиции прошлого, продолженные нашей современностью, сводятся в их стихах зачастую к тому, что «та же удаль, та же хватка и тот же хмель степных кровей из рода в род переходили...» (А. Поперечный). Или, как выражается Цыбин, излишне увлекаясь кавалерийской терминологией, —

...В чужую спину кинувшись конем,
Я стану, как и брат,
Рубить с потягом!

Гипертрофия одних и тех же устойчивых признаков, круг которых весьма невелик, приводит к тому, что иной раз «густые запахи», долженствующие, по мысли автора, передать специфику людей труда, способны скорее возбудить неприятное чувство:

У комбайнера руки грубые,
У комбайнера кипень-зубы,
У комбайнера норов крут.
И Марьины медвяны губы
Бензиновых не избегут.

(А. Поперечный).

И дело совсем не в том, что бензин «непоэтичен», а в том, что в данном случае он поэтически не мотивирован и потому назойлив и неуместен. Когда молодой поэт В. Сидоров, который, кстати сказать, некоторыми мотивами близок Цыбину и Поперечному, снижает представление о «поэтичной» весне —

Весна поначалу
Пахнет бензином.
Вонючим мазутом,
Горелую паклей,—

его грубые строки не оскорбляют, потому что в этом стихотворении они мотивированы — рабочей порою, человеческой заботой о спасении весенних всходов от ночных заморозков, — и всей картине, таким образом, возвращена утраченная, казалось бы, поэтичность. Но бывает и так, что временами у некоторых молодых авторов черты «трудо-вой эстетики» получают столь одностороннее преувеличенное развитие, что вводятся к месту и не к месту. Почетен и прекрасен трудовой пот, но вряд ли следовало Цыбину изображать спящую девушку, чью красоту и поэтичность он всячески превозносит, в таком непривлекательном виде:

Тебе семнадцать лет всего-то...
И месяц тек,
и волос тек,
рябой от золота и пота,
на теплый девичий висок.

А спустя три строфы, рассказывая о мечтах героини, поэт вновь пускает в ход свой излюбленный прием:

Пусть отопрет твои ворота,
и, не стучась, к тебе зайдет,
и запах табака и пота,
мужского, крепкого чего-то
с собою вместе принесет.

Может быть, автору кажется, что он идет здесь от жизни, от «земли», но нам сдается, что тут «чего-то» попахивает литературщиной, то есть довольно шаблонными представлениями, что «трудо-вой люд» должен при всех обстоятельствах непременно потеть и пахнуть чем-нибудь «ядренным». Не являются ли подобные представления невольным сужением и упрощением проблемы народности, которую стремятся решать в своих стихах многие молодые поэты, но не всегда делают это с достаточным вкусом и тактом?

Мы видим, таким образом, что задача освоения современного жизненного материала и создания на этой основе полноценных поэтических произведений очень сложна, «разветвлена» и требует напряженных усилий во многих направлениях. Мало заявить о своей готовности к выполнению этой задачи. Мало найти свой собственный, заработанный «хребтом» материал, избрать свою тему и выработать свою «манеру». Мир, созданный поэтом, должен жить и развиваться, с тем чтобы охватывать действительность возможно полнее и глубже, энергично преодолевая всякое сопротивление,

даже если оно исходит от собственных вкусов и эстетических привязанностей автора, которые нуждаются в постоянной проверке, расширении и обновлении.

3

В последнее время очень много пишут пейзажных стихов. Вряд ли самый этот факт свидетельствует о каком-то отливе поэтических сил от актуальных вопросов времени, о снижении поэтической активности. Увлечение природой чаще всего говорит о другом — о развитии лирической поэзии, ищущей более личного угла зрения на действительность, которая в данном случае предстает в очень конкретных, непосредственно видимых чертах и окрашена обычно интимной, идущей от самого сердца авторской интонацией. Формы интимной лирики, получившие теперь большое распространение в нашей поэзии, оказываются, таким образом, одним из средств выражения личного «я» поэта, одним из путей индивидуального постижения жизни.

При этом интимность, камерность самого жанра отнюдь не является препятствием для вовлечения в его круг мыслей и чувств большого нравственного и философского плана. Такая камерность не сужает кругозора поэта, но подчеркивает лишь неповторимость, своеобразие его взгляда, бросаемого на окружающий мир, который, не переставая быть всеобщим достоянием, приобретает яркий отпечаток внутреннего опыта личности. Сошлемся на стихотворение Д. Самойлова, которое самым сюжетом как бы говорит о громадности мира, вмещаемого в один мгновенный взгляд человека, и может служить примером содержательной и при всем том сугубо интимной лирики:

И так бывает — в день дождливый,
Когда все серо и темно,
Просветом синевы счастливой
Средь туч откроется окно.

И мгла расходитя кругами
От восходящих сивознижков,
Над низовыми облаками —
Паренье верхних облаков.

Но вот уже через мгновенье
Сомкнулся дождевой навес,
И скрылось легкое строенье
Тысячеярусных небес.

Пейзаж, пропущенный сквозь призму индивидуального сознания, способен нести

очень разные эмоционально-смысловые оттенки. В частности, через пейзаж открывается нам доброта и чистота души человека, желающего жить в ладу с природой. И очень хорошо, что в нашем юном поколении обнаруживаются эти черты, свидетельствующие о душевном здоровье, свежести, непосредственности, об отсутствии узкого, аскетически-доктринерского взгляда на жизнь, который нередко давал о себе знать в прошлом и сказывался в пренебрежительном отношении к природным «красотам» как к чему-то мелкому, второстепенному, не заслуживающему нашего внимания и уважения. Хочется в этой связи привести строки из стихотворения Д. Сухарева, опубликованного в прошлом году в «Юности». Оно рисует юную душу в привлекательном свете мира и дружбы с природой, в радостном изумлении перед нею, которое передано наивным, детским, «захлебывающимся» строем речи, но по существу — то есть по качеству — совсем не детским стихом:

Мне бы плыть на медленной байдарке
По рассветной розовой воде,
Чтобы всюду были мне подарки,
Чтобы ждали праздники везде,
Чтобы птицы ранние свистали,—
Это ведь не я их разбудил.
Чтобы ветки мокрые свисали,
Чтобы я лицом их разводил.
Позабудут выдры свои норы,
Вылезут ко мне среди бела дня.
Сто кувшинок хлынут в мои ноздри,
Сто пушинок сядут на меня...

Однако природа не всегда столь благожелательна к нашей молодой поэзии. Нередко исключительное пристрастие к пейзажу указывает не на стремление автора прояснить и выявить свою лирическую индивидуальность, а на отсутствие таковой. Пейзаж оказывается тем легким жанром, в котором многие авторы, желая быть «поэтичными», занимаются описательством различных природных явлений, находящихся перед глазами у каждого и не требующих особых затрат на свой рифмованный пересказ. Известно, например, что земля регулярно испытывает смену времен года. И вот стихи по этому поводу тоже приходят в некоторое круговращение, однообразно утверждая, что за зимой наступает весна, а за весной — лето и т. д. В результате вечная тема мировой лирики превращается в регистрацию погоды, слегка приправленную слащавыми эмоциями и поэтическими банальностями.

Солнце летнее в зените
Улыбнулось широко:
Колокольчики, звените,
До зимы недалеко.

(В. Шошин).

Навстречу солнцу
Вытянулись почки,
Березовые почки у реки,
И маленькие, клейкие листочки
Теперь уже совсем недалеко.

(И. Гребцов).

Иногда подобные стихи могут быть «маркой выше», то есть написаны более умело, «культурно». Но все это лишь видимость поэзии. Ибо и тогда не оставляет чувство, которое исчерпывается вопросом: «Ну и что?» Такой вопрос хочется задать при прочтении некоторых стихов Н. Савостина из книги «Майский снег», написанных на ином уровне, чем приведенные выше строки, но в общем родственных им — своей бессодержательностью. Приведем полностью — это не трудно! — стихотворение Н. Савостина «Март»:

Мешаясь с солнцем, снег идет все дни —
То вдруг припустит, то посыплет тише.
Смеется солнце. Крики ребятни.
Веселый гомон воробьев под крышей.

Ну и что? Что хотел этим сказать автор? Да ничего — только то, что вот в марте месяце снег идет, а солнце светит и воробьи чирикают.

Порою эти описания природы разнообразятся сентенциями типа:

Одинок только тот, кто живет для себя...
или:

Все, что имеем, своими руками
Соорудил на земле человек,—

которые тоже поэтически бессодержательны, потому что нельзя же с серьезным видом изрекать прописные истины. Поэту угрожает мнимое глубокомыслие, которое не менее опасно, чем мнимая поэтичность. Оно состоит в том, что «философия» не вытекает органично из какого-то лирического характера (такого характера здесь по существу нет), а изыскивается автором путем холодного умствования (попросту говоря, высасывается из пальца) и оформляется в стихи для раздела «Четверостишия»:

Как беднее я день ото дня —
С каждым днем меньше дней у меня.
Только нет, не в убытке я все же:
Чем их меньше, тем каждый дороже.

С огорчением приходится наблюдать, как в последнее время в нашей поэзии распространяется мода на такие «четверостишия», на различного рода миниатюры, безделки, экспромты, альбомные стишки, помещаемые обыкновенно в специальный раздел книги под каким-нибудь «красивым» названием: «Тюльпаны», «Гравюры», «Лирические мелодии» и т. д. Подобный жанр, конечно, имеет право на существование. Но вся беда в том, что его усердные приверженцы зачастую полагают, что коротенькие стихи писать легче, чем длинные, и достаточно сочинить четверостишие на какой-нибудь подходящий случай, чтобы было уже готово целое произведение, достойное занять в сборнике отдельную страницу. Наряду с этим существует представление, что «лирика» должна быть «маленькой», «изящной» и «слабой». И вот жанр, сам по себе ни в чем не повинный, становится проводником легких взглядов на трудное дело поэзии, мешанских вкусов, манерничанья, мелкотемья и рифмоплетства.

Нередко поэт, работающий над актуальными и даже героическими темами, считает возможным «для отдыха и развлечения» писать стихи, которые, может быть, были бы уместны в частном письме или в домашнем альбоме, но уж во всяком случае не должны идти в печать. Публикация их — излишняя роскошь не только потому, что это слабые стихи, но и потому, что тот самый автор, который, стоя в героической позиции, ни себе самому, ни кому другому ничего такого не позволит, в альбомном стиле позволяет себе «разгуляться» и, случается, пишет пошлости вроде, например, стихотворения «Влюбленность», каковое мы и цитируем:

Все сердце иссуши отравой,
Но появишься хотя б на час!..
Когда встречаю
взгляд лукавый
всегда зовущих в а ш и х глаз,
когда гляжу
на стан в а ш гибкий,
который тронуть не могли,—
я за манящею улыбкой,
за дробным топотом ноги (!),
за откровенной,
сокровенной
готов недели и года
идти
хотя б на край вселенной,
лишь только б видеть вас
всегда,

Автор этого стихотворения, поэт Василий Журавлев, уже не так молод и выпустил несколько книг, которые в последние годы привлекли внимание к этому новому имени. Но мы считаем возможным подробно остановиться лишь на альбомной лирике его последнего сборника «Любовь и Время», выпущенного в 1960 году издательством «Молодая гвардия», потому что здесь, нам кажется, очень отчетливо видна та опасность, которая грозит и некоторым начинающим авторам, а в книге Журавлева приобретает уже характер бедствия. Именно тут «камерность» предстает в наихудшей разновидности — самодовольного воспевания своего личного быта, которое имеет сугубо частный, домашний интерес и не может быть достоянием поэзии, рассчитанной всегда на какой-то контакт и взаимодействие с читателем. А кому, кроме жены, могут быть интересны сообщения, уведомляющие, скажем, о здоровье автора или о его намерении отпраздновать новоселье и имеющие вид самостоятельных литературных произведений? Цитируем полностью два стихотворения Журавлева:

ВОЛНА

В пучину чистую маня,
теплом лаская,
давай окатывай меня,
волна морская.

Просаливай глаза и рот,
ломай надбровья.
Хочу в запас на целый год
набрать здоровья.

НОВОСЕЛЬЕ

Когда-то здесь погуливал Ермак,
а вот сегодня и у нас веселье.
Давай-ка изготовим бешбармак
да соберем друзей на новоселье!

Тот же характер уведомления, вся глубина которого исчерпывается констатацией какого-нибудь маловажного факта, носит зачастую и пейзажная лирика Журавлева. При этом, словно стремясь восполнить пустоту содержания, автор прибегает к различным «украшениям» и формальным «изыскам», по вине которых многие его стихи звучат неестественно, манерно, покрываются налетом дешевого эстетизма. Природа в результате навязанной ей «художественной образности» не оживает, а начинает жеманничать и ломаться, и только удивляешься, где подобрал автор все эти

аналоги, чтобы так рассказать о красоте Сибири:

СОСНА

Синева стоит ясна,
тайга ясна.
На припеках
вдруг проклюнулась весна.
И, потягиваясь,
хрустная со сна,
как бы разминается сосна.

И она, сосна,
желая с солнцем встреч,
Енисея
слыша пламенную речь,
сбрасывает,
не боясь красоты обжечь,
шубку горностаевую с плеч.

В своем стремлении «говорить красиво» Журавлев часто опирается на литературные источники. Здесь нетрудно встретить и есенинскую березку, что, «подобрав юбочку», «воду пробует ногой», и звезды Багрицкого, «размером, может, каждая с кулак», и даже картину, выполненную под раннего Брюсова:

Насупились в окне
тоскующие тёрны...

Идет луна ко мне
тропинкою нагорной.

И тёрны на стене
рисует тушью черной.

Литературные параллели и заимствования, а главное, самый тон его миниатюр, написанных в претенциозно «изысканной» манере, нередко в стиле «модерн», создают впечатление, что лирика Журавлева во многом «вычитана», придумана, а не подсказана жизнью. Вот почему терпят поражение попытки автора, не меняя основной тональности этой лирики, увязать ее с современностью путем называния каких-то внешних примет нашей действительности. Сочетание мешански-романсовой или элегически-созерцательной интонации с насильственно включенными сюда «детальными эпохи» порождает безвкусные стилевые смешения, а иногда ведет к пародийному эффекту — настолько не связан с контекстом этот «ход в сторону»:

НОЧЬ

Ночь влажная такая...
Волна... Опять волна...
И струйками стекает
с бульдозера луна...

ВЕЧЕРНИЕ ОГНИ

Огни вечерние горят.
 Два кипариса смотрят в море.
 Под ними волны говорят.
 Огни вечерние горят.
 И пограничников наряд
 проходит в боевом дозоре.
 Огни вечерние горят.
 Два кипариса смотрят в море.

Когда-то поэты Пролеткульта, пытаясь влить «новое вино в старые мехи», пользовались штампами декадентской поэтики, в результате чего возникали комические сочетания вроде: «обрученные мускульным краном, героической сагой станков... мы пылаем с тобой у горна...». Подобная эклектика в значительной мере объяснялась «неведением» авторов, их слабой культурной и поэтической подготовленностью, которая не выдерживала натиска чуждой эстетики. Но «бульдозер» в лунном струении и «пограничники» у кипарисов — это уже нечто другое. Мы сталкиваемся с попыткой под видом современности, понимаемой сугубо формально (ибо и «пограничники» и «бульдозер» — лишь форма, а не содержание этих стихов), узаконить в нашей поэзии салонно-мещанские «видики», которые отошли в невозвратное прошлое, но еще встречаются иногда на поздравительных открытках и расписных фотографиях, распространяемых «любителями изящного». Но там, на открытках, по крайней мере «все ясно» — и волны, и луна, и кипарисы не претендуют на «стиль эпохи». Здесь же, в миниатюре, дает себя знать противоестественная по своему сочетанию тенденция — выработать некий смешанный, «эстетско-современный» стиль и украсить им нашу литературу.

Мы не хотели бы, чтобы эта критика альбомных стихов была воспринята как отрицание малых форм вообще, интимной лирики как таковой. Все дело, по-видимому, в том, что размеры стихотворения и характер интонации (в камерной лирике — всегда несколько приглушенной) еще не дают основания мельчить и принижать само содержание поэзии. Напротив, в этих условиях содержательное значение различного рода «мелочей» возрастает, и смысловая емкость стиха увеличивается по мере его «сжатия». Простая же констатация факта, пейзажа, настроения, хотя бы и приправленная эпитетами и метафорами, не способна одушевить стихи, будь они малень-

кими или большими. У стихов не должно быть видно «дна», даже если они написаны «на случай», по какому-то частному поводу, а это возможно только в тех условиях, когда за ними стоит характер, душа, чувство, обладающие достаточной глубиной.

Развитие современной лирики дает много примеров, позволяющих говорить о широких возможностях камерных жанров, интимной интонации. При этом происходит неизбежное в подлинной поэзии — стирание граней между «большим» и «малым». «Малое» зачастую оказывается весьма действенным средством в передаче каких-то существенных сторон жизни, вплоть до самых общих идей гражданского и всечеловеческого содержания.

И в пределах интимной лирики в собственном смысле этого слова, не выходящей за рамки каких-то личных, скажем, любовных переживаний, нужна своя — нравственная и психологическая — значительность, глубина, атмосфера, без которой стихи превратятся в протокольное сообщение о случившемся — «полюбил», «разлюбил» — и потеряют право на поэтическое (а не только бытовое) существование. Такую насыщенность лирических «мелочей» жизненным содержанием дает почувствовать, например, Б. Ахмадулина в стихах на традиционную тему «разрыва»:

А ты проходишь по перрону,
 закрыв лицо воротником,
 и тлеющую папиросу
 в снегу кончаешь каблуком.

Драматизм ситуации, горечь и боль утраты скорее угадываются, чем называются прямо в этой маленькой сценке. Но именно в силу того, что все эти точные, безжалостные детали содержат нечто большее, чем в них непосредственно сказано, эта сцена приобретает объем, «трехмерное измерение» — не только в пространственном, зрительном, но и в психологическом отношении. За тлеющей в снегу папиросой, которую «он» кончает каблуком, встает душа человека, переживающего глубокую драму, и частный, «мелкий» биографический эпизод превращается в событие, тему, предмет лирического искусства.

Последнее время в нашей поэзии заметно отталкивание от чересчур прямолинейных, «лобовых», декларативных стихов, которые мало уже кого устраивают. В связи с этим намечается тенденция в решении каких-то общих тем найти неизбитый путь — не в

обход темы, а в более индивидуальный, личный к ней «заход», позволяющий поэту приблизиться вплотную к тому, о чем он рассказывает, и без нажима, естественно, просто самому «перейти» в стих.

При этом большую и хорошую помощь оказывает в ряде случаев интимная лирика, исполненная интонации крайнего доверия, непосредственно передоверяющая себя читателю. Она требует, однако, от поэта не только откровенности, но душевной тонкости и чуткости, ибо в таком контакте ведь и читатель слушает стихи с открытой душой и бывает оскорблен малейшей фальшивой нотой. Поэтому «интимность» этой лирики совсем не состоит в «выбалтывании» себя, в беспардонном «откровенничанье», в навязывании слушателю своих «тайн» и «секретов». Искусство поэтической исповеди (которую нельзя понимать буквально) предполагает внутреннюю сдержанность, целомудрие, чистоту помыслов, интонацию естественной, а не аффектированной правдивости. Порою умолчание здесь бывает более необходимо, чем договаривание «до конца», а умная ирония позволяет снять излишнюю сентиментальность.

Интересные образцы такой лирики, богатой полутонами, оттенками, модуляциями, дает нам книга стихов Б. Окуджавы «Острова», выпущенная в 1959 году издательством «Советский писатель». Работая в обыденно-разговорной или обыденно-распевочной интонации, Окуджава очень чутко к интонационному звучанию не только строфы или строки, но отдельного слова, которое в его стихах как бы перенимает тембр и теплоту произносящего это слово голоса и — в силу такого подчеркнутого произнесения — наполняется широким, хотя и не высказанным до конца, подразумеваемым значением. Не случайно ряд его стихотворений посвящен словам, точнее сказать — тому, как эти слова произносятся и какое содержание в них вкладывается. Уже стихотворение, открывающее сборник, вводит нас в мир сокровенных, интимных чувств, проявляющихся, однако, в самых простых, обиходных словах и отношениях между первыми встречными, незнакомыми людьми.

И бывало:

огонек сквозь ставни,
молчаливое напутствие

чьего-то лица.

«До свиданья, хозяйна»...

И идешь, странник,

и нет твоей дороге

конца.

А с тобою за калитку тянется,
за околицу —

далеко-далеко —

женское распевное

«до свиданьица»,

теплое,

как паргос молоко.

...Все пройдет, а оно останется,
все утихнет, а оно —

нет...

«До свиданьица,

до свиданьица» —

до конца твоих лет

вослед.

Это стихотворение может служить ключом к лирике Окуджавы. Она проникнута добротой и нежностью к людям, но состоит из мелочей, прозаизмов и полупризнаний. Зачастую автор делает вид, что в его стихах речь идет о самых обыденных и пустяковых вещах. Он предпочитает казаться даже немного смешным, чтобы не быть ходульным и выпрепным, и часто ведет разговор как бы не о самом главном, а о случайном, второстепенном («А я жевал такие сухари! Они хрустели на зубах, хрустели... А мы шинели рваные расстелем — и ну жевать. Такие сухари!»), проговариваясь о главном словно невзначай, ненароком («А пули? Пули были. Били часто. Да что о них рассказывать, — война») или вообще умалчивая и предоставляя нам самим обо всем догадываться.

Лирике Окуджавы не чужда героика и романтика. Но его романтические стихи также лишены слишком явных примет. В «Сентиментальном романсе», где уже само название несколько приглушает патетически-приподнятый строй чувств и речи поэта, он не заявляет в полный голос о верности делу революции, но тихо и застенчиво передает нам свое гражданское «самочувствие». Однако его слова обладают достаточной действенной силой, ибо говорят о самом личном, о самом заветном, что навсегда скрыто в сердце:

Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься
не удастся,
какое новое сраженье ни покачнуло б
шар земной,
я все равно паду на той, на той далекой,
на Гражданской,
и комиссары в пыльных шлемах
склонятся молча надо мной.

Хотя стихи Окуджавы ясны и просты по языку, по форме, сложна та гамма психоло-

гических и интонационных оттенков, рефлексов, которые они отбрасывают, тонок и не всегда заметен тот авторский «лиризм», который ими управляет и проявляется в самых будничных речениях и оборотах, в словах, одновременно интимных и расхожих, общеупотребительных. Но само совпадение интимности и повсеместности, задушевного и прозаически-ходового сообщает стихам Окуджавы очень заметную, сгущенную атмосферу человеческой солидарности, теплоты, взаимопонимания. Вот почему не всегда уловимый в ходе своей прихотливой, движущейся, меняющейся интонации, Окуджава вполне внятен в общей настроенности, в основном звучании своих стихов. Обратимся для примера к стихотворению «Весна на Пресне», построенному на весьма, казалось бы, незначительной фактической «основе»: поэта обдала водой автомашина, но он не сердится на шофера... Однако этот маловажный случай, конечно, лишь повод к лирическому рассказу, темой которого становится целый мир, по-весеннему обновленный, по-добревший и сделавшийся в один миг таким прекрасным.

У Краснопресненской заставы
весна погуливала власть.

Она врасплох меня застала,
водой под шинами зажглась,
шофер смеялся, зубы скалил,
гражданка в хохоте зашлась.

А я в глаза: он добрый, добрый,
шофер. Апрельская езда.
И мне не жалко мокрый бобрик,
я капель стряхивать не стал.

А москвичи садились к чаю,
сердца апрелю отворив.
Так здравствуй, день, когда прощают
шаги неверные твои.

Когда полегчало кому-то
ну просто так, ни от чего,
когда старье — на дне комода
и все забыли про него.

Так здравствуй, день! Он петь заставил.
Он — словно лебедь с высоты...
У Краснопресненской заставы
дарили женщинам цветы.

Стихотворение это весьма разнообразно по смысловым оттенкам, превращениям, переходам — от злобы к добру, от луж к небу, от потешающейся «гражданки» к прекрасным женщинам... Но главное здесь все же идея содружества и братства людей, благодаря которому возглас «он добрый, добрый»

уже относится не к шоферу и не к поэту, а к самому миру, освободившемуся от обид, полегчавшему и посветлевшему. Что это — картина весны? Передача своего собственного радостного настроения? Мысль о нравственном обновлении жизни, когда люди умеют прощать и доверять друг другу? Повидимому, и то, и другое, и третье... Стихотворение многозначно по содержанию и вместе с тем конкретно благодаря присутствию человека — немного забавного и трогательного в своем «бобрике» и неотделимого от всей этой весенней атмосферы, пронизанной доверием, теплом и добрым солнечным светом.

* * *

В самохарактеристиках своего творчества, к которым охотно прибегают молодые поэты, наряду со слишком «смелыми» заявлениями нередко звучат иные мотивы, отражившиеся, например, в стихотворении Л. Темина «Верьте, пожалуйста, верьте в меня». Оно заканчивается следующим обращением к читателю:

Весь я в истоке,
В начале пока:
Все мои строки —
Еще не Строка,
Все мои правды —
Лишь подступы к Правде
(Даже сегодня
Мне в них уже тесно)...

Верьте —
Я только начнусь еще завтра!
Так из напева
Рождается песня.

Эти просьбы о доверии располагают, вызывают ответный отклик: мы всегда готовы многое простить молодому поэту, если чувствуем, что «из напева» действительно начинается «рождаться песня», что кое-что уже уловлено, уже сказано. Но если признание «Я только начнусь еще завтра» приобретает буквальный смысл, если стихи никак не волнуют, оставляют равнодушными, то и готовность верить, надеяться сменяется обычно другими эмоциями: разочарованием, тем же равнодушием или деловым «подождем до завтра...». В конце концов молодая поэзия не может жить только в кредит, ей необходимо доказать свою «платежеспособность» сейчас, сегодня. Она и старается делать это, порой весьма успешно, хотя общая «задолженность» налицо:

слишком многое лишь названо, указано, занесено в почетный список поэтических тем, но не переведено на язык поэзии.

В порядке объяснения этих наиболее уязвимых сторон работы молодых поэтов часто указывают на слабую технику, недостаточную поэтическую квалификацию. Но хотя потребность в повышении стиховой (да и не только стиховой) культуры достаточно очевидна, все же одной технической учебы оказывается мало. Когда, присматриваясь к молодой поэзии, стараешься понять ее главные беды и пути их преодоления, хочется оперировать понятиями более широкими: такими, как глубина мысли и содержания, определенность лирического характера, органичность темы, единство и широта поэтического мира.

Иногда говорят — «проходные стихи». Бывают стихи хорошие, бывают слабые, беспомощные. А еще — стихи проходные: в них и тема как будто бы намечена, и по форме они говорят о литературной грамотности, но чего-то — самого главного — в них не хватает. Вот здесь-то мы и сталкиваемся с этим более широким планом, с отсутствием признаков индивидуального взгляда на мир, творческого отношения к жизни и — соответственно — с отсутствием конкретных, неповторимых черт действительности, которая лишь названа, обозначена, но не раскрыта: стихи «проходят» мимо нее.

Конечно, у каждого поэта бывают неудавшиеся стихи. И все же мы отчетливо ощущаем разницу, где это лишь отдельные неудачи, не разрушающие нашего представления о творческой самобытности автора и его целостном мировосприятии, а где некая средняя норма, свидетельствующая (порою несмотря на отдельные удачи), что автор просто фиксирует свои переживания, но не способен перевести их в сферу искусства. В этом смысле создание стихов — в принципе — требует напряжения всех душевных сил, помыслов, той отдачи себя, которую и подразумевают в метафоре о творческом горении.

Один из молодых поэтов, Л. Завальнюк, пишет о «рождении стиха»:

Вот так
Вдруг,
Как приступ удушья,
Однажды приходит его черед.
И я отдаю ему свою душу,
И он эту душу
Себе берет.

Все, что прожито,
Все, что нажито,
Все, что выстрадал и что берег,
С этой минуты
Становится нашим.
И он тепло моей крови берет.

А потом его голос нальется медью,
И, судорогу ритма
Пропустив по складам,
Он потребует больше,
Чем я имею,
И я свое завтра
Ему отдам...

Такого рода декларации становятся определенным «знаменем времени». В сегодняшней поэзии ошутима потребность в более углубленном вторжении в жизнь, на основе чего и развивается лирическое самосознание многих авторов, делаются попытки подтвердить поэзию своей биографией, всем, «что прожито» и «что нажито», отыскать свой собственный угол зрения на действительность. Мы видели, что эти поиски идут в разных направлениях и порою дают положительные результаты. Однако стихи «молодых» в большинстве случаев еще не выдерживают проверки по большому «счету», не становятся явлением настоящей поэзии в полном и высоком значении этого слова. Чаще — даже в своих успехах — поэты находятся еще в стадии начинаний, первых опытов, ученичества. И хотя в сегодняшней поэзии молодых заметно оживление и ее творческая активность повысилась, надо приложить еще немало усилий, чтобы эта поэзия дошла до большого читателя, освободилась от описательности и подражательства, чтобы стихи действительно были активны, наполнялись «теплом крови», передавали напряженное биение времени.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Г. Бялый. Чеховский том.— Юлия Канэ. Новая книга Янки Брыля.— Е. Старикова. В пятнадцать лет.— А. Богуславский. «Немой свидетель».— Татьяна Бачелис. Париж плачет, Париж смеется...— В. Ансенов. Разговоры в сочельник.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Бельская. Восток, разбуженный к новой жизни.— М. Ильин. Рожденные Великим Октябрем.— Б. Яновлев. Летопись революции.— Л. Сухаревский, доктор медицинских наук. Наш современник в науке.— В. Владимиров. Бонн — угроза миру.— И. Халифман. Первоучитель русских пчеловодов.

Литература и искусство

ЧЕХОВСКИЙ ТОМ

Литературное наследство, том 68 («Чехов»). Издательство Академии наук СССР. М. 1960. 969 стр.

Новый том «Литературного наследства» — большое событие в литературе о Чехове и превосходный подарок к чеховскому юбилею, недавно отмеченному во всех странах мира. После поисков новых фактов и материалов, поисков, которые начались сразу после смерти Чехова и не прекращались до последних лет, после публикаций М. П. Чеховой, С. Балухатого и других знатоков чеховского наследия, казалось бы, ничего существенно нового о Чехове ожидать было невозможно. Между тем редакция «Литературного наследства» обнаружила множество новых материалов о Чехове, мимо которых теперь не пройдет никто. Почти девяносто печатных листов нового чеховского материала — это такое ценное приобретение, которое внесет оживление в изучение жизни и творчества Чехова и, быть может, поднимет это изучение на более высокую ступень.

Том открывается разделом «Неизвестные произведения и рукописи Чехова». Здесь прежде всего обращает на себя внимание превосходная работа А. Владимирской «Две ранние редакции пьесы «Три сестры»». Эти редакции, обнаруженные исследова-

тельницей в архиве МХАТа, позволяющие восстановить работу Чехова над прославленной пьесой во всей полноте и дают важные данные для установления окончательного текста пьесы. Материал творческой истории «Трех сестер» полон глубокого интереса. Чеховские поиски художественной выразительности, работа над словом, репликой, образом бросают подчас новый свет на давно знакомые, привычные фигуры и эпизоды. Оказывается, Чехов не сразу пришел к такой характерной черте Соленого, как его гордая претензия походить на Лермонтова. Чехов нашел эту черту только в белой рукописи, но и там еще раздумывал, как выразить ее. В одной из отмененных реплик Соленый говорил о себе: «Я не Соленый, а Мятажный в сущности...» В финальном монологе Маши Чехов кое-что опустил по просьбе О. Книппер, которой этот монолог казался трудным для исполнения. Из последнего монолога Маши были исключены трогательные и наивные слова, завершавшие тему перелетных птиц, которая сопровождала образ этой героини на протяжении всей пьесы: «Над нами перелетные птицы, летят они каждую весну и

осень, уже тысячи лет, и не знают зачем, но летят и будут лететь еще долго, долго, много тысяч лет — пока наконец бог не откроет им тайны». В публикациях этого тома много таких черточек и деталей, которые приковывают к себе внимание и заставляют думать о принципах чеховского искусства, о секретах его мастерства, до сих пор не разгаданных. Я привел два примера, выбрав их почти наугад, чтобы дать представление о тех маленьких жемчужинах, которые разбросаны по всему тому.

Беловая рукопись рассказа «Невеста» (статья и публикация Е. Коншиной) также принадлежит к числу важных находок. Она восстанавливает недостающее звено в творческой истории последнего рассказа Чехова (между черновой рукописью и гранками). Как известно, рукописи Чехова дошли до нас лишь в очень небольшом количестве, и каждое новое приобретение в этой области имеет большое значение. Читатель найдет здесь также беловые рукописи пьесы «Юбилей» и рассказа «Попрыгунья» (первоначальное заглавие «Великий человек»), страницу из черновой рукописи «Дамы с собачкой» (из собрания И. Бунина) и автограф добавлений ко второму акту «Вишневого сада».

К этому же разделу относятся и некоторые находки в области раннего юмористического творчества Чехова, хотя и уступающие по своему значению только что упомянутым рукописным материалам, но также не лишённые биографического и творческого интереса.

Более ста страниц занимают новонайденные и несобранные письма Чехова. Задача этого раздела — дополнить двадцатитомное полное собрание сочинений и писем Чехова. Трудно было предполагать, что к этому наиболее полному собранию можно еще что-то добавить. Однако составители тома разыскали около ста пятидесяти новых писем, в значительной части публикуемых впервые, в иных случаях затерянных в малодоступных изданиях. Теперь, с выходом чеховского тома «Литературного наследства», читатель получает действительно полный свод эпистолярных текстов Чехова.

Значительную часть тома занимают письма к Чехову таких замечательных его корреспондентов, как Куприн, Бунин, Плещеев, Мейерхольд. Письма Плещеева к Чехову воссоздают картину напряженной борьбы внутри «Северного вестника», в

котором сотрудничал Чехов. Письма Куприна и Бунина дают новый материал для выяснения личных и творческих взаимоотношений между Чеховым и его крупными современниками, к творчеству которых Чехов всегда относился с глубоким и сердечным интересом. В виде цельной тематической сводки даны письма к Чехову разных лиц, касающиеся студенческого движения 1899—1902 годов. Посвященная этому любознательному и важному вопросу статья А. Дубовикова удачно обобщает данные переписки, показывая, как много знал Чехов о студенческих волнениях, как пристально следил за ними и какое значение имели эти сведения для оживления общественно-политических интересов Чехова в начале двадцатого века.

Следующий раздел тома посвящен откликам и отзывам о Чехове в неизданных дневниках современников. Это ценнейший материал, проливающий новый свет на личность писателя, на его творчество и на историю восприятия чеховских произведений в литературных кругах. Это непосредственные отклики, отражающие иной раз недоумение перед свежестью и новизной чеховской манеры, иной раз восхищение этой новизной, иной раз неумение или нежелание признать новаторский характер чеховского реализма.

Нам даже трудно сейчас представить себе, до чего доходило непонимание Чехова. Н. Лейкин, знавший Чехова с первых шагов его деятельности и гордившийся тем, что «открыл» его, занес в свой дневник такие строки по поводу «Дамы с собачкой»: «Небольшой этот рассказ, по-моему, совсем слаб. Чеховского в нем нет ничего... Рассказывается, как один пожилой уже приезжий москвич-ловелас захороводил молоденькую, недавно только вышедшую замуж женщину, и которая отдалась ему совершенно без борьбы. Легкость ялтинских нравов он хотел показать, что ли?» Но настоящий рекорд в этом смысле побил директор императорских театров В. Теляковский, которого в совершенное исступление привела пьеса «Дядя Ваня» — и ее стилистика, и ее постановка в Художественном театре, и ее идейный смысл. Изложив в издательском тоне сюжет пьесы и перечислив действующих лиц, Теляковский с возмущением спрашивает: «Где же сила и мощь России — в ком из них?» — и с полной убежденностью утверждает: «Вообще появление таких

пес — большое зло для театра. Если их можно еще писать, — то не дай бог ставить в наш и без того нервный и беспочвенный век». С той зоркостью, которая свойственна иногда враждебному взгляду, Теляковский видит действительно слабые места Художественного театра в постановке чеховских пьес — например, увлеченные звуками и шумами, раздражавшее, как известно, и самого Чехова. С той же прозорливостью злобы говорит Теляковский в конце своей дневниковой записи (от 22 ноября 1899 года) об идейном смысле чеховской пьесы: «А может быть, я по поводу пьесы «Дядя Ваня» ошибаюсь. Может быть, это действительно современная Россия, — ну, тогда дело дрянь, такое состояние должно привести к катастрофе». Вот тут Теляковский не ошибся: близость перемен, неизбежность изменения жизни — таков был объективный смысл чеховского творчества, а в последние годы жизни Чехова этот скрытый смысл становился все более и более явным.

Разумеется, не только с непониманием и злобой приходилось сталкиваться Чехову на протяжении своего пути. В дневниковых записях, опубликованных в этом томе, есть и волнующие строки признания и благодарности. В 1891 году И. Щеглов (Леонтьев) записал, например, короткую фразу, звучащую как афоризм: «В одном маленьком рассказе Чехова больше чувствуется Россия, чем во всех романах Боборыкина».

Наряду с отзывами о произведениях в дневниках современников разбросаны драгоценные черточки, воссоздающие живой облик Чехова — человека и писателя. Впрочем, эти черточки возникают всюду, даже там, где их, казалось бы, меньше всего можно было ожидать, например в дарственных надписях на книгах и записях в альбомах.

В альбоме В. Лаврова делали записи разные знаменитости. Известный философ и поэт Вл. Соловьев написал там поэтическое изречение отчасти даже с мистическим оттенком:

Время и Смерть царят на земле,
Ты владыками их не зови!
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви

И сразу вслед за этим Чехов занес шуточные строки, тотчас уничтожившие эффект салонно-философского афоризма: «Я ночевал у И. И. Иванюкова в квартире В. М.

Соболевского и проспал до 12 часов дня, что подписанием удостоверяю. Ноября 5 1893 г. Антон Чехов».

А. Суворин открыл альбом известного переводчика Ф. Фидлера следующей записью: «Так как ваш альбом только начинается, то я желаю от всей души, чтобы в нем было побольше людей, над именами и изречениями которых можно было задуматься». Таким человеком был, несомненно, и Чехов, но ему была чужда пошловатая мода альбомных изречений. Он записал: «Слово «изречение» пишется через е, а не через ять».

Все это мелочи, конечно, хотя и очень характерные. Но вот важный эпизод из жизни Чехова, которого до сих пор не знали биографы. Оказывается (это видно из письма к Билибину 1886 года), у Чехова была невеста; по-видимому, это была Евдокия Исааковна Эфрос. Отношения с ней, однако, не наладились, и размышления Чехова о «невесте и Гименее» закончились ничем. Е. И. Эфрос вышла впоследствии замуж и дожила до глубокой старости; в феврале 1943 года она погибла в концентрационном лагере, куда была вывезена фашистами из дома престарелых в Париже. Ее сын Николай Ефимович Коновицер предоставил редакции «Литературного наследства» оставшиеся от матери чеховские материалы. В детстве он часто видел Чехова; он вспоминает, между прочим, что Чехов уговаривал его писать: «Ты писать умеешь, ну так пиши!» — А когда я его спрашивал, что писать — «что хочешь, а особенно все, что видишь, и когда ты будешь большой, ты станешь писателем, но пиши каждый день».

Много нового и в неизданных воспоминаниях. Среди мемуаристов известный художник К. Коровин, великая украинская актриса М. Заньковецкая, лечивший Чехова врач И. Альтшуллер. Специально для данного издания написала воспоминания Е. Пешкова. Особое место занимают в этом разделе мемуарные отрывки из незаконченной книги о Чехове И. Бунина. Всем памятен его мемуары, давно опубликованные. Они принадлежат к числу лучших воспоминаний о Чехове, в них видно было перо большого художника, тонко понимающего своеобразие Чехова. Отрывки же, опубликованные в «Литературном наследстве», производят двойственное впечатление. Иной раз в них мелькнет меткая психологическая характе-

ристика или яркая картина прошлого, точно выхваченная лучом прожектора из темноты, иной раз появится интересный критический отзыв, пусть парадоксальный или даже несправедливый, как, например, отрицательный отзыв о «Вишневом саде». Это все живо и увлекательно. Но наряду с этим есть записи, вызывающие чувство неловкости за большого писателя. Читает, например, Бунин мемуары Станиславского. Тот вспоминает оживление, которое царило у Чехова в Ялте весной 1900 года, когда в Крыму играл Художественный театр. «Горький со своими рассказами об его скитальческой жизни, Мамин-Сибиряк с необыкновенно смелым юмором, доходящим временами до буффонады, Бунин с изящной шуткой, Антон Павлович со своими неожиданными репликами, Москвин с меткими остроумиями — все это делало одну атмосферу, соединяло всех в одну семью художников». Так писал Станиславский. Бунин дополняет его. Чем же? Оказывается, среди всего этого оживления к Бунину подошел некий московский адвокат и спросил, не тяжело ли ему среди таких знаменитостей, как, например, Горький. «Нисколько, — сказал я сухо, — у меня иной путь, чем у Горького, буду академиком... и неизвестно, кто кого переживет...» Бунин не забыл об этом спустя столько лет! До конца своей жизни он не мог понять позиции Чехова в так называемом «академическом инциденте» 1902 года. Бунин искренне удивлен, «как можно было возмущаться тем, что не утвердили выбранного в почетные академики Горького, который находился под судом!» Он объясняет это тем, что Чехов, вероятно, «не знал регламента, не знал, например, что всякий почетный академик мог, приехав в какой угодно город, потребовать в какое угодно время — для пользы просвещения — зал для лекции — и без всякой цензуры». «Можно себе представить, — восклицает он, — как бы стал пользоваться этим правом Горький?» К этому ничего не прибавишь. Редакция «Литературного наследства» поступила правильно, показав это второе лицо Бунина без всяких прикрас.

Среди материалов следующего раздела, посвященного восприятию и изучению Чехова за рубежом, выделяются обзор С. Лаффит «Чехов во Франции» и публикация М. Шерешевской «Английские писатели и критики о Чехове». Обзор Софи Лаффит (Париж) особенно интересен. Составлен-

ный обстоятельно и строго информационно, он дает ясное представление о знакомстве с творчеством Чехова во Франции начиная с девяностых годов прошлого столетия до наших дней. Как показывает обзор Софи Лаффит, история освоения Чехова во Франции — это подлинный триумф русского искусства. Наиболее проникательные французские писатели и критики понимали творчество Чехова как завершение коренных традиций русского реализма и как отражение самых существенных процессов русской общественной жизни. «Можно без преувеличения сказать, — пишет А. Даниэль-Ропс, — что Чехов был пророком революции: он предвещал ее, пожалуй, не столько теоретическими положениями, почти полностью отсутствующими в его творчестве, сколько тем, что выражал наиболее сокровенные чаяния русского народа, который был так хорошо ему известен. Чехов знал, что Россия — это рождающийся мир, мир в становлении». Такие отзывы не единичны. Обзор убедительно показывает не только то, что Чехов сейчас является во Франции одним из самых популярных мировых писателей, но также и то, что его творчество помогает французскому читателю «понять нынешнюю Россию».

Восхищение Чеховым характерно не только для французов. Американцы не перестают удивляться новизне чеховского реализма. «Реализм этот, — пишет, например, критик Джон Мейсон Браун, — был нов и по самим явлениям, которые вскрывались, и по подходу к ним, он был новым по заключенной в нем поэзии, маскировавшейся под прозу; нов по стилю и масштабам». Профессор Эрик Бенгли так отзывался о «Трех сестрах» в 1955 году: «Современность не знает более прекрасной пьесы, чем «Три сестры»... О Чехове можно сказать, как о Шекспире, что он был человеком «открытой и щедрой души» — а такую формулу никому не пришло бы в голову применить ни к нашим второстепенным драматургам, ни даже к таким, как Ибсен и Стриндберг. Чехов представляется мне единственным настоящим демократом среди крупных современных драматургов». Английский писатель Фрэнк Суиннертон еще в 1920 году проникательно отметил некоторые существенные черты чеховской драмы: «...То, что в пьесах Чехова на первый взгляд кажется вовсе не относящимся к делу, сливается в одно поразительное целое. Его герои, чьи реплики

производят на нас столь ошеломляющее с непривычки впечатление, на самом деле просто думают вслух. Чехов в своих пьесах подводит нас к самым сокровенным тайнам душевных движений человека — ближе подойти к ним вряд ли возможно».

В разделе «Сообщения и библиография» стоит отметить обширную «Библиографию воспоминаний о Чехове» Э. Полоцкой, а также статью и публикацию П. Попова о работе Чехова над рукописями начинающих писателей; здесь приводятся рассказы Е. Шавровой и А. Писаревой, тщательно отредактированные и исправленные Чеховым. Чехов — вдумчивый редактор чужих произведений, учитель начинающих писателей, тонкий стилист встает перед нами со страниц этой интересной публикации.

Разумеется, к составителям тома можно предъявить и некоторые претензии. Иной раз публикаторы чеховских материалов педантично объясняют читателю то, что в объяснениях не нуждается. Положим, в страничке из черновой рукописи «Дамы с собачкой» Чехов вычеркивает слово и заменяет другим, — публикатор (К. Виноградова) замечает: «Первоначальное слово... Чехов тут же в рукописи заменяет более сильным и образным...» Чехов просто вычеркивает какие-либо слова, ничем другим не заменяя; публикатор поясняет, что вычеркнутые слова «исключаются автором, и вся фраза становится более сдержанной, компактной и строгой». Чехов вписывает новые слова, публикатор отмечает: «Чехов постепенно вводит нужные слова, отвечающие авторскому замыслу», точно у чита-

теля может возникнуть иное предположение.

Можно пожалеть, что в упоминавшемся только что обзоре Софи Лаффит, а также в обзоре американского автора Томаса Г. Виннера отсутствуют хотя бы краткие сведения о тех писателях и критиках, чьи суждения, порой очень интересные, в них приводятся, и это существенно снижает ценность этих материалов для советского читателя; между тем в обзоре М. Шерешевской такие сведения даны. Редакция «Литературного наследства» должна была бы привести этот важный раздел к единообразию.

В сообщении «Чехов в работе над рукописями начинающих писателей» мне кажется неудачной принятая автором транскрипция рукописей с правкой Чехова. Чехов, к примеру, изменяет время глагола. Это передается таким способом: сид[ела] и т. И так на протяжении многих страниц. Не лучше ли было правленные Чеховым места рукописи печатать в две колонки: на одной стороне текст начинающего писателя, на другой — тот же текст, исправленный Чеховым?

Но это частности, конечно, не более того. Содержание тома, разнообразие составляющих его материалов, их бесспорная значительность — все это не располагает к разговору о мелочах. Редакция «Литературного наследства» проделала громадную работу. Можно спорить о частностях, в целом же материал подобран, разработан и подан читателю строго научно, по-деловому, скромно, без тени сенсации.

★

Г. БЯЛЫЙ.

НОВАЯ КНИГА ЯНКИ БРЫЛЯ

Янка Брыль. Мой край родной. Рассказы и повесть. Перевод с белорусского А. Островского. Редактор Т. Горбачева. «Советский писатель». М. 1960. 216 стр.

Новая книга Я. Брыля разнообразна в жанровом отношении: рассказы, повести, статьи о писателях, очерки. В сборнике «Мой край родной» Я. Брыль предстает перед читателем как художник очень эмоциональный и вместе с тем мыслящий, писатель, который умеет близкое ему сделать близким многим, на узком, локальном, казалось бы, материале ставить большие, общезначимые проблемы. Но по складу своего таланта Я. Брыль больше всего новеллист, а его рассказы последних лет по праву могут быть оценены как достижение

этого жанра. В основном это короткие, но очень емкие рассказы — «сжатая проза», и, по определению К. Паустовского, писателя, которому во многом близок Я. Брыль, самая действенная проза.

В рассказах «Мать» и «Memento mori» Янка Брыль вновь после десятилетнего перерыва обратился к теме войны, поставив в них большие морально-философские проблемы — человеческого подвига, долга перед народом. Однако значительны они не только по мысли. В этих маленьких — всего в две-три странички — рассказах Я. Брыль

удалось создать яркие и крупные характеры людей из народа, передать глубокую естественность их мужественного поведения, их непоказного героизма.

Героическая тема не означает отказа писателя от изображения бытового фона. Но каждая деталь этого привычного фона исполнена значительности. Героиня рассказа «Мать», старая крестьянка, возвращаясь с поля едва живая от усталости, с улыбкой указывает сыну на покосившуюся копенку жита:

«— Гляди, Василь, как упирается...

Сын... глянул в сторону, куда она показывала. За большой узорной дерюгой чересполосицы, где-то далеко-далеко за холмом потухала заря, а совсем рядом с межей, по которой они шли, стояла понурая копенка жита. Утром по нивам, с горы в долину, прошелся низом ветер и надвинул колнам шапки на самые глаза. Мало того, иную, что послабей поставлена, так и всю наклонил или перевернул совсем. Та, на которую показывала мать, склонилась всеми снопами вдогонку утреннему ветру, улетевшему уже на другой конец света, но не хотела упасть».

Эта копенка жита, которая «склонилась всеми снопами вдогонку утреннему ветру... но не хотела упасть», — символ характера самой матери, ее упорства, терпения и жизнелюбия.

«На все божья воля...» — отвечает мать на предупреждение о том, что за помощь бойцам немцы будут расстреливать, а хаты — сжигать. Но за этой привычной формулой не покорность, не равнодушие или фатализм, а все то же упорство и внутреннее сопротивление происходящему. И когда раздался ночной стук в окно, мать раздумывала всего лишь несколько мгновений. Просто и буднично прозвучали слова ее решения: «Заходите, хлопчики! Я вам хоть молочка, хоть жажду прогнать...»

Брыль опускает все, что было дальше, чтобы показать только главное — последний путь матери, когда «и на большаке, и в местечке, на всем — так хорошо знакомом и каком же коротком теперь — пути от родной хаты до свежей ямы в лопухах добрые люди видели ее мученический поход, и всем было понятно, куда и за что». Но и совершив подвиг благородства, отдав жизнь за чужих и своих сыновей, мать по-прежнему остается обыкновенной женщиной. каких в народе тысячи. «Мать не ведала, кто она.

Не догадывалась, что не с одним только ужасом глядят на ее путь встречные, что образ ее останется в сердце многих мужчин горьким, неумолимым укором, что глаза и руки ее вспоминать будут даже сильные люди, прогоняя из души последний страх перед ночной паргизанской атакой...»

Тема сознательного выбора человеком своей судьбы и моральной победы над смертью звучит еще сильнее в рассказе «Memento mori». «Помни о смерти» говорит старинное латинское изречение, помни и страшись ее, ибо нет возврата оттуда ни для кого. Своим коротким рассказом писатель как бы бросает вызов этой тысячелетней мудрости смирения, так часто смыкающейся с индивидуализмом. И тем смелее вызов и сильнее опровержение, что герой рассказа — старый деревенский печник — начисто лишен внешних примет героя. Вначале, когда фашистский офицер, руководящий «операцией» сожжения жителей деревни, подзывает его к себе, он даже жалок — в сером тряпье, без шапки, с застывшим взглядом, дрожащими губами. Офицер решил «подарить» жизнь старику за хорошие печи, а у того не сразу находится голос, чтобы ответить, есть ли у него в толпе близкие. Но, начав говорить и назвав жену и дочь с внуками, он не останавливается. «Скажи ему... у меня там соседи, — обращается он к переводчице. — А ты скажи, что родичи...» Это говорится еще полуавтоматически, словно бы во сне. И только когда офицер, «благородство» которого уже истощилось, с издевкой спрашивает, не хочет ли старик, чтобы он отдал ему «всю эту банду», «под седеющей стрехой бровей ожгли наконец глаза. Губы совсем перестали дрожать...

— А что ж он думает? И всех! Всех добрых людей!.. Может, он считает себя им ровней — этот твой господарь?»

И, повернувшись, старый печник пошел назад, к толпе своих односельчан, своих близких — соседей, родичей, «добрых людей». Так органично его ощущение себя частичкой народа, гордое сознание превосходства этого народа над врагом и нежелание, больше — невозможность отделить свою судьбу от судьбы добрых людей, что эти чувства пересиливают, вытесняют слабость, страх смерти. «И он сгорел, единственный, кто мог бы в тот день не сгореть. И он живет». Он — победитель.

В полном соответствии с замыслом и в

контрасте с трагическим содержанием, «Memento mori» находятся те лаконичные и скромные средства, с помощью которых Брыль добивается в этом рассказе большого художественного эффекта. Все происходящее показано как будто беспристрастно. Характеры обрисованы почти только речью самих персонажей. Нет в этом рассказе свойственного Брылю открытого лиризма. Но во многих едва уловимых признаках — построении фраз, сочетании слов, а больше всего как бы между строк — трепещет большое авторское чувство: преклонение перед глубиной народного сердца.

Ту же чистоту и благородство раскрывает Я. Брыль в характере своих любимых героев и тогда, когда действие переносится в мирные дни, когда в жизни персонажей не происходит ничего необычного. Таков старый рыбак Остап Вячера из рассказа «Надпись на срубе». Прост и небогат сюжетный остов рассказа: старик Вячера решил было спилить в бору сосну и отвезти ее вдовой дочери на починку хаты, а потом передумал, отвез бревно, давно лежавшее у него во дворе. Но это действительно не более как остов.

Основное в рассказе — смена мыслей и чувств в душе Вячеры, глубокая, не дающая покоя обида на местных «деятелей», которые не пожалели прекрасного бора над озером и обрекли его на вырубку; презрение к тем, кто равнодушно смотрит на гибель бора; решенье срубить сосну в обреченном бору, решенье, в котором причудливо сплелись и протест против таких людей, и обида — не за свое, за общее, — и слабость; отказ от этого решения и жгучий стыд, который он осмеливается открыть только перед дочерью. «Уберег меня бог на старости лет». Бог этот — его совесть трудового человека и правдолюбца.

Однако напряженная внутренняя жизнь Остапа Вячеры — в глубине течения рассказа. Писатель почти не говорит о ней, да и сам герой немногословен. Брыль просто показывает один будничный день его жизни, в котором естественно участвуют его дети, внуки, его нелегкое трудовое и бунтарское прошлое и окружающая природа — неоглядная ширь озера и бор над ним, и даже привычный запах рыбы, которым пронизано все в рыбацкой деревне. Но многочисленные накладывающиеся один на другой штрихи поведения Вячеры — нетерпеливое ожидание лодки, зло задранный подбор-

док, резкий поворот руля, так что берег поплыл в глазах, все время прорывающееся меж обычных дел и забот беспокойство — постепенно делают понятными для нас и его внутреннюю жизнь и его характер.

«Надпись на срубе» радует ощущением живого потока жизни, жизни трепетной, схваченной в движении и естественных противоречиях. Мысль о долге человека перед обществом, придающая значительность рассказу и кладущая отблеск времени на характер героя, — только одно из течений внутри этого потока. Особенно хорош эпизод поездки Вячеры с маленькой внучкой по озеру. В нем со светлым, чуть грустным юмором раскрываются отношения детства и старости. К слову, эта тема занимает Я. Брыля уже много лет — очевидно, именно благодаря той особой наглядности, с какой передает она диалектику жизни. Вот дед рассказывает Ганночке о бунте рыбаков против панов, о том, как сковали его и «скоблили плетями». Но девочка слушает очень недолго.

«— Дедуля!

— Ну?

— А я вот возьму да с лодки — скок!»

Дед смеется, слушая этот лепет. И в конце рассказа невеселый разговор взрослых об утратах на полуслове обрывается смехом и возгласами детской игры. И снова, закинув голову, смеется старый Вячера: жизнь неиссякаема!

Большая часть рассказов сборника «Мой край родной» обращает на себя внимание зримостью, мягкостью и вместе с тем точностью и простотой пластического рисунка.

В повести «Смятение» Я. Брыль использовал традиционный, можно даже сказать вечный, сюжет. Но новое, современное и сложное содержание изменило старую сюжетную схему. Самое главное, чем привлекает повесть, — острота психологически правдивого и глубоко социального в своей сущности конфликта.

Причины, почему герой повести Леня Живень, «почти интеллигентный» крестьянский хлопец из Западной Белоруссии, влюбился в 1939 году, сразу после установления в крае Советской власти, в дочь местных помещиков Росицких, были, надо думать, и очень просты и очень сложны. И потому, что паненка на самом деле была красивее всех своих деревенских сверстниц, и от «беззаботной радости молодости». И еще, наверное, потому, что так хотелось «утвер-

дить» только что обретенное равенство, осуществить его в той области, которая наиболее притягательна для юности,— в любви.

И вот через много лет, в 1956 году, встретились двое, и снова их потянуло друг к другу, как в юности. Для Живеня в Чесе Росицкой — очарование неосуществленной мечты первой любви. Ее, заезжую гостью, увлекло неожиданно найденное приключение: «Здесь не Балтика и не Татры, конечно, но что ж...»

Первый разговор — лукаво прищуренные глаза, неожиданно искренняя нотка, острый хмелек насмешки. И вдруг среди волнующей словесной игры нечто совсем-совсем иное: «И всегда пан Леось так торопится? То война, то планы... А что же тогда для себя?»

Это только начало сближения и уже начало полного расхождения. Да, панна Росицкая не может понять, что это на самом деле все для себя — и труд, и планы, и спешка, — что работа, государственные интересы давно включены Живенем и его земляками в сферу своих чувств и переживаний, что эта душевная широта и богатство есть социализм. Она видит прозу там, где для Живеня и его друзей поэзия, потому что буржуазно-прозаично ее отношение к этим вещам — труду, вознаграждению за него, общественным интересам. И все это явственно просвечивает сквозь несколько как будто невинных, с женским кокетством кинутых фраз.

А понимает ли в этот момент Живень, что скрывается за словами Чеси, чувствует ли их чуждость? Брыль показывает состояние своего героя в эти минуты очень верно — понимает, да. Но не чувствует. Непосредственное чувство его как бы отсутствует, оно «оглушено обманчивой радостью». И потому он гонит от себя стыд, подсознательно возникший от разрыва разума и чувства.

Полная внутреннего напряжения сцена ночного свидания написана с художественным тактом и психологической глубиной. Росицкая призывает Живеня к общению «без скучной политики» — оно не удалось. Она первая заговорила о политике, о том, что воюет с «безбожниками и коммуной» в сегодняшней Польше. Заговорила открыто, надеясь найти поддержку в Живене, потому что знает, что несколько лет назад он был жертвой подлого навета, что ему, как она говорит, «отплатили за верную службу».

И вот реакция Живеня: «Он помолчал. Догадался, на что она намекает. Сказал с шемящей гордостью в голосе:

— А что ты в этом понимаешь?»

Затронуто самое для него дорогое, «его святое», где не может быть и речи о «службе» и «плате», говоря о чем он естественно начинает употреблять слово «мы». «Нам и трудно, нам и больно, нам и радостно». Он оскорблен не за себя даже, а за свою родину — это о ней ведь сказано «отплатили». И схлынула увлеченность, ушло волнение, исчезла «красивость», заменявшая полноценное чувство.

Это то, о чем писал Горький: «Есть люди, у которых классовое, революционное самосознание уже переросло в эмоцию, в несокрушимую волю, стало таким же инстинктом, как голод и любовь».

Характер, поставленный в центре произведения, смело можно назвать общественным. Как и в рассказах, Брыль показывает своего положительного героя во внутренней динамике, в преодолении противоречий. Живень пережил большое потрясение, но его поражение — это и его победа: живому человеку она не дается без потерь. Это победа на будущее. Жаль только, что внутренние монологи героя повести, в которых он осмысляет происшедшее с ним, подчас слишком оголены по мысли.

«Смятение» — маленькая повесть, но она заставляет задуматься над многими серьезными вопросами. Да, невозможно противопоставить мораль и политику — они существуют в жизни в неразрывной связи. Да, в наше время, время острой идейной борьбы, важна, и прежде других, та граница, что проходит через наше сердце.

В статье о Якубе Коласе Я. Брыль вспоминает как завет «мудро-простые» слова народного поэта Белоруссии: «Только тот, кто действительно услышит голос земли, голос народа, питает его поэзию, тот передаст его тысячеголосым эхом во все углы нашей Родины».

Янка Брыль пристально и любовно вглядывается в духовную жизнь своего народа, стремясь понять и прославить те его внутренние силы, те качества национального и современного, советского белорусского характера, которые ведут на большие дела, на подвиги самоотверженности и благородства. Потому-то его поэтические рассказы о своем крае и его людях будут читаться с интересом во всех краях нашей огромной

Родины. А это и есть заветное «тысячеголо-
сое эхо».

Перевод книги «Мой край родной» сделан А. Островским. Его можно было бы считать удовлетворительным, если бы не некоторые мелочи — из тех, которые принято называть досадными. Очевидно, переводчик недостаточно знаком с сельским бытом, сельскими работами и соответственными пластами лексики. Поэтому, когда он встречается со словом, которым терминологически сжато и точно, но одновременно и образно обозначен трудовой процесс, либо обстоятельства, либо характер работы, то, не зная эквивалентного русского слова (а подчас оно то же самое), старается перевести его несколькими словами. Так, Брыль в «Надписи на срубе» пишет: «Так жа вось... спраўна і спора ідуць у пракосе сапраўдныя касцы». Здесь почти достаточно было изменить орфографию, чтобы фраза хорошо звучала по-русски. А. Островский же перевел ее следующим образом: «Так же вот... складно и ловко идут, махая косами, настоящие

косцы». «Складно и ловко» вместо «справно и споро» — это хотя и необязательно и невынгрышно, но допустимо. А вот уже «махая косами» — по-городскому нелепо и гораздо уже точного, экономного и емкого «в прокосе». С другой стороны, переводчик не всегда чувствует разницу стилистических оттенков слов, употребляющихся как в белорусском, так и в русском языке. «А он шутил, тихо и смачно смеяся...» («Памяти Валентина Тавлая»). А. Островский оставил непереуведенным слово «смачна», которое в этом контексте скорее всего следовало бы перевести как «с удовольствием». «Тихо и смачно» — это не просто стилистически безвкусно, а даже по-человечески бестактно, поскольку относится к смертельно больному человеку, отцу маленькой дочки, с улыбой говорящему о том времени, когда он будет «ходить в чине тества». Каковы бы ни были причины появления этих досадных мелочей, они портят художественную ткань книги.

Юлия КАНЭ.

Минск.

★

В ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ

А. Рыбаков. Приключения Кроша. Повесть. «Юность», № 9, 1960.

Услышать рассказ школьника о том, что такое производственная практика, уже само по себе интересно. Ведь всех сегодня волнует, как складывается на деле новая система образования, какие она дает преимущества, рождает трудности, несет с собой проблемы. Обыкновенное это событие — школьная практика — полно для героя повести А. Рыбакова Сережи Крашенинникова (по прозвищу Крош) значения, драматизма и открытий: причастность к производственной атмосфере, первый заработок, знакомство с техникой, а главное, новые, сложные отношения с людьми, основанные уже на более серьезной, чем раньше, общественной основе.

Читать «Приключения Кроша» интересно еще и потому, что Крош — хороший рассказчик, он ведет свое повествование энергично и весело. Сборка машины из старых частей, автомобильная авария по вине школьников, пропажа в гараже амортизаторов и их поиски — все эти сами по себе немудреные события прочно сцеплены между собой и составляют действительно «приключения»: здесь есть и маленькие тайны, и ошибки в их разоблачении, и вне-

запные открытия, и подспудная борьба, и, наконец, как и полагается, разгадка всех загадок под занавес. Сюжетные достоинства повести А. Рыбакова легко проложат ей путь к детским сердцам.

Но надо сказать, что ни хорошо слаженный сюжет, ни актуальная тема не определяют удачи повести в первую очередь. И в своих «выводах», в выборе типов и нравственных коллизий, в симпатиях и антипатиях писатель не делает больших открытий. Противопоставление Крош — Игорь (одноклассник и противник героя) — один из вариантов не раз и не два встречавшегося в литературе последних лет конфликта: честный скромный труженик — и карьерист. У А. Рыбакова очень последовательно (а иногда и слишком прямолинейно) развит его юношеский вариант. В то время как прстодушный, открытый Крош то и дело попадает в неприятные ситуации, «подлипла» Игорь умеет вывернуться и даже заслуживает похвалы. Портрету Игоря никак нельзя отказать в жизненной правдивости.

Еще более точно уловлено брезгливо-презрительное и все-таки иногда чуть завистливое отношение Кроша к Игоревой ловко-

сти. Но уж очень привычными и литературно-обязательными атрибутами окружил А. Рыбаков своего маленького ловкача. Конечно же, Игорь водит «Москвича» (правда, не своего собственного, а брата), и, конечно, у него есть старшие товарищи, которым он подражает, и те уже ездят на «Победе» (вокруг украденных из гаража амортизаторов для этой машины и разворачивается сюжет повести); и к тому же Игорь каким-то образом связан с кино, а во время практики оказывается в роли приближенного к начальству лица.

В общем, все довольно ясно и не очень ново. И выводы писателя не блещут особой оригинальностью: практика для школьников очень полезна; и хотя не все здесь предусмотрено и продумано, но она приобщает детей к труду и дает первые навыки общественного поведения; быть бездельником и лицемером очень плохо, быть честным, смелым и добросовестным хорошо, хотя это совсем не легко и не всегда оценивается по заслугам. Вот, собственно говоря, и вся мораль.

Это очень мало, если дается в виде многозначительных поучений, но это не так уж мало и совсем неплохо, если подобные настроения и чувства сами собой естественно вытекают из рассказа остроумного, веселого, к тому же явно рассчитанного на то, что его обязательно прочтут дети. Таким повествованием и является повесть А. Рыбакова, то и дело вызывающая улыбку читателя, и читателя не обязательно юного.

Всегда любопытно и полезно поглядеть на себя глазами детей. В этом правдивом зеркале прекрасно видно, как многие виноваты в том, что Игорь, может, вырастет циником и ловкачом, хотя сам Крош меньше всего задумывается в данном случае над причинами — для него Игорь раз навсегда существующая данность. Но со свойственной юности справедливостью он отмечает каждую непоследовательность взрослых: директору не очень, в сущности, приятен Игорь, но придираться вроде не к чему, и он его хвалит; учительница понимает, что не все благополучно с Игорем, но тот умен, воспитан, выдержан, и она его прощает; ребята и вовсе знают цену Игорю, но они уже привыкли к его двоедушию и тоже машут рукой. Равнодушие рождает Игоря.

Крош, в общем, снисходителен к нелогичности взрослых, но получить его похвалу трудно, и потому она особенно ценна. Конечно, по-детски наивно выглядят его одоб-

рения учительнице («Это она, между прочим, подметила довольно точно»). или главному инженеру («Как это он только заметил, что Полекутин лучше нас всех разбирается в технике?...»). Но зато в его искреннем изумлении, что взрослые могут быть и проницательны и справедливы, содержится оценка, которой можно безоговорочно верить. Потому нам становятся симпатичными и растерянная старая учительница, и молчаливый шофер Зуев, на защиту которого встает Крош, и простоватый дельный директор автобазы.

Самая главная удача писателя — тонко переданное обаяние возраста его героя, обаяние нормальных мальчишеских пятнадцати лет. Оно и в интонации рассказа Кроша, и в его языке, где самые избитые штампы выдаются за изысканные стилистические откровения, и особенно в самом способе мышления, в котором детская наивность уживается с вполне взрослыми понятиями, с юношеским стремлением к глубокомыслию и научнообразным определениям только что постигнутых самых простых вещей. В своем дневнике Крош откровенно мечтает о том, что вдруг шофер даст ему на минуту руль, признается, что надежда сесть за руль — единственное, что привлекает его в практике (так думает он вначале). И в то же время он так любит найти логичную формулу, объясняющую и классифицирующую для нас с вами само собой разумеющееся, а для него еще нуждающееся в определении явление. «Потом вышел главный инженер и повел нас показывать автобазу, чтобы мы имели представление о всем хозяйстве в целом. Это правильно. Если ты являешься частью чего-то целого, то надо иметь о нем представление. Иначе не будешь знать, частью чего ты, собственно говоря, являешься». Или другой пример: «...Все считали, что Шмаков работает лучше меня. Происходило это вот почему. Я не мог просто так, как Шмаков, крутить гайку. Мне надо знать, что это за гайка и для чего я ее кручу. Я должен понять работу в целом, ее смысл и общую задачу. Дедуктивный способ мышления. От общего к частному».

В общем, Крош переживает тот недолгий, тревожный и радостный момент, когда человек вот-вот станет взрослым, но еще не стал им. Он-то уже знает, что стал взрослым, но никто другой еще не признает этого в полную меру. Оттого подросток так лег-

ко обижаются и готов во многом видеть «уни- зительный для себя смысл», так часто по- падает в неловкие положения, так настой- чиво и неуклюже утверждает свои права, так склонен похвастаться («Наш авторитет очень возрос», — не забывает отметить Крош). Потому-то и получились у А. Рыба- кова из немудрых происшествий настоящие «приключения», что писатель при всей своей доброй иронии и веселой улыбке полон по- нимания и уважения к волнующему моменту в жизни героя, когда все для него полно смысла, тайн и открытий. Автор здесь точно соблюдает меру, не преуменьшая, но и не взвинчивая искусственно значения событий, рассказанных его героем.

Для самого Кроша жизнь еще отчетливо делится на близкий и понятный мир школы и двора и манящий, подлежащий разгадке, но все-таки чужой мир взрослых. В «своем» мире все более или менее ясно и устойчиво: Игорь — подлипала и ханжа, и, как бы ни хвалили его, это противно; всем давно из- вестно, что у него, у Кроша, нет техниче- ских склонностей, и так же давно установ- лено, что у Шмакова Петра (в таком имен- но порядке — как в классном журнале — всегда называет Крош имя и фамилию приятеля) — «большой практический опыт»; танцевать с девочкой можно и гулять по улицам можно, а «ухаживать» — глупость; учительница Наталья Павловна, в общем, хорошая, но нуждается в снисхождении; от «родственников» (читай «родителей») не- чего ждать логики и т. д. и т. п. — колеблю- щаяся, но, в общем, цельная система пред- ставлений и правил поведения, кодекс маль- чической морали.

Мир взрослых становится все более необ- ходим Крошу и все сильнее втягивает его в себя — практика очень убыстрила этот про- цесс, — но этот новый приблизившийся мир не всегда подчиняется прямолинейной дет- ской логике. Тебе говорят, что ты взрослый, и тут же «унижают», не давая вести маши- ну. Ты все-таки без разрешения сядишься за руль, попадаешь совершенно очевидно по собственной вине в аварию, а учительни- ца почему-то ищет виноватых среди работ-

ников гаража. Ты смело говоришь директо- ру, что его приказ с выговором шоферу не- правилен, а директор считает, что ты су- ешься не в свое дело. Ты борешься за спра- ведливость — тебя подозревают в клевете. Наконец, по окончании практики директор еще раз при всех ругает тебя за разные про- ступки, а затем вдруг заявляет: «...По-про- стому, по-рабочему я так скажу: молодец, Крош! Честный парень! Давай, Крош, дей- ствуй!» «Обругал меня, а потом назвал мо- лодцом. Где логика?» — этим недоуменным вопросом, лукаво подсказанным автором, и кончает Сережа Крашенинников свои «вос- поминания», еще раз обращая наше внима- ние на самую выигрышную, самую удав- шуюся черту повести: столкновение и взаи- мопроникновение наивного детского про- стодушия — и сложности «взрослой» жизни.

Автор «Приключений Кроша» остроумно обнаруживает беспомощность своего юного героя перед иными человеческими отноше- ниями. Когда Крош выступает в роли на- ставника и советчика взрослой женщины в вопросах любви, а растерянная женщина серьезно слушает его лепет, нас забавляет ребячливость подростка, которого «зано- сит», который прекрасно это чувствует, но не в силах отказаться от увлекательной миссии. В других случаях эта ребячливость, напротив, обнаруживает бессмысленность и инерцию некоторых взрослых установлений, покорно перенятых детьми. «Теперь, — ска- зал Игорь, — пусть каждый цех выберет старшего». Все стали выбирать. В гараже работали только двое: Шмаков Петр и я. Шмаков выбрал в старшие меня». Выборы между двумя — смешно; когда большой Шмаков выбирает «в старшие» маленького Кроша — еще смешнее, но самое смешное и покоряющее — доверчивое простодушие, не подозревающее комичности положения, с которым об этом рассказано.

Очень удалась А. Рыбакову эта искрен- ность и правдивость интонации подростка, именно она придает этой юношеской по- вести и ее выводам обаяние естественности и достоверности.

Е. СТАРИКОВА.

«НЕМОЙ СВИДЕТЕЛЬ»

А. Афиногенов. Дневники и записные книжки. Подготовка текста и комментарии К. Н. Кирилленко. Вступительная статья А. Караганова. Редактор М. Малхазова. «Советский писатель». М. 1960. 552 стр.

«Немым свидетелем» всего, что накапливалось в уме и на сердце, называл А. Афиногенов свой дневник. О существовании обширного фонда дневников Афиногенова знали многие. В последние годы друзья безвременно погибшего драматурга приводили из них выдержки в своих печатных и устных воспоминаниях. Часть дневниковых записей вошла в сборник материалов об Афиногенове, изданный в 1957 году «Искусством».

Вышедший том «Дневников и записных книжек» Афиногенова тоже не претендует на полноту исчерпывающего свода — в комментариях оговорено, что «в настоящее издание включены преимущественно материалы, отражающие творческую биографию писателя, его взгляды на литературу и искусство». Но и в этом объеме собрание афиногеновских дневников не может оставить к себе равнодушным. Конечно, прежде всего оно горячо заинтересует людей искусства, литературоведов, театроведов, критиков. Но я несколько не сомневаюсь, что эти никогда не предназначавшиеся для печати, вылившиеся из души дневниковые страницы увлеченно и с волнением будут читать и люди, далекие от профессиональных интересов, просто по-настоящему любящие советскую литературу и театр, стремящиеся осмыслить для самих себя пути их развития, понять, в чем их сила и новизна, каков творческий, гражданский, нравственный облик художника социалистического общества.

Среди записей Афиногенова в его дневниках и книжках, может быть, и не столь уж много таких, которые бы непосредственно и вплотную подводили нас к процессу создания отдельных пьес драматурга. То, что принято называть «творческой лабораторией писателя», сравнительно более конкретно раскрывается лишь на страницах, отражающих работу над «Страхом» и «Салют, Испания!». Очень редко встречается в дневниках Афиногенова и что-либо наподобие автокомментария к характерам, сюжетам, конфликтам его произведений. Правда, внимание дотошного читателя этой книги — специалиста, историка литературы и театра — не раз привлекут к себе неожиданные находки, новые факты, интересные детали.

Иной поставит жирное нотабене на полях той записи, которая свидетельствует, что, работая над «Страхом», Афиногенов перечитывал Ибсена и вдумывался в принципы развития характеров его пьес. Другой напишет с тщанием строки из дневника 1929 года о старом профессоре-брюзге и девушке, с приездом которой «жизнь ворвалась в затхлую его комнату...» Уж не здесь ли «зерно» знаменитой «Машеньки», созданной через целых одиннадцать лет? И, разумеется, мало кто избежит соблазна увидеть в зарисовке «крупного чекиста», мужественно скрывающего от близких свою смертельную болезнь, прообраз героя «Далекого» — Малько.

Мы далеки от того, чтобы усматривать в интересе к подобным «открытиям» что-то вроде академического крохоборчества, — такие факты могут и должны учитываться исследователем при разработке творческой биографии Афиногенова, творческой истории его пьес. И все же хочется подчеркнуть, что главная ценность и интерес его дневников и записных книжек — и для исследователей и уж, конечно, для широкого читателя — не в том, что они дают ключ к частным и конкретным явлениям писательской практики драматурга (хотя, повторяем, и это очень существенно), а в том, что они составляют как бы своеобразный «подтекст» к его творчеству в целом, его общий глубинный фон, помогают осмыслить духовные истоки, питающие это творчество.

Охватывая период с 1927 по 1941 год — в сущности, весь путь Афиногенова в литературе и театре, — его дневники и записные книжки вводят нас во внутренний мир ярко одаренного, умного, смелого советского художника, приобщают ко всем сторонам и проявлениям его интеллектуальной жизни. И что особенно важно и увлекательно — они воссоздают этот внутренний мир, эту интеллектуальную жизнь в развитии, движении, росте. «Для того, чтобы понять художника в его живой индивидуальности, мало знать только результаты творческих исканий, только выводы, к каким приходил он, решая теоретические и творческие проблемы», — пишет А. Карага-

нов в своей содержательной статье, предположенной сборнику дневников. И критик справедливо усматривает их значение в том, что они показывают «путь писательской мысли», «дают нам возможность яснее увидеть, как в радостях и муках творчества, в напряжении раздумий» формировался и рос один из выдающихся советских драматургов.

Этот рост Афиногенова был нелегко, неровен, его осложняли многие субъективные и объективные причины. Только теперь, с опубликованием дневников, процесс внутреннего становления Афиногенова, его борьбы со своими слабостями и ошибками (о которых он пишет с беспощадной самокритичностью, подчас с несомненными преувеличениями), духовного возмужания, постижения задач искусства социалистического реализма предстает во всей своей полноте, сложности.

Но как бы сложно ни протекала эволюция Афиногенова, об одном с неопровержимостью свидетельствуют дневники писателя — о внутренней целостности его личности. Страницы дневника, на которых драматург вел по вечерам в тишине своего рабочего кабинета то неторопливые и раздумчивые, то беспокойные, взволнованные разговоры с единственным читателем — самим собой, — расширяют, обогащают наше представление об Афиногенове, о его сокровенных творческих устремлениях, о «сверхзадачах» его пьес, обогащают, но ни в чем, даже в самом малом, не вносят диссонанса, не вступают ни в малейшее противоречие с духом того, что писалось им для сцены, для печати. Гражданское и личное сливалось в Афиногенове в одно нерасторжимое целое. И, может быть, с особенной силой чувствуешь это, перечитывая дневниковые записи 1937—1938 годов, отразившие тяжелые испытания, которые выпали в то время на долю драматурга. Несправедливо исключенный из партии, выведенный из рядов Союза советских писателей, отторгнутый от общественной работы, Афиногенов и в эти самые трудные дни своей жизни не переставал ни на минуту чувствовать себя коммунистом, который «в душе все равно — верен своей партии... верен народу и его великому делу», который до боли в сердце убежден, что «величайшее счастье жизни — чувствовать себя сыном родины социализма...»

С большой настойчивостью и постоянством проходит через дневники Афиногенова мысль о том, что подлинный писатель дол-

жен быть «одержим в своем деле», что ему «надо уметь быть фанатиком своего дела», что процесс творчества, вынашивание и создание все новых и новых произведений — это «жизнь и стихия» для истинного таланта.

Вот откуда — именно из этого-то ощущения высокого призвания писателя, роли писательского «дела» в жизни общества — шла требовательность Афиногенова к себе, к своему труду, неудовлетворенность сделанным, стремление к совершенствованию, все более глубокому овладению действительностью, оттачиванию художественного мастерства. Характерно, что эти настроения особенно обострились у Афиногенова в дни его самых больших драматургических триумфов — премьеры «Чудака» в МХАТ-2, «Страха» в Ленинградском государственном академическом театре драмы. «Вечное напряжение сил и желание создавать еще не созданное никем... а закрепив, немедленно двигаться дальше... И так всю жизнь».

«Одержимость» своим искусством, желание приблизить его к жизни, сделать как можно нужнее народу вели Афиногенова и к той широте его творческих поисков, которая подчас все еще недооценивается в нашем литературоведении. Да, горячий поборник углубленного психологизма в драматургии, столь последовательно сражавшийся за него с пролеткультовцами, литфронтовцами, трамовцами, ранними Вишневымским и Погодиным! Но в записях 1936 года, относящихся к «Салют, Испания!», автор «Чудака» и «Далекого» начинает говорить почти что языком своих «антиподов», отвергавших психологический путь для советского театра и драмы, призывавших к открытой агитационности, плакатности: «Театр становится школой психологической анатомии...», «По черепу — тусклые бытовые песочки с проблемками...», «Требуется жизнь в лоб...» Да, упорно повторяющиеся призывы к лирическому проникновению в мир самых сокровенных человеческих чувств, мечты о пьесе «легкой, радостной, по-особому светлой, примиряющей и ласковой» («Хочется очень простых слов о нашей жизни, так, чтобы они проникли в самое глубокое, тайное и интимное...»). Но заглянем в дневники предвоенных лет, и мы наткнемся на неожиданные признания драматурга в том, что его влечет к героике, трагедии. «Теперь именно для меня раскрывается романтико-героическая сторона действительности, а стало быть,

и искусства. Именно теперь трагедия и не только Шекспира, но и Шиллера найдет во мне полный отклик».

Чем больше вникаешь в страницы афиногеновских дневников и записных книжек, тем больше чувствуешь их внутреннюю перекличку с нашим сегодняшним днем, многое здесь настолько созвучно нам, что кажется написанным сейчас. Это и гордое ощущение того, что «теперешняя полоса Истории — одна из величайших». Это и глубокая убежденность в том, что наши передовые люди труда воплощают «совершенно новое качество человека, качество, рожденное социалистической структурой общества» («Вот они — вырвавшиеся на свободу атомы человеческой энергии. Излучение их энергии — неисчерпаемо. И от этого строй, в котором они живут, — непобедим!»). Это и высота требований к писателю социалистической страны — призыв неустанно расширять свой идейный кругозор и культуру («О рабочей столовке надо писать, зная Гёте, о домне — читая «Фауста»); быть не «хроникером», коллекционирующим факты, а «учителем», идущим впереди своего читателя и героя; «жить в ре мен е м, а не днем»; быть поэтом и мыслителем («Конечно же мысль только и двигала вперед всякое подлинное произведение искусства»).

Наконец, нельзя не сказать хотя бы несколько слов еще об одном. Большое место в дневниках (особенно последних лет) занимают записи о книгах. Афиногенов предстает перед нами на этих страницах в новом качестве — проникновенного читателя, с глубокой радостью и огромным внутренним подъемом открывающего для себя мир Льва Толстого и Достоевского, Романа Роллана и Томаса Манна, Эсхила и Софокла. Чисто горьковское преклонение перед книгой звучит во многих раздумьях Афиногенова. Вот одно из них: «Я читаю хорошие книги, и слезы благодарности застилают мои глаза. Как это хорошо, что жили люди, писавшие хорошие книги, как я благодарен им за то, что они так подняли меня и расширили мой горизонт, это они научили меня смотреть на жизнь и людей по-новому... Это те книги... мысли которых так же вечны, как мир и человечество, и люди которых — мои друзья...»

Дочитывая последнюю страницу вышедшего сборника, испытываешь потребность с признательностью отметить любовный труд тех, кто подготовил и прокомментировал эту книгу, воссоздавшую такой живой и многогранный образ талантливого советского драматурга.

А. БОГУСЛАВСКИЙ.

★

ПАРИЖ ПЛАЧЕТ, ПАРИЖ СМЕЕТСЯ...

Г. Бояджиев. Театральный Париж сегодня. Редантор А. Гулиев. «Искусство». М. 1960. 130 стр.

Так называется один из спектаклей знаменитого французского артиста Марселя Марсо. Таким мог быть и эпиграф к книге Г. Бояджиева «Театральный Париж сегодня». Автор этой книги, известный историк театра и театральный критик, дает читателям не только обстоятельное и живое представление о сценическом искусстве Парижа наших дней. Он дает и нечто большее. Автор стремится понять и дать читателю почувствовать природу контакта, вспыхивающего ежевечерне, когда театр встречается со своим городом, живет с ним в разладе или в согласии, спорит или убеждает, терпит поражение или торжествует, властвует за фасадами Больших бульваров или же прячется в глухих закоулках и оттуда пытается сказать свое, подчас весьма едкое словцо, так, чтобы его услышал весь Париж.

Вопрос о гуманизме современного искусства сквозит в раздумьях автора: то выходит на поверхность в прямой публицистической фразе, то задевает реальные противоречия, ушибаясь об углы нерешенных вопросов, то снова звучит убежденно, увлекая логикой мысли, тонкостью наблюдений, блеском метких деталей и верностью догадок. Одним словом, это талантливая книга.

Г. Бояджиеву, видимо, оказались ближе и интереснее те спектакли, в которых — продолжая принятую метафору — Париж «плачет», грустит, гневается или призывает к человечности.

Подлинную познавательную и эстетическую ценность представляет анализ таких сложных и интересных явлений, как Гоголь у Марселя Марсо, Альфред де Мюссе на сцене театра Вилара и спектакль Мишеля Витольда, поставившего пьесу «12 мужчин

во гневе» американского писателя Реджинальда Роза.

Пластично и точно описание (то есть описание, в которое включен истинно художественный анализ искусства) трех очень различных по стилистике произведений, пронизанных одной идеей — защиты человека. Пробуждения человека от эгоизма, от чувства опустошенности, от одиночества, от равнодушия. Пробуждения также и от эпикурейской иронии. Обретения сложного чувства человечности.

С этой точки зрения прекрасно — в описании Г. Бояджиева — ироничное и горькое, полное задумчивости финальное преображение Жерара Филипа в роли Оттавио, опечаленного героя Мюссе.

Магия преображения — повседневная профессия и поэзия Марселя Марсо. Смешная и грустная, чуть осенняя поэзия. Но она-то и скрыта в атмосфере современного Парижа. Эту поэзию уловил Бояджиев в зарисовках пластических миниатюр артиста, нелепых и трогательных переживаний его лирического героя, его наивных моноспектаклей и его уникального в своем роде шедевра — гоголевской «Шинели». Нужно действительно быть поэтом на сцене, чтобы щемящую гоголевскую прозу «Шинели», чтобы стон Акакия Акакиевича — «Зачем вы меня обижаете?» — перевести на язык ритмов и пластики, на актерский язык. И нужно быть очень умным критиком и очень современным человеком, чтобы в гопаке французского мима не только не усмотреть «ничего предосудительного» для русского гения, но, напротив, утвердить общечеловеческую правоту артиста и торжество Гоголя в его творении, как это сделал Бояджиев.

Исследователя привлекает и публицистический поворот той же, в сущности, печальной темы в спектакле Мишеля Витольда, в спектакле, где жизнь человека зависит от меры равнодушия двенадцати мужчин, усталых, вспотевших, ко всему привыкших присяжных заседателей, и где равнодушие постепенно переплавляется в гнев против равнодушия, где идет яростная борьба сначала одного против всех, потом всех против последнего, борьба против эгоизма суждений и автоматизма поступков. Разум одерживает верх над автоматизмом привычной и комфортабельной, эгонистичной системы поступков, и пробужденное наконец в каждом чувство ответственности спасает не только жизнь невинного, но самую идею

справедливости. Разбор этого спектакля — едва ли не лучшее место в книге.

Характерно, что именно эти произведения больше всего понравились Г. Бояджиеву в Париже: они обладают страстной программностью, они позитивны по своей идее, романтичны. Характерно также, что автору удалось лучше проанализировать то, что увлекло его мысль и воображение, чем то, что он хотел бы опровергнуть или оспорить. Говорят, что анализировать хорошее или понравившееся труднее. Критиковать — легче. В таком случае Г. Бояджиеву удалась именно наиболее трудная часть задачи.

Но вот дело принимает — а это в Париже неизбежно — сатирический оборот. Говорят, что чувство меры — черта специфически французская. И выражается она, в частности, и в упрямом стремлении установить истинные пропорции и границы явления, перевернув его, посмотрев на него и с другой, комической стороны. Это традиционно для французского театра, на подмостках которого всегда рядом с романтикой и трагедией властвовал смех. И кому, как не Г. Бояджиеву, этого не знать!

Тем не менее современной парижской сатире в книге и восприятии Г. Бояджиева не очень повезло. Когда к рампе французских подмостков на линию обороны человека выходят сатирики, когда Париж в театре смеется — прежде всего над собой, конечно, — тогда ослабевает присущее критику ощущение контакта между театром и современностью.

Смеясь над собой, парижане немилосердно преувеличивают («Мы все смешны», — «жалуется» Жан Ануй; по его словам, именно это открыл Мольер) или столь же безбожно преуменьшают: могут, например, объект сатиры — окружающий мир лжи и продажи — уменьшить до размеров обыкновенного, непроницаемого яйца («Яйцо». Фелисьена Марсо в постановке Андре Барсака, театр «Ателье»). А сатирическую проблему свести к вопросу: как же проникнуть в яйцо, в этот «предмет без щелки», в мир удачи? Превосходно описан Г. Бояджиевым весь этот нашумевший в Париже спектакль, почти музыкально, я бы сказала, передана игра актера Жака Дюби, который по роли смешно размышляет над тем, с какого же конца ему «взломать» это «яйцо», пока наконец не обнаруживает, что совершенно неважно, с какого конца его разбивать, да и

не нужно — нужно только приловчиться катить его туда, куда ветер дует. И дело будет в шляпе, то бишь в яйце. Тайна пресуевания в мире обмана будет в твоих руках, ты покатишься по дорожке буржуазного успеха, приспособляясь к действительности и не замечая тех, кто с ней борется. Но, рассказав, Г. Бояджиев вдруг замомневался: не слишком ли черна картина пьесы? Но позвольте, вы же сами метко говорите о «куце кругозоре» и лицемерной «приказчицей душе» героя?

Картина этой пьесы как раз недостаточно черна, ибо она не задает французского обывателя за живое, не оскорбляет, не раздражает его, скорее позволяет, как говорится, «успокоиться на достигнутом».

Недавно мне посчастливилось отчасти повторить маршрут Г. Бояджиева, побывать в Париже и посмотреть некоторые спектакли, о которых он рассказал. Однажды вечером в Париже мы с моими товарищами шли по глухой, пустынной, крохотной, как самый старенький из арбатских переулков, улочке. Мы только что побывали в приютившемся на этой улочке театре парижских задворков. У нас было бодрое и в то же время грустное настроение. Бодрое оттого, что нам всем понравился остроумный спектакль, грустное оттого, что нам было жаль превосходных артистов, вынужденных работать в таких условиях. Я никогда в жизни не видела столь богатого театрального помещения. Думалось: так вот куда загоняют во Франции сатиру! В какую-то каморку под лестницей. Сцена с пятак; ни о какой «сценической технике» тут и не помышляют, конечно; касса чуть не на улице. Да и вообще ничего здесь нет от театра, кроме «только» актеров и публики.

И этого оказалось достаточно. Мы были в настоящем театре. Здесь зал не пустует. Публика очень живо и чутко реагировала на сатирические скетчи о парижском мещанстве. А артисты — они поразили всех нас талантливостью игры, чистым, серьезным отношением к искусству и сценической культурой. Я шла по глухой улочке и думала: как это странно — встретить в столь неожиданном месте столь блестящее владение законами системы Станиславского!

Не могло быть ни малейшего сомнения: артисты исполняли свои сатирические сценки с точнейшей психологической логикой. Это сочетание невесомого «парижского жанра» словесных петард со спокойной

актерской точностью и правдивостью житейски конкретных физических действий дало неожиданнейший художественный эффект. Каждый из этих первоклассных артистов нашел бы себе работу в любой другой труппе Парижа. Однако они не уходят. Они четвертый год играют одно и то же, высмеивая с убежденностью первого вечера того самого «изолированного в своей скорлупе» парижского обывателя, которого я уже встречала в Париже и узнала в игре артистов этого театра, умело прикрывающих откровенной нелепостью сюжетов точность своих сатирических адресов.

В первой одноактной пьеске изображается и высмеивается тупой автоматизм мещанского быта супругов, которых не связывает ничто, кроме страсти к сплетням и чванства, и которые настолько чужды друг другу и настолько лишены всего духовного, что только в спальне вспоминают о том, что они «знакомы». Во второй пьеске обстрелу смехом подвергаются мещанство мысли, автоматизм мышления, то вежливый, то наглый, разыгрывается «урок» дрессировки сознания готовыми истинами, изблещается отупляющий догматизм школьного преподавания. Это зубастая сатира. Особенно в условиях буржуазной столицы.

После спектакля к нам подошел и с застенчивой улыбкой заговорил по-русски скромно одетый человек. Оказалось, что это Николя Батайль, художественный руководитель и актер театра. На вопрос, почему они играют только эти пьесы, Батайль ответил: «Надо ведь как-то бороться с мещанством. Персонажи с серьезным видом произносят пошлости. Зрители, конечно, смеются. А ведь это не только смешно. Это грустно, это очень грустно, и этого еще так много у нас в Париже».

Читатель уже законно упрекает меня за то, что я забыла упомянуть название скетчей и имя их автора. Я это сделала для того, чтобы подчеркнуть практическое значение и смысл работы данного театра. Если забыть на минуту, что речь идет о пьесах «ниспровергателя разума» Эжена Ионеско, то окажется, что звучание его ранних пьес «Лысая певица» и «Урок» в театрике Ла Юшет гораздо современнее, яснее, конкретнее, чем это показалось Г. Бояджиеву. В сценическом воплощении и интерпретации этих простейших по содержанию, но хлестких и злых пьес, с ненавистью высмеивающих мещанский «здравый смысл» и быва-

тельскую логику, нет ровно ничего inferнального. Не стоит преувеличивать. Этак можно любой эстрадный помер на тему о «неполадках в продпалатке» раздуть до размеров философии «абсурда», а обычные сатирические метаморфозы принять за сюрреализм. У каждого народа своя манера смеяться, своя «продпалатка» и свои «неполадки». Разумеется, ранние пьесы Ионеско в своих сюжетах построены на анекдоте. Но они вовсе не абсурдны и не абстрактны, как это показалось Г. Бояджиеву. Они весьма язвительны. И спектакль, о котором пишет Г. Бояджиев, не анекдотическая случайность и не прихоть снобов. Это способ высмеять то, что буржуа вовсе не хотели бы высмеивать.

Да, с Ионеско надо спорить, и спорить всерьез, ибо в некоторых других произведениях своей «хочущей драматургии» он, выразив настроения политической растерянности и бессилия, объявлял любые идеи и идеалы несостоятельными, а общественный разум — оскандалившимся. Но последняя его трехактная пьеса «Носорог» в форме фантастических образов доказывает, развивает и договаривает до конца именно то, что было намечено в его ранних вещах: процесс превращения болотного мира мещан, дельцов, демагогов и догматиков в воющий «бедлам нелюдей», в животных, среди которых человека — по Ионеско — может спасти лишь огромная сила стойкости. яростное сопротивление сгладной «психологии носорогов». Образ Носорога воспринимается как символическое обозначение одичания, озверения людей, подпавших под власть бесчеловечной милитаристской идеологии. Эти фантастические звери Эжена Ионеско несут с собой предчувствие шовинистического кошмара, запах войны. Не-

даром далекий от коммунистических взглядов крупнейший современный французский режиссер и актер Жан-Луи Барро увидел и талантливо воплотил в «Носороге» злую антифашистскую и антирасистскую сатиру. Уже одно это обстоятельство само по себе показывает большие возможности, заложенные в художественной методологии Ионеско, и позволяет с надеждой смотреть в будущее драматурга. Если Ионеско не изменит собственному таланту, то, надо думать, он сумеет свою любовь к отдельному человеку расширить до пределов любви к трудовому народу.

Во всяком случае, спектакль в переулке Ла Юшет должен был бы послужить критике веским социальным аргументом в анализе современной французской сатиры. Но уж никак не наоборот. И тут нужно говорить о сложном взаимодействии направлений французского театра современности — от Барро до Сартра, от Вилара до Ионеско. Нужно анализировать и отжившие формы псевдореализма, охраняющего буржуазный образ жизни, и многочисленные современные формы реализма критического, борющегося и протестующего.

Первая книга советского театрального критика о современном зарубежном театре выпущена издательством «Искусство» в рекордно быстрый срок, так что вынесенное автором в заглавие слово «сегодня» не успело утратить своей свежести. Ощущение этого парижского «сегодня» передают и выразительные иллюстрации и сделанная с большим вкусом художником А. Гончаровым обложка.

С обложки смотрит на нас задумчивый, чуть грустный и не очень в себе уверенный театральный Париж.

Татьяна БАЧЕЛИС.

★

РАЗГОВОРЫ В СОЧЕЛЬНИК

В р а т и с л а в Б л а ж е к. Щедрый вечер. Пьеса, Авторизованный перевод с чешского и сценическая редакция Б. Амелина. «Театр», № 9, 1960.

Большинство вещей, окружающих нас, мы видим невооруженным глазом. Даже спутник Земли. Об этом так прямо и пишут в газетах: доступен визуальному наблюдению в таких-то градусах широты и долготы. Но что там делается внутри спутника? Об этом сообщает специальная аппаратура.

Красноватый зрачок Марса мы часто видим на ночном небе, но, чтобы различить паутину его каналов, необходим исполненный телескоп.

Размах жилищного строительства в странах социализма трудно не увидеть простым глазом. Бесконечные кварталы новых домов

в Москве, Праге, Варшаве, Бухаресте, а ночью миллионы огоньков покрывают землю. Но что там делается внутри этих домов за шторами, портьерами и жалюзи? Почему вдруг кто-то выходит зимой на балкон и курит там целый час, а кто-то другой вообще исчезает из дому в сочельник и возвращается только к утру? Что там происходит, в этих коробках с идеальными геометрическими линиями?

Об этом нам сообщает искусство.

Вообще-то все это не так уж сложно. Берется на выбор какой-нибудь дом, в нем какая-нибудь квартира, снимается наружная стенка — и получается театр.

Нет, говорит искушенный зритель, театр так не получится. Что можно увидеть таким образом? Некий молодой человек подглядывает в ванную, где моется хорошенькая соседка. Кто-то просит у кого-то ломтик лимона. Слушают музыку, едят, моют посуду, ругаются. Это не театр. В театре нужна густота, конденсация. Хотите показать нам современную квартиру? Прекрасно, но пусть это будет про весь дом, про весь город, про весь мир. И чтобы был бой. Любая хорошая пьеса (даже камерная) — это схватка. Нельзя просто снять стенку и показывать быт. Тут должна быть пущена в ход «специальная аппаратура» искусства.

Эта «аппаратура» пущена на полную мощность в пьесе молодого чешского драматурга Вратислава Блажека «Щедрый вечер».

Бой в современной квартире? Кастрюльная баталия? Дуэль на мясорубках? Да нет, иронизировать, конечно, можно сколько угодно, но тут дело обстоит серьезнее. «Серьезная комедия» — так и определяет жанр своей пьесы автор. Психологические и идейные столкновения происходят на бытовом фоне, неизбежно несущем в себе элементы комизма. Да, в жизни все это прекрасно уживается рядом — смешное и суровое, кухонная возня и душевная драма.

Бой, но между кем и кем? Кто враждующие стороны? Отцы и дети? Вечный проклятый вопрос — неужели он неразрешим и в социалистическом обществе? С первого взгляда может показаться, что это именно так.

Отец — партийный работник, старый подпольщик, человек, который спит четыре часа в сутки. Сын — любитель рок-н-ролла и пиджаков с разрезами. Какая пропасть ле-

жит между ними! И Ганка, любимая дочь, гоже не дает жить спокойно. Оказывается, она меньше думает о том, чтобы стать «новой Кюри», а больше о любви и замужестве. Она приводит в дом на сочельник своего жениха, какого-то двадцатилетнего «инглиста». Она, оказывается, уже беременна от этого негодяя!

«Взрослая дочь и старый отец — пожалуй, единственное противоречие, которое не может разрешить никакой социальной строй», — думает Отец.

А Двадцатилетний? Этот непрощеный гость, этот чужак? Это уж, пожалуй, вообще темная личность. Он, оказывается, даже не относится положительно к народно-демократическому строю, он к нему «никак не относится». Он нахал. Он бросает в лицо Отцу страшное: «А что вы о ней (о Кизиш. — В. А.) знаете?» Это революционер, бывшему подпольщику, борцу, труженику!

Итак, расстановка сил как будто ясна. С одной стороны, сорокалетние самоотверженные и непримиримые борцы, с другой — двадцатилетние стилиги, инглисты, обыватели, «смешные, наглые...».

Но что-то тут все-таки не то. Что-то не то — это ясно нам с первого действия. Оказывается, стилига Карел мечтает выучиться и обводнить Сахару, изобрести таблетку против рака, слетать на Венеру. Оказывается, юная Ганка глубоко уважает жизнь и борьбу своего отца и не отделяет себя от этой борьбы. Оказывается, Двадцатилетний видит смысл своей жизни в «единственной справедливой борьбе, в борьбе против бесправия».

Но ведь в этом смысле жизни и Сорокалетнего (назовем Отца так, самовольно приподняв первую букву слова «сорокалетний»). Так неужели он и Двадцатилетний оказались по разные стороны баррикады или хотя бы не на одной ее стороне?

Откуда он взялся, этот сопляк? Откуда вообще берутся такие сопляки на тринадцатом году народной власти?

«С нашей что-нибудь не в порядке? Невинная жертва классовой борьбы?» — иронически спрашивает раздраженный Отец.

Нет, отец Двадцатилетнего не жертва классовой борьбы. Это трудящийся интеллигент, который всю жизнь стремился дать сыну приличное образование и внушить ему идеалы добра и справедливости.

У Двдцатилетнего был отличный аттестат зрелости и ужасающая характеристика для поступления в институт: «Индивидуалист, заносчив, отгородился от коллектива... высмеивает работу молодежной организации... не скрывает иронического отношения к нашей действительности». Он гордо предъявил эту характеристику приемной комиссии, он как бы со стороны любовался своей отвагой. Он не сказал, что не согласен с тем, что там написано, хотя удивленные члены комиссии и пытались вытянуть у него эти слова. Он не защищался, и это был его бой. Бой с ветряными мельницами, но он этого не знал.

Этот бой он начал с тринадцати лет, когда его товарища за социальное происхождение исключили из пионеров. Тогда и он снял с себя галстук. Он отказался ответить на вопрос комиссии, почему он иронически относится к действительности, и пошел грузить мебель вместе со своим «неблагонадежным» другом.

Кто же он, этот Двдцатилетний? «Сердитый молодой человек» из тех, о которых нам рассказали современные английские и американские писатели? Да, он сердит, он отгородился от общества, но в общем-то он совсем другой. Наш герой воспитан на высших идеалах добра и справедливости, на таких произведениях, как замечательный рассказ Яна Дрды «Высший принцип». Он воспитан социализмом, как ни крутись. Но он поставил знак равенства между всем обществом, с одной стороны, и бюрократами, подхалимами и пролазами — с другой, и именно поэтому он бросил в лицо Отцу: «А что вы о ней (о жизни.— В. А.) знаете?»

И Отец уходит ночью в сочельник из дому, ибо все это ему уже неважно — сурпризы, которые преподносит Ганка, магнитофон и пиджаки Карела, нравоучения Бабушки, нитье соседа Адвоката и страшное обвинение, брошенное ему в лицо двадцатилетним сопляком, и смутное, подсознательное чувство — а может быть, он в чем-то прав?

Бойцы идут в авангарде, знамя прямо над головой, победа близка — в такие минуты забываешь об обозе. Даже не думаешь о том, что в обозе наступающей армии, может быть, шуруют проходимцы и ловчицы. Даже мысли об этом не допускаешь.

В первомаяский праздник радостно смотреть с трибун на ликующее море людей и

совершенно не хочется думать о тех, кто ликует изо всех сил, ликует больше любого пролетария, ликует, как Адвокат.

В сочельник люди не ликуют. В сочельник большинство мечтает, а некоторые тоскуют по своим утраченным конторам и колбасным фабрикам, в сочельник танцуют и целуются молодожены, а кто-то остался один и грустит, кто-то, довольный собой, хлещет пиво. Большинство — в кругу семьи, а Отец идет по ночной Праге, засыпанной мягким снегом, сверкающей мягкими огоньками. Он входит в ночную закусочную, поднимается в квартиры незнакомых людей и задает им неприятные вопросы. Он должен узнать — кто он, этот будущий муж Ганки? Свой или чужой? Друг или враг?

Перед ним один за другим встают люди из жизни Двдцатилетнего. Статный мужчина — бывший владелец магазина, ныне образцовый работник. Он развивает перед Отцом свою философию: «Жизнь — это колбаса с двумя концами... Один конец — это начало, а другой конец — это... конец. И только от тебя зависит, чем ты ее набьешь... Жизнь — это... вода. В которую тебя бросают... надо плыть по течению».

«Борца против несправедливости» не приняли в институт, а вот сына Статного приняли, ибо он с толком набил свою колбасу — подписывался на пионерские журналы, пел в хоре, стал сознательным членом Союза молодежи. Колбасник торжествует.

«Разве такое возможно?» — в смятении спрашивает себя Отец.

Бывшая пионервожатая Вагнерова. Это она в свое время настояла на исключении из пионеров товарища Двдцатилетнего.

«По политической линии все было в порядке... Я ни минуты не сомневаюсь в том, что он честный мальчик... Он же был сыном помещика».

Смазливое лицо молодой женщины, и пустые рыбы глаза.

«Что фальшиво по человеческой линии, неверно и по политической!» — кричит через сцену Двдцатилетний. Но такую ничем не пробьешь. Единственное, о чем она жалеет, это о том, что вся ее работа с пионерами не принесла плодов. «В Варшаву не попала, на Московский фестиваль не взяли. О Вене я даже и не говорю».

«Разве такое возможно?» — думает Отец.

Блуждая по ночным пражским улицам, он понимает, что на какое-то время забыл об обозе. Ведь что получается? Адвокат, у которого отобрали контору, обижен на народную демократию. Двадцатилетний, на веру которого посягнули бюрократы, тоже обижен на народную демократию. В лагере обиженных рядом оказались нечистоплотный делец и честный юноша. Разве такое возможно?

«Не сажайте нас рядом», — категорически заявляет Двадцатилетний. Отцу и раньше уже стало ясно, что не народная демократия обидела Двадцатилетнего, не на нее он сердит. Он невзлюбил бюрократов и юных буквоедов со смазливими личиками и рыбьими глазами, приспособленцев-колбасников — людишек, шурующих в обозе. Он невзлюбил их и объявил им свою смешную войну — с ироническим видом отошел в сторону. Он, этот Двадцатилетний, — самоуверенный, запутанный, смешной, но он наш, наш!

«Я б никогда не принял его в семью, — говорит Отец, — если б не понял, что он к ней принадлежит».

Бой? Да! Бой идет, но не между отцами и детьми.

Двадцатилетние борются против несправедливости, и они не одиночки в этой борьбе. Сорокалетние ведут бой вместе с двадцатилетними.

Можно совершенно определенно сказать, что талантливая и смелая пьеса Вратислава Блажека своей главной тенденцией перекликается с такими советскими пьесами, как «Неравный бой» В. Розова и «Друг мой, Колька!» А. Хмелика. Это главная тенденция — борьба за чистоту и пламенность жизни, против ханжества, казенщины, против бюрократизма и приспособленчества, против всякой пакости, которая еще сует вокруг, камуфлируясь демагогической фразеологией.

Виктор Розов прав — бой идет неравный. Превосходящие силы на стороне Честности, Искренности, на стороне Революции. И молодежь на этой стороне, ибо она плоть от плоти социалистического общества.

«Смотрите, — говорят до сих пор некоторые мрачные личности, — у них брюки узкие, как у американцев».

«Когда я выучусь и обводню Сахару или изобрету таблетку от рака, — отвечает Карел, — никто не спросит, что я носил, когда мне было семнадцать лет». И это очень верно!

Мы уже говорили о «специальной аппаратуре» искусства, пущенной на полный ход в пьесе Вратислава Блажека. Нужно еще добавить, что это совершенно современная аппаратура. Блажек прекрасно доказывает правильность лозунга Маяковского: «Театр не отображающее зеркало, а — увеличивающее стекло». Автор знает тайны сцены и ее неисчерпаемые возможности. Предельно лаконичные декорации (обусловленные в ремарках), гибкое использование авансцены, свободное смещение планов обеспечивают необходимый динамический ритм и контакт со зрительным залом. Интересно и очень театрально применяет автор прием вскрытия подтекста. Герои говорят о лимоне, о посуде, о снеге, потом начинают рассерженно выкладывать друг другу неприятные истины. И вдруг Отец или Бабушка, обращаясь к публике, сообщают, что вообще-то у них в квартире так не говорят, так только думают частенько, а сейчас все это говорится для ускорения действия.

Все образы пьесы ярко индивидуальны. Особенно впечатляет образ Отца. На протяжении всего действия он не произносит ни одной высокопарной фразы. Любимое его оружие — ирония, мягкая, так сказать, подводная. В его человеческой душе находится место для страха, растерянности и для смятения, но в то же время в нем такая сила, которую не сломишь ничем.

Отец, Бабушка, Двадцатилетний, Адвокат, Статный, Второй... Называя так своих героев, автор полемически заостряет их образы, и в силу этого они несут в себе элементы декларативности. Но нам это кажется достоинством, а не недостатком.

«Щедры вечер» Вратислава Блажека — боевая пьеса.

В. АКСЕНОВ.



Политика и наука

ВОСТОК, РАЗБУЖЕННЫЙ К НОВОЙ ЖИЗНИ

Разбуженный Восток. Записки советских журналистов о визите Н. С. Хрущева в Индию, Бирму, Индонезию, Афганистан. Записи вели: А. Аджубей, Б. Бурков, Ю. Воронов, Ю. Жуков, Л. Ильичев, В. Лебедев, В. Маевский, Ф. Орехов, Н. Пастухов, К. Перовицинов, П. Сатюков, М. Стурра, О. Трояновский, Ю. Трушин, М. Харламов, О. Четкин, Е. Шевелева. Книга первая. 320 стр. Книга вторая. 359 стр. Редактор О. Вадеев. Госполитиздат. М. 1960.

В феврале—марте 1960 года глава Советского правительства Н. С. Хрущев совершил поездку по странам Азии. Он побывал с миссией дружбы и мира в Индии, Бирме, Индонезии и Афганистане. За двадцать четыре дня почти двадцать четыре тысячи километров пролетел его самолет.

Двухтомник «Разбуженный Восток», написанный коллективом авторов-журналистов, сопровождавших Н. С. Хрущева, не просто репортаж об этих волнующих днях и не повесть о чудесах Востока, его экзотике. Читатель почерпнет из этих двух книг ценные сведения о прошлом стран Азии, о труде и борьбе их народов, жаждущих социальной справедливости.

Великая Октябрьская революция оказала решающее влияние на развитие национально-освободительного движения в колониальных странах. Чудесный путь к свободе проделали страны Востока, и прежде всего Китайская Народная Республика, Коре́йская Народно-Демократическая Республика, Демократическая Республика Вьетнам, Монгольская Народная Республика, уверенно идущие теперь к социализму. Но и другие страны Азии пробудились к новой жизни. Народы поняли, что залог победы в борьбе за независимость — солидарность, объединение всех сил для отпора колонизаторам.

Долгие десятилетия длилось колониальное господство Англии в Индии и Бирме, Голландии — в Индонезии, Франции — во Вьетнаме. Тяжелое наследие осталось народам, после того как они добились независимости. Мрачные следы колониализма ощущаются на каждом шагу. Авторы книги правдиво, без прикрас рассказывают о трудностях, о еще не решенных проблемах на пути развития независимых азиатских государств.

Колониальные державы стремятся любой ценой закрепить в своих бывших владениях. Экономическое давление, проникновение в народное хозяйство под видом «помощи», долларовые и стерлинговые подач-

ки, политический нажим — таковы излюбленные методы империалистов.

Но народы Востока научились отличать друзей от врагов. Жизнь дает убедительные примеры коварных замыслов колонизаторов. Едва была предоставлена независимость колголезцам, западные державы стали подбивать спокойствие и порядок в стране, посадить марионеток, посылать оружие врагам народа. Империалисты открыто вмешиваются во внутренние дела Кубы и других стран Латинской Америки, шантажируют и запугивают, готовят вооруженное вмешательство.

В Советском Союзе миллионные массы Азии видят искреннего, бескорыстного друга.

Индия была первым этапом пути Н. С. Хрущева в его поездке по Азии. Давние традиционные связи, насчитывающие более двух тысячелетий, роднят Индию и нашу страну. И если возникали препятствия на пути дружбы двух великих народов, то это были искусственные преграды, созданные империалистами.

Британский колониализм душил индийскую культуру, грабил страну, разорял ее на протяжении долгих лет. Мужественно боролись за свободу, за право самим управлять своим государством индийские патриоты. Но и сейчас вчерашние колонизаторы цепляются за старое, отжившее в Индии, используют ее трудности, хотя в оплату «помощи» получить право на эксплуатацию естественных богатств. Народам Индии приходится опасаться еще одного коварного врага — это американский империализм. США активно вытесняют своих «младших партнеров» — англичан.

Индийскому правительству нелегко освободиться от иностранной зависимости. Низкий уровень развития сельского хозяйства и в связи с этим недостаточные урожаи культур заставляют ежегодно ввозить миллионы тонн зерна из-за границы. Во многих деревнях люди недоедают; миллионы кре-

стьян и сельскохозяйственных рабочих до сих пор не получили земли — далеко не везде проведена земельная реформа. Сохранилось помещичье землевладение. Этим пользуются американские монополии.

Индия ищет новых путей решения жгучих, неотложных проблем. Никита Сергеевич с огромным интересом отнесся к положению в сельском хозяйстве. Он беседовал с индийскими крестьянами, с молодыми специалистами-агрономами, беседовал как друг, готовый помочь советом, оказать бескорыстную помощь индийским друзьям.

Очень интересны страницы, рассказывающие о посещении Никитой Сергеевичем сельскохозяйственной фермы в Суратгархе. Это не обычная ферма. В 1955 году советская правительственная делегация обещала помочь возрождению выжженной земли Суратгарха. Начали прибывать советские машины и оборудование. Советские специалисты возглавили борьбу индийских крестьян с природой. Прошло пять лет. Теперь крестьяне собирают отличный урожай. Зерно, хлопок, кормовые травы произрастают в бывшей пустыне.

С волнением читаешь и о посещении Н. С. Хрущевым гигантского металлургического комбината, построенного советскими специалистами в Бхилаи. Вокруг комбината вырос индустриальный город новой Индии, с прямыми улицами, магазинами, театрами и школами, клубами и отелями. Когда Советский Союз предложил Индии построить на индийской земле современный металлургический завод, бывший посол США в Индии Честер Боулс заявил, что это «выходит за пределы экономических возможностей России». Жизнь, как не раз прежде, опрокинула эти горе-прогнозы. «Теперь не к чему указывать в сводке, где находится Бхилаи,— пишут авторы книги «Разбуженный Восток».— Ночью его зарево, словно гигантский маяк, освещает путь воздушным кораблям. Огни Бхилаи заслоняют яркий свет звезд тропического неба Индии. Днем завод — этот могучий труженик национальной индийской индустрии — виден с самолета за десятки километров.

Бхилаи видит вся Индия.

Бхилаи видит вся Азия, потому что это символ великой мечты народов о независимости и прогрессе, о дружбе и равноправии».

Суратгарх и Бхилаи — символы бескорыстного, дружеского отношения Советского Союза к слаборазвитым странам, недавно вступившим на путь независимости.

История Бирмы — второй страны, которую посетил глава Советского правительства, — насчитывает пять тысяч лет. Сто лет хозяйничали в стране английские колонизаторы. Тринадцать лет прошло с тех пор, как в январе 1948 года над Бирмой взвился флаг независимости.

«Флаг Бирмы красного цвета с темно-голубым квадратом в верхнем углу у древка. В этот квадрат вписаны большая пятиконечная белая звезда и вокруг ее лучей пять белых звезд меньшего размера. Красное поле и большая звезда воспроизводят флаг Антифашистского движения сопротивления бирманского народа. Меньшие пять звезд символизируют союз бирманцев, каренов, шанов, качинов и чингов — наиболее многочисленных национальностей, из которых состоит население республики. Звезды на флаге — это символ прогресса, белый цвет — символ чистоты и истины, темно-голубой — свидетельство стремления к миру, а красный — символ храбрости, решительности и единства, напоминание о пролитой бирманским народом крови в борьбе за свое освобождение».

Колониализм оставил страшные следы на теле Бирмы. Некогда число грамотных здесь было больше, чем в Англии, а в 1946 году осталось всего семьдесят пять средних, пятьдесят неполных средних и меньше полутората тысяч начальных школ. Малярия и туберкулез стали подлинным бедствием. Англия превратила Бирму в свой экономический придаток, тормозила ее развитие. Огнем смерчем пронеслась по стране вторая мировая война.

А теперь? Бирманское правительство во главе с У Нгу заботится о создании национальной экономики, вкладывает большие средства в развитие горнодобывающей и нефтеочистительной промышленности. Все это препятствует проникновению западных капиталов. Нельзя забывать, что США уделяют все большее внимание Бирме. Американские миссии, посланные «фондом экономического развития США», не жалеют средств и ассигнуют миллионы долларов на капиталовложения в Бирму. И чтобы было проще и удобнее действовать в стране, они стараются ослабить ее политически,

насаждают сепаратистские настроения в ряде провинций: раздробленную страну легче прибрать к рукам. Старые, испытанные методы!

Правительство Бирмы проводит политику неучастия в военных блоках, является сторонником мирного сосуществования и нейтралитета.

«Хрущев, мар бар сай»,— эти слова приветствия сопровождали главу Советского правительства во время его путешествия в Бирму. Не помогли происки врагов советско-бирманской дружбы.

«Мы покидаем Рангун с чувством искреннего удовлетворения,— говорил Н. С. Хрущев в своей речи после возвращения на Родину,— так как еще раз убедились, что отношения между Советским Союзом и Бирмой находятся на правильном пути. По основным вопросам борьбы за мир, борьбы против колониализма мы имеем общую линию. Наши цели совпадают».

Индонезии и Афганистану посвящена вторая книга двухтомника «Разбуженный Восток». Чудесной страной предстает Индонезия, расположенная на трех тысячах зеленых островов. Природа ее необычайно красива. Авторы, сумев передать прелесть Индонезии, в основном посвятили свой рассказ ее народу, встречам и душевным беседам Никиты Сергеевича Хрущева с государственными деятелями и простыми людьми.

Никита Сергеевич объездил всю страну— побывал в Джаккарте, Богаре, Бандунге, Джокьякарте, Сурабае, на острове Бали. Он видел тяжкое наследие прошлого и ростки нового, воочию убедился в стремлении индонезийского народа к мирной жизни. Авторы книги рассказывают о трудной борьбе народа Индонезии за независимость, о происках империалистов. До сего времени ис-

конная часть индонезийской территории — Западный Ириан — находится под гнетом голландских колонизаторов. На протяжении последних лет одна провокация сменяла другую. К бдительности, сплоченности, мужеству призвал индонезийцев Н. С. Хрущев.

Афганистан, горная, суровая страна,— последний этап большого пути главы Советского правительства. Еще в 1919 году В. И. Ленин заявил о готовности Советской России обменяться послами с Афганистаном. С тех пор дружба наших стран успешно развивалась. В 1955 году с визитом в Афганистане побывала советская правительственная делегация. В настоящее время можно видеть плоды щедрой экономической помощи, оказанной Афганистану Советским Союзом. Примеры видны на каждом шагу. Джангалакский авторемонтный завод, гидроэлектростанция в Пули-Хумри № 2, автожелезная дорога через Гиндукушский хребет, Баграмский и Кабульский аэродромы и многие другие объекты строятся при помощи советских специалистов.

Визит Н. С. Хрущева в Афганистан способствовал дальнейшему укреплению добрососедских отношений, дружбы и сотрудничества между нашими странами.

Двухтомник «Разбуженный Восток» помогает глубже понять события, происходящие в Азии, позволяет лучше узнать народы Востока, пробудившиеся к новой жизни. «Поднялись, пришли в движение народы Востока, и они предъявляют свои права,— сказал Н. С. Хрущев.— Сбрасывая цепи колониализма, они расправляют свои могучие плечи, развертывают способности и возможности своих стран».

Под впечатлением этих полных оптимизма слов остаешься, когда закрываешь последнюю страницу двухтомника.

А. БЕЛЬСКАЯ.

★

РОЖДЕННЫЕ ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ

П. А. Прозоров. Колхоз и коммунизм. Литературная запись И. А. Циното.
Редактор Н. Полякова. Госполитиздат. М. 1960. 96 стр.

Имя Петра Алексеевича Прозорова, старейшего председателя колхоза, дважды Героя Социалистического Труда, широко известно в нашей стране как имя человека, отдавшего всю свою жизнь строительству новой, коммунистической деревни.

Перелистывая страницы его книги «Кол-

хоз и коммунизм», мы видим, каким могучим вихрем ворвался Октябрь в глухую деревню Чекоты, Вожгальской волости, Вятской губернии (ныне Кировская область). Интересы здешних крестьян не выходили далее околицы. Люди жили по пословице «Моя хата с краю — ничего не знаю». Но

великие перемены пришли и в деревню и в хату. Кругозор крестьян расширился. Давнишние их мечты стали осуществляться.

Уже в 1919 году уроженец этих мест П. А. Прозоров, вернувшись с гражданской войны, вместе с бедняками однополчанами организует одну из первых в стране сельскохозяйственных коммун. В деревне Чекоты строится большое двухэтажное здание — общий жилой дом для всех членов коммуны. Обобществляется все — вплоть до мисок, до столовых ложек.

Крестьяне перенесли в коммуну порядки и обычаи, существовавшие прежде в патриархальной крестьянской семье. Доходы в коммуне распределялись только в зависимости от нуждемости коммунаров, без учета их участия в общественном производстве. В этой уравниловке была слабая сторона коммуны. Жизнь показала, что это не создает материальной заинтересованности в повышении производительности труда и не обеспечивает ни личных, ни общественных интересов. Вот почему коммуна позднее приняла устав сельскохозяйственной артели.

П. А. Прозоров поставил эпиграфом к своей книге замечательные ленинские слова о том, что «Начиная социалистические преобразования, мы должны ясно поставить перед собой цель, к которой эти преобразования, в конце концов, направлены, именно цель создания коммунистического общества...».

С момента организации колхоза и вплоть до сегодняшнего дня каждый шаг своей деятельности П. А. Прозоров и его колхозные друзья рассматривают с точки зрения достижения великой цели: весь путь колхоза «Красный Октябрь» — это путь неустанных поисков быстрого продвижения колхозного крестьянства к коммунизму. Сколько нового, передового было и есть в практике работы этого замечательного коллективного хозяйства!

Быстро сменяются годы... Колхоз развивается, собирает высокие урожаи, производит все больше животноводческой продукции. Полновесным становится колхозный трудодень, увеличиваются неделимые фонды. В колхозе появляется прекрасный Дом культуры, выстроены общественная столовая, баня, мастерские бытового обслуживания, различные производственные объекты. Впервые в стране создается свой, колхозный санаторий,

Три раза укрупнялся колхоз, и последнее укрупнение, в конце 1958 года, превратило его в колхоз-гигант. Сейчас он объединяет сто тридцать семь деревень и сел.

В действиях краснооктябрьцев много общего с почином Валентины Гагановой. Но здесь весь коллектив объединился с большой группой экономически слабых колхозов и общинами усилиями стал поднимать их хозяйство. Понятно, краснооктябрьцы заведомо шли на временное снижение своих доходов. Накопленное их трудом общественное богатство стало достоянием всех слившихся колхозов. А ведь размеры неделимых фондов и доходы некоторых из отстающих колхозов были почти в десять раз меньше, чем у «Красного Октября».

После объединения развернулась кипучая деятельность колхозников. Они стали создавать специализированное производство, строить новые, социалистические поселки. Небольшой, но дружный коллектив «Красного Октября» стал передавать другим свой организационный опыт, свою культуру труда. Огромные перемены произошли в этом хозяйстве. Правильную оценку дал им один крестьянин, вынужденный уехать из этих мест еще задолго до организации колхоза. В письме своим землякам он пишет: «Я хорошо знаю вожгалские земли. Это земли сильно истощенные, которые никогда не давали больше сорока пудов хлеба с десятины. И вот недавно я узнал, что вы собрали по сто пятьдесят и даже по двести пудов. Товарищи, я очень прошу объяснить мне, что вы сделали с землей, ведь не подменили же вы ее. Мне восемьдесят лет, и я едва ли смогу приехать и своими глазами посмотреть на вашу жизнь. Но я не успокоюсь до тех пор, пока не узнаю, как вы добились такого чуда».

А секрет этого «чуда» очень прост. Колхозники сумели наиболее полно использовать преимущества крупного коллективного хозяйства, умело организовать общественное производство. И это позволило обновить землю, сделать ее плодородной.

Переходя к вопросам воспитания нового человека (именно так называется эта глава), П. А. Прозоров доказывает, что сейчас у них в деревне революционной романтики не меньше, чем в первые годы Октябрьской революции. Он страстно спо-

рит с теми, кто считает, что проявления революционной романтики возможны только на военных фронтах или в каких-то исключительных делах. На конкретных фактах из жизни вятской деревни он показывает, что смелость, мужество, революционное новаторство требуются и в повседневной, будничной колхозной жизни.

Книга П. А. Прозорова учит жить с перспективой. «Мы, коммунисты,— говорит он,— всегда жили и живем с мечтой. Помните, Владимир Ильич говорил, что мечта, фантазия есть качество величайшей ценности, что фантазия нужна не только поэту, но даже и математику».

Мечты колхозников, о которых Петр Алексеевич рассказывает в последней главе, реальны, они основаны на лучшем, передовом, что уже есть в нашей действительности.

В своей книге П. А. Прозоров поднимает много вопросов колхозного строительства, решение которых требует упорной и напряженной борьбы всего коллектива. Говоря о передаче техники колхозам, что имеет поистине революционное значение, Прозоров одновременно подчеркивает и другую важную сторону этого дела — некоторую децентрализацию техники и возможную в связи с этим кустарщину в ее использовании. Он выдвигает поэтому предложение о концентрированном использовании в колхозе техники, о централизованных автоколоннах и о многом другом.

В частности, он говорит о важной проблеме — необходимости еще большей индустриализации колхозной деревни, о передаче колхозам местной (сельской) промышленности. Действительно, во многих, особенно в передовых колхозах имеются излишки трудоспособных, и в зимнее вре-

мя труд колхозников используется плохо. В «Красном Октябре» все колхозники заняты круглый год, так как создано свыше десяти различных предприятий — кирпичный и крахмало-паточный заводы, льнозавод и маслозавод, лесообрабатывающие предприятия, столярные и слесарные мастерские, организована первичная обработка сельскохозяйственного сырья.

Опыт колхоза «Красный Октябрь» помогает найти путь правильного сочетания общественного хозяйства колхоза и личного хозяйства колхозников. В колхозе сейчас, как говорят, «два уклада». Одни колхозники (в основном, бывшие коммунары) живут без приусадебного хозяйства, не имеют своих коров, получают молоко и овощи из колхоза. Другая часть колхозников еще обрабатывает свои приусадебные участки и содержит коров. Надо сказать, что колхоз не спешит ликвидировать «многоукладность» своего хозяйства. Пока не будет создана возможность полного обеспечения всех колхозников молоком и овощами, личные приусадебные хозяйства у части колхозников сохраняются. Здесь соблюдается строгая добровольность, нет никакой экономически необоснованной поспешности.

Жаль, что в книге недостаточно раскрыт богатый опыт преодоления трудностей, стоявших на пути развития артельного хозяйства. Можно было бы полнее и ярче сказать о том, как колхоз стал богатым, передовым, организованным. Кое-где чувствуется редакторская поспешность.

Книга «Колхоз и коммунизм» еще раз свидетельствует о том, как далеко шагнуло наше советское крестьянство — от полуфеодальной темноты до активной, революционной жизни строителей самого передового в мире общества.

М. ИЛЬИН.

★

ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

В. А. Радус-Зенькович. Страницы героического прошлого. Воспоминания и статьи. Редактор Л. Иванова. Госполитиздат. М. 1960. 144 стр.

Почти шесть десятилетий тому назад молодой наборщик ленинской «Искры» спросил одного из редакторов, пишет ли он воспоминания. Редактору тогда еще не исполнилось пятидесяти. Рассмеявшись, он заявил, что не настолько стар, чтобы писать мемуары, и сослался при этом на одно

немаловажное обстоятельство: именно к старости в памяти особенно четко выступают события прошлого с самыми поразительными подробностями...

Этим наборщиком был двадцатипятилетний революционер Виктор Алексеевич Ра-

дус-Зенькович, а его собеседником — сорокасемилетний Г. В. Плеханов.

Родившийся в 1877 году и представляющий таким образом поколение русских пролетарских революционеров, непосредственно последовавшее за ленинским, В. А. Радус-Зенькович прожил большую жизнь, связанную с Коммунистической партией с самых первых дней ее зарождения в 1898 году.

Сейчас ему восемьдесят три года, и он на самом себе смог проверить истинность, казалось бы шутливого, замечания о мемуарной литературе. Предваряющее его новую книгу обращение от автора датировано январем 1960 года. Трудно поверить, что книга написана человеком, шагнувшим уже в девятый десяток, — так ясна его мысль, темпераментен стиль, тщательна и точна научно-исследовательская сторона издания.

Перед нами не совсем обычная книга воспоминаний. Она менее всего походит на автобиографическое жизнеописание. Автор необыкновенно скупко говорит о себе, и порой эта скупость, порожденная скромностью, огорчает — так сдержанно и лапидарно рассказывает, например, В. А. Радус-Зенькович о встречах и беседах с Лениным, в которых драгоценна каждая деталь.

В отличие от других мемуаристов автор не строит повествование последовательно-хронологически. Он избирает лишь самые важные события и этапы пути, пройденного им вместе с партией. Книга представляет собой сборник статей и очерков, но автор совершенно прав, когда заявляет во вступительной заметке о надежде на то, что «некоторая кажущаяся разнородность материала, помещенного в данном сборнике, не вызовет упрека». Книга недаром названа «Страницы героического прошлого», а не, скажем, «Страницы моей жизни». Автор рассказывает о себе лишь в связи со всем своим поколением пролетарских революционеров, не ограничиваясь при этом, как мы увидим далее, пределами нашей Родины, а заглядывая и за ее рубежи. К тому же автор считает, что доверять одной только памяти рискованно. «Необходимо, — замечает он, — дополнять и проверять ее фактами, документами. Иначе даже при самых добрых намерениях можно легко впасть в ошибку».

И автор то и дело проверяет память материалами Центрального партийного архива, архива Октябрьской революции и со-

циалистического строительства, архива Красной Армии, наконец, даже Государственного прусского тайного архива за 1901—1904 годы.

Память мемуариста сохранила воспоминания о встречах и беседах с Лениным, которого он «имел счастье неоднократно видеть, слышать» в 1903—1921 годах. Не менее интересны собранные и впервые публикуемые автором исторические документы.

В 1920 году В. А. Радус-Зенькович возглавлял Реввоенсовет 2-й (Поволжской) революционной трудовой армии. В очерке «Ленинское боевое задание», повествующем о постройке железнодорожной линии и нефтепровода Алгай—Эмба, приводится такое суровое предупреждение Владимира Ильича реввоенсоветам Юго-Восточного и Южного фронтов: «Принимая во внимание исключительное значение для Республики успешного окончания работ по устройству линии Красный Кут—Алгай—Эмба, должны быть совершенно исключены взаимные междуведомственные распри, трения и волокита. Все действия, тормозящие успешность работ, будут рассматриваться как измена Республике». Эти и другие личные распоряжения Ленина, также впервые публикуемые в книге, требовали, чтобы для строительства были выделены — в труднейших условиях тех лет — не только обоз в две тысячи лошадей и верблюдов, но и пятьдесят грузовых автомашин и двадцать легковых «с запасными частями, вполне исправных и с запасом горючего».

Читаешь четыре десятилетия спустя приведенные впервые выдержки из этих документов и воочию видишь ленинский стиль государственного руководства с его нетерпимостью к местничеству и волоките, склочникам и бюрократам, с его деловитостью, конкретностью, пристальным вниманием ко всем так называемым «мелочам».

В другом очерке, посвященном первому году существования Казахской республики, автор рассказывает о руководящей роли Владимира Ильича в разработке и осуществлении важнейших государственных актов. Как свидетельствует он, по указанию Владимира Ильича Ленина ЦИК и Совнарком Казахской АССР провели крупнейшие реформы. В данном случае речь идет о декретах, передавших зимой и весной 1921 года трудящимся казахам все земли, отмежеванные царским правительством под

поместья дворян и капиталистов, для монастырей и казачьих войск.

Эти декреты дали казахам несколько миллионов гектаров плодородных земель, сенокосов и выпасов, освободили тысячи казахских хозяйств от кулацкой кабалы. Напомним, что В. А. Радус-Зенькович был председателем Киргизского ревкома и Совета Народных Комиссаров Казахской АССР, возглавляя одновременно Киргизское областное бюро РКП(б). В его очерке кропотливый труд исследователя-историка сочетается с живыми и непосредственными воспоминаниями активного участника исторических событий.

В конце прошлого года исполнилось шестьдесят лет со дня выхода первого номера ленинской «Искры». В связи со столь знаменательной датой особенный интерес представляет содержательный очерк «Из истории транспортировки в Россию социал-демократической литературы».

Автор переносит нас в начало века и рассказывает о знаменитом в свое время Кенигсбергском судебном процессе, с помощью которого прусское правительство пыталось расправиться с немецкими рабочими социал-демократами, помогавшими транспортировать большевистскую литературу и периодическую печать.

Процесс состоялся летом 1904 года и привлек к себе внимание передовой общественности всего мира. На скамью подсудимых прусские жандармы бросили девять рабочих-революционеров, мужественно и самоотверженно осуществлявших идеалы международной пролетарской солидарности.

В. А. Радус-Зенькович, в то время непосредственно участвовавший в издании и транспортировке ленинской «Искры», приводит их имена. Среди обвиняемых особенно выделялись революционной стойкостью докер Фридрих Клейн, парикмахер Макс Новоградский, часовщики Герман Трептау и Август Кугель, сапожник Фердинанд Мертинс, кассир рабочей больницы кассы Отто Браун, еще до процесса четырежды подвергавшийся полицейским репрессиям «за возбуждение классовой ненависти», то есть за смелое разоблачение произвола капиталистов.

Против рабочих выступили сановники царской России и Пруссии. Царский генеральный консул подсовывал суду фальсифицированные «переводы» из социал-демократической литературы, пытаясь приписать

обвиняемым содействие в распространении призывов к террору и прежде всего царевубийству. Для этого царский дипломат придумывал нелепые фразы, одна другой кровожаднее. Он утверждал, в частности, что в пересланной немецкими рабочими в Россию социал-демократической литературе якобы содержались утверждения такого рода: «ничто не спасет Николая II от судьбы Александра II, от кровавой расправы». Всячески жульничали и прусские чиновники.

Защиту возглавил Карл Либкнехт. Зная русский язык, подобно Марксу и Энгельсу, молодой революционер разоблачил лживость всех хитросплетений обвинителей. Он доказал, что подделанные царским консулом мнимые «переводы» министры внутренних дел, юстиции и государственный секретарь Пруссии использовали для провокационных обвинений немецкой социал-демократии.

Прусский прокурор демагогически заявил, что нет ничего постыднее распространявшейся обвиняемыми социал-демократической литературы. В отличие переведенной В. А. Радусом-Зеньковичем речи, полной революционной страсти, Карл Либкнехт так ответил продажному чинуше: «Я знаю кое-что более постыдное. Это русские условия, на которые ссылается нелегальная литература... Цвет русского юношества падает жертвой царизма... Русская литература имеет право на признание ее героической... Через два десятилетия, когда в России произойдут перемены, действия обвиняемых войдут почетной страницей в историю Германии».

История на несколько лет опередила предсказание Карла Либкнехта. «Перемены» произошли в России не в 1924-м, а еще в 1917 году, и ныне имена обвиняемых на Кенигсбергском процессе по праву вошли и в историю большевистской печати и в историю дружбы рабочего класса Германии и России.

Позор Кенигсбергского процесса заклеил в речи, произнесенной в рейхстаге, и тогдашний лидер немецкой социал-демократии Август Бебель. Он характеризовал процесс как неслыханное «моральное и юридическое падение». По его оценке, процесс глубоко скомпрометировал «достоинство Германии во всем культурном мире».

Так единому фронту российско-самодержавной и королевско-прусской полициицины был противопоставлен могучий фронт

пролетарской солидарности. В. А. Радус-Зенькович мастерски воссоздал одну из интереснейших страниц летописи революционного прошлого.

«Знакомство с историей революционной борьбы нашей Коммунистической партии и рабочего класса,— пишет автор в посвящении,— укрепляет у молодежи желание учиться в широком, нльичевском понимании этого слова, готовность беззаветно слу-

жить народу, активно участвовать в общем созидательном труде...» Этому благородному делу действительно помогает рецензируемый сборник. Он рассказывает о делах давно минувших, о событиях полувековой давности. Но подлинно научная историчность не мешает книге быть остро современной по ясному пониманию задач коммунистического воспитания советских людей.

Б. ЯКОВЛЕВ.

★

НАШ СОВРЕМЕННОК В НАУКЕ

Марк Поповский. Путь к сердцу. Редактор К. И. Руткина. Воениздат. М. 1960. 326 стр.

Книга Марка Поповского «Путь к сердцу» имеет подзаголовок «Рассказы о медицине и ее творцах». В шести очерках повествуется о важнейших проблемах современной медицины и о крупнейших советских ученых, посвятивших свою жизнь их решению.

Естественно, задаешься вопросом: удалось ли молодому литератору показать то новое, что отличает наших ученых и нашу науку — науку страны социализма?

Когда мы знакомимся с судьбами ученых Запада — будь то их подлинная жизнь или реалистическое изображение ее в литературе,— мы неизменно сталкиваемся с тем, что роднит их всех. Это — атмосфера одиночества.

Книга М. Поповского всем своим содержанием утверждает совершенно иные формы научного творчества. Коллектив — вот кто творит советскую науку. Каждого героя очерков — хирурга П. А. Куприянова или фармаколога Н. В. Лазарева, патофизиолога И. Р. Петрова или руководителя ожогового отделения профессора Н. С. Колесникова — мы видим окруженным большой группой сотрудников, единомышленников, помощников. Коллективизм, характерный для наших исследовательских учреждений, связан не только с организационными формами клиник и лабораторий. Стремление трудиться сообща, сплачивающее воедино усилия ученых порой разных направлений,— один из основных принципов нашей жизни. Там, где нет духовной эксплуатации ученого, где нет речи о наживе, творчество, очищенное от личных корыстных интересов, становится радостным коллективным процессом.

Профессор П. А. Куприянов, пользуясь новейшими методами, оперировал сердце ребенка, но спасти малыша, выводить его, вырвать из когтей случайной смерти ему помог весь персонал клиники. Еще более осязаемое чувство единства царит в лаборатории профессора И. Р. Петрова. Он и его сотрудники заняты проблемой первостепенной важности — изучением законов умирания и оживления организма. Важное открытие, которое рождается буквально на глазах читателя, творится руками всего коллектива. Даже ошибки, возникающие в процессе лабораторной работы (а какая наука застрахована от ошибок?!), служат еще большей спайке сотрудников лаборатории, молодых и старых, всемирно известных и только начинающих свой путь. «Чувство локтя» ощущаешь и в главе «Целительная сталь» — о создателях новейшего хирургического инструмента, — и в главе «Наука большой мечты» — о фармакологах, ищущих средств борьбы против тяжелейших болезней.

Есть и еще одна черта, неизменно сопутствующая труду наших ученых. Это — подлинный гуманизм.

Автор правильно делает акцент на искренней человеческой любви советского медика к больному. Ведь медицина требует от ученого не только таланта исследователя, но и доброго сердца врача. Недаром наш выдающийся академик В. М. Бехтерев говорил, что хороший медик больше сделает с помощью носового платка, нежели плохой, равнодушный с помощью целой аптеки.

В главе «Человек против огня» перед нами возникают картины отеческой заботы, какой окружают своих мучительно стра-

дающих больных врачи и медсестры ожогового центра. В другой главе мы знакомимся с тем, как по давно заведенной традиции хирурги клиники П. А. Куприянова непременно спускаются в вестибюль, чтобы ободрить родственников больного.

Выдающиеся ученые, которым посвящена книга, показаны не только в условиях их научной деятельности. Мы знакомимся с ними и в иной обстановке, когда они снимают свои белоснежные халаты. Автор выходит за рамки рассказа о человеке в лаборатории, и его герои приобретают свойственные только им индивидуальные черты.

Удачны портреты-характеристики Н. В. Лазарева, И. Р. Петрова, П. А. Куприянова, В. Н. Шамова, А. А. Багдасарова.

Иногда автор как бы сплавляет судьбы людей с судьбой научных проблем. Так построена глава «Человек против огня», где порой несколькими штрихами нарисованы и портреты больных. В книге много эпизодов с детьми, придающих повествованию особую теплоту.

Часто рассказ прерывается отступлениями. Иногда они посвящены истории научных исканий, иногда помогают автору донести до читателя свои мысли о путях науки, о судьбе техники в руках врача. Вот одно из таких отступлений.

«Школа — бессмертие ученого, его потомство в науке. Сам факт существования школы уже очень многое говорит о ее создателе. Далекое не всем дано сплотить вокруг себя научных единомышленников, связанных общими идеями, стремлениями, общими творческими приемами. Надо иметь ясную собственную дорогу в науке, чтобы обрести право подсказывать пути другим. Широта обобщения? Да, она необходима

руководителю школы. Но не менее нужна ему широта натуры, умение щедро одаривать учеников сокровищами своих знаний и идей. Скупцы в науке не создают школ, скарденность — признак творческого бесплодия».

Автору, на наш взгляд, удалось изложить достаточно ясно, увлекательно даже самые сложные проблемы.

Мне, как ученому-медику, хочется также отметить правильность научных сведений, приведенных в книге. Лишь в главе «Наука большой мечты» автор допустил ошибку. На странице 189 дважды сказано, что дибазол ускоряет деление клеток, заживление язв. На самом деле это свойство препарата пентоксила. Неверно и то, что эметин — специфическое средство против дизентерии. Можно было бы указать также на неточности в написании некоторых терминов и иностранных слов.

Книга «Путь к сердцу» принадлежит к любимому читателями жанру научно-художественной литературы. Очерк об ученом — это чаще всего разговор о наших современниках, о людях сегодняшнего дня. Увидеть и изобразить во весь рост творца науки, которая, по словам А. М. Горького, является «высшей, наиболее продуктивной формой труда», — дело сложное, но для писателя почетное.

Часы творческого порыва ученого можно вслед за Стефаном Цвейгом уподобить «звездным часам человечества».

Хочется надеяться, что вслед за хорошей книгой Марка Поповского к этим «звездным часам» нашей науки обратятся многие мастера слова.

Л. СУХАРЕБСКИЙ,
доктор медицинских наук.

★

БОНН — УГРОЗА МИРУ

Deutsche Kriegsbrandstifter wieder am Werk. Berlin. 1959 (Германские поджигатели войны снова действуют. Берлин. 1959).

Западногерманская газета «Нейе Рейн-Цейтунг» как-то писала: «Если после длительного пребывания на одном из мирных островов Южного моря вы возвратитесь в Федеративную Республику, то уже через 24 часа у вас возникнет мысль: завтра откроется пальба. Завтра начнется война».

И действительно, милитаризация ФРГ приобрела исключительные широкие размах

и осуществляется поистине скоростными методами. Это не могут не признавать даже и в союзных с Западной Германией странах.

Итальянская буржуазная «Газетта дель popolo», комментируя меморандум, в котором генералы бундсвера потребовали атомное оружие для своего воинства, констатировала: «За какие-нибудь пять лет

боннская армия стала самой мощной армией в Европе» (имеется в виду Западная Европа).

Западная Германия располагает сегодня не только самым крупным военно-экономическим потенциалом, но и наиболее мощными вооруженными силами среди всех государств НАТО, не считая Соединенных Штатов.

Бундесвер уже сейчас насчитывает двести семьдесят тысяч солдат и офицеров. Их число в самое ближайшее время должно возрасти до трехсот пятидесяти тысяч, а затем и до пятисот тысяч человек. Огневая же мощь его двенадцати дивизий (скоро их будет двадцать две) превышает, по данным западной печати, огневою мощь армий европейских стран — членов НАТО, вместе взятых (не считая французских частей в Алжире). А ведь вскоре бундесвер к тому же должен получить ракеты «Поларис» (что, как известно, обещано Штраусу Пентагоном), представляющие оружие массового уничтожения.

Но, помимо бундесвера, который официально представляет собой западногерманские контингенты для НАТО, в ФРГ существуют еще так называемые части сухопутной и воздушной обороны страны и части гражданской обороны, находящиеся исключительно в ведении военных властей Федеративной Республики. Вместе с бундесвером они служат школой подготовки военно-обученных резервов и ядром развертывания армии, которая, по исчислению западногерманской милитаристской печати, сможет достигнуть численности в два с половиной — три миллиона человек.

О том, как боннским реваншистам удалось вопреки международным соглашениям достигнуть всего этого и какие цели они преследуют, рассказывает вышедшая в издательстве министерства национальной обороны ГДР книга «Германские поджигатели войны снова действуют». Книга эта — сборник документов о милитаризации Западной Германии и об агрессивных устремлениях ее правящих кругов, вознамерившихся перекроить карту Европы и вернуть мир к границам кайзеровской и даже гитлеровской Германии.

Открывается книга разделом, который озаглавлен «Хронология милитаризации». Приведенные в нем данные показывают, как шаг за шагом с помощью западных

держав и прежде всего США совершалось перевооружение Западной Германии. Первая запись датирована январем 1948 года. Она гласит: генерал Клей (в то время американский верховный комиссар в Германии) передал военному министерству США план создания западногерманской армии численностью в пятьсот тысяч человек. Факты свидетельствуют, что этот план ныне реализуется.

Одна из записей сообщает, что боннское правительство ассигновало на прямые военные расходы в 1960 году 10,5 миллиарда марок. На самом деле на эти цели было затрачено почти 12 миллиардов марок. В текущем 1961 году на военные нужды ассигновано почти 12,7 миллиарда марок, или 28 процентов бюджета Федеративной Республики. Об этом официально заявил министр финансов ФРГ Этцель, докладывая проект нового бюджета бундестагу. Комментируя обсуждение депутатами этого проекта, официоз боннского правительства газета «Франкфуртер альгемайне цейтунг» писала, что в дальнейшем военные расходы Федеративной Республики будут продолжать расти.

Общезвестно, что государственный аппарат ФРГ кишит бывшими нацистами. Но, пожалуй, ни в одном из его звеньев активные деятели гитлеровского рейха не представлены в таком количестве, как в бундесвере. Об этом подробно, с перечислением большого числа конкретных лиц и описанием их прошлой и настоящей деятельности, сообщается в специальной главе книги.

Вот что, например, говорится там: «Все генералы и адмиралы, командующие сегодня бундесвером, в прошлом гитлеровские офицеры «высоких и самых высших рангов. Нет ни одного боннского генерала или адмирала, который не был бы при Гитлере по меньшей мере в звании подполковника. Более семидесяти боннских генералов служило преступным руководителям «третьей империи» в качестве офицеров генерального штаба или ответственных сотрудников верховного командования вермахта. Сорок пять были генералами уже при Гитлере, а семь генералов и адмиралов бундесвера либо осуждены союзникам как военные преступники, либо внесены в списки военных преступников».

К этому нужно добавить, что в соответствии со специальным решением боннского правительства в бундесвере на командных

должностях служат бывшие руководители СС в ранге до оберштурмбанфюрера.

Не надо обладать большой фантазией, чтобы представить себе, в каком духе руководители бундесвера воспитывают своих подчиненных, какие принципы они им прививают. Политическое кредо этих господ не изменилось с тех пор, как во главе своих рот, батальонов, полков, дивизий и корпусов они маршировали по странам Европы под звуки хорошо известного гимна германского империализма «Дейчланд, дейчланд юбер аллес».

И это подтверждается приводимыми в книге многочисленными агрессивными высказываниями руководителей бундесвера, которые дополняют приведенные там же реваншистские заявления боннских политиков.

Так, один из виднейших боннских милитаристов генерал Хойзингер выступил со следующим программным заявлением: «Общий враг свободного мира — это империалистический коммунизм, который никогда нельзя изменить и всегда надо только уничтожать».

Аналогичных примеров можно было бы привести немало. То, чего не договаривают боннские политики и генералы, без стеснения выбалтывает реакционная печать. Некоторые из подобных писаний мы находим на страницах книги. Рупор крайних реваншистских кругов «Дейче зольдатенцейтунг» в статье «Бундесвер и третья мировая война» писала, например: «Несмотря на катастрофы и переселения народов, войны не упразднены, как не упразднены и зимы. Недавнее прошлое учит нас, что боины будут продолжаться».

Люди, разделяющие подобную точку зрения, командуют не только бундесвером; к 1960 году восемнадцать западногерманских генералов занимали руководящие должности в различных штабах войск Североатлантического блока.

По мере того как усиливается влияние Федеративной Республики в западном лагере, возрастает, естественно, и влияние в НАТО ее представителей, которые во многом определяют теперь политику и стратегию этого агрессивного союза. Выступая на заседании Ассоциации американской армии в Вашингтоне, небезызвестный Ганс Шпейдель изложил разработанную им стратегическую концепцию для НАТО. Суть ее сводится к тому, что войну надо начинать с

плацдармов, вплотную придвинутых к границам социалистических государств.

В рецензируемой книге приводятся весьма красноречивые высказывания политических и военных деятелей боннского государства, свидетельствующие, что их реваншистские устремления направлены не только на Восток, но и на Запад. Федеральный министр Меркац, например, заявил без обиняков: «...Мы должны завоевать обратно то, что создали Бисмарк и другие...»

О том, что именно «создавал Бисмарк», до сих пор не забыли французы, которым, кстати, реваншистская печать не перестает напоминать о «германском характере» Эльзаса и Лотарингии. Многие во Франции, вероятно, особенно живо вспомнили о поползновениях германских милитаристов в ноябре прошлого года. Немецкие войска впервые в мирное время, как с торжеством отметила печать ФРГ, появились на французской земле, где они получили право создавать свои базы и проводить учения.

Большой интерес представляет глава книги, рассказывающая об идеологической подготовке войны в ФРГ. Цель ее — сломить сопротивление всех тех в Федеративной Республике, кто не хочет мириться с мыслью о гонке вооружений, о создании агрессивной массовой армии, наконец, об атомной войне, к подготовке которой направлен политический курс Бонна. Для руководства этой подготовкой, которую Штраус назвал «психологическим ведением войны», он предложил создать «действительный центр». В интервью представителю бюллетеня «Политико-социале корреспондент» военный министр ФРГ разъяснил, что речь идет об «эффективных мероприятиях против мирового коммунизма».

В качестве действительного центра был создан координационный комитет, куда вошли представители министерства внутренних дел и общегерманского министерства, федерального ведомства печати и ведомства федерального канцлера. Фактическим руководителем этого комитета, заменившего в современных условиях нацистское министерство пропаганды, стал некий Тауберт, в прошлом активный сотрудник Геббельса.

В дополнение к комитету — государственной организации по идеологической обработке населения — для той же цели был создан якорь на общественных началах так называемый союз «Спасите свободу». На учредительном собрании этого союза при-

существовали представители западногерманских концернов, генеральный секретарь НАТО Спаак и Штраус. Выходящая в Майнце газета «Фрейхеит» сравнила эту организацию с комиссией американского конгресса, которую возглавлял сенатор Маккарти.

Газета «Зюддеице цейтунг» писала, что, используя психоз страха, реваншисты хотят противодействовать пропаганде, направленной против атомного вооружения. По сообщению западноберлинской газеты «Тагесшпигель», один из учредителей союза заявил: организация хочет довести до сознания немецкой интеллигенции, что «коммунизм действительно представляет опасность...», и «воспрепятствовать одностороннему воздействию...» профессоров и студентов, как это особенно ясно сказалось на Берлинском конгрессе против атомного вооружения.

Немалую роль в милитаристской пропаганде играют существующие в ФРГ различные военные союзы и солдатские объединения (их около тысячи трехсот!), возглавляемые, как правило, бывшими гитлеровскими офицерами, многие из которых являются военными преступниками. Об этом, как и о роли церкви в подготовке Западной Германии к войне, также подробно сообщается в книге.

В 1953 году при «Союзе германской промышленности», объединяющем монополистов ФРГ, был образован «Комитет по делам обороны и хозяйства» с рабочими группами по всем отраслям военной промышленности. Уже один этот факт говорит о значении, которое подлинными хозяева Федеративной Республики придают военному производству. Они заинтересованы в нем как с точки зрения военно-политической, так и с чисто экономической: известно, что военное производство в условиях форсированной гонки вооружения приносит германским монополиям огромные барыши. Сегодня две трети всех заказов военного ведомства реализуются внутри страны.

Составители книги «Германские поджигатели войны снова действуют» показывают, как бесцеремонно Федеративная Республика также и в этой области обошла наложенные на нее ограничения. Это относится и к производству атомного оружия. С ноября 1954 года в ФРГ существует так называемое «Физическое исследовательское общество», объединяющее около тридцати крупнейших западногерманских монополий, которые уже подготовили все необходимое — вплоть до создания промышленной базы — для производства атомного оружия.

Сообщения, появившиеся в иностранной печати, о том, что в Западной Германии найден новый способ получения урана, необходимого для производства атомных бомб, дополняют информацию, содержащуюся в книге. Одновременно они сигнализируют о величайшей опасности, которая угрожает миру.

Западногерманские власти чрезвычайно болезненно восприняли выступления представителей социалистических стран на XV сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Боннские писак с пеной у рта доказывали, что разоблачения агрессивной политики ФРГ, содержащиеся, в частности, в речах товарищей В. Гомулки и А. Новотного, якобы не отвечают действительности.

Но боннские пропагандисты лгут, как они лгали всегда, пытаясь скрыть от мировой общественности смысл происходящего в Западной Германии. Ложь эту надо разоблачать в интересах сохранения мира. И это очень убедительно делает книга, которую издало министерство обороны Германской Демократической Республики. Собранный в ней богатый фактический материал подтверждает глубоко справедливую оценку, данную в Заявлении Совещания представителей коммунистических и рабочих партий: «Боннское государство стало главным врагом мирного сосуществования, разоружения и разрядки напряженности в Европе».

В. ВЛАДИМИРОВ.

★

ПЕРВОУЧИТЕЛЬ РУССКИХ ПЧЕЛОВОДОВ

П. И. Прокопович. Избранные статьи по пчеловодству. Вступительная статья и составление сборника Н. Ф. Федосова. Сельхозгиз. М. 1960. 312 стр.

«Там около Батурнина живет наш великий пасечник Прокопович», — писал Т. Г. Шевченко. В этой оценке поэта нет художественного преувеличения. В судьбе Петра Ивановича Прокоповича (1775—1850) действительно можно видеть доказательство того, что человек способен стать великим в любой, даже, казалось бы, не слишком заметной, не особо значительной области.

Удивительно сложилась жизнь этого неумолимого труженика, одного из первых разночинцев-просветителей, которым смолodu и до гробовой доски владела одна, но пламенная страсть — страсть к раскрытию тайн жизни пчел и преобразованию пчеловодства в рационально поставленную отрасль сельского хозяйства.

Ярким, сочным языком, несколько медлительным, но зато точным, П. И. Прокопович в статье «Взгляд на пчеловодство и на выгоды, оным доставляемые» писал в 1830 году: «Пчеловодство представляет собою благороднейшее занятие для мыслящих людей. Благовидность существования пчел, любопытнейшие в них явления, отличная изящность их произведений, легкость и приятное малоделие при их содержании и управлении и значительный доход, ими доставляемый, без отягощения других, — все сие должно привлекать каждого хозяина к пчеловодству и возбуждать желание завести пчел».

Чем дальше в прошлое уходит эпоха, когда жил и работал «знаменитый русский пчеловод» (так назвал Прокоповича журнал «Труды Вольного экономического общества»), «наш руководитель по пчеловодству» (так назвал его «Земледельческий журнал»), тем яснее становится, насколько он опередил свое время, как далеко заглядывал вперед.

О выдающихся его исследованиях по биологии пчел специальные научные издания уже полтора столетия назад с полным правом писали, что П. И. Прокопович «есть теперь единственный наблюдатель пчел не только у нас, а даже в целой Европе, которого замечания и суждения о сих насекомых отличаются почти неподражаемой полнотой, простотой и верностью».

Однако он оставил после себя совсем немного печатных трудов. Самое значительное свое сочинение — «Записки о пчелах» — ему

не удалось опубликовать, и оно, видимо, утеряно, а статьи, в сущности, только сейчас впервые по-настоящему собраны.

При жизни самому Прокоповичу не разрешили напечатать собрание его сочинений, а то, что публиковалось под видом его трудов, было полно несуразностей. Об издателях этих сборников Прокопович писал, что «не будучи опытными и сведущими в этом деле, не умея исправить ошибок переписчиков, изменив мои мнения и термины и подмешав в эти выписки начитанное у других писателей, печатали под фирмой мнения Прокоповича такие странности о пчелах, о пчеловодстве, которых самому мне недостает терпения читать».

Еще развязнее повели себя разные фальсификаторы после кончины исследователя. Об одной из книг, выпущенных в свет под видом его сочинений, сын П. И. Прокоповича сказал, что на каждой ее странице «можно найти такие понятия о пчелах и пчеловодстве, которые нимало не сходны ни с открытиями Прокоповича, ни с его методами работы».

И все же П. И. Прокопович по сей день является всемирно признанным классиком и основоположником науки о пчелах.

Тем и замечательна, тем и особо злободневна сегодня фигура и судьба этого человека, что он увековечил в науке свое имя, можно сказать, совсем не писаниями, а делом, новаторским почином, навсегда изменившим самый облик отрасли, преобразованию которой была посвящена его наполненная трудами жизнь.

В конце XVIII века, когда Прокопович начинал пчеловодную деятельность, пасечники ограничивали свою работу огребанием вылетевших роев, пересаживаемых в пустые дуплянки. А после главного взятка выламывали соты с медом, для чего пчел закуривали серой. «Чтобы получить мед и воск, люди без всякой жалости и без расчетливости лишают пчел жизни; часто истребляют целые их поселения, не рассматривая и не уважая пользы, какую одно значительное заведение пчел может всегда приносить своему владельцу, окольному обществу людей... и государству».

Этот хищнический роевой способ был отвергнут Прокоповичем потому, что, кро-

ме истребления пчел миллионами, он уменьшает ценность меда, который получается «противным, вредным, подверженным в первый год скисанию и порче и на вид неприятным».

Мужественное выступление П. Прокоповича против господствовавшего в то время положения дел в пчеловодстве вполне можно назвать подвигом. Еще более важно и более ценно, что он не ограничился обличением отрицательных сторон, сделавших невозможным развитие пчеловодства, но ясно наметил пути его перестройки, исходя из самой жизни, из опыта практики, из успеха умельцев.

В науке прошлого времени не много известно примеров столь ясного, как у П. Прокоповича, понимания ценности того, что мы сейчас называем опытом передовиков.

Вместе с другими именуя передовиков «счастливицами», Прокопович знал, что успех их не случаен. «Не вникнувши в точность, как сей счастливцев держит пчел, покажется,— писал он,— что они сами у него живут; напротив того, войди во всю подробность его образа содержания и всегда найдешь, что сей счастливый простак знает главное основание своего счастья и в чем оно состоит».

Это убеждение и в то же время правильное представление о том, что «малое знание простых пчеловодов основано на ложных понятиях», очень помогли П. Прокоповичу, не отступаясь, идти к цели.

В 1828 году он основал первую в истории русского пчеловодства специальную пчеловодную школу, воспитанники которой должны были, как он писал, «блужсти благосостояние завода (то есть пасеки), уметь поправить приключения, угадывать надобности в пособии».

Создание школы, в которую поступали в основном крепостные крестьяне (прислывавшиеся сюда помещиками), а кроме того, применявшаяся Прокоповичем система обучения и обращения с учениками — «не надменное с жестокостью, но усердствующее с доброжелательством, сильным увещанием, всегда без боя», — объявлена была в то время делом не только сомнительным по волюподумности, но и подозрительным. Прокопович отвечал на это, что «предрассудки многих, будто бы простого человека не можно образовать знающим пчеловодом, на первом же шагу оказались несправедливыми. Ско-

рый успех и отличное понятие учеников... даже самого меня удивляют».

Пчеловодное хозяйство П. Прокоповича, насчитывавшее впоследствии около десяти тысяч семей, было — а похоже, и поныне остается — непревзойденным по размеру. На пасеке Прокоповича воспитались сотни пчеловодов, которым он преподавал свое «учение о пчелах на таких основаниях, чтобы, не умерщвляя их и даже поддерживая их существование разными верными средствами и способами, навсегда сохранять каждое пчелиное семейство. Или, другими словами, когда улей насажен пчелами, то они должны быть в нем беспреводно».

Для этой-то цели Прокопович и построил первый в мире разборный рамочный улей, который в огромной степени расширил возможности управления жизнью пчел. Он изобрел также первую решетку, сквозь которую свободно проходят пчелы, но не проходит матка, и которая позволила отделить гнездовую часть улья от магазинных рамок. Теперь матка не могла больше засевать ячеек в отделенных от нее сотах, а пчелы стали складывать уже чистый мед, который можно было взять, не уничтожая ни пчел, ни пчелиного расплода.

С полным правом и основанием говорил о себе П. Прокопович: «Я проник в тайны рода пчелиного далее всех моих предшественников». Вот почему лучшие пчелиные семьи-рекордистки, такие, как «Архангельск» или «Сима» (семьям, как животным, присваивались клички), давали очень большое для тех времен количество меда. В статье «Опыт размножения одного семейства пчел, давшего в 1828 году значительный сбор меда, и наблюдения над плодovitостью пчелиной матки» подробно рассказана история такой высокопродуктивной семьи: «Констанс» и ее потомства «Лион», «Тамбов», «Корфу» и других.

Сотни воспитанных в школе Прокоповича учеников разнесли в разные концы России и Украины новое учение, о котором уже современники писали, что оно «дает совершенно новое направление пчеловодству и самое пчеловодство ставит на степень науки: здесь ничто не оставляется на удачу, счастье и пр., но все имеет причины, коих следствия и выводы подтверждаются производством на деле».

Но только сейчас, в условиях колхозов и совхозов, когда пасека стала цехом круп-

ного сельского хозяйства, для этой отрасли открылись те широкие возможности, о которых думал Прокопович, давно писавший, что «пчелы для своей деятельности не имеют пределов; вся земля представляет для их питания вольный стол, частные владения суть для пчелиного рода общая собственность. Ограничить сии пчелиные права нет возможности».

К сожалению, составитель и редакция сборника не везде указали первоисточники, по которым воспроизводились тексты статей и время их первой публикации; недостаточно полна и библиография.

Сборнику предпослан очерк составителя Н. Ф. Федосова о жизни и деятельности Прокоповича. Автор статьи умело использовал данные русской научно-агрономической литературы и проанализировал взгляды самого ученого. Впрочем, когда автор переходит от рассмотрения пчеловодных

воззрений П. И. Прокоповича к характеристике его политических убеждений и симпатий, он без серьезных на то оснований и без нужды объявляет его «веровавшим в идеи революционеров-демократов, в идеи декабристов».

Жаль, что в статье совсем не нашли отражения данные, говорящие о широком международном признании, которое завоевало себе имя Прокоповича в истории науки о пчелах и самой отрасли. При всем том статья Н. Ф. Федосова является по существу первой и наиболее обстоятельной работой о «великом пасечнике». Она представляет собой вклад в литературу по истории сельского хозяйства вообще и пчеловодства в частности и послужит хорошим началом той библиотеки классиков пчеловодства, о которой давно мечтают сотни тысяч пчеловодов — пасечников и любителей.

И. ХАЛИФМАН.



Т Р И Б У Н А Ч И Т А Т Е Л Я

«ПАУ ТИ-САН И ЕГО ТОВАРИЩИ»

Во имя великой дружбы

Когда я читал очерк «Пау Ти-сан и его товарищи» («Новый мир» №№ 4, 5 за 1959 год), мне казалось, будто смотрю трогательную кинокартину.

Освещение событий, описанных в этом произведении, будет еще больше способствовать укреплению советско-китайской дружбы и послужит прекрасным материалом для воспитания молодежи.

Некоторые строки мне запомнились особенно хорошо: «Сколько безымянных могил воинов революции рассеяно по советской земле! Есть такая и в селе Алферовке близ Новохоперска. В ней похоронено 18 героев батальона Сан Фу-яна...»

И у нас, в Китае, есть могилы советских людей. В городе Ухане похоронены русские добровольцы-летчики, которые участвовали в самом начале антияпонской войны.

Я учился в Харбине. Этот город хорошо знаю. Там на вокзальной площади стоит памятник с пятиугольной звездой советским воинам, погибшим за освобождение Маньчжурии в 1945 году. На окраине Харбина находится кладбище советских героев. Я часто ходил туда, как к своим близким товарищам.

Китайский боец Ли Си-хун, о котором рассказывают авторы очерка, говорит: «Мы воевали за дело русских рабочих и крестьян, как за собственное. Почему? Потому что понимали: цель едина. Звенья, разорванные трудовым народом России, ослабят цель, опутывающую трудовой народ Китая».

Так думают все китайцы. Мао Цзэ-дун сказал, что без поддержки Советского Союза не было бы победы китайской революции.

Вот какое значение имеет советско-китайская дружба! Она скреплена кровью, поэтому нерушима. Благодаря этой дружбе великие народы наших стран совершили

революцию, защищают мир во всем мире и идут в светлое будущее человечества — в коммунизм.

Издательство Китайской Народной армии готовит выпуск книги Г. Новогрудского и А. Дунаевского на китайском языке. Когда она будет выпущена в свет, китайские читатели, очевидно, смогут написать много откликов и пришлют их вам.

Ци Цзя-цзюнь,
преподаватель Института
восточных языков.

★

Тема ждет своего продолжения

Я с интересом прочел в «Новом мире» очерк Г. Новогрудского и А. Дунаевского «Пау Ти-сан и его товарищи». Перед читателем раскрылась одна из ярких страниц истории гражданской войны, показывающая, как плечом к плечу с рабочими и крестьянами России сражались за власть трудящихся и славные сыны Китая. Они понимали, что дело, за которое в то время боролся наш народ,— это их кровное дело.

В те памятные годы в ряды Красной Армии добровольно вступали, кроме китайцев, представители многих народов — чехи, венгры, поляки, югославы, немцы и другие. В 1-м Павлоградском революционном полку, где я тогда служил, были, например, представители тридцати национальностей.

Нашим литераторам, работающим в области истории гражданской войны, следует со всей неутомимостью продолжать свои поиски и исследования. Нужно, чтобы и другие героинтернационалисты стали также известны, близки и дороги советским людям, как им близки сейчас Пау Ти-сан и его товарищи.

А. Федин,
член КПСС с 1917 года,
бывший политический комиссар
1-го Павлоградского революка.

Читатели дополняют очерк

Читатели очень живо откликнулись на опубликованный в нашем журнале исторический очерк Г. Новогрудского и А. Дунаевского «Пау Ти-сан и его товарищи». В редакцию журнала, на радио и непосредственно к авторам поступило много писем.

Интересен — и характерен для советских людей — тот факт, что в своих письмах многие читатели, проявив заинтересованность к теме, которой посвящен очерк, сообщают немало новых интересных сведений о его героях и тем самым охотно помогают авторам в их литературном поиске.

Из уральского города Красногурьянска прислал письмо **Ф. Рейх**. Он художник, клубный работник, а в годы гражданской войны некоторое время был адъютантом Пау Ти-сана. **Ф. Рейх** приводит детали участия китайских воинов в боях за Владикавказ в августовские дни 1918 года, рассказывает, как были захвачены у белых две бронемашин. Одной из них присвоили название «За Красный Китай!». «Уже тогда, — пишет **Ф. Рейх**, — бойцы Пау Ти-сана думали о будущем своей родины, о том, что они, говоря словами С. М. Кирова, воюют на Тереке не только за то, чтобы пролетарская революция победила в России, но и за то, чтобы она победила в Китае».

Бывший комиссар 13-й стрелковой дивизии, а затем помощник командующего Кавказской армией труда **И. Врачев** отмечает, что авторы «нашли следы длинного и извилистого боевого пути отважных и беззаветно храбрых красноармейцев-китайцев на фронтах гражданской войны, однако не все тропы этого славного пути, видимо, им известны». **И. Врачев** делится воспоминаниями об исключительном мужестве и стойкости китайского батальона, входившего в состав 13-й стрелковой дивизии, воевавшей на Южном фронте. После разгрома Деникина 8-я армия, куда входила эта дивизия, была преобразована в Кавказскую армию труда, в ее составе находился и Восточно-Интернациональный батальон, в котором было много китайцев. Но вот после окончания войны речь зашла об их демобилизации, рассказывает в письме. «Бурно обсуждали китайцы красноармейцы это предложение. Ответ их, переданный нам Пау Ти-саном, был таков: «В Китай мы поедем, когда там произойдет революция.

Мы надеемся, что нас тогда отпустят с оружием в руках. Мы желаем остаться здесь до лучших для Китая времен, но просим не демобилизовывать нас. Мы будем работать, как и наши товарищи по фронту, — в одной руке держать молот или лопату, а в другой — винтовку. Мы были красноармейцами, теперь станем трудармейцами». Китайцы Восточно-Интернационального батальона самоотверженно трудились по восстановлению Грозненского железнодорожного узла и особенно на нефтяных промыслах».

Много неясностей в биографии Пау Ти-сана. Неизвестно, как складывалась жизнь этого борца революции в дни детства, как он попал в Россию. Кое-что проясняет письмо читательницы **В. Воскресенской** из поселка Видное, Московской области. В юности она жила на станции Аджикабул Закавказской железной дороги. Там после окончания гражданской войны некоторое время находился Пау Ти-сан. Она была знакома с ним.

«Костя (так называли Пау Ти-сана его друзья) говорил мне, что его привез в Россию генерал Михаил Вачнадзе, у которого он и рос. О гражданской войне в те годы вспоминали часто, но что именно рассказывал Костя, не помню. Одет он был в военную форму — хаки. Всегда очень подтянутый, оживленный, приветливый.

Как искать следы Пау Ти-сана?

В Тбилиси в адресном столе можно поискать семью старшей дочери М. Вачнадзе — Нины Михайловны Барсуковой — и младшую дочь, Елену Михайловну Вачнадзе. Они могут оказаться полезными в ваших поисках».

Другое письмо, полученное редакцией, помогает узнать о судьбе одного из сподвижников Пау Ти-сана — командира роты Су Ло-дю. В жаркие августовские дни 1918 года его бойцы мужественно сражались с белогвардейскими мятежниками на улицах Владикавказа. Что стало с Су Ло-дю потом?

Об этом нам известно из письма его жены, Веры Андреевны Су Ло-дю. Она живет в Кисловодске вместе с дочерью и четырьмя внуками. В письме говорится, что Су Ло-дю после гражданской войны стал чекистом, служил в Ростове, Харькове, Одессе, Чите, Благовещенске, боролся с бандитами. «В январе 1924 года мужа перевели в Москву. В день дохоро-

В. И. Ленина Су Ло-дю стоял на посту, простудился, тяжело заболел. По совету врачей мы вернулись во Владикавказ. Здесь 3 ноября 1924 года я потеряла мужа. Он похоронен на Госпитальном кладбище».

Вера Андреевна считает своим долгом сообщить, что в Кисловодске проживают китайцы, которые сражались на Царицынском фронте. «Их фамилии — Туи Жн-ши и Сан-лю. Они могут многое рассказать об участии китайцев в боях за Царицын».

Л. Белецкая пишет из Норильска: «Недавно к нашему соседу приехал в гости знакомый китаец. Узнав, что он участник гражданской войны, я сообщила ему о том, что сейчас пишу книгу о китайцах, воевавших в начале революции в рядах Красной Армии, и попросила его вспомнить, что может. Он рассказывал много, но так как по-русски говорит плохо, то я записала не все, а только то, в чем сумела разобраться...»

Дальше идет рассказ Чай Юй-сана, терпеливо записанный Л. Белецкой. Ветеран гражданской войны вспоминает, как попал в Россию и строил Мурманскую железную дорогу, как вступил добровольцем в ряды Красной Армии, как воевал на Северном Кавказе, стал конником, служил в 4-м кавалерийском полку, участвовал в боях за Ростов, Таганрог, Новочеркасск, дрался с махновцами.

«Если все то, что я записала, пригодится,— заканчивает письмо Л. Белецкая,— я буду рада». Сколько в этих строках скромности и высокого понимания долга советского человека перед памятью тех, кто воевал за свободу и счастье нашего народа!

О среднеазиатском периоде деятельности Пау Ти-сана в очерке рассказывалось довольно коротко: герой гражданской войны после демобилизации Владикавказского китайского батальона оказался в Самарканде, командовал Мусульманским кавалерийским дивизионом, боролся с басмачами.

Читатели добавили к этим сведениям немало подробностей.

Доцент Узбекского государственного университета **Ю. Алескеров** собрал свыше шестидесяти документов о Мусульманском кавдивизионе и его командире, установил, кто был комиссаром. «Комиссар дивизиона Абдулхайр Адылов и Пау Ти-сан были искренними боевыми друзьями. В огне суровых боев и походов, в борьбе с врагами

рабочих и крестьян крепла дружба командира-китайца и комиссара-узбека. Одними помыслами, одними стремлениями жили два отважных друга, воплотившие в себе качества настоящих пролетарских революционеров-интернационалистов».

О ликвидации отрядом Пау Ти-сана банды Бахрамбека рассказал **Менас Шамсутдинов** из Уфы. Он же и уточнил некоторые приведенные в очерке факты.

Восстанавливая со слов старых самаркандцев картины прошлого, авторы писали, что Бахрамбек, явившись с группой басмачей с повниной, вскоре снова ушел в горы. Пау Ти-сан погнался за ним, настиг и покончил с сильной басмаческой группой. Менас Шамсутдинов, служивший в Мусульманском кавдивизионе, излагает события так.

У Бахрамбека был брат, тоже басмач. Он противился тому, чтобы курбаши сложил оружие. Когда Бахрамбек все же поступил по-своему, брат убил брата. Труп Бахрамбека басмачи замуровали в скале, а сами, прикрываясь его именем, стали бесчинствовать. Имя курбаши приводило дехкан в трепет. Очень важно было доказать, что Бахрамбека нет. Это и сделали Пау Ти-сан и его товарищи. «Преодолевая огромные препятствия, отстреливаясь и отбиваясь от басмачей, Пау Ти-сан добрался до места, где лежало тело Бахрамбека, насадил его голову на конец шашки и возвратился к своим. Все убедились: главаря басмачей нет в живых. Ликвидировать после этого банду было много легче».

Опубликование очерка «Пау Ти-сан и его товарищи» побудило редакцию самаркандской областной газеты «Ленинский путь» предпринять собственный литературный поиск. «Нам удалось найти новые факты из жизни Пау Ти-сана»,— сообщил редактор газеты **В. Ходасевич**. Изложение их легло в основу серии статей.

В одной из них рассказывается об отъезде китайского командира из Самарканда. «В начале мая 1923 года Пау Ти-сан получил новое назначение и должен был выехать в Ташкент, а затем в Москву. Тепло простился со своими боевыми друзьями командир-герой.

— Мы были братьями по оружию, товарищи! — говорил он. — Русские, узбеки, китайцы, венгры, киргизы, таджики, белорусы, туркмены, армяне, казахи, татары и иранцы — все мы сражались под одним

немеркнущим знаменем Октября, за одно общее благородное дело большевистской партии. Будем верны этому интернациональному знамени, пока бьется в нашей груди сердце, пока не прекратится дыхание».

Среди овеянных славой интернациональных частей Красной Армии наиболее популярен Варшавский красный полк.

Перед отправкой полка на фронт, второго августа 1918 года, с напутственным словом к польским интернационалистам выступил В. И. Ленин.

С пламенными словами об интернациональной дружбе Владимир Ильич обращался не только к польским, но и к китайским бойцам, также присутствовавшим на митинге в казарме. Этот факт сообщен в письме бывшего заместителя командира 2-го Люблинского стрелкового полка **Ф. Марковского**. Он пишет: «Никогда не забуду то громадное впечатление, которое произвело на всех нас выступление Ленина в казарме варшавян, не забуду лица бойцов, слушавших вдохновенные слова Владимира Ильича. Китайцы слушали Ленина так же внимательно и с таким же восторгом, как все мы. Переводчики тихо, чтобы не мешать оратору, тут же переводили его речь...»

В начале 1919 года нашу дивизию перебросили на Запад. Там китайский батальон Варшавского полка соседствовал с нами, люблинцами, и я часто встречался с его командиром. Он был русский. Фамилию его, к сожалению, забыл. Помню, с каким высоким уважением отзывался он о китайских бойцах, как ценил их бесстрашие в бою, их беззаветную верность революционному долгу, их дисциплинированность, аккуратность...»

Позже на том же Западном фронте китайские бойцы отличились в боях за Двинск. Об этом сообщает **А. Мищевич** из Луганска: «Летом 1919 года в город Двинск прибыл сильно потрепанный китайский батальон. Ему была поручена охрана железнодорожного моста через реку Двина. Мы считали, что мост находится в надежных руках, и не ошиблись. Китайцы не подвели».

Из Луганска же прислал письмо и гвардии полковник запаса **Л. Стрижак**. «Я хорошо помню,—пишет он,—что в районе Житомра, где против белых дрался со своей дивизией Микола Щорс, было китайское

подразделение. Китайцы стреляли, сидя на корточках. Рядом с ними всегда лежал запас патронов... Можно еще вспомнить борьбу китайцев с деникинцами в Брянских лесах».

Москвич **В. Сокол** пишет: «Могу добавить следующее. Отряд из добровольцев-китайцев, сформировавшийся в Москве на Шаболовке и на Воробьевых горах, в сентябре 1918 года прибыл в распоряжение 2-й Московской сводной бригады в город Новохоперск. Командиром бригады был товарищ Рачицкий Д. А., комиссаром — я...» Дальше В. Сокол рассказывает, что за Новохоперск шли жестокие бои. Китайские бойцы явились немалым подкреплением для бригады. Командиром китайского отряда был коммунист, человек энергичный, прекрасный организатор. Русские звали его Борисом. В тяжелом положении отряд оказался во время боя за железнодорожный мост. Вот тогда и погиб китайский товарищ Борис.

М. Голубев из Иванова сообщил о китайских бойцах, служивших в прославленной Чапаевской дивизии. В годы гражданской войны они вместе с иваново-вознесенскими ткачами мужественно сражались под Секретеровской.

Прислал письмо ветеран гражданской войны, бывший начальник штаба Дербентского полка **М. Шенко**. Он рассказывает: «Китайцы служили в Дербентском полку, в его 4-м батальоне. Было их около шестисот бойцов. Вместе с нашим полком они участвовали в подавлении белоказачьего восстания, воевали в районе Лиски—Богучар, штурмовали Генеральский мост при взятии Ростова, наступали на линии Краснодар—Новороссийск. С берегов Черного моря они были переброшены затем на Западный фронт, где дрались мужественно и стойко».

О том, что в 1919 году в боях с бандой атамана Григорьева в Елизаветграде (ныне Кировоград) участвовала рота китайцев, сражавшихся вместе с нашими бойцами до тех пор, пока банда не была разгромлена, рассказал в своем письме **Ф. Певозчиков** (Московская область).

И. Мошин из города Ульяновска описывает подвиг китайского стрелка Хут-Те, служившего в 3-м батальоне 214-го полка Самаро-Симбирской железной дивизии. Под станцией Березинская он был ранен. Его окружили белоказаки. «Сидя на земле, то-

вариш Хут-Те расстреливал наседавших врагов. Восьмерых убил. Когда запас патронов кончился, казаки навалились на Хут-Те и зарубили его. Хорошо, если бы оренбургские организации воздвигли бы памятник товарищу Хут-Те на том месте, где он геройски погиб».

Монументы в память славных добровольцев-китайцев уже воздвигнуты в ряде пунктов нашей страны. Об этом тоже сообщают наши читатели.

В апреле прошлого года состоялось торжественное открытие обелиска в городе Орджоникидзе, в том самом городе у подножия Казбека, где в годы гражданской войны героически сражались Пау Ти-сан и его товарищи. Шестнадцатиметровый обелиск высится в городе Морозовске, Ростовской области. Там в 1919 году, сражаясь с белогвардейцами, пали смертью храбрых двести бойцов из батальона Ян-жуня. Открыт памятник неизвестному китайскому бойцу, погибшему в бою с белыми, в селе Павловке, Васильковского района, Днепропетровской области. Газета «Днепровская правда» в этой связи напечатала статью Ли Шэнь-цзин и Ли Вей-ли. «Нам, представителям китайского народа, выпала честь быть свидетелями торжественной минуты открытия памятника,— писали они.— Все выступавшие с большой любовью говорили о неизвестном юноше, о дружбе двух народов — СССР и Китая.

Никому не известно имя китайского героя, но мы хорошо знаем, что он отдал свою молодую жизнь за мир на земле, за счастье народов. Борясь за Советскую власть на Украине, он боролся и за великое будущее нашего шестисотпятидесятиmillionного народа, который теперь прочно стал на путь строительства социализма.

Мы, китайцы, от всего сердца благодарим советских людей за то, что они свято чтят память нашего соотечественника».

Офицер запаса А. Неровный из города Орджоникидзе пишет, что он с детских лет помнит мужественных воинов из Китая.

...1918 год. Бои за станицу Морозовскую. Узенькая сельская улица, ее удерживает небольшой отряд китайцев.

«Белые хотели их взять живьем,— рассказывает А. Неровный,— но подступиться к китайским бойцам было невозможно. Китайские товарищи отстреливались до тех пор, пока не кончились патроны, а потом,

по приказу своего командира, ушли на другие позиции. В том бою у них потеря не было.

В 1919 году китайские друзья снова отличились в боях за нашу станицу. Дрались они геройски и погибли как герои. Они были похоронены на разъезде Быстрый. Помню, как Первого мая, после демонстрации, большой железнодорожный состав с представителями трудящихся отправился к месту, где вместе с русскими товарищами похоронены китайские бойцы. На братскую могилу были возложены тысячи букетов цветов, а потом произвели артиллерийский салют.

В 1945 году, когда я уже был офицером, мне пришлось воевать в Маньчжурии, против японских самураев. В те дни я вспоминал китайских друзей, которые погибли в родной станице за наше общее дело. В тот год мы помогли нашим друзьям — китайским труженикам, выполняя свой интернациональный долг».

Читатель А. Корнблюм прислал заметку А. Анучина, напечатанную в газете «Восточно-Сибирская правда» под заголовком «Партизан Чжан Юй-вень».

«В феврале 1920 года,— говорится в заметке,— наша партизанская дивизия Бурлова проходила через Качуг. Всюду на улицах стояли подводы и группы партизан.

К нам подошел командир взвода Федоров с китайцем, который был в короткой ватной куртке, широких шароварах и с узелком в руке.

— Вот вам новый партизан,— произнес Федоров и с трудом выговорил его фамилию и имя: — Чжан Юй-вень.

В бирюльском бою Чжан Юй-веню поручили ротный патронный пункт. Рота лежала в снежных окопах, морозец пощипывал лицо, коченели руки. Чжан раскупоривал патронные ящики.

Белые пошли в наступление. Бой разгорался. Повсюду свистели пули. Чжан Юй-вень взял две коробки с патронами и пошел по цепи, покрикивая:

— Патроны надо?..

Командир роты и партизаны закричали ему:

— Ложись, убьют!

Но он отмахнулся рукой, пригнулся и продолжал разносить патроны.

У огорода Чжан наткнулся на раненого партизана Бурмакина. Поставив коробки в изгородь, он поднял винтовку, взвалил ра-

ченного себе на спину и отнес его на перевалочный пункт.

С винтовкой раненого Чжан вернулся в цепь и открыл огонь по наступающим бело-гвардейским цепям...

Вести о храбрости Чжан Юй-веня быстро облетели отряд. Партизаны еще сильнее полюбили своего друга».

В потоке писем есть и конверты с почтовыми штемпелями Пекина, Учана, Шаосина, Фуцзяня и других китайских городов.

Откликнулся Лю Цзе-жун (по другой транскрипции — Лау Сиу-чжау), о котором рассказывалось в очерке как о человеке, возглавлявшем Всероссийский союз китайских рабочих. На его удостоверении В. И. Ленин в свое время написал: «С своей стороны очень прошу советские учреждения и власти оказывать всяческое содействие тов. Лау Сиу-чжау».

Тридцатого ноября 1918 года Лю Цзе-жун и другой представитель китайских рабочих — Чжан Ин-чун — были приняты В. И. Лениным. Об этом упоминается в приложениях к XXIII тому сочинений В. И. Ленина, и авторы очерка на это упоминание ссылались. Но Лю Цзе-жун встречался, оказывается, с Лениным еще и 19 ноября 1919 года. Этот ветеран революции прислал из Пекина в Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС свои воспоминания о беседах с Владимиром Ильичем.

«В продолжение беседы, — пишет Лю Цзе-жун, — меня не оставляло чувство покоряющего обаяния, исходившего от этого великого человека. Он расспрашивал меня о Китае, о китайской революции. Я был молод годами, был еще далек от должного понимания международной политики, да и знал о событиях в Китае слишком мало, чтобы рассказать ему что-либо для него новое или интересное. Я сам почерпнул много нового и ценного для меня из беседы с Владимиром Ильичем, услышав от него целый ряд глубоких мыслей по вопросам о судьбах Китая, о борьбе китайского народа с империализмом, о важности сближения между народами Китая и Советской России... Я с глубоким волнением вспоми-

наю... о его гениальной прозорливости в вопросе о перспективах дружбы и сотрудничества между нашими народами».

Из далекого китайского города Учана пишет читатель Мэй Те-хань: «Я узнал о боевых делах бригады, которая сражалась на Урале и командиром которой был Шабловский. В бригаду входил китайский батальон. Им командовал Жень Фу-чэн. Командиром одной из китайских рот был Лю Хань-чэн. Бригада совершала блестящие подвиги. После того как Урал был освобожден от белогвардейцев, бригада воевала в Сибири».

Большую работу по сбору воспоминаний об участии китайцев в Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войне в России предпринимает сейчас Институт истории Академии наук КНР. «Мы стараемся, — сообщают китайские ученые, — как можно быстрее завершить эту работу, имеющую важное значение в деле укрепления китайско-советской дружбы».

Как бы подводящим итог откликам читателей явилось письмо работников Пекинского радио. Оно пришло в Орджоникидзе в адрес коллектива Музея имени С. М. Кирова и Г. К. Орджоникидзе и было переслано в редакцию нашего журнала для сведения.

«Получив ваше письмо, мы в тот же день обратились в соответствующие учреждения, — писали китайские радиоработники. — Пока мы узнали, что товарища Пау Ти-сана, которого вы просили нас разыскать, давно уже нет в живых...» Пекинские друзья подтвердили слухи, доходившие до его соратников на Северном Кавказе. Пау Ти-сан вернулся в Китай, чтобы продолжать дело, начатое в России, — бороться на родине за власть трудящихся. Он вступил в ряды китайской Красной армии, был командиром воинской части, с беззаветным мужеством сражался за победу революции.

Воин революции — таким вошел образ Пау Ти-сана в сознание советских людей и трудящихся народного Китая.

Это имя не будет забыто.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

В. В. КИСТАНОВ. Будущее Сибири. Развитие хозяйства в семилетке. Госпланиздат. М. 1960. 112 стр. + карта. Цена 22 к.

Важнейшее место среди восточных районов страны, где, по определению XXI съезда КПСС, должны произойти основные сдвиги в размещении производительных сил в семилетке, принадлежит Сибири. Капиталовложения, приходящиеся в семилетке на долю Сибири и Дальнего Востока, почти равны государственным вложениям во все народное хозяйство страны за три довоенные пятилетки.

Автор книги подробно знакомит читателя с важнейшими отраслями народного хозяйства и перспективами развития двух крупных экономико-географических районов — Западной Сибири и Восточной Сибири. Общим этим районам предстоит внести существенный вклад в дело решения основной экономической задачи и создания материально-технической базы коммунизма.

Д. ШМЕЛЕВ. Советский Киргизстан. Киргизское государственное издательство. Фрунзе. 1960. 212 стр. Цена 47 к.

За годы Советской власти Киргизия совершила поистине сказочный скачок от патриархально-феодалного строя к социализму.

Выпуск валовой промышленной продукции вырос за сорок лет в пятьдесят раз. Теперь в республике насчитывается свыше пятисот крупных заводов и фабрик. Возникли новые отрасли промышленности, построены крупные угольные шахты, забиты нефтяные скважины. Через мощные горные хребты, казавшиеся раньше недоступными, проложены автомобильные магистрали. За успехи, достигнутые в увеличении производства сахарной свеклы, хлопка и продуктов животноводства, Киргизская республика награждена орденом Ленина.

Велики достижения и в области культуры. В Киргизии, не имевшей раньше даже своей письменности, теперь все население грамотно. Созданы Академия наук, научно-исследовательские институты, десятки высших учебных заведений.

За семилетку общий объем валовой продукции увеличится в два с лишним раза. По темпам роста промышленного производства Киргизия опережает все союзные республики, за исключением Казахстана.

СМЕЛОСТЬ, МУЖЕСТВО, ОТВАГА. Госполитиздат. М. 1960. 328 стр. Цена 39 к.

В этой книге собраны газетные и журнальные очерки, корреспонденции, заметки о героических поступках советских людей. Все они показывают читателю прекрасную сторону души нашего человека: готовность в нужный момент проявить подлинный героизм.

Случай, о котором повествует книга, очень разнообразен по своему характеру, различны и люди, совершившие тот или иной подвиг, — машинист, с риском для жизни предотвративший крушение пассажирского поезда; девушка, сохранившая во время пурги огромную отару овец, хотя для этого ей пришлось двое суток провести на морозе и без пищи; молодой рабочий, спустившийся в водопроводный колодец, чтобы спасти водопроводчика, задохнувшегося от скопившегося там углекислого газа...

Большое воспитательное значение этого сборника состоит в том, что его материалы живыми примерами иллюстрируют свойство, присущее советскому человеку, возвращенному и воспитанному Коммунистической партией, космополитом.

АРКАДИЙ СЛАВУТСКИЙ. Прасковья Ангелина. «Молодая гвардия». М. 1960. 240 стр. Цена 52 к.

Уже самый факт выхода этой книги в серии «Жизнь замечательных людей» говорит о многом. В одном ряду с биографиями выдающихся ученых, писателей, художников, революционеров идут биографии простой советской крестьянки.

Прямым и ясным был жизненный путь коммунистки Прасковьи Никифичны Ангелиной — Пашы Ангелиной, как любовно называл ее народ. Она была первой женщиной-трактористкой, организатором первой женской тракторной бригады, дважды Героём Социалистического Труда, депутатом Верховного Совета СССР, лауреатом Сталинской премии.

В предисловии к книге Федор Панферов пишет:

«Книга о замечательной героине колхозных полей Паше Ангелиной — взволнованный рассказ о человеке нашей эпохи, о женщине, которой Родина дала все: научила ее работать, жить по-коммунистически. В этой книге показано, какими неизведанными путями к подлинному счастью в труде шла

наша Паша, как она не щадила своих сил ради общества, поднявшего ее и других женщин деревни на небывалую высоту. Труд во имя народа стал смыслом ее жизни».

ЮЛИУС ФУЧИК. О Средней Азии. Перевод с чешского, составление и предисловие О. Малевича. Гослитиздат УзССР. Ташкент. 1960. 258 стр. Цена 89 к.

Перед своей первой поездкой в СССР, в 1930 году, Ю. Фучик писал: «Сегодня Колумбы Западной Европы отъезжают туда не для того, чтобы открыть только новую землю посреди великих морей, но для того, чтобы открыть целый новый мир...»

Стремясь, чтобы мир знал правду о СССР, Фучик много писал о первой стране социализма. Он дважды побывал в Средней Азии. Яркость контрастов между старым и новым стала основной темой его очерков, статей и выступлений. В подзаголовке книги Фучика о первой поездке в СССР стояло: «Книжка о людях, которые делают пятилетку». Очерки 1934—1936 годов рисуют плоды этого грандиозного труда.

В книге помещены фотографии Фучика, сделанные во время его поездок по Средней Азии.

АЛЬБЕРТ КАН. Игра со смертью. Авторизованный перевод с английского. «Молодая гвардия». М. 1960. 176 стр. Цена 41 к.

В наши дни уже многие здравомыслящие американцы задаются вопросом, «как сделать, чтобы наши дети не считали войну неизбежной, ненависть — естественной, а убийство — забавой». Это не праздный вопрос, он порожден каждодневной практикой американской жизни. Об этой жизни, и прежде всего о подрастающем поколении, о детях Америки, написал свою книгу известный американский публицист Альберт Кан. Множество вопиющих фактов собрано в этой книге. Они говорят о скандальном положении со школой и об атомном психозе, о растлении умов молодого поколения, о тлетворном влиянии на него низкопробной литературы и кино. Факты этн, правда, относятся преимущественно к началу пятидесятых годов, то есть к разгару «холодной войны», но этот период оставил слишком глубокий след в жизни американского народа и его молодежи, чтобы его можно было забыть.

«Возможно, нарисованная мною картина чересчур мрачна,— пишет Альберт Кан.— Но нельзя забывать, что есть и другая сторона американской действительности — стойкость демократического духа, сила и доброта подавляющего большинства простых людей Америки! Разве не берет за сердце трогательное письмо учащихся духовной школы в Миннеаполисе к ООН, приведенное автором: «Помните о детях, когда вы будете решать, уничтожить или не уничтожить мир. Продолжайте, пожалуйста, переговоры, пока вы не найдете пути к мирному соглашению... Разве нель-

зя жить в разных странах и сотрудничать друг с другом на благо всего человечества?»

А. И. КАЗАРИН. Экономические воззрения Дени Дидро. Соцэкгиз. М. 1960. 208 стр. Цена 22 к.

Великий французский просветитель, философ-материалист, основатель и редактор знаменитой «Энциклопедии» Д. Дидро был одним из любимых писателей Карла Маркса, пользовался глубоким уважением Ф. Энгельса и В. И. Ленина. Влияние Дидро как мыслителя сказалось в самых различных областях культуры и науки XVIII века. Он неустанно боролся за улучшение положения трудящихся. «Если кто-нибудь посвятил всю свою жизнь «служению истине и праву» (в хорошем смысле этих слов), то именно Дидро», — писал Энгельс.

Советскому читателю Дидро широко известен главным образом как крупный теоретик эстетики и литературы, как автор ряда художественных произведений. Однако до сих пор на русском языке не было специальных исследований его экономических воззрений. Попытка А. Казарина восполнить этот пробел заслуживает похвалы.

Автор ставит своей задачей показать борьбу течений французской экономической мысли второй половины XVIII столетия, а также проследить расхождения во взглядах между Дидро и физиократами. Тем самым он опровергает традиционное представление о том, что школа физиократов была единственным представителем экономистов Франции.

Значительное место в книге уделено поездке Дидро в Петербург, его плану экономических и политических преобразований России.

Автор правильно отмечает, что анализ экономических взглядов Дидро помогает лучше понять связь французских просветителей с научным коммунизмом.

ВОПРОСЫ НАРОДНО-ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА. Проблемы соотношения фольклора и действительности. Издательство Академии наук СССР. М. 1960. 172 стр. Цена 75 к.

В сборник вошли статьи научных сотрудников сектора народного творчества Института мировой литературы Академии наук СССР имени А. М. Горького. Эти статьи, разные по своей тематике и материалу, объединены общим подходом к изучению народного творчества.

Одна группа статей (В. Сидельников. «Идейно-художественные особенности русской народной песни». А. Миклушев. «Традиционные лирические песни коми и их жизнь в современности») посвящена народным лирическим песням — русским и национальным, — их общественной роли, тесной связи с действительностью, воспитательному значению лирической песенной поэзии.

Вторая группа статей исследует сатирические фольклорные произведения (У. Далгат. «Вопросы юмора и сатиры» — на мате-

риалах дагестанского фольклора, Л. Шувалова. «Сатира русских народных сказок»). В этих произведениях с очевидностью выступает критическое начало в народном творчестве, ясно звучит мысль о необходимости изменения несправедливых общественных отношений.

В статьях А. Нечаева «О тождестве литературы и фольклора» и Б. Кирдани «Об общественно-воспитательном значении фронтовой поэзии (1941—1945)» освещается общественная роль народного творчества, его значение в наши дни, когда так неизмеримо выросла культура народа, когда радио и кино, литература и театр стали всеобщим достоянием.

Статьи сборника, как правило, носят дискуссионный характер, затрагивают вопросы спорные, неизученные. Все это для читателей, интересующихся народным творчеством, делает книгу особенно интересной.

ЛЕВ ПЕНЬКОВСКИЙ. Избранные стихотворные переводы. «Советский писатель». М. 1959. 640 стр. Цена 1 р. 43 к.

В книгу избранных стихотворных переводов Льва Пеньковского — одного из видных советских переводчиков — вошли произведения, над которыми поэт работал на протяжении многих лет. От творений, восходящих к XV веку, и до произведений современных поэтов, от поэзии Бабура, основателя династии Великих Моголов, и до стихов советского поэта Гафура Гуляма — таков творческий диапазон Пеньковского.

В книге три раздела: «Восток» (классика), «Запад» (классика) и «Современники». В первом помещены переводы произведений великого узбекского поэта XV века Алишера Навои. До 1940 года, когда Лев Пеньковский впервые перевел на русский язык «Фархад и Ширин», поэзия Алишера Навои на европейские языки не переводилась. Лишь вслед за этим переводом появились переводы Алишера Навои на Западе. Л. Пеньковский перевел и другие творения восточной классики — стихи Бабура, поэму «Комде и Модан» индо-таджикского поэта Бедиля, киргизский народный эпос «Манас», узбекский эпос «Алпамыш». В книге опубликованы также переводы рубайи знаменитого ирано-таджикского поэта Омара Хайяма.

Из западной классики Л. Пеньковским переведены поэмы Гёте — «Рейнеке-лис», Гейне — «Атта Троль», «Германия (Зимняя сказка)» и его сатирические стихотворения, произведения Гервега, Беранже, Гюго, Леконт де Лилля.

В разделе «Современники» читатель найдет переводы стихов армянских, башкирских, грузинских, дагестанских, киргизских, таджикских, татарских, узбекских, украинских, чувашских, эстонских и якутских поэтов. Предисловие к книге написал П. Антокский.

В. КИРПОТИН. Достоевский и Белинский. «Советский писатель». М. 1960. 305 стр. Цена 73 к.

Общественное движение сороковых годов прошлого века выдвинуло плеяду замечательных людей. Среди них наиболее выдающимся был, как известно, В. Г. Белинский, деятельность которого знаменовала подлинную революцию в умственной жизни России и образовала как бы идейную вершину эпохи.

Автор монографии, указывая, что вокруг Белинского шла ожесточенная идеологическая борьба, поставил перед собой задачу проанализировать основные факты участия в ней Ф. М. Достоевского. Последний испытал на себе могучее влияние свобододлюбивых идей Белинского. Без систематического и увлеченного чтения статей Белинского Достоевский не написал бы «Бедных людей». Проповедь Белинского определила тематику этого первого романа Достоевского, родила его пафос, помогла понять начинающему писателю возможности и особенности своего дарования.

Однако сложные и противоречивые условия идейного и психологического развития Достоевского сообразили его отношению к Белинскому своеобразный, двойственный характер. Достоевский то сохранял верность заветам Белинского, то со страстной озлобленностью обрушивался на них. В. Кирпотин обстоятельно прослеживает перипетии этой внутренней борьбы и показывает на многочисленных фактах, что отношение к Белинскому было основным вопросом в душевных исканиях Достоевского на всем протяжении его жизни и творчества. При этом — признавал ли Достоевский идеалы Белинского или отвергал их — он всегда это делал для того, чтобы лучше понять типы и характеры, факты и обстоятельства русской общественной жизни.

М. П. АЛЕКСЕЕВ. Из истории английской литературы. Этюды, очерки, исследования. Гослитиздат. М.-Л. 1960. 498 стр. Цена 1 р. 29 к.

Академик М. П. Алексеев — известнейший наш исследователь русской и зарубежной литературы. В аннотируемой книге собраны его статьи из истории английской литературы, написанные главным образом за два последних десятилетия. Значительная часть материалов сборника была опубликована в различных изданиях, но сейчас многие из этих работ, например статьи «Видение о Петре Пахаре», «Славянские источники «Утопии» Томаса Мора», «Байрон и английская литература», дополнены и изменены. Статьи «Джон Вильсон и его «Город чумы», «К истории понятия «английская литература» и некоторые другие печатаются впервые.

Статьи расположены в сборнике в соответствии с исторической последовательностью тех явлений английской литературы и культуры, которым они посвящены, — от средних веков до наших дней. Автор ста-

вил своей задачей осветить такие литературные факты и культурные процессы, которые мало затронуты в общих пособиях, в особенности на русском языке.

Литературные факты рассматриваются в книге в разных аспектах: то в связи с идейным развитием Западной Европы в период Возрождения, то в соотношении с народным творчеством, то в соприкосновении с другими искусствами — музыкой или живописью, и т. д.

ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛЬ. Из четырех книг. Стихи. Перевод с французского Игоря Поступальского. Гослитиздат. М. 1960. 216 стр. Цена 42 к.

Творчество знаменитого французского поэта XIX века Леконт де Лиль буржуазные литературоведы на протяжении многих лет пытаются представить в искаженном свете. Замалчивая революционность Леконт де Лиль, обличительный антибуржуазный пафос его произведений, они стремятся представить его бесстрастным поэтом «чистого искусства». Многие из наследия Леконт де Лиль во Франции до сих пор не издано (в частности, его антибонапартистские произведения), ни разу не переиздавались его революционные статьи кануна 1848 года. Нет еще и полного собрания сочинений поэта.

Вышедшая книга произведений Леконт де Лиль в переводах И. Поступальского (первое русское издание его избранных стихотворений и поэм) в истинном свете показывает творчество поэта.

В ней собраны стихи из четырех наиболее значительных книг Леконт де Лиль: «Античные стихотворения», «Варварские стихотворения», «Трагические стихотворения» и «Последние стихотворения».

В произведениях первого, «Античного» раздела воспеваются Эллада, «страна социальной гармонии», как называл ее Леконт де Лиль; в ней он видел утопический прообраз будущего общества. Стихи этого цикла сложились в период увлечения Леконт де Лиль утопическим социализмом и вышли в свет в 1852 году.

Наиболее сильные и наиболее знаменитые произведения Леконт де Лиль входят в книгу «Варварские стихотворения», где поэт выступает яростным обличителем католицизма — «зверя в пурпуре», обличителем философии, политики и морали христианства, где он говорит о ничтожестве и пошлости буржуазной современности, о своей вере в будущее простого народа —

«и звуки чистые народов отомщенных со смехом встретят жизнь, не зная слова: бог».

«Трагические стихотворения» напечатаны в последние годы жизни поэта, почти десятилетием позже событий Парижской коммуны, когда, как пишет автор предисловия Н. Балашов, наиболее отчетливо раскрылась противоречивость мировоззрения Леконт де Лиль. Защищая революционный Париж с оружием в руках, Леконт де Лиль был вместе с тем не согласен с политической платформой коммунаров и в дни поражения коммуны пытался занять особую позицию — ни с Коммуной, ни с версальцами.

В «Трагических стихотворениях» и прилегающих к ним «Последних стихотворениях» нашла свое отражение трагедия поэта, утратившего ясную революционную перспективу и вынужденного мириться с ненавистным ему буржуазным порядком.

МИЛЛАРД ЛЭМПЕЛЛ. Герой. Перевод с английского. Издательство иностранной литературы. М. 1960. 300 стр. Цена 94 к.

«Надо научиться отличать вымысел от реальной действительности», — говорит герою этой книги, Стиву Новаку, один из его более опытных коллег. Но прежде чем воспринять эту простую истину, Стиву Новаку, талантливому спортсмену, юноше, «сложенному, как греческая статуя», умному и честному, пришлось вкусить всю горечь разочарования: одно за другим рушились красивейшие, как рекламные картинки, представления об успехе, о спортивной славе, о человеческих привязанностях и отношениях. Американская действительность во всей своей мерзкой наготе ранила, но не сломила душу молодого футболиста. Он понял, что становится вещью, рабом дельцов, наживающих на спорте капитал. В конце концов Стив отказывается от принципа, которому следуют многие его приятели: «За сто долларовый костюм я не прочь стать чьей-нибудь собственностью».

Стив Новак бежит из мира спортивных спекулянтов и ищет свое место в жизни. Найдет ли он его? Верить, что найдет среди людей труда.

Автор романа хорошо знает то, о чем пишет, он сам прошел нелегкую школу жизни, в его книге немало автобиографического. Кстати, читатели нашего журнала познакомились впервые с Лэмпеллом семь лет назад, когда на страницах «Нового мира» был опубликован его автобиографический рассказ «К этому не привыкнешь...».

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Документы Совещания представителей коммунистических и рабочих партий. Москва, ноябрь 1960 года. 64 стр. Цена 7 к.
Н. С. Хрущев. За мир, за разоружение, за свободу народов! 336 стр. Цена 60 к.
Ю. Амiantoв. Рыцарь большевизма (О М. С. Ольминском). 32 стр. Цена 4 к.
Берроуз Данэм. Мыслители и казначей. 80 стр. Цена 9 к.
Д. Ибаррури. Октябрьская социалистическая революция и испанский рабочий класс. Коммунистический Интернационал и Народный фронт. 40 лет Коммунистической партии Испании, ее корни, идеологическая основа и деятельность. Обращение к молодежи. 132 стр. Цена 16 к.
История гражданской войны в СССР. Том 5. 1917—1922. 420 стр. Цена 2 р. 35 к.
Л. А. Леонтьев. Начальный курс политической экономики. 536 стр. Цена 73 к.
От Сталинграда до Берлина. Фото Якова Рюмкина. 268 стр. Цена 2 р. 40 к.
Сэн Катаяма. К вопросу о зарождении и развитии марксизма в Японии. 52 стр. Цена 6 к.
И. Терехов, К. Тарасенко. Сплоченными рядами. 144 стр. Цена 17 к.

СОЦЭКГИЗ

М. К. Илюсизов. Экономические воззрения Чоана Ваиханова. 132 стр. Цена 14 к.
В. Онушин. «Атомный бизнес» американских монополий. 144 стр. Цена 45 к.
В. Г. Толстиков. Трагедия Южной Кореи. 96 стр. Цена 10 к.
Хрестоматия по политической экономике. 760 стр. Цена 1 р. 5 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Дебора Вааранди. Мечтатель у окна. Стихи. Перевод с эстонского. 118 стр. Цена 14 к.
И. Глазков. Зеленый простор. Стихи. 84 стр. Цена 11 к.
И. Константиновский. Первый арест. Повесть. 288 стр. Цена 32 к.
Иван Ле Хмслыницкий. Роман. Книга первая. Перевод с украинского. 536 стр. Цена 87 к.
Вл. Луговской. Раздумье о поэзии. Статьи. Речи. Выступления. 280 стр. Цена 45 к.
Е. Любарева. Михаил Светлов. Критико-биографический очерк. 244 стр. Цена 36 к.
Народно-политическая сатира. Сборник 472 стр. Цена 87 к.
Ш. Нишиманидзе. Дождь и свидание. Стихи. Перевод с грузинского. 100 стр. Цена 13 к.
Л. Осповат. Пабло Неруда. Очерк творчества. 360 стр. Цена 58 к.
М. Пинчевский. Дойна. Стихи и поэмы. 144 стр. Цена 31 к.
Я. Рочев. Два друга. Роман. Перевод с коми. 448 стр. Цена 76 к.
Николай Рыленков. Корни и листья. Стихи. 176 стр. Цена 22 к.
Семен Скляренко. Святослав. Роман в двух книгах. Перевод с украинского. 728 стр. Цена 1 р. 16 к.
А. Тверитинова. Форт Роменвилл. Повесть. 358 стр. Цена 41 к.

А. Турчинская. Мой друг—Ашхабад. Роман. Перевод с украинского. 532 стр. Цена 92 к.
Н. Фомичев. Забыть нельзя. Стихи. 60 стр. Цена 7 к.
В. Ханжин. Ночной звонок. Рассказы. 180 стр. Цена 23 к.
Ш. Холоденно. Близкий человек. Стихи. Перевод с еврейского. 104 стр. Цена 9 к.
Фатых Хусни. Тропа пешехода. Роман. Перевод с татарского. 308 стр. Цена 55 к.
М. Яцков. В тисках. Повесть и рассказы. Перевод с украинского. 452 стр. Цена 77 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Георгий Леонидзе. Стихи. Поэмы. Перевод с грузинского. 483 стр. Цена 1 р. 8 к.
Карел Гинек Маха. Избранное. Перевод с чешского. 323 стр. Цена 52 к.
Микола Нагнибеда. Дорогами жизни. Стихотворения и поэмы. Перевод с украинского. 287 стр. Цена 45 к.
Поэзия народов Дагестана. Антология. В двух томах. Том I. 406 стр. Цена 72 к. Том II. 439 стр. Цена 74 к.
Мирза Мухаммад Хади Русва. Танцовщица. Повесть. Перевод с урду. 223 стр. Цена 45 к.
Нацумэ Сосэки. Ваш покорный слуга кот. Повесть. Перевод с японского. 432 стр. Цена 76 к.
Е. Таратута. Этель Лиллан Войнич. Судьба писателя и судьба книги. 291 стр. Цена 86 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Мария Алисе Баррозо. В долине Серра-Алта. Роман. Перевод с португальского. 416 стр. Цена 77 к.
Надежда Белинович. Сказы о Ленине. 96 стр. Цена 39 к.
Н. Вирта. Возвращенная земля. Роман. 448 стр. Цена 1 р. 3 к.
Ю. Герасименко. Земля отцов. Стихи. 97 стр. Цена 16 к.
С. Герасимов. О киноискусстве. 144 стр. Цена 22 к.
О. Горчаков, Януш Пшимановский. Вызываем огонь на себя. Повесть. 239 стр. Цена 34 к.
Сергей Львов. Огонь Прометея. 288 стр. Цена 56 к.
В. Маевский. Первый шаг. Записки журналиста. 368 стр. Цена 73 к.
Борис Могиловский. Артем (Федор Сергеев). 368 стр. Цена 73 к.
Н. Николаев, О. Пруднов. Свободный ли это мир? 160 стр. Цена 15 к.
Айли Нурдгрэн. Указавший путь. Горы, огоны! Романы. Перевод со шведского. 352 стр. Цена 67 к.
Иван Шевцов. На краю света. Повесть. 207 стр. Цена 46 к.
М. Яновская. Пастер. 366 стр. Цена 74 к.

ДЕТГИЗ

С. А. Андреев-Кривич. Крестьянский сын Михайло Ломоносов. Повесть. 128 стр. Цена 30 к.
А. И. Аренштейн. «Иппа» остается в Баку. Повесть. 208 стр. Цена 45 к.
Е. С. Велтистов. Приключенный на дне моря. 128 стр. Цена 36 к.
Н. Ф. Григорьев. Шестикрылый великан. Повесть. 136 стр. Цена 37 к.

В. И. Михайлов. Твое поколение. 128 стр. Цена 31 к.
М. П. Прилежаева. Под северным небом. Роман. 336 стр. Цена 77 к.
Б. Я. Розен. Материалы тысячи назначений. 144 стр. Цена 32 к.
Эрвин Штриттматтер. Пони Педро. Повесть. Перевод с немецкого. 96 стр. Цена 23 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

С. Т. Ансаков. История моего знакомства с Гоголем. 295 стр. Цена 1 р. 40 к.
Я. Л. Альперит. Распространение радиоволн и ионосфера. 480 стр. Цена 2 р. 55 к.
И. У. Будовниц. Общественно-политическая мысль Древней Руси (XI—XIV вв.). 488 стр. Цена 2 р. 10 к.
А. П. Бутенко, Е. В. Осипова, Г. М. Андреева, Иово Элез. Против современного ревизионизма в философии и социологии. 407 стр. Цена 1 р. 35 к.
Гидрометеорологические исследования в первых рейсах «Витязя» по программе МГГ. 195 стр. Цена 1 р. 6 к.
Г. А. Дихтяр. Внутренняя торговля в до-революционной России. 239 стр. Цена 1 р.
А. А. Елистратова. Наследие английского романтизма и современность. 507 стр. Цена 1 р. 50 к.
В. А. Есанов. Александр Гумбольдт в России. 111 стр. Цена 40 к.
В. М. Коллонтай. Иностранные инвестиции в экономически слаборазвитых странах. 275 стр. Цена 9 к.
И. В. Малышев. О роли народных масс в советском социалистическом обществе. 160 стр. Цена 50 к.
Материалы и исследования по истории русского языка. 303 стр. Цена 1 р. 70 к.
Перспективы развития угольной промышленности и энергетики Красноярского края. 168 стр. Цена 95 к.
Проблемы индустриализации суверенных слаборазвитых стран Азии (Индия, Индонезия, Бирма). 438 стр. Цена 1 р. 45 к.
Проблемы рабочего и антифашистского движения в Испании. Сборник статей. 432 стр. Цена 1 р. 80 к.
Развитие производительных сил Восточной Сибири. Районные и межрайонные комплексные проблемы. 192 стр. Цена 1 р. 3 к.

А. А. Сидоров. Рисунок русских мастеров (вторая половина XIX в.). 560 стр. Цена 4 р.
Е. Е. Случный. Избранные труды. 292 стр. Цена 1 р. 73 к.
И. С. Смирнов. Ленин и советская культура. 448 стр. Цена 1 р. 70 к.
Социалистический реализм в зарубежных литературах. 351 стр. Цена 1 р. 46 к.
Станции в космосе. Сборник статей. 447 стр. Цена 72 к.
Б. М. Филиппов. Тернистый путь русского ученого. Жизнь и деятельность М. М. Филиппова. 120 стр. Цена 20 к.
О. Ю. Шмидт. Избранные труды. Геофизика и космогония. 212 стр. Цена 1 р. 35 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Бенджамин Аппель. Крепость среди рисовых полей. Роман. Перевод с английского. 583 стр. Цена 1 р. 53 к.
Арагон. Неоконченный роман. Эльза. Поэмы. Перевод с французского. 351 стр. Цена 69 к.
Джон Брэйи. Путь вверх. Роман. Перевод с английского. 263 стр. Цена 87 к.
Габор Гада. Паноптикум. Избранные сатирические рассказы. Перевод с венгерского. 358 стр. Цена 1 р. 44 к.
Дело Манолиса Гlezоса. Перевод с греческого. 482 стр. Цена 1 р. 11 к.
Сюльви Кекконен. Амалия. Повесть. Перевод с финского. 207 стр. Цена 41 к.
Ян Костра. Стихи. Перевод со словацкого. 143 стр. Цена 17 к.
Хосе Пардо Льяда. В горах Сьерра-Маэстра. Записки журналиста. Перевод с испанского. 119 стр. Цена 19 к.
Ма Фын. Всего десять лет... Рассказы. Перевод с китайского. 315 стр. Цена 99 к.
Хесус Лопес Пачено. Гидроцентральный Роман. Перевод с испанского. 298 стр. Цена 92 к.
Дхирендранатх Сен. От подчинения к независимости. Перевод с английского. 671 стр. Цена 2 р. 27 к.
А. Б. Томас. История Латинской Америки. Перевод с английского. 647 стр. Цена 3 р. 74 к.
Вальтер Холличер. Природа в научной картине мира. Перевод с немецкого. 470 стр. Цена 2 р. 53 к.
Чжоу Эр-фу. Утро Шанхая. Роман. Перевод с китайского. 500 стр. Цена 1 р. 55 к.

ИСПРАВЛЕНИЕ

В номере 11 «Нового мира» за 1960 год в публикации дневника Н. К. Крупской «По градам и весьям Советской Республики» на стр. 121 и 126 вместо «Лапшев» следует читать «Ланишев», на стр. 125 вместо «В Камбаровке» — «В Камбарске», на стр. 127 вместо «в Воткине» — «в Воткинске».

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
 Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 24/XI 1960 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 12/I 1961 г.
 А 00721. Формат бумаги 70x108^{1/8} 9 бум. л. — 24,66 печ. л. Тираж 85.000.
 Зак. 2280.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся ССРСР» имени И. И. Скворцова Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

ГОССТРАХ

**заключает договоры личного страхования
на разные сроки и разные страховые суммы.**

Договоры на смешанное страхование жизни заключаются с лицами в возрасте от 16 до 60 лет на срок 5, 10, 15 и 20 лет, а на страхование от несчастных случаев — с лицами в возрасте от 16 до 70 лет на сроки от 1 до 5 лет.

По договорам личного страхования Госстрах выплачивает страховую сумму застрахованному или его семье.



Госстрах заключает также договоры добровольного страхования принадлежащих гражданам строений, домашнего имущества и средств транспорта.

Страховое возмещение выплачивается: по страхованию строений и домашнего имущества в случае гибели или повреждения от пожара и других стихийных бедствий, а по страхованию средств транспорта — также и от аварий.



Для получения более подробных справок и заключения договоров необходимо обратиться в инспекцию или к агенту Госстраха.

Инспекция Госстраха имеется в каждом районе. Агента Госстраха можно вызвать на дом.

Страхование выгодно и вполне доступно трудящимся.

Граждане! Заключайте и своевременно возобновляйте договоры добровольного личного страхования и принадлежащего вам имущества.

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ РСФСР**